ВАСИЛЬ КУЧЕР

ЧЕРНОМОРЦЫ

роман



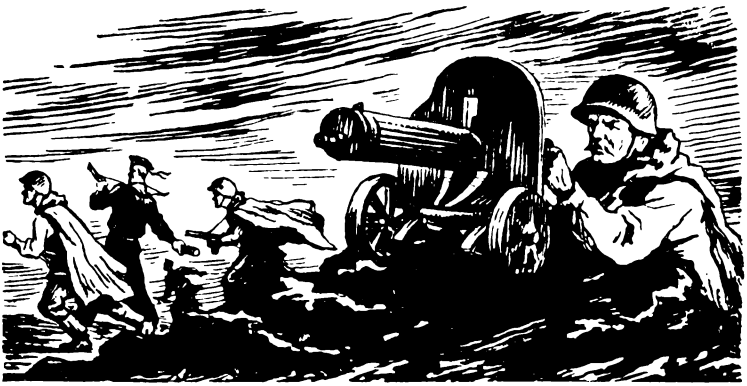
Авторизованный перевод с украинского
ЕЛЕНЫ РОССЕЛЬС

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА—1955

Издание второе, переработанное



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Эскадренный миноносец «Гроза» пришел в Севастополь ночью, загасив ходовые огни, и жители Корабельной стороны не заметили его неожиданного появления в Южной бухте.

Утром, ровно в восемь, когда солнце, казалось, замерло высоко над горами, на эсминце подняли флаг командующего эскадрой. Флаг взвился в ясном небе, и моряки услышали, как он полощется на свежем ветру, долетающем с моря. Команда выстроилась на корме корабля и вдоль бортов. Торжественный строй словно прирос к палубе, остро пахнущей мазутом.

Контр-адмирал Багров быстро взошел по трапу. Моряки катера, на котором прибыл адмирал, стали «смирно».

До сих пор флаг командующего эскадрой развевался на крейсере «Москва», где все эти годы располагался штаб контр-адмирала, а сегодня флаг впервые подняли на эскадренном миноносце «Гроза». Это был новый корабль, и команда на нем была новая.

Во время боевых учений мичман Самойло Вихорь не успел познакомиться со всеми моряками, служившими на «Грозе». Он знал только своих земляков по Одессе, тех, кто когда-то плавал на торговых, как он говорил, «лайбах», да тех, с кем он часто встречался на Молдаванке и Пересыпи. Они подружились быстро. Одесситам было

приятно, что их земляка командир назначил к кормовым орудиям, и моряки одобрительно поглядывали на Вихоря. Успел мичман сдружиться и с двумя степняками: Голубовым и Грызловым. Они совсем не походили на земляков Вихоря, выросших у портовых причалов Одессы, которые с детства наперегонки плавали к маяку, ловили бычков с волнореза. Степняки же о море могли только мечтать.

Контр-адмирал поздравил экипаж «Грозы» с успешным завершением учебных маневров и приказал командирам всех кораблей, стоявших на севастопольском рейде, отпустить свободных от вахты краснофлотцев на берег. Эсминец расцветился пестрыми флагами, и все корабли ответили ему тем же. Дети, жившие на Корабельной стороне, увидели сигнальные флаги и, оглашая улицы радостными криками, наперегонки бросились в порт. Вслед за детьми к морю потянулись празднично разодетые девушки. Потом около причалов появились седоусые боцманы. Они уже были в отставке, жили на Лабораторном шоссе, разводили виноград и копали грядки в своих садиках. Но море попрежнему влекло их к себе, и приход эскадры был для них праздником. Они с восторгом разглядывали новый эсминец, поблескивающий свежей краской, наблюдали, как быстро бегали по палубам матросы, четко выполняя знакомые старым боцманам команды. Вся эскадра уже стояла на внутреннем рейде, к пирсам подходили катера. Моряки легко выпрыгивали на высокий гранитный берег, направлялись к бульварам. По севастопольским улицам медленно поплыла синяя волна полосатых воротников. Заиграли аккордеоны. Моряки с песнями спешили на Малахов курган.

С последнего катера сошел на берег и Самойло Вихорь. Он ступил на раскаленные камни пирса и застыл в нерешительности. Осмотрел себя в первой витрине магазина, как в зеркале. Вихорь не спешил, как остальные моряки. Их ожидали жены и невесты, а Вихоря никто не ждал. Ему было и горько и больно. После того, что произошло у него в Одессе с Марией, мичман стал хмур и молчалив.

Мария Богучар, подруга его детских лет, как выяснилось, приглядела себе другого моряка и даже не намекнула об этом Вихорю. Тот моряк, по рассказам одесситов, тоже был мичманом и служил, как и Самойло, на

одном из эскадренных миноносцев, но на каком именно — Вихорю не было известно, так же как неизвестны были имя и фамилия этого моряка. Да и что Самойлу в его имени? Случилось это в отсутствие Вихоря, когда в Одессу прибыли другие корабли и моряки давали концерт художественной самодеятельности в университете. Говорят, этот мичман очень хорошо пел, и Мария в тот же вечер познакомилась с ним. Он проводил ее домой, появился в доме Богучаров и на другой день, пришел и на третий, ходил с Марией в театр, а когда корабль ушел, стал присылать письма. Иногда он передавал письма через знакомых моряков, приезжавших в отпуск в Одессу. Это сразу бросилось в глаза соседям Марии, и они написали обо всем Вихорю.

Он не мог стерпеть такого надругательства. Попросил у командования отпуск на несколько дней по семейным обстоятельствам и примчался в Одессу. Мария растерялась и даже, как показалось Вихорю, смутилась, увидав его. Услышав, что она в самом деле знакома с новым мичманом, получает от него письма и даже считает его своим другом, Вихорь совсем рассвирепел. А она так и сказала: друзей много, а любимый — один. Самойло побледнел, закусил губу и едва сдержался, чтобы не наговорить глупостей. Он рубанул кулаком по воздуху, словно в руке у него была шашка, бросил на прощанье: «Гуляй на здоровье! И я себе найду!» Мария выбежала за ним на улицу, кричала что-то вслед, но он даже не оглянулся.

Все это получилось как-то неожиданно, нелепо, по-детски. Сколько времени прошло с тех пор, а Самойло все не может прийти в себя. Вернувшись в Севастополь, он совершил еще одну глупость: вернул Марии все письма, которые она писала ему на флот. В ответ он получил свои письма. Переписка сразу оборвалась. А друзья из Одессы сообщали, что новый знакомый Марии снова приезжал и всюду появлялся с ней. Мать писала Самойлу, чтобы помирился с Марией, но он даже не ответил матери.

Но вот на днях пришло от матери новое письмо, окончательно смутившее Вихоря. Мать писала, что Мария собирается в Севастополь, уже и билет на пароход купила. В Севастополе она проведает брата, командира одного из кораблей. Мать просила зайти в Севастополе

к Марии, поговорить обо всем. В письме был и адрес Платона Богучара: Лабораторное шоссе, дом Громовых.

Что же теперь делать? Верно, Мария уже приехала и живет у брата...

Самойло постоял еще немного у моря, коснулся рукой материнского письма, лежавшего в боковом кармане кителя, и, тряхнув головой, двинулся широким шагом к Лабораторному шоссе. «Будь, что будет. Застану одну,— поговорю. Застану с мичманом,— прощай навсегда! Пан или пропал!»

И он устремился в самую гущу людского потока, заполнившего широкий проспект и растекающегося по всем улицам и переулкам. Город, возбужденный возвращением эскадры, многоголосо шумел, гремели баяны, звучали песни, смех. Но Вихорь, казалось, не замечал этого.

На Лабораторном шоссе было пустынно. Улица начиналась за вокзалом и, извиваясь среди каменистых холмов, приводила к дороге, ведущей на Инкерман и на Ялту. Под крутым склоном гнездились нарядные домики моряков, выложенные плитами ноздреватого камня. За оградами в миниатюрных садах наливался молодой виноград, зеленели литые яблоки. В тени этих садов стояла напоенная солнцем тишина, такая глубокая и чистая, что Петр Шагайда, шагающий по улице, ясно слышал, как звенели крылышки пчел. Мало таких закоулков в Севастополе. Этот да еще один — по ту сторону залива, по дороге к Херсонесскому маяку. Но садов там меньше, и стоят они у самого моря. Пчелы там не увидишь. Не любит она у открытого моря жить, ветра боится. Ей нужен покой, густые сады, пахучие травы и цветы. А какая тишина около Песчаного залива или на Малаховом кургане? Летом знойные ветры и солнце выжигают все вокруг, и на желтых холмах кладбищенским плющом лежит горькая полынь, пожелтевшие травы, колючий бурьян. Ни цветочка, ни свежей былинки. Царство камня, солнца и ветров. Если б не долины, до зимы расцвеченные всеми красками радуги, не жить бы тут пчеле. Синеют долины у Мекензиевых гор, у подножья Сапун-горы, под Балаклавой. В этих-то долинах пчелы и собирают все лето пыльцу. Словно на Украине, где они кормятся на колхозных массивах пахучей фацелии.

Знакомой тропинкой Петр Шагайда входит в сад. Он хочет подойти к улью, но, раздумав, поворачивает к окну. Расстилает на скамейке белый платок, садится и ждет долго и терпеливо, рассматривая свои ботинки на ранту. Все на нем новое. Китель плотно облегает грудь, высокий воротник врезается в шею. Мичман долго был в море, и теперь даже земля покачивается под ногами, хотя на берег он сошел еще утром. На суше все кажется каким-то странным, необычным, ко всему приходится привыкать заново.

Гудят ульи в виноградной лозе, в саду повисла удушливая жара. Мичман забывает о море. Он слышит шелест шелка за занавеской и женские шаги Мария не торопится, верно примеряет платье. Походка у нее легкая, и Петру кажется, что он где угодно сможет узнать звук ее маленьких шажков. А может, она нарочно так долго одевается, испытывает его терпение? Он хочет казаться спокойным, разглядывает мелкие камешки на дорожке. Локтями уперся в колени, словно думает о чем-то, равнодушный к тому, что Мария в комнате так долго прихорашивается. А сам прислушивается к каждому ее движению. Вот полила руки одеколоном, и заскрипели ладони, когда вытирала их.

— Ты заснул, Петр? — окликнула Мария.

— Дремлю,— и нарочно потянулся.

— Подойди ко мне.

Он послушно поднял голову к окну, и Мария, растрепав ему волосы, облила его одеколоном. Шагайда не успел оглянуться, как занавеска по ту сторону окна снова упала.

— Ну, чем от тебя пахнет? — из-за занавески донесся звонкий смех.

Петр стоял растерянный, не зная, что ответить. От волос остро пахло прохладной мятой, но не так, как пахнет настоящая мята на речных берегах. Возле моря она не растет, а на лугу за Бугом Мария никогда не была. Она не знает, как пахнет там луговая трава, скошенная и увядшая на солнце. Это даже рассказать трудно. Выйдешь под вечер в луга и, забыв обо всем, пьешь степной аромат. Пусть Мария сама взглянет на его степи, и он уверен: к морю ее больше не потянет. Но это будет не скоро. Петру еще пять месяцев служить на флоте, а у Марии в университете только осенью начнутся госу-

дарственные экзамены. Потом они поедут на Буг. Петр твердо верит в это.

За высокой стеной кто-то прошел, споткнулся о выщербленный камень. В дубовую калитку постучали.

— Кто там? — спросил Петр, направляясь к калитке.

— Капитан третьего ранга Богучар здесь живет?

— Здесь, — Петр подошел к калитке, глубоко засунув руки в карманы.

— Добро́! — послышался густой басок.

«Моряк идет. Пехотинец не скажет «добро». Шагайда загремел задвижкой. Невысокий, коренастый мичман поднял голову, смерил взглядом Петра и взял под козырек.

— Эскадренного миноносца «Гроза» мичман Самойло Вихорь.

Шагайда рассматривал приземистого моряка, его черные, коротко остриженные кудри, сизый шрам над левым глазом, надраенные до блеска медные пуговицы. Прямая, как струна, складка рассекала брюки, из-под которых поблескивали начищенные ботинки. «А на улице пыль! Верно, суконку носит»,— подумал Шагайда, подавая руку.

— Та-а-ак, — проговорил моряк и сдвинул брови.

«Он, верно, и Марию знает, коль так смело стучится к капитану», — забеспокоился Шагайда.

— Капитана сейчас нет. Приходите завтра.

«Это он! Это он!» — подумал Вихорь, но сдержал себя — спокойно объяснил:

— Я, собственно, хотел видеть Марию, сестру капитана. Она ведь приехала?

— Приехала, — ответил Шагайда, загородив дорогу.

Они стояли друг против друга, скрестив острые взгляды; Вихорь почувствовал, что калитка вот-вот закроется и он не увидит Марию.

— Послушай, мичман, я ее земляк. Мария — моя соседка. Вместе в школу ходили, и дома́ наши на Пересыпи рядом стоят. Район такой есть в Одессе, Пересыпь, — выпалил Самойло и вплотную подошел к Петру.

— У вас и Молдаванка есть. Раз так — заходи.

Вихорь окинул взглядом нарядный сад, голубые ульи между кустами винограда и усыпанные галькой дорожки — все здесь напоминало ему Одессу. Точно такой сад и у Богучаров. В нем хлопотал Платон, его досаживал старший брат Устим, а теперь там, верно, старый Остап хозяйничает. Мария поглощена своими занятиями, и

только изредка заглядывает к цветам. Зарос, верно, сад, не хватает рабочих рук. Самый младший из Богучаров, Славка, с утра до вечера гоняет по причалам, плещется в море, ему не до цветов. Моряк из него будет.

— Чистой марки Аркадия, — показал на сад Вихорь.

— Золотой пляж. А вы что, впервые здесь?

— Я на земле редко бываю. В море все.

— Вы, одесситы, все моряки.

— Закон такой. Морской народ. Хлебом не корми — а на флот пусти, — гордо проговорил Вихорь и вынул никелированный портсигар. Щелкнул крышкой, и на ребре портсигара вспыхнул синий огонек. Заметив улыбку Петра, мичман равнодушно произнес:

— Друг на торговой «лайбе» плавает. Подарил, — и с гордостью подбросил портсигар на ладони.

В дверях показалась Мария, свежая, словно только что вышла из моря. При виде Вихоря она смутилась, ее смуглое лицо удивленно вытянулось, ноздри часто задрожали. Девушка вскрикнула и бросилась к Вихорю, тонконогая, гибкая. Но, взглянув на Петра, она в нерешительности остановилась.

— Мария! — шагнул к ней Вихорь.

Она схватила его руку в свои ладони, затрясла приговаривая:

— Вихорек! Откуда ты взялся?

— Из моря вышел.

— Когда ж тебя в Одессу ждать?

— Ждите, когда море замерзнет.

— Твоя мама все сокрушается. А шрам у тебя почти зарос, — она заботливо посмотрела ему в лицо.

— Давно зарос, скоро второй будет.

— Не будет! На воде не расшибешься, — властно топнула ногой Мария. — Я тебе уши надеру.

— Не достанешь!

Петра передернуло от такого разговора, и он отошел вглубь сада. Отломив сучковатую веточку японской вишни, густо усеянную серыми, словно мак, зернышками, он начал ее внимательно рассматривать. Ему было неприятно, что Мария так свободно, по-детски, обращается с этим коренастым мичманом, чуть ли не на шею ему кидается. И зачем он пустил Вихоря в сад! Сказал бы через калитку, что нет ее дома,— и делу конец. А теперь хлопот не оберешься. Пойдут разговоры об одесских но-

востях да общих знакомых, и Шагайде тогда одна дорога — назад на корабль. Он был зол, но делал вид, что вишневая веточка поглотила все его внимание. Сколько зерен на веточке? Шагайда повертывает ее на ладони, считает, сбивается, начинает заново, а зернышки плывут перед глазами серой полосой, сливаются в одну сплошную ленту. Наконец: пятнадцать зерен, рядков — десять да еще один неполный. Много наплакала кукушка. Если у каждой веточки так будет грустить — ненадолго ей слез хватит.

Вспомнилась мать. Вот она срезает в плавнях камыши, чтобы покрыть хату, а маленький Петр таскает на берег снопы и допытывается, почему кукушка кукует людям, кому сколько жить, а своих детей разбрасывает по чужим гнездам?

— Вот ее за это и наказывают, — говорила мама, показывая на вишневой веточке «кукушкины слезы». И хотя теперь он знал уже многие тайны природы, знал биологию и ботанику, но услышанное в детстве осталось в памяти.

Вихорь сверкнул глазами, показал на Шагайду:

— Певец?

Мария не ответила, еле слышно прошептала:

— Замолчи! Я потом все объясню... завтра...

— Он? — снова спросил Вихорь.

Мария опустила глаза, молча кивнула головой.

Вихорь съежился, будто от холода.

— Не надо, Самойло, — зашептала Мария. — Прошу тебя, не скандаль. Пойдем с нами... Ладно?

Вихорь отвернулся, ниже надвинув фуражку.

— Я петь не умею, Мария, — грустно сказал он.

— Не глупи! — девушка решительно потянула его за собой.

Шагайда чувствовал, что разговор идет о нем, и нервничал.

Заметив холодок в его глазах, Мария подошла:

— Что ты делаешь, Петя?

— Покажи, мичман,— наклонился и Вихорь.

— Глупости, — попробовал улыбнуться Петр. — Так себе, детская забава. Кукушкины слезы считаю.

— Разве кукушка плачет? — спросила Мария.

— Кто поет, тот и плачет, — ответил Вихорь, исподволь с завистью разглядывая Шагайду с головы до пят, будто ища в нем какой-нибудь изъян. Мария уже стояла

возле Шагайды, и это мешало Вихорю. Он знал, что теперь ничего не скажет Марии.

Они шли по узенькому тротуару к каменной горе. Навстречу им плыли толпы девушек и моряков, спешили на поезд пассажиры, — Севастопольский вокзал находился недалеко от бухты.

— Мне бы в Кронштадт сейчас. Махнуть через всю Россию, — мечтательно произнес Вихорь и умолк. Он молчал всю дорогу, не находя повода заговорить с Марией. А расставаться сразу не хотелось. Мария локтем опиралась на руку Шагайды, и Вихорь чувствовал себя лишним. Он шел впереди, тихо насвистывая какую-то песенку о море.

Пока добрались до Малахова кургана, Мария рассказала Петру, как Вихорь спас ее, когда она однажды заплыла далеко и начала тонуть. Он вытащил ее за косы и сам чуть не погиб. И о шраме рассказала. Как-то Вихорь подрался с мальчишкой, обидевшим подругу Марии. Самойло кричал ему: «Пришел гулять — гуляй, а язык держи за зубами». Горячий. Верно, и сейчас такой. Бедная мать убивается о нем, всех расспрашивает, а он как воды в рот набрал — молчит, не пишет уже несколько месяцев.

— Слышишь, Вихорек, что я говорю? — окликнула его Мария.

— Нет! — Самойло замедлил шаг.

— Мать твоя плачет, писем ждет. Как тебе не стыдно?

Моряк оборвал веселую песенку, круто обернулся.

— Письма все целы. Я их складываю. Вот приеду в отпуск и прямо с порога: здравствуйте, мамаша. Вот я, а вот и письма мои. Читайте и радуйтесь, пока в море тихо и в небе ясно. — И он приложил ухо к часам на руке. Мария схватила его за руку. Вихорь сопротивлялся, но руки не отнял. В нижнем кружочке циферблата, там, где секундная стрелка, была наклеена маленькая фотография. Круглолицая девичья головка с большими глазами, с двумя косами над лбом. Мария узнала себя. Это была старая, школьная фотография. И как он сберег ее?

— Тоже Марийка, только из Очакова, — Вихорь не дал Шагайде взглянуть на часы и натянул на них рукав. — И не спрашивайте — не скажу. Мои куранты бьют

точно, и я никогда не опоздаю на свой трап. Мне пора. Будьте здоровы.

Они распрощались на улице матроса Кошки. Вихорь пошел обратно в порт. Мария молча смотрела ему вслед, но вскоре потеряла его из виду. В людском потоке синели полосатые воротники матросов, трепетали муаровые ленточки с золотыми якорями. Найти в толпе Вихоря было невозможно.

Эскадра стояла на внутреннем рейде, и с Малахова кургана, от бронзового памятника адмиралу Корнилову, ее хорошо было видно.

— Посидим тут, Мария, я люблю это место, — сказал Петр, расстилая на гранитном подножье памятника белый платок.

II

Вихорь вышел на Приморский бульвар и заметил Андрея Голубова. Краснофлотец сидел на скамье один, попыхивая прокуренной трубкой. Он разглядывал празднично разодетых севастопольцев, прохаживавшихся в компании морских офицеров, незнакомых девушек, которые шли под руку с матросами и слушали невероятные рассказы о морских приключениях. Тут, на берегу, у него еще не было ни товарищей, ни знакомых, и неведомый город казался моряку загадочным.

Вихорь, распрощавшись с Марией и мичманом, почувствовал безразличие ко всему. Не зная, куда себя девать, он наобум брел по шумным улицам и уже хотел возвращаться на эсминец, но, увидев Голубова, сразу повеселел и круто повернул к скамье, на которой сидел Андрей.

— Комендор, чего голову повесил? Выше голову, комендор! — весело крикнул он, подсаживаясь к Голубову. — Вы находитесь не в лесу, а на земле черноморской славы. Значит, выше нос!

— Да вот все примеряюсь, — не поднимая головы, ответил Андрей. — Как мне и куда? Один я тут. Вот и думаю, вспоминаю все, что раньше читал о Севастополе: сразу-то не побежишь туда, в город. И тоска меня берет, как подумаю, что ребята наши колхозные не побывали здесь, не повидали все своими глазами... Бедовые у нас ребята...

Вихорь посмотрел туда, где высился Малахов курган,

покрытый реденькой рощицей желтой акации, и, подумав о мичмане и Марии, глубоко затянулся папиросой.

— Не надо вешать головы. Возьмите себя в руки. Какая тут, к черту, тоска? Пусть ваши парни просятся на флот, вот и увидят все. А может, у вас что другое? Может, о девушке взгрустнулось?..

Голубов поднял на мичмана по-детски чистые глаза, стараясь угадать: шутит Вихорь или серьезно спрашивает о девушке. Мичман давно присматривался к Голубову; вначале, когда готовили «Грозу» к спуску, он был неповоротлив и молчалив, тосковал о своих степях и колхозе, вспоминал о них с дрожью в голосе, дважды в день писал домой письма. Но на палубе корабля настроение его сразу изменилось. Стоя у орудия, он четко выполнял все приказы и команды, быстрее других разобрался в сложной механике артиллерийских расчетов, научился быстро и точно наводить орудие на движущуюся цель. И когда эскадра вышла в море на боевые маневры, Андрей Голубов на стрельбах по щитам первый получил благодарность от капитана третьего ранга.

Вихорю нравился этот матрос, он любил разговаривать с ним и во время таких бесед всякий раз выкладывал ему тайны корабельной артиллерии. Ему по душе была сообразительность и вечно беспокойная мысль Андрея, его исключительная честность в отношении к товарищам, упорство, настойчивость. Голубов тоже тянулся к мичману. То, что матрос сейчас в одиночестве сидел на бульваре, беспокоило Вихоря.

— Докуривайте трубку и двинемся. У меня тоже на душе шторм. Ходил к девушке одной, землячке. И вот, как видите, сижу рядом с вами.

— Что же, не застали?

— Застал.

— Так в чем же дело?

— Не ждала. Да что говорить, — махнул рукой Вихорь и растоптал папиросу. — Скучная это история.

— Пойдемте, — Голубов встал.

Прогуливаясь, они зашли в Севастопольский музей и остановились перед столиком, где под стеклом лежала свинцовая пуля, которой был убит Нахимов. Моряки стояли, склонив головы, и им казалось, что они различают следы крови на сером куске металла. Перед ними

висел портрет Нахимова: адмирал смотрел куда-то в сторону, словно прячась от постороннего взгляда.

— Я слышал, он прогонял всех художников, это кто-то тайком нарисовал его, — прошептал Голубов.

— А ведь Севастополь отстаивали тысячи простых людей, и, знаете, Андрей, здесь есть портреты некоторых из них. Вон на той стене портрет. Это — матрос Кошка. Красавец! А это Даша Севастопольская... А там дальше целая галерея, да в панораме сколько. Много героев было тогда в Севастополе.

Выйдя из музея, моряки пошли по улице Ленина, то и дело останавливаясь у маленьких домиков, прилепившихся к высоким и светлым зданиям. Издали старина резала глаз, нарушала архитектурный ансамбль. Но вблизи она выступала во всем величии и красе.

Моряки долго рассматривали почерневшие каменные стены, читали на мраморных досках дорогие имена. Доски потемнели от времени и дождей, но в изгибах резных букв еще горели следы зеленоватой бронзы: «Тут жил и работал...», и были обозначены годы и имена тех, кто тут жил. Лев Толстой, хирург Пирогов, адмирал Нахимов. Живая история России вставала вокруг моряков. Голубов снимал бескозырку и долго стоял у порогов, не замечая, что делается вокруг.

Вихорь тоже шел под впечатлением виденного и в боковой аллее чуть не столкнулся с Марией. Пока они осматривали город и музей, девушка пришла с Шагайдой в сад к Панораме.

Вихорь крепко схватил Андрея за руку и быстро потащил за кипарисы. Присев на траву, он начал расшнуровывать ботинок, а голос Марии звенел, казалось, над самым ухом:

— Он очень славный. Только все порывается куда-то, а чуть что не по нем, просто становится сам не свой. Мятежное, но доброе сердце. Ты сам увидишь, Петр.

— Ты все время разговариваешь о Вихоре. Почему же ты его не задержала?

— Я найду его. Он еще придет сюда.

Услышав это, Вихорь потянул за собой Андрея напрямик через кусты в другую аллею. Он думал, что Голубов ни о чем не догадывается, и поэтому заговорил первый.

— Пойдемте. Я вам Панораму покажу, и редуты все,

и старинные пушки с ядрами. Там все сохранилось. И обелиск Толстому, и даже деревья, которые в осаде сажали. А тут климат для нас неподходящий. Пойдем!

— Это она? — спросил Голубов.

— Она, — тихо ответил Вихорь. — Я ведь от матери письмо получил, знал, что Мария здесь...

На берегу толпились севастопольцы. Одетые в лучшие наряды, они пришли к морю с самых дальних окраин города. Матери поднимали над головами детей, и дети ручонками приветливо махали кораблям. Старые матросы стояли навытяжку, равняясь на темносизые корпуса кораблей. Девушки в легких ярких платьях прижимались друг к другу, не сводя глаз с застывших у бортов матросов.

На бульварах заиграли духовые оркестры, вспыхнули горячие аплодисменты, и их оглушительный гром поплыл над морем, эхом перекатываясь по бульварам и паркам.

Андрей Голубов впервые видел такое зрелище. Он непроизвольно снял бескозырку и стоял так, очарованный, забыв обо всем.

На землю медленно спускался вечер, и там, где стояла эскадра, море было залито тысячами огней. Огни дрожали, перемежались, и казалось, что в бухте горит вода, излучая сияние. В этом сиянии мерцали крупные южные звезды, роняя на сонную землю капли холодного зеленоватого света.

III

Поздно вечером в Доме Черноморского флота закончился разбор учебных маневров. В торжественной гишине командующий Черноморским флотом поздравил моряков. Среди кораблей, отличившихся на маневрах, он отметил эсминец «Грозу», а перечисляя фамилии лучших моряков, назвал Андрея Голубова. Вихорь чуть не вскрикнул от радости, но адмирал уже называл фамилии других моряков, и среди них мичман услышал имя Шагайды и свое собственное. Оказалось, что мичман Шагайда служил на миноносце «Стремительный» и изобрел какое-то приспособление к торпедным аппаратам.

«Учиться поедет», — позавидовал Вихорь и вышел из зала, разыскивая глазами Марию. Он видел, как она прошла в вестибюль вместе с Шагайдой.

Началось традиционное гулянье в честь возвращения флота в Севастополь. В высоком зале гремел оркестр, на веранде пели и плясали матросы, и Мария все не хотела идти домой. Она увидела в толпе Вихоря, который ходил с каким-то моряком, рассматривая портреты лучших людей флота. Вот они задержались перед портретом Шагайды. Мария видела портрет в начале вечера, и он понравился ей.

Художник запечатлел мичмана Шагайду в море, у торпедного аппарата. Из-под козырька выбился вихор. Глаза прищурены от солнца, словно ищут и ждут кого-то. Еще мгновенье, и аппарат сверкнет струей сжатого воздуха. А вокруг мичмана, как будто серебряный нимб, серебристая морская даль. Кажется, сейчас подует ветер, отбросит с глаз русый вихор, и тот затрепещет. Вихорь все размахивал перед портретом рукой, что-то рассказывал товарищу, и Марии очень хотелось узнать, о чем он думает в эту минуту. Наконец она встретилась глазами с Вихорем, но он быстро отвернулся и, схватив под руку моряка, снова исчез.

— Пройдемся немного, — Мария взяла брата и Шагайду под руки.

По устланной ковром лестнице спускался контр-адмирал Багров. Он шел один, положив за борт кителя большую волосатую руку. На худом лице резко выделялись седые, коротко подстриженные усы. Платон Богучар подошел к нему, козырнул.

— Нехорошо так, Платон Остапович, нехорошо, — улыбнулся Багров. — Такую красавицу водите, а я ничего не знаю.

— Сестра.

— Знаю, что сестра, и зовут ее, кажется, Мария. Ну, что ж? Будем знакомы. Гляди, как выросла. Помню, как ее в люльке качали, а она не давала спать родителям, — он взял Марию под руку.

Шагайда и Платон шли за ними. Мария рассказывала контр-адмиралу об отце: он уже постарел, больше не работает на заводе, а все возится в огороде и в саду. Кухню до сих пор называет камбузом, столовую — кают-компанией, а веранду, увитую виноградом, не иначе, как капитанским мостиком. Покрикивает на мать, но уже не так. Часто вспоминает его, контр-адмирала, даже грозится в гости приехать, прямо на корабль.

— А я, верно, никогда не соберусь, — вздохнул Багров и умолк. Он ясно представил себе боевой двухтрубный корабль, на котором служил боцманом, а Остап Богучар — баталером. Они подняли на реях корабля красный флаг, и матросы выбрали Багрова председателем революционного комитета. Остап Богучар, и он, Багров, и все матросы принимали на корабле делегатов Балтийского флота, пробившихся к Одессе через фронты гражданской войны. Они всю ночь слушали рассказы балтийцев о Ленине. Делегаты с Балтики видели Владимира Ильича, слышали его голос. В этот же день черноморцы начали вооруженное восстание.

Многое мог бы рассказать Багров Марии о тех огненных годах, когда ее еще не было на свете, а большевики уже думали о ее будущей судьбе. И еще он мог рассказать, как интервенты хотели потопить их знамя в крови, введя свой флот в Черное море. С корабля на берег сошел ее отец, Остап. Мария не знала, как трудно приходилось ему в те черные дни. А Багров, вернувшись с Кавказа в Одессу, не сразу узнал Остапа Богучара, так тот сдал и поседел. Но выстоял.

— Вам надо отдохнуть, Николай Васильевич, — уже в ресторане сказала Мария. — Устали, верно, в море?

Все четверо уселись за столик.

— Теперь произнесем здравицу за наш флот. Вырос он уже, встал на ноги. И за вас, Мария. При рождении флота я был, а вот на ваше опоздал. Приехал только на третий день, когда вам уже имя дали и во всех книгах записали. Ну и неугомонная же была. Говорят, весь род ваш такой? — контр-адмирал взглянул на Платона.

— Вам виднее, Николай Васильевич, — ответил тот.

— Тогда выпьем за род Богучаров, честный морской род, — поднял бокал Багров.

— И поздравим честных моряков, которые хотят с ним породниться, — Платон повернулся к Шагайде, и на мгновенье задержал перед ним свою рюмку. Мария побледнела и опустила глаза. Багров даже наклонился к мичману и удивленно начал его разглядывать, словно припоминая, где он его видел.

Но им не удалось осушить бокалы. К столу подбежал бледный адъютант, в руках у него были реглан и фуражка, он что-то коротко и отрывисто прошептал контр-адмиралу на ухо.

Багров нахмурил седеющие брови, поставил рюмку на стол.

— Простите... Я должен немедленно идти, — сказал он, надевая реглан.

— Николай Васильевич... что случилось? — спросила Мария.

Багров не ответил и быстро спустился по высоким ступеням, на ходу застегивая реглан.

Моряки молча выпили вино, поставили рюмки на стол. В зале играл оркестр, звучала песня, но за окнами уже слышались пронзительные гудки автомобилей.

Потом во всех залах и коридорах внезапно прозвучали звонки большого боя, и сразу же замер оркестр, смолкли песни.

Матросы и офицеры бросились к выходу. В это время всюду погас свет, и Дом Черноморского флота погрузился в непроглядную тьму.

На улице уже урчали грузовики, матросы прыгали в кузовы.

Мария вслед за мужчинами выбежала на улицу. Она опомнилась только, когда Петр Шагайда обжег ее поцелуем и тоже прыгнул в грузовик.

— Прощай, Мария, — шепнул он.

Кто-то громко всхлипывал под ветвистым каштаном. Грузовики с моряками понеслись к порту, а женщины все еще стояли, сбившись в кучу, молчаливые, испуганные. Потом и они побежали мимо часовых, спотыкаясь в темноте.

Когда Мария пришла домой, край неба над горами уже светлел.

IV

Трудно было заснуть в такую ночь.

Но старый мастер Артем Громов и не думал о сне. Он дежурил на Морском заводе, на котором каждый цех был ему знаком до мельчайших подробностей так же, как дом и дворик на Лабораторном шоссе. Этот дом Артем Громов выстроил вместе со своей женой Варварой вскоре после их переезда из Тулы в теплый Севастополь. Это произошло сразу после революции, когда с Тульских оружейных заводов на Черное море была послана большая группа квалифицированных токарей, слесарей и ме-

хаников. Туляки быстро привыкли к морю, полюбили матросов и их корабли, сдружились со старыми черноморскими кораблестроителями, овладели сложным делом вооружения морского флота. Они осели под Южным Бугом, в Николаеве, вдоль лиманов, в Одессе, на Кавказском побережье и всюду на Черном море, в портах, где были корабли. В Севастополе их домики раскинулись на Корабельной стороне, Ушаковой балке, на Лабораторном шоссе. Артем Громов развел у себя во дворе плодовый сад и виноградник, устроил пасеку. Тут выросли два его старших сына и дочка Люба, родился младший Игорь. Сыновья выросли и улетели от отца. Один в Ленинград, на Балтийский флот, подводником, другой — в Москву, в пехотное училище. Люба закончила педагогический институт в Симферополе и вернулась к родителям, получив место учительницы в одной из многочисленных севастопольских школ. Младший — Игорь — с малолетства увлекся морем. Он знал названия многих кораблей, умел издалека различать их силуэты. Он был уже не туляк, а севастополец, и о Туле знал мало. Игорь слышал от родителей, что в Туле работают его родные тетки и дяди, заслуженные оружейные мастера. Знал он еще, что улицы там носят оружейные названия: Курковая, Ствольная, Пороховая. Но там не было ни моря, ни кораблей, и поэтому Тула мало привлекала молодого Громова. Зато, когда к ним из Тулы приезжали гости, Игорь с радостью водил их по Севастополю, показывал бухты, корабли, исторические места времен героической обороны города. Артем Громов только плечами пожимал, недоумевая, когда его сын успел стать таким знатоком Севастополя.

Теперь Игорь, верно, уже набегался и спит. Жаль, что дома, на Лабораторном шоссе, нет телефона, а то бы Артем позвонил и проверил у Варвары: не поздно ли вернулся Игорь, ужинал ли? Да ничего, Варвара не очень потакает сыну.

Спокойно чувствует себя Артем на родном Морском заводе. С открытого балкона заводской конторы ему хорошо видны молчаливые цехи, пустой двор и широкие доки на берегу глубокой бухты. Слышно, как ровно дышит котельная, шелестит густая акация, плещет в бухте малая волна, ударяясь в бронированные тела кораблей. Артем Громов издали узнает крейсер «Молотов», линкор

«Севастополь», эскадренные миноносцы «Стремительный» и «Гроза»; разукрашенные разноцветными огнями, корабли дремлют на тихой воде. В каждый из этих кораблей вложен и его, Артема, труд. В дизели, электромоторы, в орудия и зенитные пулеметы. Верно, и механизмы устали в море на маневрах. Жаль, что Артем не успел поговорить со своим соседом, командиром «Стремительного», капитаном третьего ранга Платоном Богучаром. Интересно знать, как вели себя на учениях боевые механизмы «Стремительного»?

Капитан третьего ранга Богучар живет у него в доме, в комнате с верандой, выходящей в сад. Хороший, компанейский командир. Когда он в море, Артем скучает. Не с кем душу отвести старику. А когда моряк возвращается в Севастополь, наступает настоящий праздник. К нему приходят морские офицеры, усаживаются на увитой виноградом веранде, Варвара ставит перед ними тульский самовар, и тогда Артем попадает в центр их внимания. Жаль, что пришлось сегодня дежурить, а то бы до сих пор беседовал с ними. Есть причина. Вернулась эскадра. К Платону Богучару из Одессы приехала сестра Мария. А, может, не к нему она приехала? Вчера, когда Артем собрался на ночное дежурство, к Марии пришли два мичмана. Петра Шагайду, пришедшего первым, Артем знает давно, он часто ходит к Платону. А второго мичмана Артем видит впервые. Красивая Мария и умная, видно. Но зачем это к ней сразу два мичмана пришли? И, кажется, она к обоим одинаково относится. Тут что-то есть, и вообще — это непорядок. Отец ее, Остап Богучар, старый моряк, сыновья его честные офицеры, а она какая-то странная. Своей Любе Артем не разрешил бы так вести себя. Он просто не отпустил бы ее от себя, даже к брату на Балтику... Надо будет сказать об этом Платону. Пусть присмотрит за сестрой. Порядок должен быть такой, как в старые времена в Туле, когда его Варвара была молодой и он проводил с ней целые вечера. У его Варвары сроду не бывало, чтобы по двое приходили. Это позор для всей семьи. Много красивых да пригожих парней на свете, а суженый один... Не перебирай, если одного полюбила.

На этих днях у Артема и Варвары торжество — юбилей их свадьбы. Тридцать лет, как поженились.

Соберут они всех друзей, старых и молодых. Раньше

Варвара, а потом Артем расскажут молодым, что такое жизнь, как ее надо начинать, расскажут, что любовь надо беречь, не пускать ее на ветер. Пусть слушают да учатся. Будет среди гостей и Платон Богучар с сестрой. Артем пригласил ради такого праздника и одного из секретарей горкома партии — Елену Михайловну Кулик. Она очень нравилась Варваре, к тому же ее дед был участником обороны Севастополя, знал адмиралов Нахимова и Корнилова. Хирург Пирогов ему операцию делал. Старик много рассказывал своей внучке Елене об этих временах, всем будет интересно ее послушать.

Недавно она звонила на Морзавод. Услышала, что дежурит Артем Громов, и сразу голос ее стал мягче, душевнее. Артем даже растерялся немного, забыл напомнить о своем юбилее. Она тоже дежурит сегодня в горкоме партии, и ничего не случится, если Артем ей сейчас позвонит. Не должна же она спать на посту, да еще в такую ночь, когда флот вернулся на базу и весь Севастополь наполнен звуками песен, громом оркестров.

Артем подходит к столику с телефонами и с минуту словно раздумывает, за какой аппарат взяться. Наконец откашливается, разглаживает усы, берет трубку.

— Алло! Прошу пятый. Пятый?

В телефонной трубке послышалось спокойное дыхание.

— Елена Михайловна, это я — Громов. Спасибо. Хорошо. Только вот забыл напомнить вам о нашем юбилее. Непременно приходите. Варвара сказала, что без вас не начнем, так и знайте... Что? Муж в Москву улетел? А вы без него. Хорошо. Большое вам спасибо. И от Варвары, и от меня,— Артем вытер усы и вздохнул.

А на другом конце телефонного провода стояла улыбающаяся Елена Михайловна. Перед нею лежал уже сонный Севастополь, белели колонны и мраморные львы Графской пристани, медленно утихал праздничный шум, где-то далеко звенела гитара. Над морем плыла тихая черная ночь, пряча в складках своих одежд и бухты, и море, и корабли. В домах и на кораблях гас свет, замолкали оркестры. Женщина подошла к большой карте, висевшей на стене, внимательно посмотрела на яркую звездочку, обозначавшую Москву. Там был ее муж. Но вдруг звездочка вздрогнула, свет ее расплылся, начал гаснуть. Тревожно запел гудок Морского завода. Часы

показывали двадцать пять минут второго. Елена Михайловна выглянула в окно. В глубоком небе таял след далекой ракеты. Рассыпавшись в темноте на множество зеленых искр, она медленно падала на землю.

«Что случилось? — промелькнуло в голове у Елены Михайловны.— Неужели опять боевая тревога? Но почему же в таком случае командование не оповестило об этом горком партии? Нет, здесь что-то не так... Это что-то серьезное...»

Зазвенел телефон.

Елена Михайловна схватила трубку.

— Дежурный горкома партии Елена Кулик,— спокойно и тихо сказала она.

— Я дежурный штаба береговой охраны, — послышался в ответ простуженный басовитый голос.— Генерал приказал сообщить, что в Севастополе объявлен большой сбор и вводится боевое угрожаемое положение. Вы слышите меня? Боевое, угрожаемое положение! — громко и медленно повторил дежурный, четко выговаривая каждое слово.

Сердце быстро забилось, и женщина увидела в высоком зеркале свое побледневшее, вытянувшееся лицо. Какая-то невероятная тяжесть опустилась ей на плечи, давила, прижимала к земле. Ноги подкосились, в горле застрял горячий клубок. Это продолжалось одно мгновенье. На стене затрещал репродуктор, и спокойный мужской голос объявил о большом сборе и гарнизонной тревоге.

Елена Михайловна позвонила на квартиру к первому секретарю, но он уже уехал в горком. Севастополь сразу потонул в непроглядной тьме. По каменным ступенькам застучали чьи-то поспешные шаги, и в комнату вбежал заспанный технический секретарь. Даже не поздоровавшись, он бросился к телефонам и сразу же начал вызывать членов бюро и секретарей райкомов. Говорил сдержанно, коротко, ведя разговор сразу по двум телефонам. Как раз в это время в кабинет быстро и почти бесшумно вошел первый секретарь. Елена Михайловна бросилась ему навстречу, схватила его за локоть, горячей щекой прижалась к его широкому плечу.

— Почему вы молчите? Что случилось? — прошептала она.

— Кажется, это война,— глухо сказал секретарь.

— Война? — переспросила Елена Михайловна.

— Командующий флотом получил шифровку сегодня ночью. Мы должны быть готовы к возможному нападению немецких бомбардировщиков на Севастополь. Надо немедленно созвать бюро.

Елена Михайловна посмотрела ему в глаза:

— Война уже объявлена?

— Таких сведений у нас еще нет. Но фашисты теперь, кажется, войн не объявляют. Они просто неожиданно начинают военные действия, — ответил секретарь.

Заседание закончилось очень быстро. Бюро приняло решение немедленно вызвать на предприятия и в учреждения всех руководителей и коммунистов, укрыть население, обеспечить в городе порядок, светомаскировку. К трем часам ночи все заводы, предприятия и учреждения города были приведены в боевую готовность.

Члены бюро и секретари райкомов спешно покинули горком. Когда они уже были на своих боевых постах, из штаба ПВО флота сообщили, что к Севастополю приближаются самолеты противника. Часы показывали начало четвертого.

В черное небо взвились широкие лучи прожекторов. Словно гигантские ножи, они скрестились в зените, окружив Севастополь сплошной стеной. Ударила зенитная артиллерия, густым огнем преградив подступы к городу.

От орудийных залпов где-то совсем близко звякнуло разбитое стекло. Елена Михайловна выбежала на балкон.

В бездонном небе два прожекторных луча поймали вражеский самолет. Самолет падал на крыло, рвался вверх, но прожекторы крепко держали его. Вот он уже над бухтой, свернул к Севастополю, и вдруг оглушительный взрыв раздается над городом. Воздушная волна разбивает стеклянную дверь на балконе, из окон сыплются стекла. Звонит телефон. С поста противовоздушной обороны сообщают, что на Приморском бульваре разорвалась первая фашистская мина, спущенная на парашюте. Вторая разорвалась на углу улиц Щербака и Подгорной.

Утром стало известно, что эти большие электромагнитные мины предназначались для кораблей.

В кабинете снова прозвучал телефонный звонок. Елене Михайловне сообщили, что звонили из Москвы и спрашивали о положении в Севастополе.

В четыре часа сорок минут был дан отбой воздушной тревоги.

V

Мария вернулась в семью Громовых грустная и молчаливая. Перед глазами еще стояло ослепительное море, холодное и пустынное до самого горизонта. На нем ни дымка, в небе ни облачка. Только тоненькие акации шумят на Малаховом кургане да выбитые на граните слова у подножья памятника Корнилову словно нашептывают последнее предсмертное приказание адмирала: «Отстаивайте же Севастополь...» Вчера, сидя возле памятника с Петром Шагайдой, она не обратила внимания на эти слова, а сегодня они всплыли в памяти, суровые, предсказывающие смертельную опасность.

На Севастополь упали первые бомбы. Корабли ушли в море. На их палубах брат Платон и оба мичмана — Вихорь и Шагайда. Где они в эту минуту, что станется с ними в море? Где-то там, за морем, куда, верно, и направились корабли, лежала родная Одесса, шумели сады на Пересыпи, зеркалом поблескивали широкие лиманы. Что-то в эту ночь произошло в Одессе? Живы ли отец и мать, брат Славка? Верно, фашисты и Одессу бомбили, раз прилетели в Севастополь. Мать, должно быть, места себе не находит, волнуясь о ней, клянет себя за то, что разрешила Марии поехать в Севастополь к брату. Мать всегда была и останется такой — ревнивая, настороженная, вечно в волнении за единственную дочку. Но кто знал, что все произойдет так внезапно и неожиданно.

Девушка остановилась у ворот дома Громовых. Улица тиха и пустынна. Вот по ней прошел военный патруль. Два матроса в касках, за плечами винтовки, поблескивают штыки, на поясах подсумки. Матросы внимательно посмотрели на Марию и молча пошли дальше, даже словом не перемолвились. Прямые, спокойные, идут в ногу, слегка вразвалку, как все матросы, которые сходят с корабля на сушу. Потом к порту промчались два грузовика с пехотинцами. Бойцы сидели неподвижно,

смотрели вперед. Все в касках, между колен винтовки, зажатые в руках. На штыках тускло поблескивает солнце. Через плечо — новенькие противогазы.

Мария вздохнула и вошла во двор.

На крыльце ее встретила Варвара.

— Наших нет? — спросила она и потерла ладонью покрасневшие воспаленные веки.

— Нет, — тихо ответила Мария. — И море чисто, и в бухтах пусто...

— Теперь они, дочка, не скоро вернутся в Севастополь. Ой, не скоро. Ты их не жди, а становись на работу. Все сегодня становятся на работу,— спокойно проговорила Варвара.

— На работу? — тихо спросила Мария.

— Да. Утром по радио передавали обращение городского комитета партии. Там сказано, чтобы все севастопольцы поддерживали спокойствие и порядок, а сегодня, в воскресенье, организованно вышли на работу на заводы и предприятия... Люба уже ушла, Игорь побежал в свою школу. Мой Артем не придет с ночного дежурства, остался на Морзаводе. Я скоро пойду к нему. Пойдешь со мной?

— Пойду, Варвара Ивановна,— ласково сказала Мария и растерянно оглянулась вокруг.

Тихий нарядный дворик Громовых, густой сад и голубые ульи в кустах напомнили Марии родной дом в Одессе. Варвара Громова, так же как и ее мать, каждый день наводила порядок, во всем чувствовалась ее хозяйская, умелая рука.

Деревья и кусты были уже политы, дорожки тщательно подметены, земля на клумбах между цветами разрыхлена, бурьян выполот. Две бочки под водостоками до краев наполнены водой. Между ними большая куча белого морского песка. Вчера его тут еще не было. Верно, Варвара насыпала его сразу после ночной бомбежки, когда объявили отбой воздушной тревоги и Мария побежала на Малахов курган смотреть на море. Варвара уже управилась с домашним хозяйством и теперь спокойно вытирала вымытые до локтя руки. Мария с нежностью посмотрела на нее и подумала, что она чем-то напоминает ее родную мать. Мать тоже весь день хлопочет по дому и на огороде. У нее также с вечера политы все грядки, с утра подметены дорожки, сварен обед.

Варвара вынесла из дому халат для Марии, горшочек с клейстером и длинные полосы белой нарезанной бумаги. Мария надела халат, и они приступили к работе — начали заклеивать оконные стекла, укладывая бумажные полосы крест-накрест. От этого веселый дом Громовых сразу помрачнел, стал похож на забитое белыми досками покинутое жилище.

— Дом уже и так изуродован этой бумагой, а говорят, надо еще сажей обмазать стены, чтобы не белели ночью. Горе, да и только,— вздохнула Варвара.

— Раз нужно — значит нужно,— тихо сказала Мария.

— Ремонтировала его к празднику, штукатурила. Рамы Артем цинковыми белилами выкрасил. И вот тебе! — жаловалась Варвара, не слыша ее слов.

— Не одна же вы так делаете. Всем приказано.

— Знаю, но от этого еще тяжелее на сердце становится. Теперь весь Севастополь серым станет, а он ведь у нас белокаменный, как храм. Таким его все знают с тех пор, как он стоит у моря...

— А наша Одесса какая, Варвара Ивановна! Такой второй нет! — сказала Мария, зажмурив глаза.

— Не знаю, в вашей Одессе не была,— сухо ответила Варвара.— Давай умоемся, а то уже на завод к Артему пора. Может, он и не ел с вечера? Кто знает... Он эту ночь не спал, так, не спавши, и к работе приступил. Правда, в Севастополе никто не спал. Может, и Одесса твоя не спала.

— Может, не спала,— прошептала Мария, и они начали собираться на завод.

Варвара на всякий случай старательно уложила в плетеную из лозы корзинку завернутый в теплый платок горшочек с борщом, эмалированную кастрюльку с гречневой кашей и котлетами, термос с горячим молоком и хлеб. У калитки Варвара оглянулась на тихий дворик, вспоминая, не забыла ли чего, но, увидав заклеенные бумагой окна, быстро вышла на улицу.

Они шли под гору по Корабельной стороне, и Севастополь лежал перед ними тихий, словно обезлюдевший. В двориках за каменными оградами люди работали ломами, звенели лопатами, копая щели. Хозяйки возились у окон, оклеивая их бумагой. Дворники мазали известью края мостовых, чтобы по ночам шоферам была видна

дорога. Однообразно звучали размеренные шаги патрулей, да проносились автобусы и грузовики, полные голосистой детворы. Тысячи ребят в этот день вывезены за город.

У высоких ворот Морского завода уже стояла группа женщин и детей, у всех в руках кошолки и узелки. Все ждали заводского гудка, после которого откроются ворота. Большинство рабочих, а особенно молодежь и холостяки, питались в заводской столовой. Но сегодня казалось, что еду принесли всем: возле ворот собралась большая толпа. Женщины и дети стояли молчаливые и угрюмые, часто посматривали то на пустынное море, то на чистое и глубокое небо.

За высокими каменными стенами тяжело дышал завод, звенела [illegible]я броня, сухо потрескивали электросварочные аппараты, ухали паровые молоты, пыхтел маневровый паровоз, глухо катились автокары.

В дверях проходной будки появился седоусый рабочий, возбужденно и громко сказал:

— Товарищи! Внимание! Сейчас будет важное сообщение из Москвы. Не расходитесь, слушайте радио...

Женщины и дети окружили репродуктор, находившийся в садике у входа в завод, к ним вышли рабочие, быстро докуривая свои папиросы. Они узнавали в толпе жен, детей, и оттого, что вся семья была здесь рядом, у стен родного завода, на сердце становилось спокойнее.

Из проходной вышел Артем Громов, взял под руки Варвару и Марию, усадил рядом с собой на скамью. Он хотел спросить, что нового дома, где сейчас Игорь, Люба, но в ту же секунду из репродуктора донеслись спокойные, четкие слова диктора. И по толпе, словно шум морского прибоя, прокатилась волна облегчения.

— Молотов!

— Вячеслав Михайлович!

Все замолчали, сдерживая дыхание. Погасли огоньки папирос, все, кто сидел, сразу поднялись, теснее прижались друг к другу. Остановились на улице прохожие, затормозили автомобили. Весь Севастополь припал, прижался в это мгновенье к репродукторам и приемникам, сердцем ощущая близость родной Москвы. Вскоре над Черным морем прозвучали взволнованные, но ясные, понятные всем слова, и минувшая ночь показалась людям не такой страшной.

— Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

С минуту царила тишина.

Каждый, слушавший радио, всем сердцем почувствовал, что последние слова товарища Молотова, произнесенные твердо, непоколебимо и уверенно, были сказаны за всех советских людей, за весь народ.

Взволнованная Мария Богучар прижималась к Варваре и повторяла:

— Родная моя! Вы слышите? Победа будет за нами. Как хорошо, что я вместе с вами пошла к Артему Степановичу на завод...

VI

Пятые сутки на Дунае кипел ожесточенный и неравный бой. Переправившись через Дунай, враг пустил в ход танки, авиацию.

Еще на рассвете первого дня войны в бой по гревоге вступил артиллерийский полк Устима Богучара. Полковые орудия развернулись в Измаильской степи и открыли огонь по скоплению немецких и румынских войск. Пока подошла пехота, артиллеристы и пограничники крепко держали линию обороны, которая проходила по широкому водному плесу, извивалась в густых дунайских плавнях между камышом и озерами. Было очень трудно сдерживать на государственной границе превосходящие силы противника. Стволы гаубиц накалялись от беспрерывной стрельбы, их то и дело приходилось охлаждать. Стрелять становилось все труднее и труднее. Наши потери росли с каждым часом. Орудия Устима Богучара прямой наводкой вели огонь по понтонам и вражеским войскам, которые безудержно лезли на нашу землю. Наконец подошла пехота. Пограничники и пехотинцы все чаще прижимались к орудийным колесам и оттуда снова и снова бросались в штыковую атаку на вражескую пехоту, которая на челнах и баркасах уже несколько раз прорывалась через Дунай.

На шестые сутки к полудню положение стало критическим. На позиции одного из дивизионов, которым командовал капитан Борис Андреев, послышался крик:

— Пропали! Все погибло! — кричал интендант Гаркуша, выбегая из своего окопчика. Медная пряжка его пояса съехала на сторону, на животе беспомощно тряслась расстегнутая кобура. Со лба катился крупный пот, заливая черные глазки с редкими и куцыми ресницами. Стиснув ладонями голову, интендант бежал прямо в степь, все время оглядываясь. Нет, за ним никто не гнался, его не называли психопатом, не угрожали расстрелять. Командир первого дивизиона Андреев, почерневший за эти дни и ночи, не хотел отступать ни на шаг. Теперь единственная надежда Гаркуши была на командира полка. Он, верно, ничего не знает. Может быть, хоть он прикажет отступить. Связь с КП прервана, трое связных не вернулись. Гаркуша сам побежит на КП и все расскажет. Этот Андреев может погубить весь полк. Лучший артиллерийский полк в военном округе!

Интендант бежал, то и дело прижимаясь к земле, и не видел перед собой ни остроконечных крыш Измаила, утопающих в дыму, ни голой степи, расцветающей огненными кустами разрывов. Только бы добежать до командира полка...

Гаркуша с разбега упал в первый попавшийся окоп. Упал и чуть не сбил с ног командира полка. Устим Богучар подхватил его, подумав, что он ранен, но интендант сразу пришел в себя и опять закричал:

— Спасите людей! Это все Андреев... Погибли...

— Кто погиб? Андреев? — увидев искаженное лицо интенданта, Устим схватил его за руку, почти закричал: — Говори!

Гаркуша глотал горячий воздух, хлопал глазами и молча указывал на Дунай, туда, где горели плавни, рушились переправы, куда стрелял весь полк. В этом районе полк Устима Богучара задержал немцев и румын. Огонь был точным, губительным. Лодки и баркасы шли на дно, но враг все подбрасывал и подбрасывал новые пехотные и бронетанковые части.

Сегодня на рассвете бой вспыхнул с неслыханной силой. Замолчали в своих окопах пограничники. Подалась назад поредевшая пехота, и весь артиллерийский полк Устима Богучара попал под сокрушительный удар. Уже

замолкли три батареи, уже первый дивизион занимал круговую оборону, а вражеская пехота и танки рвались к нашим окопам. Вызвав начальника штаба, Богучар передал ему управление полком.

— Вперед, Гаркуша! — сказал командир и, первый выскочив из окопа, побежал пригибаясь. Гаркуша увидел новые желтые ремни, которые крест-накрест впились в спину Богучара, и ему словно послышалось, как они поскрипывают. За ним выскочил сержант Каюмов.

— Быстрее, быстрее,— шептал Каюмов и тяжело сопел над головой интенданта.

В балке они остановились. Навстречу им вышел Андреев. Обросший и худой, он устало покачивался на выгнутых, как у кавалериста, ногах. Голова перевязана, сквозь бинты проступает кровь. Он внимательно посмотрел на интенданта и отвернулся.

— К орудиям...— прошептал Андреев,— к орудиям. Почти вся прислуга погибла... Орудия скоро замолчат...

— Знамя! — приказал командир полка.— Всем оставшимся — к орудиям!

Каюмов развернул тяжелое бархатное полотнище, и оно зашелестело на ветру. Богучар схватил знамя.

— Клянусь партии,— рванулся Устим.— Вам клянусь, воины,— и уже бежал к другим умолкшим батареям. Из окопов выскакивали оставшиеся в живых бойцы и командиры. Они обгоняли Богучара и слышали одно только слово, срывавшееся с его губ: — Клянусь!

Солдаты прижимали к груди оружие, а знамя свободно развевалось над душной степью. Оно качалось над их головами, его видели все. Поднимались с земли те, кто прижался к ней, боясь смерти, шли за знаменем и видели впереди широкоплечую фигуру своего командира с новыми ремнями крест-накрест.

Снова ожили орудия умолкнувших дивизионов, ударили осколочными. И впервые артиллеристы увидели совсем близко сизые и гороховые мундиры врагов. Увидели и преградили им путь. А полковое знамя все реяло над степью, и пули рвали его бархат.

На переправе опять скопились вражеские танки и артиллерия. Телефонист выскочил из овражка, но сразу же взмахнул руками и упал.

Начался мощный огневой налет вражеской артиллерии, но Устим Богучар продолжал пробираться к еще

одной молчавшей батарее. Теперь он был один, остальные заменили погибших на других батареях. «Пехотинец — от пули, артиллерист — от снаряда...» — подумал Устим и упал возле мутного ручейка головой к воде.

Его нашли связные, когда ползли искать обрыв. Командир полка лежал ничком в луже крови. Они сразу узнали его по новой портупее на широких плечах. Портупея в двух местах была распорота осколком снаряда. Богучар потерял много крови и долго не приходил в сознание. Его везли на лошадях, потом переложили на «пикап», и шофер, затаив дыхание, прирос к рулю, чтобы раненого не качнуло на ухабистой дороге.

Полк по приказу выходил из трудных боев. Он отступал в боевом порядке. За «пикапом» Богучара тянулись машины тыловых подразделений, на тракторах двигались дивизионы. Над степью висел звон железа и густая пыль.

А навстречу по палящей молдавской степи на фронт двигались маршевые роты. Пехотинцы подозрительно осматривали отступающую тяжелую артиллерию. Они внимательно разглядывали артиллеристов, которые сидели на лафетах и зарядных ящиках, облепили тяжелые тягачи. Марлевые повязки на их головах, со следами запекшейся крови, говорили о том, что полк уже побывал в горячем бою. Но пехотинцы не знали, почему он возвращался, и артиллеристы слышали в их репликах нескрываемое недовольство:

— Ишь, какая силища! А отступает.

— Турок ты. Это дальнобойные.

— Ну, так что?

— А то, что они будут через твою голову немцам гостинцы кидать.

Артиллеристы расположились на хуторах. Устима уложили в молдавской хате на высокой постели. Он стонал в бреду, тяжело дышал, а приходя в сознание, слышал громкий говор, доносившийся со двора. Андреев ругал штабную батарею, распекал поваров, Гаркушу. Тихо, оберегая покой командира, под окном разговаривали Каюмов с телефонистом.

— Не удалось мне дослушать выступление товарища Молотова, мы в бой пошли. Но догадываюсь. В Берлин придем. Мне сам командир полка об этом говорил,— доверительно сообщил Каюмов.

Богучар невольно улыбнулся. Такого разговора с Каюмовым о Берлине у него не было, но ему стало тепло от этих слов. Он вспомнил, как в полку все старались услышать выступление товарища Молотова. Не удалось. Немцы опять начали наступать, и весь полк открыл огонь по переправам. Каюмов выдумал, что слушал радио. Речь Молотова прочитали потом в газетах, и всем стало легче, словно к ним на подмогу прибыл еще один полк.

Рана нестерпимо болела, настроение у Богучара было отвратительное. Он злился на пехоту, которая не удержала своих позиций, укорял авиацию, которая так редко появлялась над противником, с ожесточением ругал гнилые мосты, по которым не могла передвигаться артиллерия его полка. Потом проклинал свою рану. Все это надвигалось на него черной тучей, и он опять терял сознание.

Во дворе снова послышался голос Андреева, и Богучар увидел в окно командира дивизии генерала Ковалева. Он показывал рукой на хату и отчитывал Андреева. В комнату генерал вошел побагровевший, злой, даже не поздоровался с Устимом.

— Полевой санаторий организовали? Курорт на войне. Кто разрешил не выполнять моего приказа? — и круто повернулся к полковому доктору Гончарову, который уже стоял в дверях.

— Это ты, голубчик, хочешь загнать его в могилу? Кто тебе разрешил возить раненых за полком?

— Мне было приказано...— растерянно ответил доктор.

— Павел Владимирович, я сам виноват. Жаль мне полк,— взмолился Богучар.

— А вот оставишь. Немедленно. Сейчас! — уже спокойно проговорил генерал.— Ну-ка, орлы, собирайтесь,— отвезете его в госпиталь и доложите. Идите!

Доктор исчез. Ковалев подошел к Устиму, поправил подушку.

— Скандал. Я приказал отправить в госпиталь — и вдруг узнаю, что вы до сих пор в полку.

— Я поеду, но скажите мне, кто будет командовать моим полком? — уже не сдерживаясь, застонал Богучар.

Генерал замахал на него руками:

— Ни слова! В госпиталь. Немедленно! Сейчас же!

VII

Рядовой полка морской пехоты Охрим Бандура прибыл в Одессу очень рано; дворники еще только подметали улицы и поливали тротуары из длинных шлангов. Бандура имел при себе срочный пакет, который должен был передать в собственные руки контр-адмиралу Багрову. Пакет был от комиссара полка подполковника Зеленцова, старого моряка, который служил когда-то на Тихом океане, потом на Балтике, а теперь по приказу контр-адмирала оставил Одесский военный порт и пошел в морскую пехоту. Охрим Бандура слышал от матросов, что комиссар его полка Зеленцов был старым другом контр-адмирала,— когда-то они служили на одном корабле. Контр-адмирал Багров в первые же дни войны оставил свою эскадру и был назначен командующим черноморскими силами в районе Одессы. Теперь его эскадра была далеко от родных берегов.

Охрим Бандура, стоя в бюро пропусков, еще раз внимательно осмотрел себя, залихватски подкрутил усы, поправил бескозырку и туже затянул пояс с медной бляхой. Охриму хотелось, чтобы контр-адмирал с первого взгляда признал в нем бывалого моряка, который служил в составе одной из первых команд на крейсере «Червона Украина» и теперь вновь был призван на флот. В полку морской пехоты тех, кто после мобилизации не попал на свои корабли, а был зачислен в экипажные команды на суше, было подавляющее большинство. На кораблях хватало и своих матросов, которые отбывали действительную службу.

В бюро пропусков было пусто. Охрим подошел к окошечку, за которым сидел старшина, и робко сказал:

— Мне к контр-адмиралу Багрову. Пакет несу.

— Откуда прибыл? — спросил старшина.

— От комиссара Зеленцова. Морская пехота мы,— гордо объявил Охрим.

— Вижу,— улыбнулся старшина.

— Почему видите? — удивился Охрим.

— Очень уж бескозырку набекрень сбил. Поправь, а то контр-адмирал сам поправит. А он как поправит, так скоро забудешь к нам дорогу, — спокойно сказал старшина и выписал пропуск.

— А он уже здесь? — спросил Охрим, поправляя бескозырку.

— Наш контр-адмирал ночует в штабе. Тут его палуба... Вот теперь правильно, по уставу бескозырка. Можешь идти,— удовлетворенно сказал старшина и закрыл окошечко.

Охрим шел тихими коридорами, по чистым пушистым дорожкам, заглушающим шаги, и думал о своей Качановке. Он распрощался с ней в первый же день войны, но ему до сих пор кажется, что все это было только вчера. И женский плач на железнодорожной станции, и море густых хлебов, тянущихся вдоль всей дороги вплоть до Одессы, и первая бомбежка эшелона на мосту возле Кременчуга. А потом заблестело море. Охрим получил форму и сразу пошел в бой. Полк морской пехоты встретил врага на Днестре, и там, где стояли моряки, не могли пройти ни фашистские танки, ни моторизованная пехота. Только их самолеты целыми днями летали над головой, сбрасывая фугаски на моряков и зажигательные бомбы на рожь и пшеницу. Охрима назначили пулеметчиком в разведроту. Ночами Охрим видел, как по всей степи горел хлеб нового урожая. Огненное зарево поднималось над фронтом, и у Охрима на глазах невольно наворачивались слезы. Хлеб горел страшным, высоким пламенем, и вся степь горько пахла горелым хлебом.

В это время упорные бои уже завязались на мурманском, кексгольмском, двинском, минском и луцком направлениях. Там тоже гибло в огне народное добро, день и ночь пылали села и нивы. А тут, в черноморской степи, фашистские полчища рвались к морю, намереваясь с хода взять Одессу и ее порты. Что же делается в его Качановке, там, под Полтавой? Началась ли уже уборка или хлеб осыпается так же, как и здесь? Мужчины на войне, а женщинам одним не управиться с таким урожаем. От этих мыслей на сердце у Охрима Бандуры становилось грустно.

Адъютант ввел его к контр-адмиралу. Охрим вытянулся и, четко доложив о поручении, протянул пакет. Багров сломал сургучные печати и начал читать донесение.

На открытых окнах вздрагивали от ветра шелковые занавески, да на стене едва слышно отстукивали морские

часы. Сбоку у стены стояла железная солдатская койка, аккуратно заправленная синим флотским одеялом. Над столом висела большая военная карта Одесской области, и Охрим увидел на ней три стрелки, проведенные синим карандашом, которые словно опоясывали, окружали Одессу, упираясь острыми концами в море.

— Хорошо. Передайте комиссару на словах, что автоматы у вас будут. Получите с первым транспортом,— сказал контр-адмирал, внимательно рассматривая Бандуру.— Тяжеленько у нас с автоматами.

— Мы знаем, товарищ контр-адмирал, но без них нам нельзя. Нам бы хоть на одну роту, на разведчиков. Охотимся за трофейными, но их пока маловато,— объяснил Бандура.

— Скоро будет больше. Много будет,— сказал Багров и неожиданно спросил: — А вы сами откуда?

— Полевод колхоза имени Сталина на Полтавщине. Село наше Качановка. Золотую медаль за озимую пшеницу имею. На выставке в Москве дали.

— А на флот как попали?

— По призыву. Когда-то служил на крейсере «Червона Украина». А теперь, как видите...

— На что жалуется морская пехота?

Охрим вытер широкой ладонью смуглый лоб, словно что-то припоминая, сморщил переносицу и тихо ответил:

— Жалоб, как таковых, у морской пехоты нет. Вот только автоматы и авиация. Мало их у нас, а фашист день и ночь гуляет по небу, словно у себя дома. Бомбит и рожь сжигает. Ох, как страшно она горит, рожь. Кажется, грудью бы закрыл поля... — Охрим вздохнул и опустил глаза.

— Я понимаю вас, но война есть война, — строго сказал Багров.

— Вот под Одессой жатва началась, а убирать хлеб некому. Сердце болит, когда видишь, как все гибнет, перестаивает, осыпается. Меня ночью, когда нет боя, так и тянет помочь колхозницам косить да вязать... — с грустью сказал Охрим.

Багров поближе придвинул свой стул к Охриму, и в глазах его затеплился ласковый огонек. Он рассматривал пожилого матроса, его сильные крестьянские руки, привыкшие обрабатывать землю, выращивать высокие урожаи, бороться с засухой. Во всей его приземистой фи-

гуре чувствовалась большая сила настоящего властелина земли. И контр-адмирал вдруг представил себе матроса Бандуру с косой в руках и автоматом за плечами. Идет матрос по пшеничному полю, широко размахивает руками, выкашивает проход для комбайнов. На поясе висят гранаты, через плечо противогаз. Ему неудобно и тяжело в полной форме и при боевой выкладке, но крестьянская страсть к работе побеждает все. Потом по выкошенным им проходам движется комбайн, и вся степь наполняется могучим шумом машин. Золотое зерно сыплется в грузовики, пароконные бестарки везут его на элеваторы в Одессу, а Охрим с морской пехотой остается на голом жнивье. Он ночами лежит в окопах, бросается в атаку на врага, сдерживает его натиск, чтобы люди за его спиной успели убрать хлеб.

Контр-адмирал кладет руку на плечо Охриму.

— Сегодня из Одессы выезжает на уборку первая партия рабочей молодежи. Вторая поедет завтра. А потом еще и еще. Рабочие Одессы уже пришли на помощь колхозникам...

Багров поднялся. Охрим стоял против окна. Слепящее южное солнце било ему прямо в лицо, но он стоял перед контр-адмиралом навытяжку, смотрел на сверкающее море широко открытыми глазами, не мигая.

— Я, товарищ контр-адмирал, скажу одно. Скажу, как когда-то Чапаев своим пехотинцам говорил. Ну вот, напали на тебя семь врагов, не бойся. Ведь им надо семь бугорков в поле, чтобы спрятаться, а тебе один, ты его скорее найдешь. Убьешь одного врага, с шестью легче бороться. Убьешь второго — еще легче станет, а когда шестерых убьешь — один останется, так и он не убежит от тебя. Так думает и действует наша морская пехота.

— Спасибо за службу, — контр-адмирал подал матросу руку.

Охрим хотел было что-то сказать, но в это время в кабинет вбежал юркий адъютант и подал Багрову какие-то бумаги. Охрим щелкнул каблуками и, тихо ступая, вышел. Он был доволен разговором с контр-адмиралом; по дороге в штаб он и не думал, что все так хорошо обойдется. Ведь Багров мог и не принять его. Взял бы пакет через своего адъютанта, и конец. А он сам принял Охрима, выслушал его, поговорил.

— Краснофлотец! — окликнул его старшина из бюро пропусков.

Охрим подошел к нему.

— Ну, как твоя бескозырка? «Хозяин» не ругал? — спросил он.

— Полный порядок. Зачем ругать? Он говорил со мной, руку мне подал. Хороший «хозяин», — весело расправил усы Охрим.

— Он с фронтовиками всегда так. Любит вашего брата, а вот нам круто приходится. Тыловая служба, — вздохнул старшина.

— А ты на фронтовую переходи. Веселее будет, — гордо произнес Охрим и, широко ступая, прошел напрямик через площадь к одному из госпиталей Одессы. Там он должен был разыскать попутную машину, чтобы на ней добраться в свой полк.

Уже прогудели третьи заводские гудки, рабочие приступили к работе. На шумный Привоз — колхозный рынок — спешили хозяйки с кошолками. Продавцы гремели запорами, открывая магазины. На углу одной из улиц седая женщина расставляла ведра с пламенеющими цветами. Где-то весело перекликались гудки паровозов, да далеко в море виднелись силуэты сторожевых кораблей. На море был штиль, и оно расстилалось до самого горизонта, бескрайнее и тихое. Охрим даже залюбовался этим спокойствием и тишиной, вдыхая полной грудью прохладу широколистых платанов и соленый воздух, долетавший с моря.

Но вот за углом громко запел баян, послышался звонкий девичий смех, потом полилась песня, и мимо Охрима промчались три грузовика, до отказа набитые девушками, женщинами, подростками. В легких ярких платьях, в пестрых косынках и соломенных брилях они стояли в кузовах, держась за руки, тесно прижавшись друг к другу, и громко пели. Над первым грузовиком развевался красный флаг, а на радиаторе висел плакат: «Все на уборку». Охрим от радости даже остановился на краю тротуара. Его заметили на грузовике, приветливо замахали руками, что-то начали кричать, а одна девушка даже бросила Охриму алую розу. Охрим поймал ее на лету и понюхал. На сердце у матроса стало тепло, радостно, он хотел приколоть розу к груди, но из-за угла показался морской патруль, и Охрим осторожно спрятал

цветок в противогаз. А из боковых улиц и переулков на главную выезжали все новые и новые грузовики, наполненные рабочими, студентами, домохозяйками, учениками старших классов.

«Может, и в Полтаве так,— подумал Охрим.— Верно, и в мою Качановку уже приехала помощь. Вот это здорово!»

Матрос шагал по одесским улицам и вскоре очутился перед санаторием, в котором теперь расположился военный госпиталь. Над чугунными воротами развевался белый флаг с красным крестом. В тени деревьев стояли два автобуса и санитарная зеленая машина, похожая на карету скорой помощи. Возле нее расхаживал смуглый сержант с раскосыми глазами и петлицами артиллериста. Охрим подошел к нему, поздоровался.

— Чье хозяйство? Я от Грибачева, — сказал он.

— Хозяйство Устима Богучара. Мы соседи, — ответил артиллерист и, подавая руку, представился:

— Сержант Каюмов.

— Пулеметчик разведроты Бандура, — по штатской привычке слегка поклонился Охрим. — Подвезете соседа домой? Вот и хорошо. Спасибо.

Из ворот быстро вышел полковой врач Гончаров, и Каюмов доложил ему о Бандуре. Гончаров кивнул в знак согласия и сел рядом с шофером в кабину. Охрим и Каюмов поместились сзади. Чтобы избежать лишних вопросов, Охрим сразу рассказал Каюмову, что был в штабе, носил срочный пакет, с передовой приехал на попутной машине, которая привозила им снаряды.

Каюмов равнодушно выслушал матроса, грустно покачал головой.

— А мы своего командира полка, Устима Богучара, привезли. Ранен... тяжело. Хотели дома лечить, да генерал Ковалев узнал. Досталось нам от него на орехи.

— Это хорошо, что генерал узнал. Разве так можно? — по-отечески пожурил Охрим и прижался к боковому окошечку.

Машина мчалась по Одессе, и всюду перед ней загорались зеленые огоньки светофоров, останавливалось движение, шарахались в сторону прохожие. На бывшей окраине, которая издавна звалась Пересыпью, санитарная машина остановилась, и Гончаров выскочил из кабины.

— Выйдем и мы, — сказал Каюмов. — Тут живут родители нашего командира. Он просил сказать им.

Доктор дернул за проволоку, которая висела над калиткой. По ту сторону ворот сразу же послышались торопливые шаги, и на улицу вышел седоусый, но еще крепкий человек в синем морском кителе. Он удивленно посмотрел на санитарную машину, на врачебные петлички Гончарова и быстро заморгал покрасневшими веками. Каюмов заметил, что их командир очень похож на этого седоусого моряка. Такой же орлиный нос, кустистые брови дугой, острый подбородок, проницательные карие глаза. «Отец», — подумал Каюмов. Врач тоже сразу догадался и, не спрашивая седоусого ни о чем, сказал:

— Вы не волнуйтесь. Ваш сын, Устим, жив, в госпитале. Он ранен, и генерал приказал отвезти его в город. Это здесь, близко, в санатории номер один. Навестите его. Вас пустят в палату, я договорился...

Остап Богучар схватился рукой за дубовую верею, прижался к ней плечом, словно боялся упасть. Седые усы над острым подбородком дрогнули.

— Сынок, — прошептал он. — Как же это... Враг к Одессе идет, а ты... горе мое. Чего же вы стали? Поезжайте... Поезжайте быстрее, — махнув рукой, он отшатнулся от Гончарова.

— Вам нехорошо? — рванулся к нему врач.

Остап Богучар глотнул пересохшими губами горячий воздух и уже спокойно произнес:

— Уезжайте, прошу вас. Сейчас моя Марта прибежит. Я не хочу, чтобы она все это видела, — и показал на санитарную машину с крестом. — Я ей все сам объясню. Поезжайте, пожалуйста.

Санитарная машина тронулась и скоро исчезла из виду. Она мчалась по ровной степи, а ей навстречу шли обозы с хлебом, плыли по пшенице комбайны, косилки, мелькали в поле пестрые платочки женщин. Среди них, верно, была и та, что бросила Охриму розу. Матрос хотел вынуть цветок из противогаза, но постеснялся Каюмова и всю дорогу молчал. Перед глазами у него стоял растерянный, постаревший Остап Богучар и все махал на Охрима руками, словно просил его поспешить на фронт. Это вконец растревожило матроса. У Охрима тоже были сыновья.

Прибыв в полк, матрос Бандура спокойно доложил

командиру о своем разговоре с контр-адмиралом, рассказал и о грузовиках с женщинами и подростками, которые выехали из Одессы на уборку.

VIII

Краснофлотцы стали молчаливы, суровы. Не слышно аккордеона, замерла песня. Море распростерлось до самого горизонта, тихое, дремлющее. Моряки не видели берегов, но чувствовали их близость. Земля была теперь для них не только твердой почвой, где они отдыхали и развлекались после морских походов. Земля виделась им на всех рубежах от реки Сан до Владивостока, от Мурманска до Балаклавы и казалась теперь сплошной нерушимой скалой, о которую бьется бешеный шторм войны. И морякам было горько, что они в море, далеко от родных берегов, что они еще не участвуют в боях.

Андрей Голубов сидел рядом с машинистами, и сердце его стучало так громко, что он даже ладонью прикрыл грудь, боясь, как бы соседи не услышали. Через головы сидевших впереди матросов он видел сосредоточенное и напряженное лицо комиссара корабля. Окончив свою речь, комиссар сел за стол. Гром аплодисментов покрыл последние слова комиссара и сквозь открытые иллюминаторы покатился далеко в море. Корабль по готовности номер один, в составе эскадры, спешил на запад. Матросы эсминца «Гроза» зорко несли вахту, на мостике стоял командир.

Открытое партийное собрание, на котором присутствовали только свободные от вахты моряки, было кратким и уже подходило к концу. Андрей Голубов смотрел в иллюминатор на море, но горизонт попрежнему дрожал в серебристом мареве и был пуст. Вражеские корабли не показывались.

Павел Грызлов тронул за рукав Голубова, и тот встрепенулся, словно пробуждаясь. У стола снова стоял комиссар и громко читал заявление Андрея Голубова о приеме его в кандидаты партии. Каждое слово он произносил медленно, не спеша:

— «Я, сын ленинского комсомола, в эти грозные для Отчизны дни не могу быть вне рядов нашей большевистской партии. Она дала мне счастье, вывела в люди, и моя жизнь до последней капли крови принадлежит ей.

Я хочу идти в бой коммунистом и прошу партийную организацию корабля принять меня кандидатом в члены Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.

Клянусь нашей партии и всем вам, что имени коммуниста не запятнаю. В самых тяжелых боях грудью закрою родную советскую Отчизну, а если надо, то отдам за нее и жизнь.

Прошу не отказать мне в приеме.

Старший краснофлотец эсминца «Гроза» Андрей Голубов».

Комиссар отложил заявление. Между рядами послышался приглушенный вздох, словно свежий ветер поднялся над морем и прошумел над головами матросов. Комиссар читал анкету. Она была короткой и ясной, как и сама жизнь Андрея Голубова.

Год рождения тысяча девятьсот семнадцатый. Село Крутояры над Бугом. Бригадир тракторной бригады. Родители в колхозе. Образование среднее. На флот прибыл добровольно, по комсомольскому набору. Дисциплинарных взысканий нет. Имеет благодарность от командующего флотом. Артиллерист. Рекомендуют: мичман Самойло Вихорь, командир корабля и комсомольская организация эсминца.

Павел Грызлов наклонился к Голубову, тихо спросил:

— Волнуешься? Это хорошо. И я волновался. Меня тоже в открытом море принимали. Как раз шторм был. Это хорошо, когда сердцу в груди тесно. Значит, от всего сердца идешь.

Андрей не ответил, а только сжал его руку и почувствовал, что она жилистая и горячая. Матросы повернулись к скамье, на которой сидел Голубов, и он увидел их глаза. Они отсвечивали яркими искорками и так волнующе и тепло смотрели на него, словно после долгой разлуки встретили старого друга.

Андрей шел к столу, и сидевшие с краю матросы подвигались, уступая ему дорогу. Остановился у стола президиума, сжал бескозырку в руке. Широко открытыми глазами смотрел в иллюминатор на мерцающую даль моря, туда, где лежала родная земля, где были далекие Крутояры.

Павел Грызлов поднял руку, спросил:

— А ты знаешь, товарищ Голубов, что коммунист — первый в бою?

— Знаю. И буду первым до полной победы над врагом.

Поднялся хмурый радист:

— Пусть скажет товарищ Голубов, что он думает делать после победы?

Матросы удивленно переглянулись. Чуть слышный ропот пробежал по рядам. Война только началась, а он вон о чем спрашивает. Андрей метнул на них взгляд, перевел глаза на комиссара. Тот внимательно разглядывал его с ног до головы, словно видел впервые. Лицо у него ласковое и открытое, весь он светился каким-то внутренним огнем, как бы говоря: «Ну, смелее, Голубов, не бойся, говори».

— Думаю в морскую академию готовиться. Флотским инженером хочу быть. Корабли строить, подводные лодки...

Краснофлотцы, услышав ответ Голубова, приветливо заулыбались. Молодец. Хорошая профессия.

— Расскажите о своих братьях, — встал длинноногий машинист.

— Братья? Что же, братья. Старший, Николай, там,— и Андрей, махнув бескозыркой в сторону запада, замолк на мгновенье. — Пограничник Николай в Карпатах. Член партии. Младший, Василий — тракторист. Верно, уже на фронте. Комсомолец. Сестры — звеньевые в колхозе. Хорошие сестры, если надо будет, — займут места братьев.

— С программой и Уставом партии ознакомились? — спросил комиссар.

— Да, прошу вас, проверьте меня в бою. Я делом хочу доказать. Только вот не знаю, когда будет мой первый бой, — и Андрей зарделся весь, вспыхнул, посмотрев в загорелое лицо комиссара. Матросы оживленно задвигались. В их глазах также застыл вопрос: когда? Но комиссар был спокоен, казалось, углубился в свои мысли. Ни одним движением не выдал того, что знал о приближающемся бое.

Выступил Самойло Вихорь, за ним секретарь комсомольского комитета корабля, а Голубов снова сидел рядом с Грызловым, и сердце его все так же стучало. Прижав бескозырку к груди, он смотрел на дружно поднятые руки матросов и офицеров, голосовавших за него.

Затем принимали еще трех машинистов, двух сигнальщиков, одного электрика. Они по очереди подходили к столу, так же как и Голубов, сдерживая волнение, рассказывали о своей жизни. Была эта жизнь у каждого матроса ровная, чистая. Не знали матросы ни царя, ни жандармов, ни каторги, ни ссылки. Все писали в своих заявлениях: «В бой хочу идти коммунистом. Примите в ряды партии. Прошу не отказать...»

Андрей Голубов слушал их, и ему казалось, что сам он теперь уже не такой, каким был вчера.

К нему уже подходили товарищи, поздравляли. Без ласковых улыбок, без шуток; но в том, как они подходили, в их крепких рукопожатиях Голубов ощущал большую матросскую дружбу. Собрание давно закончилось, но моряки не расходились, и Голубов с трудом вырвался от них, побежал в свой кубрик. Ему хотелось побыть одному. Но не успел он присесть на койку, как дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился Самойло Вихорь. Сел рядом с Андреем.

— Ну вот ты и коммунист теперь.

— Я слышал, как машинисты между собой разговаривали. Говорят, раз такая опасность грозит, нам всем надо еще крепче вокруг партии сплотиться, — сказал Голубов.

— Матрос — сила. А если он коммунист — это тройная сила, — глаза Вихоря заблестели.

— По себе вижу. Словно ничего и не произошло, а уже не такой, как был вчера. Как бы старше стал...

— Хорошо. Не забывай этого, — проговорил Вихорь и, пройдясь по кубрику, остановился перед Андреем. — Ну, еще одно: когда тебе будет трудно, не хватит сил — вспоминай о первых русских коммунистах. Как они по тюрьмам и каторгам за нашу партию боролись. Как государство наше строили. Вспоминай их, Андрей, и тебе всегда легче станет, сил прибавится.

— Я Москву хочу повидать. В мае командир обещал послать меня на ноябрьские праздники, на парад. А теперь не знаю...

— Увидишь. У нас еще будут парады.

Голубов наклонился к Вихорю, крепко пожал ему руку, хотел что-то сказать, но в кубриках и на палубе громко зазвенели звонки. На эсминце пробили боевую тревогу.

IX

Вихорь, окоченевший на резком ветру, стоял ночную вахту. Одессы он не увидел. Она лежала с правого борта в непроглядной тьме, за водяными валами, которые катила буря. Теперь до Одессы было далеко. Корабли шли курсом на запад, черные и немые. А там, справа, за Одессой плескался Дунай — чужие воды, чужая земля. Земля, с которой в ту памятную ночь поднялись вражеские самолеты, нарушив мирный труд советских людей. Теперь на эту землю идет возмездие. И он, Вихорь, не в стороне от этой битвы. Он в самой гуще ее.

«Скорее бы вражеский порт...» — думал Вихорь. Ему стыдно было первой военной ночи, когда он растерялся при виде бомб, проявил слабость. Все его команды были тогда поспешны и подчас путаны. Капитан третьего ранга сразу заметил это, и Самойлу здорово попало тут же, у корабельных орудий, на глазах у всех. При воспоминании об этом он почувствовал усталость, словно не спал много ночей, а его, прогнав первый сон, внезапно разбудили. Он ходил по палубе, думал о Марии и долго всматривался в море, склонившись за борт эсминца. Когда его окликали, он вздрагивал, протирал ладонью глаза, словно прогонял дремоту.

Внезапность нападения, первая ночь войны, ночная бомбежка Севастополя и та зловещая неизвестность, которая надвинулась на всех, как только они примчались в порт, выбила мичмана из привычной размеренной колеи. Но это продолжалось недолго. Утром, когда эскадра была уже далеко в море и Крымские горы скрылись за сверкающим горизонтом, Самойло вновь обрел спокойствие. Сильный и ловкий, он выбежал на ют. Все орудия были наготове, механизмы работали без задержки. Мичман то и дело поглядывал на радистов, слонялся под ходовым мостиком, стараясь попасться на глаза капитану третьего ранга. Но радисты не отходили от своих аппаратов, шифровальщики не показывались из рубки, командир был мрачен и не замечал мичмана. Вихорь чувствовал, что на корабле идет подготовка к бою, что морской флот также вступает в войну.

Вспомнилась Мария, и он встревожился. Вернется ли она в Одессу или поедет куда-нибудь в тыл?

Корабли шли на запад. Тральщики подпрыгивали на

высоких волнах. Моряки стояли вахту молчаливые и хмурые, забывая в море счет времени. Дважды в день они слушали сообщения Советского Информбюро. Вести с фронта приходили тяжелые, и Самойло Вихорь заметно терял равновесие, становился угрюмым, злым.

В эту ночь на кораблях никто не спал. Даже свободные от вахты моряки, которым было разрешено отдыхать, ходили по палубам, ожидая сигнала с флагмана. Флаг адмирала опять развевался на крейсере «Москва».

Адмирал, стоя у открытого иллюминатора, вдыхал свежую ночную прохладу. Высокая волна билась о борт, осыпала брызгами похудевшее лицо. Адмирал молчал. Офицеры сидели в темноте вокруг круглого стола, посматривая на покрытые фосфором стрелки часов. В салоне стало прохладно, адмирал закрыл иллюминатор, включил свет. Свет вырвал из темноты круглый стол, стаканы с недопитым чаем и большую исчерченную карту. Адмирал еще раз просматривал фотоснимки авиационной разведки; взгляд его задержался на одном из них — на том, где зафиксирован румынский порт с кораблями на внутреннем рейде.

— Мы должны спешить и очень спешить. Пока румынский флот не вышел в море, мы накроем его.

Офицеры переглянулись.

Тихо зажужжал зуммер. Адмирал взял трубку. Он говорил приглушенно и коротко, не переспрашивая и не повторяя услышанное, но все поняли — приближается то, чего они ждут, и все поднялись со своих мест. Адмирал взглянул на часы.

— Подходим. Отдайте приказ кораблям, — сказал он начальнику штаба и, надев реглан, вышел из каюты.

Вихорь даже вздрогнул, увидев на мачте флагмана зеленоватый огонек, который то мерцал, то потухал, то вспыхивал вновь. Он был почти незаметен среди бушующего моря и походил на далекую звездочку, выглянувшую из-за туч, но его ждали все корабли — и сразу заметили.

Мичман схватил за локоть Андрея Голубова, дохнул на него запахом крепкого табака:

— Смотри, Андрей! Смотри!

Голубов перевесился всем телом через борт, пытаясь рассмотреть, что произошло в море, но, кроме безудержно

клокотавшей штормовой волны, ничего нового не увидел. Эскадра шла ровным строем, Голубов уже различал в предрассветной мгле серые корпуса кораблей, пенистые буруны за их кормой. Вдруг он заметил на мачтах еле мерцавшие огонечки. Они то вспыхивали, то гасли, сигнализируя флагману, что приказ принят.

Эсминец «Гроза» перешел невидимую границу и вошел в чужие воды. Андрей Голубов не заметил при этом никаких особых изменений. Корабли шли, не меняя скорости, на палубе, как и раньше, ревели вентиляторы, вахтенные матросы стояли на своих постах. А Вихорь сжимал плечо Андрея и горячо повторял:

— Смотри. Хорошенько смотри.

Андрей удивленно поглядывал на мичмана, всматривался в пенившееся море. Машины дышали ровно, он чувствовал это сквозь палубу. Едва уловимое сотрясение передавалось телу.

— Значит, ты жил на Буге, в селе Крутоярах! — во весь голос крикнул Вихорь. Ему вдруг показалось, что вода под эсминцем сразу стала холоднее, гуще и корабль от этого замедлил ход. Мичман даже съежился, вобрал голову в плечи, положил кулаки на холодный леер.

— Мать живет там, сестры и братья, — ответил Голубов и, помолчав, прибавил: — Братьев, пожалуй, уже дома нет. Ушли на фронт...

— А я в Одессе, на Пересыпи. Запомни,— наклонился к его уху Вихорь.

— Зачем ты так говоришь? Мы жить должны! — сверкнул глазами Голубов.

— Чтоб в гости после войны приехал. У меня мать одна, да еще соседка — Мария эта. Помнишь?

— Теперь война...

— Поэтому и говорю. Заруби себе мой адресок.

— Знаю. Не говори глупостей, — отвернулся Голубов и нащупал в кармане медальон из пластмассы, где лежал его адрес. В первых проблесках рассвета мичман увидел его глаза. Большие, с зелеными искорками, слегка прикрытые пушистыми ресницами. Они смеялись над Вихорем.

— Посмотри, какая сила идет, — выпрямился Голубов и показал на эскадру, на предельной скорости идущую к чужим берегам. Далекий рассвет, рождающийся за морским горизонтом, постепенно вырывал из мглы

темносерые корабли, и от этого они становились еще величественнее. Андрей смотрел на них, затаив дыхание, словно видел их впервые.

Корабль, вздрагивая всем телом, повернул под прямым углом на северо-запад и помчался к берегу. Теперь флагман был виден всем морякам. Он уже подавал радиосигналы к бою. Черные жерла орудий угрожающе смотрели в море. Возле зениток замерли моряки. На горизонте зажелтела земля, вскоре у подножья горы вынырнул чужой порт, и моряки увидели в бинокль весь внутренний рейд. Флагман, а за ним вся эскадра наискось ринулись к берегу.

Румынский порт спал. Наши корабли приняли приказ флагмана. На уточнение расчетов ушло несколько секунд. Корабли швыряло на волнах, и берег качался, ускользая из поля зрения дальномерщиков.

Вихорь словно окаменел в ожидании команды. Он отчетливо видел вражеские корабли в порту. Они были в его квадрате.

Громко прозвучал ревун — команда всем батареям: огонь.

— Ого-онь! — повторил Вихорь и, подняв руки над головой, кулаком погрозил берегу. Выстрелов других орудий он не услышал, только увидел ослепительное пламя, далеко выбросившееся в море. Гром гигантской силы обрушился на море, и казалось, буря притихла перед этой силой, замерли волны вокруг кораблей.

Румынский порт окутался дымом, языки пламени взвивались в предрассветное небо. Темп артиллерийской стрельбы нарастал с каждой секундой. Огневой налет эскадры накрыл стоянку вражеских кораблей в порту. Тяжелые снаряды уже рвались на холмах, возле крепостных батарей.

Порт проснулся, заговорила береговая артиллерия. С румынских кораблей, стоявших в глубине рейда, посыпались снаряды. Они падали с обеих сторон, совсем близко, и было ясно, что враг уже пристрелялся. Вспыхнул пожар на палубе «Стремительного», снесло гротмачту на другом эсминце. Два румынских корабля оседали на дно. Горели ангары, огонь бушевал на территории бензоскладов. Румынские торпедные катера уже вышли в море. Рассыпавшись веером, они мчались на эскадру.

Над морем багровела пелена дыма — это поднималось солнце, но Самойло Вихорь солнца не видел. Он стрелял. Пот заливал ему глаза, железо обжигало руки. Он задыхался в удушливом дыму. Из правого уха текла кровь, но Вихорь не замечал этого.

Вдруг страшный взрыв грохнул под палубой эсминца. Воздушной волной Вихоря ударило о палубу, и он потерял сознание. В эсминец попала вражеская торпеда. В море полетели листы железа, чьи-то бескозырки, оторванная рука; послышался отчаянный крик.

Эсминец «Гроза», словно разрезанный пополам гигантским ножом, начал тяжело оседать. А вокруг него в море все гуще и гуще, с ревом вздымались водяные столбы, словно могучие дубы во время грозной бури шумели в лесу.

Прозвучала команда: всем оставить палубу корабля, но матросы видели, что командир «Грозы» все еще стоит на мостике, спокойный и величавый, словно ничего не произошло.

С эсминца на воду начали быстро спускать шлюпки, бросать спасательные круги, пробковые пояса. Вслед за ними в море прыгали матросы. Все произошло мгновенно. Флагман поднял сигнал: эскадре выходить из-под обстрела.

Когда к Вихорю вернулось сознание, все корабли уходили за флагманом. Приподнявшись, Вихорь увидел добрый десяток «юнкерсов», которые осыпали бомбами эскадру. Два «юнкерса» заходили на тонущую «Грозу». Добравшись до зенитного пулемета, Вихорь застрочил из него, злобно ругаясь. Вода подступала все выше к палубе, но мичман стрелял. Потом вода дошла до колен, до пояса — а он все стрелял. Один «юнкерс» шел на него на бреющем полете, бешено воя. Вихорь нажал гашетку, широко взмахнул руками и упал. «Юнкерс» задымил и врезался в море. Бросив в воду спасательный круг, Вихорь прыгнул. Дальше он ничего уже не видел...

Намокшая одежда тянула на дно, волна перекатывалась через голову. Вихорь с трудом выплевывал воду, хрипел и чувствовал, что силы постепенно покидают его. Руки и ноги немели. Иногда он видел Голубова, тот плыл в пробковом поясе, но подплыть к нему Вихорь не мог. Рядом с Вихорем, вцепившись в спасательный круг, держался на воде еще один моряк. Вихорь видел его на

«Грозе», он, кажется, из котельных машинистов, но точно вспомнить мичман не мог. Моряк захлебывался и часто погружался в воду.

— Держись! За нами вернутся! — крикнул ему Вихорь.

— Не могу, — мотал головой моряк и опять впадал в забытье. Когда он закрывал глаза, Вихорь замечал, что на щеках и даже под бровями, на веках, у него остались следы оспы.

Волна бросала их глубоко в пропасть, буря не утихала.

Эскадра выходила из боя, посылая на берег тяжелые снаряды, и только по зенитным разрывам в небе Вихорь определял ее направление. Она была уже далеко.

Моряк открыл глаза, застонал:

— Не могу. На дно тянет...

— Держись... Я тебе покажу дно! — прикрикнул на него Вихорь, но моряк совсем обессилел. Он потянулся к Вихорю через круг, вытащил из воды сморщенную ладонь и словно что-то ловил пальцами в воздухе.

— Дай руку... Я тебя не потяну, — застонал моряк.

Вихорь подал ему руку, хотел поддержать его, но моряк на мгновенье прикоснулся к ней, широко раскрыл рот, последний раз вздохнул и исчез под водой. На мичмана обрушилась большая волна, в глазах позеленело, и над головой Вихоря вдруг зашумел густой и пахучий сад. Весь в цвету, словно каждое дерево полито топленым молоком. Вихорь даже заметил мохнатых пчел на приветливо покачивающихся перед его глазами розовых цветах яблонь. Пчелы деловито барахтались, желтые, прозрачные, с капельками воска на лапках. Волна перекатилась через голову. Вихорь очнулся и, взглянув на солнце, закричал:

— Андрей!

Никто не ответил. Опять налетела волна, и тут окончательно исчезло все. И солнце, выглянувшее из-за туч, и выгнутая дугой чайка, и грохот канонады, и пышный сад. Вихорь провалился в неведомое.

Он очнулся на раскаленных каменных плитах. Кто-то толкнул его ногой. Моряк встал на колени, сразу подняться на ноги он не смог. Кругом бушевал огонь. Горели ангары, корабли, за причалами что-то рвалось, а он стоял на узеньком пирсе, над мутной водой. Один. Один,

а вокруг злые глаза. И вдруг ему стало радостно, что все тут горит. И порт, и нефть, и корабли, и, кажется, даже вода. Он посмотрел в море. Далеко за горизонтом скрылась его эскадра, ушедшая за флагманом к родным берегам. Вихорь так и потянулся всем телом к морю, но его ударили в грудь винтовкой, и он зашатался. На него смотрели злые, ненавистные глаза конвоиров.

Тогда он застонал:

— Не отдам!

И бросился с каменного пирса в воду. И никто не знал — чего именно не хотел отдавать моряк: своей ли жизни, партийного билета, или далекой, как это солнце, Марии. Или родной земли, куда возвращалась эскадра.

X

Теплоход «Аджария» приближался к Одессе. Он вышел из Ялты поздно вечером, погасив все огни, и так плыл среди ночи, напоминая черную омертвевшую скалу, оторвавшуюся от берега. На палубе было мало народа. Все пассажиры сидели в каютах и салоне, только военные стояли у бортов, тщетно силясь рассмотреть что-либо в густой ночной тьме.

Иногда люди разговаривали, но совсем тихо и настороженно. Они уже забыли о своем прерванном отпуске. Многие из них даже не доехали до санаториев и возвращались в части прямо с дороги. Они думали о своих полках и дивизиях, которые стояли над Прутом и Дунаем, и, быть может, истекая кровью, погибали в эти минуты. Все мысли и чаяния офицеров и солдат были там, среди воинов, на поле боя. Им казалось, что теплоход плывет слишком медленно.

Капитан стоял на мостике. Он хорошо знал эту дорогу, но плыть без огней ему довелось впервые. Ночь его не тревожила, но день мог принести немало неприятных неожиданностей. Капитан спешил. Он вел корабль на предельной скорости — за одну ночь хотел добраться до Одессы. Он закончил свой последний мирный рейс и сменился с вахты, когда над морем поднялось солнце и на оранжевых холмах в сизом мареве показалась Одесса.

Мария вышла на палубу и подставила ветру побледневшее лицо. После бессонной ночи приятно было вдыхать морскую прохладу. Вихорь и Шагайда так и не вер-

нулись к ней, она не знала, где они сейчас, что с ними произошло. Заперев квартиру брата, Мария в последний раз обошла сад, посидела на скамье. Долго ждать мичманов она не могла. От удушливого покоя, который царил в саду, от опустевшей квартиры на девушку повеяло холодом, и она бросилась прочь от этого покоя и глухой, немой тишины. Мария послала телеграмму жене брата, отдыхавшей в Мисхоре, отдала Варваре ключи и поехала в Ялту, на теплоход. Ей легче было доставать билет в длинной очереди, спорить с матросами перед посадкой, чем воевать за свое место на теплоходе с каким-то дородным агентом курортного управления. Мария сгоряча наговорила ему немало колючих слов, и агенту под хохот военных пришлось бежать на палубу.

Теперь это все позади. И гонка на машине через Байдарские ворота, и толкотня на пристани, и неожиданный поцелуй Шагайды — все позади. А еще недавно в сердце Марии и намека не было ни на что похожее. Все оборвалось внезапно и страшно. Содрогнулась земля в Севастополе от первых бомб.

«Война забрала у тебя Вихоря, но, может, он еще вернется? Ты веришь в это, хочешь этого. Твой Вихорь не один. Подумай, Мария, о своем сердце немного иначе, вспомни, что есть в нем и другие песни, которые сейчас разбудила война. Бескрайняя земля твоей Родины, миллионы людей живут на ней. Без них, без родной земли не будет жизни ни тебе, ни Вихорю. Ты молода и в сердце твоем бродит, не отстоялась еще та сила, которая толкает капитана быстрее вести теплоход, которая дает крылья этим морякам, чтобы молнией лететь на поле боя. А там смерть и кровь, там, Мария, борются за твое счастье. Подумай, девушка, прислушайся, что звучит в твоем сердце».

Так говорил один голос, а где-то рядом робко, но настойчиво уже звучал другой. Перед глазами вырастал Самойло. Ветер бил ему в лицо, соленая волна валила с ног, колючие брызги ударяли в открытую грудь. Он стоял около своих аппаратов, и Мария знала, что ему трудно, но ведь каждому трудно стоять вахту на боевом корабле. Моряки помогают друг другу в бою. Если надо будет, они выручат Вихоря. Им всем трудно. И Вихорю, и всем.

Стань рядом с ним, Мария, пусть он передохнет не-

много, наберется сил. Ты же знаешь, он никогда не скажет, что устал, что перед глазами пошли желтые круги. Найди свое место в войне и приди на помощь, девушка».

Вдруг в памяти всплыл тот холодный, сырой вечер, когда она впервые встретила Шагайду. Это произошло неожиданно, когда эскадра стояла на одесском рейде. Уже осыпались каштаны. В садах бронзовой листвой шелестел осенний ветер. Ни роз, ни георгин — только пахнущие смолой зеленые кипарисы украшали бульвары.

Моряки подошли к университету четким строем, и вся Одесса с восторгом смотрела, как они шли, слегка покачиваясь, словно волна катилась. Шумной толпой рассыпались по длинным коридорам, и в старинных аудиториях сразу запахло морем. На первый взгляд все они были похожи друг на друга — так скрадывала различия военная форма. Университет шефствовал над эскадрой, и это был первый визит моряков к студентам. Их ждали, готовились, украшали концертный зал венками из серебристых елей и зеленых кипарисов.

Мария сперва не заметила стоявшего рядом с ней Петра и беззаботно болтала с подругами. Моряки прислушивались, в разговор вступали не сразу. Но вскоре они увлекли девушек веселыми рассказами о своих приключениях во время морских походов вокруг Европы. Шагайда молчал, изредка улыбался одними глазами, и Мария не обращала на него внимания. Он был неповоротлив и робок, даже краснел, если у него что-нибудь спрашивали.

Моряки приняли участие в концерте. Студенты бурно аплодировали танцорам, рассказчикам; особенно им понравилась искусная работа партерных акробатов. Они прямо летали по сцене, играя красивыми загорелыми плечами, и легко можно было представить, как вели они себя на корабле во время тренировок, когда за бортом шумело море.

Потом конферансье объявил следующий номер, и все моряки, сидевшие в зале, захлопали в ладоши. Называя фамилию, он сказал: «Тут кто-то из девушек подал записку с просьбой, чтобы выступил один наш певец, который не должен был сегодня петь. Раз просите — значит должен выступить. Выходи, Шагайда».

Петр обвел взглядом зал. Кто мог подложить ему такую свинью? Девушки его не знали, значит, это свои,

флотские. А может быть, все это выдумал сам конферансье, без записки? Кровь прилила к лицу Петра, и он поднялся. Мария окинула его удивленным взглядом, подвинулась, уступила дорогу. Моряки сидели равнодушные, словно их не интересовало, кто послал эту записку и существовала ли она вообще, но Шагайда уловил шепот в одной из групп и догадался, что это сделали машинисты.

Песня вырвалась из груди. Серебристый и мягкий голос полился в тишине. Петр просил ветер залететь на Украину, туда, где ждет его девушка. И еще просил, если девушка ждет его, — пусть ветер разгонит тучи над ее головой и застучит в окно, как стучит по ночам его сердце, вспоминая о ней. А если она заснула и во сне мечтает о другом, — нагони тогда, ветер, черную тучу на месяц и не возвращайся с Украины. Пусть спит, не буди.

Он пел еще и еще. Уже, кажется, был исчерпан весь его репертуар, а зал не унимался, требуя все новых и новых песен. Тогда поднялся баянист и, указывая на Петра, провел рукой по горлу. На сцену вышли плясуны. Шагайда, пригибаясь, пробежал на свое место. Мария мельком взглянула на него: большие взволнованные глаза моряка ярко горели. Девушка до сих пор помнит мельчайшие подробности этого вечера.

— Где вы учились петь? — просто спросила Мария.

— В степи, по вечерам. У нас все так поют, — сказал Петр.

— Вам надо беречь голос.

— Разве для вас? — он вопросительно посмотрел на нее. Нет, кажется, не обиделась. Он проводил ее домой.

После того вечера Шагайда начал писать Марии длинные письма, посылал их по почте, а чаще с оказией — с моряками, которые ехали в Одессу. Они приходили на Пересыпь, разыскивали дом старого баталера Остапа Богучара и, спросив, как поживает Мария, торжественно вручали письмо. Если Мария бывала дома, посланец ждал, пока она писала ответ. А всякий раз, как эскадра приходила в порт, Петр стремглав бежал в университет и провожал Марию домой. Там он и узнал всю историю морского рода Богучаров, в котором только старший, Устим, изменил морским традициям — стал сухопутным артиллеристом.

Как глупо и неожиданно все вышло. И во многом,

кажется, виновата она сама. Зачем ей нужна была эта переписка с Шагайдой, зачем она так часто встречалась с ним в Одессе, да еще на глазах всех соседей? Зачем она, получив от Вихоря свои письма, не подумав, отправила ему все его письма? Глупо и по-детски... Не надо было поступать так опрометчиво. Ведь она причинила этим острую боль Самойлу, нанесла ему горькую обиду.

Мария долго мучилась, но все взвесив, решила приехать в Севастополь, чтобы загладить свою вину, переговорить с Вихорем, объяснить ему. Но брат Платон все напутал. Он сказал Шагайде о приезде Марии, и тот снова прибежал к ней, как и тогда в Одессе. Снова вместо Вихоря рядом был Шагайда...

Все рушилось на глазах... Каким радостным был этот приезд в Севастополь и как горько было теперь возвращаться в Одессу!

Мария прижала к глазам платок и долго не отнимала его, словно хотела отгородиться от всего мира — и от этого удивительно тихого и ослепительного моря, и от голубоватой дымки, в которой вырисовывалась Одесса. И от самого страшного — от войны.

Теплоход подходил к берегу. На палубу высыпали пассажиры, всю ночь просидевшие в каютах и салоне. Они с интересом рассматривали установленные на корме и возле капитанского мостика зенитные орудия. У пушек стояли матросы с противогазами через плечо. Они были молчаливы и сосредоточенны. Два наблюдателя с большими биноклями безотрывно следили за небом.

Теплоход медленно развернулся и вошел на внутренний рейд, мимо косы волнореза, где стоял маяк.

Одесса лежала на крутом взгорье, в зелени акаций и каштанов. Улицы, начинаясь у самого моря, ступенями подымались вверх. Солнечный день спокойно плыл над кварталами города, заливая зноем даже прохладные закоулки. Мария не узнавала портовых сооружений, которые еще так недавно красовались над морем, радуя глаз светлыми, яркими красками. Теперь красивые колоннады и стены домов были забрызганы серыми пятнами, словно над Одессой прошел дождь из грязи и угольной пыли.

— Камуфляж называется такое художество, — улыбнулся какой-то лейтенант, пропуская Марию вперед. Матросы подали швартовые, спустили пологий трап, толпа встречающих повалила к теплоходу. Мария уви-

дела младшего брата Славку, который, держа удочки, стоял на высоком бункере и махал ей руками.

— Марийка! — закричал он издали. — Приехала? А мать все плачет. Говорит, что тебя уже на свете нет. Отец ее ругает, а она плачет и каждый день гоняет меня в порт встречать тебя. Беда с ней, да и только, — сказал он, как взрослый, и взял у Марии чемодан.

Они пошли домой.

Похудевшие и суровые лица людей были озабочены и взволнованы. Мария не узнавала веселых и шумных одесситов. Все молча спешили куда-то. На стенах висели первые военные плакаты. Стекла, как и в Севастополе, были крест-накрест заклеены полосами бумаги, и казалось, что жильцы выехали из квартир, забив окна досками.

— Славка, а эскадра не проходила через Одессу? — спросила Мария.

— Учительницей скоро будешь, а спрашиваешь такие вещи, — угрюмо буркнул брат. — Еще чего недоставало. Подай сюда эскадру, чтобы вся Одесса видела, как она в бой идет. Мало всякой швали у моря шныряет. Вон вчера одного поймали. — И мальчик побежал по знакомой улице, толкнул калитку и закричал на весь двор:

— Мама! Мария приехала!

Из материнских рук что-то упало на пол, и Марта, как была в переднике, с мокрыми руками, бросилась к дочери, припала к ее плечу.

— Ну, что ты, мама? Ну хватит, — обнимала ее Мария.

— Устим кровью исходит. Платон где-то там... Дети мои, дети! — всхлипывала мать.

— Устим? Наш Устим? — вскрикнула Мария.

— Ранен. В госпитале лежит, — объяснил Славка.

— Ой, Платон мой,— шептала старая Марта.

— Платон жив. Я видел его, мама. Он в море.

Мать, седая и сгорбившаяся, не мигая, смотрела в глубокое небо. Мария прильнула к ней, тихо сказала:

— Мамочка, родная моя. Не плачь!

XI

На жилой палубе и в кубриках, где жила команда «Стремительного», остро пахло лекарствами. На койках лежали раненые моряки, они вздрагивали от малейшего

шума, долетавшего сюда с палубы. Им все мерещился бой у чужого берега, перед глазами стоял эскадренный миноносец «Гроза», окутанный огнем и паром. Им все еще казалось, что их корабль жив и идет за флагманом, с хода посылая в пылающий порт тяжелые снаряды. Те, кто мог сидеть на койках, по временам приподнимались, тянулись к иллюминаторам, словно хотели различить «Грозу» среди кораблей, которые возвращались после боя в свой порт.

В носовой кубрик вбежал с палубы подвахтенный, и все взгляды обратились в его сторону. В глазах стоял немой вопрос: где «Гроза»? Подвахтенный безнадежно махнул рукой, с сердцем крикнул:

— О чем тут спрашивать? Такой корабль — на дно...— и, отворачиваясь, побежал в дальний угол, нашарил в своей тумбочке курево и быстро поднялся по крутым ступенькам на палубу.

Гибель эсминца потрясла моряков. Старшина первой статьи Павел Грызлов с тех пор, как его подобрали в море и перевязали раненую голову, сидел тихо и время от времени коротко вздыхал. Иногда, опираясь на карниз, заглядывал в иллюминатор и про себя шептал:

— Нету...

Моряки ждали, пока он наглядится на море, и потом кто-нибудь спрашивал:

— Что там видно, старшина?

— Горит, браточки. Горит! Полнеба заволокло дымом. Верно, боеприпасы рвутся. — Павел поднимал забинтованную голову.

— Я так думаю, что мы там много кой-чего накрыли. Может, какие корыта и остались, но румын далеко на них не заплывет... Флоту нашему спокойней будет...

— А зачем ему покой? Что же, по-твоему, наш флот под крымским солнцем загорать будет? — поднялся с койки сосед.

— Почему загорать? Воевать будем. А вот мне уж солнышко не светит. Спишут в пехоту, дадут котелок, лопату. Прощай, море.

— Пусть тебе раньше голову вылечат.

— У меня рана легкая. Заживет!

— А это как доктора скажут...

— Не каркай. Я не такой, — с сердцем выпалил Гры-

злов. — У тебя палуба своя есть, и молчи. А мне как? Что я домой напишу?

— Кто тебя в пехоту пошлет с такой чалмой? В морской госпиталь тебе идти...

Грызлов тихо свистнул: увидят они его в госпитале.

Застонал Андрей Голубов. Грызлов наклонился к нему, открыл фляжку с водой. Андрей, прищурившись, смотрел в потолок, словно хотел определить по обшивке, на каком корабле он находится. В голове у него еще стоял грохот боя, и ему казалось, что соленая и холодная волна бьется у него под черепом, разъедает мозг. Почувствовав теплое дыхание, Голубов взглянул на Грызлова и разочарованно шевельнул побелевшими губами:

— Старшина? Это ты...

— Выпей, браток. Здорово помогает, — старшина прижал к его губам флягу. Андрей пил медленно, маленькими глотками, вода капала на подбородок, текла за шею, и он, ощутив холод на теле, чаще задышал.

— Ему бы сейчас на берег. Он бы у меня сразу запел, — подмигнул раненым Грызлов. — Жаль, что далеко от берега. Я бы тебя, голубок, без докторов на ноги поставил. Ты ведь весь целый, только долго в воде кис. Сил много потерял.

— А ты... ты меня знаешь? — спросил Андрей.

— А как же... ты, кажется, историю любил. Музеи разные, книжки. Не знаю, как сейчас.

— И мичмана знаешь?

— Какого мичмана?

— Самойла. Вихоря Самойла.

Раненые приподнялись на локтях, затихли, услышав о Вихоре. Старшина насупил брови, замахал на моряков рукой, чтоб помолчали. Даже те, кто раньше не знал Вихоря, сегодня утром услышали о нем. Кое-кто даже видел, как он стоял на корме тонущей «Грозы», у зенитного пулемета, и бил по немецким самолетам. Вода заливала его до колен, потом до пояса, а он все бил и бил из пулемета, так, словно боялся выпустить жесткие ручки, чтобы не поскользнуться на палубе, уже уходившей из-под ног. Это был моряк из экипажа «Грозы», который последним оставил палубу. О нем вскоре заговорила вся эскадра, потому что адмирал запросил корабли: кто стоял на корме «Грозы» по пояс в воде и сбил самолет? С эсминца «Стремительный» ответили, что это был мичман

Самойло Вихорь. Адмирал спросил: где он? Корабли ответили: на борту его нет.

— Знаю мичмана. Его адмирал ищет. Ему, верно, орден дадут.

— Дадут? — обрадовался Голубов. — Он жив?

— Этого не знаю. Тут его нет.

С палубы спустился санитар, неся в охапке пробковые спасательные круги. Он остановился между койками и, не найдя места, куда положить пояса, бросил их прямо на пол, сказав, чтобы разбирали по одному. Раненые переглянулись и сразу же начали настороженно прислушиваться к тому, что делается там, наверху, у торпедных аппаратов и орудий. Тем, кто только что спасся из воды, особенно противно было смотреть на эти пояса. Грызлов вскочил с койки:

— Гей, санитар! Лучше курева принеси, чем это таскать!

— У меня приказ такой, — буркнул санитар и молча стал разносить пояса по койкам.

Пришел Петр Шагайда.

— Сейчас будет осмотр корабля. Пусть пояса висят у каждой койки,— сказал мичман, и раненые успокоились. Мичман ходил по каюте, всматривался в лица моряков, кого-то искал среди них. Они тоже узнавали его, вспоминая, как он втаскивал их по трапу с торпедных катеров, спрашивая у каждого, где рана, чтобы не схватиться за нее рукой. Раненые смотрели на него потеплевшими глазами, в них светился ласковый огонек благодарности.

Обойдя все койки, Шагайда наклонился к крайней, спросил:

— Кто здесь с «Грозы»?

Грызлов, подняв забинтованную голову, молча начал показывать, где лежали раненые с эсминца, и, дойдя до Голубова, сказал:

— И этот сынок с «Грозы». Недавно проснулся, а то все спал, бедняга. Утром упал нечаянно и ушиб себе голову. Послушный ребенок...

— Не тронь меня, — застонал Голубов и повернул к старшине голову. Голос у него был еще слабый и какой-то далекий, словно доносился из морской глубины. Он посмотрел на Шагайду ввалившимися глазами, и все заметили у него в зрачках искристые огоньки. Поманил к себе мичмана.

— Я знаю, вы Вихоря искали. Правда? — спросил Голубов.

— Его тут нет, — тихо проговорил Петр.

— А где? Он плавал рядом со мной. Почему вы не искали его в море?

— Не мог,— глухо сказал Шагайда.

Голубов, упершись локтем в железную стойку, слегка покачивался.

— Я видел мичмана Вихоря. Он был жив. Нас разбросали волны. И больше я ничего не знаю, — тихо проговорил Андрей и словно сразу осунулся. Грудь его высоко поднималась, на выпуклом лбу проступил пот.

Вдруг на палубе завыла сирена. Тонко, надсадно. Раненые, кто был посильнее, вскочили с коек — бросились к двери. Шагайда метнулся к трапу и чуть не сбил с ног корабельного врача. Сбегая по ступенькам, тот кричал:

— Москву! Слушайте Москву!

— Что там делается? — бросились к нему раненые. Он махнул рукой.

— Там война... Москву слушайте!

И раненые не увидели, как, развернувшись боевым строем, от солнца шла на корабли эскадрилья немецких бомбардировщиков. Они слышали, как на всех кораблях прозвучал сигнал к бою, но не видели, как поднялись к небу стволы зенитных орудий. Над эскадрой загремели мощные репродукторы, а в каюте, где сидели раненые, прижав к ушам эбонитовые наушники, стало так тихо, как у водолаза под скафандром.

— Внимание, внимание, говорит Москва! У микрофона товарищ Сталин, — объявил диктор. Эти слова громким эхом покатились в море, их услышали все моряки.

— Товарищи! Граждане!

И немного громче:

— Братья и сестры!

И совсем громко, кажется, над головой, как слова боевой команды:

— Бойцы нашей армии и флота!

А гул бомбардировщиков неумолимо нарастал и нарастал. Самолеты уже начинали входить в небесные квадраты зенитных батарей.

— К вам обращаюсь я, друзья мои!

Грянули все батареи на кораблях, — больше ждать они не могли. Небо почернело от зенитных разрывов. Бомбардировщики пошли в пике.

Не раз и не два по приказу останавливались машины, и раненые от внезапной остановки чуть не падали с коек, но никто не выпускал из рук наушников. Иллюминаторы были задраены, и моряки не видели высоких столбов воды там, где падали тяжелые бомбы. Корабль сильно качнуло. С коек полетели фуражки и пояса с медными пряжками. Пронзительный свист раздался почти рядом.

Доктор посмотрел на раненых и побледнел. Передав свои наушники Грызлову, врач наглухо закрыл распахнувшуюся дверь. Раненые так и не увидели, как один самолет взорвался высоко в небе, когда зенитный снаряд точно угодил в его кассеты с бомбами. Не видели, как два других бомбардировщика упали в море, а третий не вышел из пике и ушел под воду рядом с флагманским кораблем.

Но вот вновь ударили над морем орудия. Небо покрылось рыжими облачками разрывов, которые плыли под солнцем, заволакивая его ослепительный диск. Противно выли самолеты и бомбы. Из моря вырастал высокий лес водяных столбов, сквозь который упрямо, безостановочно пробивались корабли.

Старшина Грызлов шептал Андрею Голубову, склонившись к нему на плечо:

— А знаешь, Андрей, кажется, я пойду в пехоту. И в партизаны могу. Куда хочешь пойду. Вдвоем пойдем, куда пошлют. Не грусти, голубок, дай только к берегу пристать.

Но Андрей не слышал его. Он думал о Вихоре.

XII

В этот день в доме Богучаров все пошло вверх дном. Старая Марта даже забыла, какой это был день: воскресенье или суббота. С самого утра она ругалась с Остапом: всю ночь он не ложился спать, а когда загудел первый гудок, не подумал выйти к завтраку. Прогудело второй и третий раз, а Остап все сидел у себя в комнате, никого туда не пускал. Это случилось чуть ли не впервые за всю его долгую трудовую жизнь. Он не хотел пускать к себе даже Марию, но она настойчиво стучала в дверь,

снова и снова объясняя отцу, что сегодня университет эвакуируется, а у него в комнате лежат ее книги. Так можно и на пароход опоздать. Это подействовало на Остапа. Он долго шелестел какими-то бумагами, передвигая стол и, наконец, открыл дверь.

Заглянув в комнату, Мария тотчас отпрянула. Там царил страшный беспорядок, все было раскидано. На измятой постели лежали пыльные записные книжки в черных клеенчатых переплетах, до сих пор валявшиеся на чердаке. На столе и стульях разбросаны микрометры, кронциркули и еще какие-то сложные слесарные и инженерные инструменты. Из-под скатерти выглядывал край ватманской бумаги, исписанный чертежами и числами. Отец, верно, прикрыл чертеж перед тем, как отворить дверь. Старик был не похож на себя. Седые усы всклокочены, под глазами набрякли мешки, весь он за одну ночь похудел и сгорбился.

— Бери, дочка. Все бери, раз бросаешь Одессу, — с укором сказал Остап.

— Отец, ты опять? У меня приказ.

— Приказ? У нас теперь один приказ. Не пускать фашистов на родную землю.

— Потом об этом, потом, — отмахнулась Мария и, схватив свои книги, снова принялась звать отца завтракать.

— Прощаться выйду, а есть не пойду. Видишь, что у меня здесь делается? Ты еще услышишь обо мне!

И опять заперся, что-то мурлыча себе под нос, передвигая стол. Завтракать не вышел. Только, когда Мария уходила, сам открыл дверь и встал на пороге. Усы были старательно закручены кверху. Чистый подворотничок сверкал над краем высокого воротника морского кителя.

Отец трижды поцеловал Марию в голову. Студенты подхватили узелок с книгами, плетеную корзину с бельем, мгновенно все очутилось в машине. Мария посмотрела на дом, на крыльцо, на стены, увитые диким виноградом, и сердце ее болезненно сжалось. Как постарел, как врос в землю этот родной дом!

— Славку береги, мама, — глухо сказала Мария. — Так и не простилась я с ним...

Марта взглянула на грузовую машину, в которой уже улеглись дочкины вещи, подумала, что сейчас и Мария

очутится там. Машина тронется, исчезнет за углом, и кто знает, когда увидит она дочку. Да и увидит ли?

Мать пошатнулась, припала к плечу Марии.

— Мама! Ну что ты, мамочка, — чуть не плача, шептала Мария. А глаза, полные слез, уже не видели ни улицы, ни моря, только чувствовала она взволнованное, прерывистое дыхание матери.

Так бы и стояли они, не в силах оторваться друг от друга, если б не старый Остап. Он обнял обеих и ласково прижал к себе.

— Ну, чего вы? Посмотрите на меня...

Мария подняла на него глаза. Его мохнатые брови вздрагивали.

— Присматривай за ней, папа, — Мария погладила мать по голове, внимательно посмотрела на нее, потом перевела взгляд на море, легонько отстранила Марту и протянула руку студентам, которые мигом втащили ее в кузов.

Мотор зафыркал, потянуло едким дымком, машина двинулась, и все студенты замахали руками, прощаясь с Богучарами. Старики еще долго видели Марию — до тех пор, пока машина не исчезла за поворотом.

Пусто стало во дворе. Марта захлебнулась горьким плачем. Если бы Остап не подхватил ее, так бы и упала на камни.

— Ты что, маленькая? Пойдем в дом, — а сам все смотрел на дорогу, на которой виднелись убегавшие от ворот два широких следа от колес.

— И кто только вас придумал, с вашими слезами? Ну, послушай меня, Марта. Ты плачешь, и я плачу. А что из этого выйдет? Подумай, седая твоя голова. Одесса — ключ к Черному морю. Враг рвется к этому ключу. А мы плакать будем?

Марта притихла, опустилась на ступеньки, которые вели на застекленную веранду, увитую виноградом. Мокрые от слез глаза всматривались вглубь сада, внимательно, неотступно, словно там, на дорожке, сбегавшей к морю, могла появиться Мария.

Остап распахнул дверь, застучал о ведро ковшом и, наконец, позвал жену. Она не шевельнулась.

— Посуда не мыта, земля в горшках засохла. Обед и не думают варить. Черт его знает, что в доме делается. Все пошло вверх дном. Кто тут хозяйка, ума не приложу.

Слышишь, Марта? Так мы долго не провоюем с фашистами.

И он прошел к себе в комнату, запер дверь. Долго стоял у окна, забыв о работе, смотрел на след от новых скатов, уходивший от ворот под гору. Скоро ли он повернет обратно, привезет Марию?.. Потом Богучар услышал, как жена поднялась по лестнице на веранду, долго вздыхала в кухне, верно, глядя на царивший там беспорядок. За работу она принялась вяло, но чем дальше, тем становилась энергичнее, и вскоре в кухне зашумел примус, загремели ложки в воде: Марта мыла посуду. Потом запахло рыбой, и Остап, сняв со стола скатерть, снова склонился над своими чертежами. Он бы еще долго работал, но во двор ворвался Славка и прямо с порога закричал:

— Мама, лопату мне и еды в мешок, я ухожу.

— Куда? Кто тебя пустит?

— Вся школа идет.

— Рехнулся парень, — всплеснула мать руками.

— На окопы иду. Рубежи будем строить. Линию обороны... эскарпы и всякую другую фортификацию. Ты этого не знаешь и, верно, не узнаешь.

— Дитятко мое, что ты придумал? Мария уехала. Устим лежит раненый. Старик заперся и не пускает к себе. Платон где-то в море. А ты убегаешь из дому... Ну, куда тебе на войну? Сиди уж тут.

— Лопату и еды, слышишь, мама? Шанцевый инструмент и сухой паек на девять суток, — категорически сказал Славка и закружился на одной ноге.

— Остап! — закричала Марта, стуча в дверь. — Или вяжи его или бей. Он хочет шею себе сломать.

— Не себе, а фашисту. И нечего здесь, мама, крик поднимать, — Славка решительно встал перед нею, стройный, высокий. Глаза так и пылают, словно он вытащил своей удочкой из моря огромную рыбину и принес ее домой.

— Чего ты? Куда опять рвешься? — открыл дверь Остап. Славка вынул руки из карманов, встал смирно.

— Землю еду копать. Все ученики старших классов едут, а меня мать не пускает. Я не хочу быть дезертиром.

— Дезертиром? — холодно переспросил Остап и перешагнул через порог. — Дезертиров в нашем роду еще не

было и не будет. Ты не говорил, я не слышал этого слова. Вяжи, мать, узелок с едой, а лопату он сам наточит. Молоток и напильник в чулане. Да смотри, полезешь не в свое дело, голову сверну.

— Не полезу. Это недалеко, за Сухим лиманом.

— И не подставляй голову под бомбы. Рта не разевай. Бомбит — на землю падай. Понял?

— Хорошо, папа. Понял.

— Порядок. Теперь давай завтракать, старуха, — сказал Богучар, разглаживая усы.

Марта расставляла на столе тарелки с картошкой, селедкой и, не переставая, вздыхала.

— Что он им накопает? Ребенок еще, а уже и его берут. Ты бы сам за него пошел, раз уж такой приказ.

— Молчи. Надо будет, пойду. И ты пойдешь.

— И пойду. Пойду. Не испугаешь меня. Посмотрю, как ты сам хозяйничать будешь.

— Я на завод перееду, а ты в гости будешь ходить. Слышала?

— Ешь уж, ешь, вояка, — Марта подсела к столу, подставила Остапу рюмку. Он огорченно посмотрел на желтоватую жидкость, в которой плавали лимонные зерна, поморщился и, крякнув, отодвинул водку.

— Эх-ма! Не могу сейчас. К командующему всеми войсками Одессы иду. А он этого духа не любит. Поняла?

Сын посмотрел на него с завистью и восторгом и с сожалением подумал, что, уйдя на окопы, не услышит отцовских рассказов, когда тот вернется домой. Конечно, у командующего есть большие и таинственные планы, он, верно, скажет отцу что-нибудь утешительное. А может, командующий и не примет отца? Кто он ему? Не брат и не сват. Мало ли кто захочет говорить с командующим?

Ели молча, прислушиваясь к гудкам в порту, в последнее время оповещавшим о воздушной тревоге. Остап быстро глотал еду, почти не жуя, чего с ним никогда не бывало.

— Так он тебя и примет, командующий. Все двери распахнет, — сказал Славка и наклонился над столом, искоса посматривая на отца.

— Примет. У тебя не спросит.

— Что ты ему, орудие или самолет какой изобрел? Смех меня разбирает.

— Это дело мое.

— Я бы на твоем месте в военкомат пошел. Только с утра, а то там очереди большие очень.

— Нос утри! — крикнул Остап и встал. Это означало, что он ничего не скажет сыну. Славка с досадой взглянул на отца и опять пожалел, что уходит из дому.

— Почему не примет? С дорогой душой примет, — сказала мать. — Вынесут ему башмаки солдатские, обмотки по два метра каждая. Сбреют усы, дадут котелок и лопату. Пусть идет. Я бы только хотела поглядеть, как его моряки в порту встретят. Что они скажут, увидев такого пехотинца.

— Не твоего ума дело, Марта Григорьевна,— не смолчал Остап и уже хотел прикрыть за собой дверь, но на крыльце задребезжал звонок. Кто-то настойчиво дергал проволоку у ворот, и вся семья Богучаров выбежала во двор.

Пять моряков вошли в калитку и остановились во дворе, внимательно осматриваясь вокруг. То ли они, перепутав адрес, заблудились, то ли искали кого-то, то ли наобум забрели во двор и теперь стояли, очарованные уютом этого домика, густым садом, который взбегал на крутое взгорье и шумел над морем. Марта подумала, что они привезли письмо от Шагайды, и уже хотела сказать им, что Марии нет дома и скоро не будет... Остап вообразил, что это посланцы от командующего, и сразу стал важным, начал торжественно разглаживать усы. Может, командующему уже доложили о его работе, и он лично заинтересовался ею?

— Вы Остап Богучар, и это ваш двор? — вышел вперед старшина Грызлов и, не ожидая ответа, принялся осматривать дом, и просторную веранду, и посыпанные песком дорожки, и все, что здесь стояло и росло. Можно было подумать, что он имеет право на все это, словно приобрел все хозяйство, и теперь с достоинством оглядывает свои владения.

— Да. Двор мой, но при чем тут вы?

— Мы по приказу. Все честно, никакой анархии, — сказал Грызлов и протянул старику бумажку. Остап пощупал карман, но очков там не оказалось, и Славка метнулся за ними в комнату.

— Здесь будет наша позиция. Фронт, мамаша, наш

будет здесь,— объяснил Грызлов, и моряки весело переглянулись.

— Фронт? Позиция? — растерянно произнес Остап, посмотрев на жену. Она стояла строгая, постаревшая. Старик замахал руками, топнул ногой.— Фронт там, где немцы. Вам туда надо. Нечего здесь делать, у баб под боком. Жизнь наша на карту поставлена, а вы в сад, в кусты? Кто ваш командир?

Старшина сбил картуз на глаза.

— Папаша, зачем стрелять холостыми? Война не любит слов. У нас приказ, по всей форме от коменданта Одессы. Сами, видать, моряк, а такое начинаете. Я тоже хочу туда, где немцы, и они хотят, — показал на моряков Грызлов. — Но что делать?..

Остап взял у Славки очки и, дважды прочитав бумажку, сказал жене:

— Отворяй. Все правильно.

— Мы сами, — остановил его Грызлов. Моряки бросились к калитке, открыли ворота, и во двор въехали два грузовика. Марта, прижавшись к стене, с недоумением рассматривала моряков, которые ловко хлопотали у машин, свертывали брезенты, распаковывали загадочные грузы. Делали они свое дело тихо и умело, словно по команде. Старшина стоял в стороне и не спеша закуривал самокрутку.

— А что касается деревьев и других растений, так мы рубить не собираемся, а будем присматривать за ними и беречь. Ну, разве только бомба случайно клюнет, тогда — простите. Война.

— Ты, вижу, моряк, а по земле плаваешь. Почему?

— Немец палубу у меня из-под ног вышиб. Я долго здесь сидеть не буду, я им отплачу,— сказал Грызлов и, помолчав, спросил: — Покажите нам, как третьей машине въехать на косогор. Позиция наша там будет.

— По переулку поезжай. Там разберешь решетку и по огородам. Только не топчите очень и забор поставьте, как был.

— Есть, папаша, — старшина побежал к морякам, что-то тихо сказал им, и они на третьей машине, которая стояла у ворот, двинулись по переулку к морю. Старшина по-хозяйски запер ворота и подошел к Марте:

— Не грустите, мамаша. Давайте жить в ладу. Я вам солнце привез. Настоящее солнце. Оно врага ослеплять

будет, а вы голову повесили. — Он легонько взял ее за локоть, подвел к грузовику, и она увидела под натянутым брезентом выпуклый прожектор с зеркалом на дне. В нем отразился и сад, и море, и небо, и все такое странное и необычное, каким она их никогда не видела. Словно очарованная, стояла она перед зеркалом и не заметила, как во двор вошла Мария. Она шла, держась за стену дома, усталая и равнодушная ко всему: и к этим машинам во дворе, и к ослепительному стеклу, перед которым стояла мать. Глаза у нее были влажны, она прятала их, опустив в землю. Прошла к крыльцу, села на нижнюю ступеньку, словно сонная. Мать бросилась к ней. Подошел Остап, Славка остановился с лопатой и с узелком за плечами. Мария посмотрела на них, куда-то за деревья, в небо и тихо сказала:

— Не уеду я... Не могу.

XIII

Машина мчалась по улице Пушкина, не останавливаясь у светофоров. Пронзительный визг автомобильной сирены не умолкал с тех пор, как машина въехала в город через Дальницкую заставу. Покрытая грязью и пылью, с помятыми крыльями, со следами от осколков на дверце кабины, она совсем утратила свой недавний блеск. Ветровое стекло в двух местах, прямо против шофера, было пробито пулями, и на нем ярко поблескивала паутина трещин. Одесситы мрачно смотрели вслед машине, думали: «Оттуда, с фронта».

Шофер замедлил ход возле гостиницы «Интурист». Среди битого кирпича сиротливо торчал дом, надвое расколотый бомбой. С балки свисала кровать. Качалась на веревке картина в массивной раме.

— Здесь когда-то жил Пушкин, — сказал шофер и погнал машину через Привокзальную площадь, где на узлах сидели женщины и дети, ожидавшие поездов.

Шофер оглянулся и печально покачал головой: ему было жаль этих людей, то и дело поднимавших глаза к небу, вздрагивавших от малейшего шума. Чтобы не видеть их глаз, которые со страхом впились в забрызганную грязью машину, он круто свернул за угол и помчался через Куликово поле, прямо к штабу военного округа. Часовой махнул автоматом, чтобы он отъехал подальше,

здесь под платанами и так стояло много машин. Но из кабины вышел генерал Ковалев, и часовой сразу вытянулся.

Генерал с минуту разминал затекшие ноги, осматривая густой сад за каменной стеной и высокий светло-розовый дом, где расположился штаб. Здесь все было цело и чисто. На стенах и тротуарах генерал не заметил ни следов бомбежек, ни глубоких воронок и почему-то подумал: «Странно, что немцы не знают, где помещается штаб округа. А давно помещается, целых пять лет в одном и том же доме. Хоть бы теперь его куда-нибудь перевели. Оглохли они тут, в штабе, что ли?»

В защитном кителе, широком плаще и брезентовых сапогах Ковалев не был похож на генерала. Солдатские штаны с косяками на коленях и выцветшая на солнце фуражка скрывали его настоящее звание, и даже командиры, толпившиеся возле бюро пропусков, издали не узнали генерала. Они спохватились, когда он был уже рядом, и расступились, отдавая честь. Ковалев, посмотрев на молодых, в новом снаряжении, командиров запаса, ответил на приветствия и подумал о своей одежде. Телеграмма с вызовом на заседание Военного Совета Приморской группы войск догнала его на правом фланге, к северу от Тирасполя, где сейчас шли тяжелые бои. Этот фланг больше всего тревожил генерала, именно оттуда он ожидал наступления, именно здесь немцы попытаются отрезать и прижать к морю всю его группировку. Разведка донесла о скоплении на этом участке ударных войск противника, танков и авиации. Ковалев второй день осматривал окопы переднего края на этом участке, проверял дислокацию артиллерийских дивизионов. Он даже не успел заехать к себе в штаб, чтобы переодеться, и так и прибыл в Одессу. В дороге он сперва пожалел об этом, но когда адъютант напомнил ему о форме, генерал накричал на него.

В приемной генерала встретил адъютант командующего. Он вскочил из-за стола, хотел помочь раздеться, но Ковалев остановил его и сам повесил плащ на крайний крючок. Там уже висели новые чистые генеральские плащи, и его грязный плащ выглядел среди этой одежды бедно и сиротливо. Генерал заметил синие плащи контр-адмирала Багрова и еще нескольких флотских командиров, и ему стало приятно.

— Все собрались? — спросил генерал.

— Так точно. Ждут вас, — ответил адъютант, открывая высокую дверь, ведущую в зал заседаний.

Ковалев тихо, почти неслышно ступил на мягкий ковер и зачем-то снял пенсне. Полковники встали, один пододвинул Ковалеву глубокое кресло.

— Я вам звонил. Тысячи людей вышли на строительство рубежей. Как они там? — тотчас обратился к нему Багров.

— Люди приняты, к ним выехали инженеры. Меня волнует правый фланг. Нужны танки и самолеты. Да что поделаешь? Враг скоро пойдет на прорыв, — тихо, почти шепотом ответил генерал.

Адъютант принес на фарфоровых тарелках вишни и яблоки, но никто к ним не прикасался. «Яблоки везде еще зеленые, а у них уже поспели», — подумал Ковалев и взглянул на часы. Он опоздал ровно на две минуты.

Контр-адмирал посмотрел на легкие брезентовые сапоги генерала, покрытые пылью, со следами раздавленного бурьяна на голенищах. Ковалев заметил этот взгляд, спрятал ноги под кресло.

Из боковой двери вошел командующий военным округом и остановился у стола, легко касаясь длинными, худыми пальцами стекла, покрывающего весь стол.

— Итак, приступим, товарищи. Начальник штаба, доложите обстановку.

На стене зашуршал синий шелк, и перед членами Военного Совета возникла большая карта. Она охватывала простор приморской степи от Днестра до Николаева, от Первомайска, Кировограда до извилистой ленты нижнего Днепра.

В центре карты между длинными лиманами, далеко врезавшимися в сушу, лежала Одесса. Разбитая на ровные квадраты улиц и районов, она напоминала на плане панцырь огромной черепахи, которая приползла к морю и застыла на берегу.

Генерал Ковалев вынул свою карту, уже потертую и исчерченную синими полосами и стрелками, разложил ее на столе. Контр-адмирал тоже склонился над ней. В руках командиров зашелестели новенькие топографические листы.

Ковалев показал на своей карте синюю стрелку, которая начиналась за Днестром, выше Каменец-Подольска,

и, словно комета с широким хвостом, изогнулась дугой над югом Украины, круто повернув около днепровских плавней вниз к Херсону. Она пересекла все железные дороги и шоссе, синей бороздой пролегла по Таврическим степям, где земля стонала под тяжестью хлебов, не дождавшихся уборки.

— Этого следовало ожидать, — тихо сказал Ковалев, протирая запотевшие стекла пенсне. Контр-адмирал посмотрел на синюю комету на карте. След ее был старый и потертый. Видно, генерал прокладывал его в тревоге бессонных ночей.

— Обстановка резко ухудшилась. Войска Южного фронта оставили Первомайск, — начальник штаба докладывал обстановку. Голос его казался всем далеким, словно доносился из-под земли. Глотнув нарзану, начальник штаба снова повернулся к карте и чем-то напомнил генералу Ковалеву старого учителя географии, который еще в гимназии рассказывал о сказочных богатствах далекой Индии. Тогда Ковалев путал эти два полуострова: Индостан и Индо-Китай.

— Под натиском танков и мотомеханизированной пехоты наши войска оставили Вознесенск, Кировоград. Авиации и танков у врага в несколько раз больше, чем у нас. Пал Котовск, — наконец проговорил начальник штаба, и всем показалось, что он докладывал об обстановке слишком уж медленно и долго, словно читал по этому поводу реферат.

— Непосредственно над Одессой нависла угроза окружения на суше с трех сторон. Нас прижимают к морю. Силы неравны, и очень неравны. Враг рвется к Одессе. У него сотни танков и самолетов. А наши силы вы знаете. Один к четырем в пользу врага. Мы, конечно, еще можем продержаться, теряя дивизии, но можем и сберечь свои дивизии для других фронтов. У нас есть море и флот. Оставить Одессу подсказывает обстановка, о которой я вам доложил.

В саду сверкала яркая зелень кипарисов. Каштаны увядали на солнце, и от них тянуло духотой. За окном серебристой косой сверкало море. Где-то тарахтели зенитки, и члены Военного Совета слышали между их разрывами далекий гул артиллерийской канонады, который все нарастал, перекатываясь к морю.

— Мы подняли тысячи жителей на строительство укреплений,— сказал генерал Ковалев.— Они уже вышли в степь. У нас создается народное ополчение. Будет так, как хочет народ, как говорит партия. Стоит заехать в военкоматы и посмотреть, что там делается. Сколько там людей стоит без повесток, добровольно.

— Это еще не армия, — бросил начальник штаба.

— Нет, это армия! Армия, которой нет ни у одного государства в мире, — генерал встал и подошел к штабной карте.

Он показал первую линию окопов, которая проходила в тылу. Она находилась в двадцати пяти километрах от Одессы, начиналась от Аджалинского лимана и тянулась к Днестровскому лиману. Укрепления были почти готовы, и генерал советовал основные силы строителей из Одессы и саперные части немедленно перебросить на вторую линию обороны, которую пора уже подготовлять. По мнению Ковалева, она должна пройти в пятнадцати километрах от города, через села Чебанку, Старую Дофиновку, хутор Петровский, Августовку, Гниляково, Дальник, хутор Болгарский и выйти к Сухому лиману. И, наконец, последний рубеж должен пройти через село Крижановку, мимо хуторов, которые находились между Куяльником и Хаджибейским лиманом, вдоль станции Застава к Сухому лиману и Люстдорфу. Это были уже окраины Одессы.

Поднялся командующий округом.

— Вы предлагаете фронтальные бои вокруг Одессы и потом как последний, кульминационный этап этих боев — борьбу на улицах самого города? Уличные бои. Начальник штаба разрабатывал и этот план, но средств для осуществления такого плана у нас пока нет. Я говорю — пока нет. Мы запросили об этом Ставку...

Он провел рукой по седеющему виску и опустил глаза. На его худой шее пульсировала синяя вена, такая заметная и набрякшая, словно ее обнажил из-под кожи хирург.

Генерал Ковалев все еще стоял у карты, вопросительно поглядывая на контр-адмирала. Командующий чуть заметно вздрогнул от тишины, возникшей в кабинете после его слов, и оглянулся на генералов. Они сидели молча, опустив головы к своим картам.

Сапоги командующего заскрипели, и он потянулся

к телефону высокой частоты, стоявшему на отдельном столике. Но, сообразив, что связь с Москвой прервана еще утром, где-то у Первомайска или даже у Вознесенска, отдернул руку.

В углу тоскливо и однозвучно тикали часы. В приемную вошел штабной майор и, не закрыв дверь, быстро прошел к командующему, подал ему кожаную папку и, отойдя на шаг к стене, уставился взглядом в окно, где бушевала желтеющая кипень садов. Члены Военного Совета знали, что майор из шифровального отдела спроста не заходит на заседание, и насторожились.

Командующий низко склонился над папкой, читал медленно, долго, раз, другой, взгляд его все возвращался к началу страницы и снова сбегал вниз. Наконец он вздохнул полной грудью. Встал, глаза его загорелись, плечи вдруг распрямились, и всем показалось, что он совсем несутулый.

— Радиограмма из Москвы.

Все подались к столу. Майор из шифровального отдела неслышно отошел, словно проплыл, к окну, уступая им дорогу, но они не подошли к командующему, а так и застыли у своих кресел, впившись пальцами в массивные ручки.

— Ну, вот и все. Дискуссия ни к чему, — проговорил командующий. Голос его сразу окреп, приобрел силу. — Ставка приказывает создать Одесский оборонительный район. Основными боевыми силами этого района будут: корабли Одесской базы Черноморского флота и части Приморской армии. Стратегическое задание состоит в том, чтобы защищать Одессу, приковать к этому участку фронта возможно больше вражеских сил, на возможно более длительный срок, и нещадно изматывать их в боях.

— Вот то, чего мы ожидали! — воскликнул генерал Ковалев, и все заметили, что он до сих пор стоит у штабной карты.

— Командование я передаю контр-адмиралу Багрову. Меня Ставка отзывает на другой фронт, — твердо и четко проговорил командующий и взглянул на начальника штаба. — И вас тоже. Приготовьте проект приказа.

Командующий прочитал радиограмму, полученную из Москвы. Слова этой радиограммы летели к ним над землей, на которой уже лилась кровь, горели города и села и куда они сейчас уже не могут ни проехать, ни позво-

нить. Но их окружала Родина, она боролась, а на их долю выпала великая задача сражаться за родной город — за Одессу.

А внизу, в приемной, старый Остап Богучар настойчиво требовал от адъютанта, чтобы его немедленно принял лично командующий — по очень важному делу.

XIV

Профессор истории Степан Кириллович Драга положил под крыльцо железную лопату и, не заглядывая в свою квартиру, снова побрел на улицу. На душе у него было тревожно и неспокойно, в глазах притаилась печаль. Все его коллеги по университету, вместе со студентами младших курсов, давно работали в пригородных колхозах, на уборке урожая, а ему было категорически отказано в этом. Сегодня утром, когда очередная партия людей уезжала на строительство оборонных рубежей, Драга не выдержал, схватил лопату и пристроился к одной из колонн. Но его сразу узнали и воспротивились тому, чтобы он ехал копать траншеи, окопы, противотанковые рвы. Он настаивал на своем и всем говорил, что уже давно стал ополченцем. Ему верили, сочувственно покачивали головами, но с собой не брали. В колонне были его бывшие ученики, и даже кое-кто из выпускников университета, преподававшие в одесских школах. Именно их голоса и услышал Драга за спиной: «Он один у нас. Его надо беречь...» Это было сказано о нем, старом профессоре, который сам учился в Одесском университете, потом стал в нем преподавателем, а после революции защитил кандидатскую работу, закончил докторантуру. В Одессе его знали очень многие, уважали, он был желанным гостем чуть ли не в каждой семье. И вдруг такая несправедливость. Все одесситы работают день и ночь для фронта, для победы над врагом, под Одессой уже начались кровопролитные бои, а он должен в одиночестве слоняться возле университета, под видом какого-то ответственного дежурного по научной части, да сторожить по ночам, вместе с глуховатым швейцаром Кулиной, старинную библиотеку.

— Вам, Степан Кириллович, надо лекции читать, а не лопатой орудовать. Идите в горком партии, я уже туда позвонил. У нас теперь много народу, который совсем не

знает истории Одессы. Вот вам и карты в руки...— обратился к нему начальник колонны.

В горкоме партии профессора Драгу встретили радостно и сразу же зачислили в лекторскую группу. Теперь у него в боковом кармане лежала путевка на первую лекцию. Но он не представлял себе, как его будут слушать раненые бойцы и командиры, когда у них и своих хлопот достаточно. Да и вообще до истории ли теперь, в госпиталях, когда раненым нужен покой, отдых, и уж если развлечение, то скорее выступления эстрадных артистов, чем седая, запыленная старина. Наверно, в горкоме партии не хотели обижать Драгу и придумали для него эти лекции.

Степан Кириллович шел по краю тротуара, понурый и злой, опустив глаза. Седые усы прикрывали его тонкие, крепко сжатые губы. Широкополая панама из рисовой соломки, низко надвинутая на лоб, скрывала блеск проницательных глаз, глубоко сидевших под мохнатыми бровями. Драга даже не переоделся, а пошел в госпиталь в том виде, в каком собрался на оборонные работы. Стоптанные солдатские башмаки, зашнурованные ремешками из сыромятной кожи, синие, простроченные белой ниткой, брезентовые штаны. Такие башмаки и штаны носят в порту грузчики торгового флота. Их дал профессору для работы в поле университетский швейцар Кулина, который жил с Драгой в одной квартире. Старомодный пиджак из желтой чесучи, с перламутровыми пуговицами, был расстегнут и болтался на худых плечах профессора. Соломенная шляпа и светлый пиджак резко оттеняли рабочие штаны и старые солдатские ботинки. Это бросалось в глаза прохожим, но Степан Кириллович ничего не замечал. Он шел задумавшись и, казалось, безразличный ко всему окружающему. Мимо него проносились санитарные автобусы, с пронзительным воем пролетали куда-то пожарные команды, проскакала, стоя в стременах, группа кавалеристов. Потом два тягача повезли из порта дальнобойные орудия крупных калибров, а Драга, позабыв обо всем на свете, все шел вниз по Дерибасовской. Только громкие возгласы детей, мчавшихся навстречу, вывели его из задумчивости. Крикливые одесские мальчуганы размахивали газетами, предлагали их прохожим.

Степан Кириллович остановился и вспомнил, что сегодня он очень рано ушел из дома и не слушал радио.

Должно быть, передавали что-то важное, раз детвора так кричит. Юные продавцы газет, верно, только вырвались из экспедиции и, разбегаясь во все концы, выкрикивали:

— Свежая «Черноморская коммуна»!..

— Важное сообщение!

— Арабские сказки Гитлера!

Степан Кириллович купил две газеты. Одну он спрятал для своего архива, который аккуратно и старательно собирал много лет, а другую развернул и начал читать. Он шел медленно, углубившись в чтение, и все уступали ему дорогу. В сообщении Советского Информбюро от 7 августа говорилось об упорных боях на кексгольмском, холмском, смоленском и белоцерковском направлениях. Об Одессе еще не упоминали. Но дальше, в самом деле, шло то, о чем кричали газетчики.

Профессор Драга остановился под платаном и начал читать сообщение Информбюро под названием «Арабские сказки немецкого верховного командования или шестинедельные итоги войны».

Ему понравился стиль сообщения, лаконичный, хлесткий, и он долго и внимательно читал заметку.

— Здравствуйте, профессор! — послышалось рядом, и Степан Кириллович оглянулся.

Перед ним стоял Остап Богучар, одетый в морскую форму, которую он берег с давних пор. Белый китель, старательно выглаженные брюки, фуражка на стальном каркасе, только на рукавах не было знаков различия.

Драга крепко пожал Остапу руку и, показывая газету, живо спросил:

— Читали?

— Читал и по радио утром слышал, — ответил Остап.

— Ну, и что вы думаете?

— Здорово! Прямо не в бровь, а в глаз. Мы уже говорили об этом на заводе. Так здесь все просто, ясно, что Гитлер, должно быть, уже локти кусает. Надо это сообщение передать по радио на немецком языке, забросить листовки к ним в окопы... Пусть знают немецкие солдаты, где правда, — потряс кулаком Остап.

— Наверно, уже передают. За этим дело не станет,— уверенно произнес профессор, и они пошли вниз, к морю.

— Вы, Степан Кириллович, к нам на завод приходите. Я теперь опять на заводе. Много мужчин на фронт

ушло, на их место к станкам стали женщины и девушки. Вот я их и учу. Приходите, лекцию нам прочтете... Интересно услышать, как еще в старину русские люди немецких псов-рыцарей били, — сказал Остап.

— Неужели интересно? Странно... — пожал плечами Драга.

— Почему странно? История для нас не чужое дело,— сказал Богучар.

— Нет, не то... — перебил профессор. — Я думаю, что сейчас, когда везде так трудно... людям не до лекций. Я даже поругался из-за этого. На уборку меня не взяли, сегодня тоже домой отправили, хотел я на окопы с лопатой ехать — не взяли, а для меня это обида горькая... Все что-то делают, куда-то спешат, один я стою в стороне... Пошел в горком, а там мне предложили читать лекции. Странные они какие-то. Не хотели правду в глаза сказать. Кому сейчас нужны эти лекции? Вот иду на первую лекцию в госпиталь и знаю, что все это не то. Не то!..

— В какой вы госпиталь идете?

— В первый санаторий, — равнодушно ответил Драга.

— О! Так нам по дороге. Я тоже туда иду, — обрадовался Остап.

— А вы что там делаете? — спросил Драга.

— Сын мой, Устим, там находится. Полковник. Он уже ходит. Скоро опять на фронт... Мы его по очереди навещаем — я, Марта и дочка Мария.

— Знаю. Способная девушка.

— Сегодня моя очередь. Гостинец там какой-нибудь принесу, навещу, и ему становится легче... А насчет лекций вы ошибаетесь, Степан Кириллович... они нужны. Мне контр-адмирал сказал, что дальше в Одессе еще труднее будет. И надо людям рассказывать обо всем, не скрывать от них ничего. Вот вы и помогите своим словом. — Остап Богучар взял профессора под руку.

— Не знаю, будет ли от этого польза, — неуверенно проговорил профессор. — Но все равно, из Одессы я не уеду. Вся жизнь моя связана с Одессой. Может, пригожусь своей Одессе не только как лектор.

У входа в санаторий стояла молчаливая толпа женщин. Они как будто чего-то ждали, поглядывая на серый листок бумаги, приклеенный к каменному столбу. Женщины расступились, уступая дорогу Остапу и профессору; они уже заметили на столбе бумажку и подошли к нему.

Драга поправил очки и прочел текст, напечатанный большими буквами.

Это был приказ начальника гарнизона — с 8 августа в городе объявлялось осадное положение.

Остап Богучар наклонился к профессору и тихо сказал:

— Вот и началось...

— Осадное положение? — Профессор Драга как-то сразу подтянулся, застегнул чесучовый пиджак на все пуговицы, поучительно сказал:

— Мы, кажется, долго шатались по улицам, товарищ Богучар. Нас, верно, ждут в госпитале. Так нельзя, пойдемте быстрее. Это очень серьезно — осада Одессы. А мы, словно старики-пенсионеры, занимаемся воспоминаниями. Стыдно... Не имеем права.

XV

Устим Богучар лежал в одной палате с Андреем Голубовым. Их кровати стояли рядом, у высоких окон, выходивших на море. Из окон хорошо был виден желтоватый берег, широкая лестница, уступами спускающаяся к порту. Просторная и уютная палата, устланная ковровыми дорожками, полна цветов. Длинные шторы из прозрачного розового шелка слегка затеняли слепящее полуденное солнце, и от этого в палате всегда стояла приятная, успокаивающая глаз полумгла.

К полковнику Богучару приезжали с фронта друзья и рассказывали последние новости. Навещали его и родные. Он всегда ругал их за то, что они приносили ему еду и всякие домашние лакомства. Трудящиеся Одессы и так засыпали подарками раненых воинов. Устим Богучар просил врача запретить матери приносить в палату еду, но Марта Григорьевна всегда доставала из рукава или незаметного кармана маленький пакетик, приговаривая при этом: «Ешь, сыночек, ты ведь так любил это, когда был маленьким...»

В палате всегда было людно и шумно. Полковника Богучара окружали пехотинцы, летчики, танкисты и кавалеристы. Из матросов рядом с ним был только Андрей Голубов, и они подружились. Мария, познакомившись с Голубовым и узнав, что он плавал на «Грозе», сразу принялась взволнованно расспрашивать его о судьбе

Самойла Вихоря. Раненые начали завидовать Голубову: девушка навещала не только Устима Богучара, но и Андрея. К другим раненым никто не приходил, они были издалека. Некоторые даже думали, что Богучары доводятся Андрею дальними родственниками, только он не хочет признаться в этом.

— А ты признайся, скажи, что мы родственники, — шутил Устим Богучар, когда оставался наедине с Голубовым.

— Не могу. Я как скажу неправду, так краснею, сразу догадаются, — искренно ответил Андрей. — Поскорей бы уж туда, на передовую. Тут всем одинаково тоскливо: и тем, у кого есть родные в Одессе, и тем, у кого их нет.

— Это верно, — соглашался Богучар. — Только ты нам, Богучарам, в эти дни стал ближе остальных. Мария тебе покою не дает, все о «Грозе», о Вихоре расспрашивает. Твои матросы в нашем саду прожекторы установили. Дружок твой, Павел Грызлов, что сюда ходит, тоже у нас живет. Вот и выходит, что ты Богучарам сродни приходишься...

— Я не против. Ваш род честный, заслуженный...

— Ну хватит, матрос. Не хвали. Черноморцы этого не любят, — полковник потрепал Голубова по плечу, — пойдешь в морскую пехоту, сам увидишь. Морская пехота рядом с моим полком стоит. Соседи с тобой будем... Раз началась осада Одессы, значит, дела у нас пойдут горячие.

* * *

В палату начали сходиться раненые, захватив с собой стулья.

Скоро больных набилось полно. О том, что состоится лекция известного профессора Одесского университета Степана Кирилловича Драги, уже успели позвонить из горкома партии, и теперь о ней гласила большая афиша в вестибюле, заинтересовавшая многих.

Когда профессор Драга вместе с Остапом Богучаром, в сопровождении дежурного врача, вошел в палату, там было тихо. Драга поклонился раненым, и те с удивлением посмотрели на него. Те, кто пришел послушать лекцию из других палат и не знал Остапа Богучара, подумали, что профессор именно он. А этот, оказавшийся на-

стоящим профессором, какой-то странный, совсем не похож на ученого.

Драга сразу заметил недоумение раненых; чтобы рассеять его, сказал:

— Вы простите меня, товарищи, я не готовился к специальной лекции. Я собирался ехать на окопы, но меня вернули из колонны. Так что домой не успел забежать. Вы уж простите... Теперь такое время, сами знаете. Я проведу с вами просто беседу.

То, что профессор собирался ехать рыть окопы, понравилось раненым. По палате прошел тихий гул, несколько голосов откликнулось:

— Просим!..

— Это хорошо, что вы так просто к нам...

— Спасибо, профессор!..

Степан Кириллович сел на свободный стул и несколько секунд внимательно вглядывался в необычную для него аудиторию. Одни сидели, опершись на костыли, другие держали на коленях забинтованные руки. Некоторые желтыми исхудавшими пальцами трогали обмотанные марлей головы. Эти напоминали профессору мусульман в тюрбанах, которых он когда-то видел в Средней Азии. В глазах раненых была суровая сосредоточенность. На многих лицах лежал горький след недавно пережитого боя, в котором потеряно много крови, сил, когда жизнь висела на волоске. Теперь они смотрели на мир веселее, чувствовали себя точно заново рожденными. Раны заживали, к бойцам заметно возвращались силы.

Профессор Драга, поздоровавшись, сказал, что проведет беседу, но какую именно беседу, он сам до сих пор не знал. Глядя вокруг, он с молниеносной быстротой мысленно перебирал огромное количество тем и ни на одной не мог остановиться. Он видел, что в коридоре у окна стоит Остап Богучар и что-то говорит своему сыну полковнику. Сын внимательно слушает отца, изредка кивает головой в знак согласия. Потом отец вынимает из бокового кармана какой-то пакетик и, озираясь по сторонам, пытается сунуть его сыну. Полковник не хочет брать, отступает, но отец прижимает его к стене и все-таки вкладывает подарок в руку Устиму. Раненые переглядываются, но профессор молчит. Когда Остап Богучар попрощался с сыном, слегка прикоснувшись губами к его высокому лбу, и быстро пошел к выходу, Драга

словно ожил. Перед ним промелькнул приказ начальника гарнизона, который висел на столбе у госпиталя. Этот приказ и стал исходным пунктом его беседы с ранеными.

Профессор поднялся со стула, посмотрел в окно, где колыхалась густая зелень садов, серебром переливалось на солнце море, и начал читать. Он говорил выразительно, с подъемом, и раненые внимательно смотрели на него. Их удивляло то, что у Степана Кирилловича не было никаких записей, даже книжки он не принес. Андрей Голубов заметил у него в кармане только два аккуратных ломтя черного хлеба, завернутых в чистую бумагу. Бумага разорвалась, и хлеб был виден всем. Но профессор этого не заметил.

Его рассказ потек свободно и непринужденно. Перед глазами бойцов возникала далекая история Одессы.

После лекции раненые окружили профессора Драгу плотным кольцом и долго не отпускали его. Он должен был рассказать еще о катакомбах, одесских музеях, старом рукописном фонде университетской библиотеки и ответить на десятки других вопросов, которые сыпались со всех сторон. Степан Кириллович не ожидал такого успеха. Он был глубоко взволнован, даже растерялся. Полковник Устим Богучар заметил это и пришел ему на помощь.

— Спасибо вам, Степан Кириллович, за лекцию, — сказал он. — Теперь ждем вас в частях, на передовой. Я приглашаю вас к себе, в артиллерийский полк. Дайте только согласие, и мы выберем время, за вами заедет машина. Такую лекцию интересно будет послушать и моим артиллеристам...

— Пожалуйста. Очень охотно. Я даже не думал, что все так будет... Не знал, что вы так интересуетесь историей Одессы. Мне казалось, что в горкоме партии просто хотели от меня избавиться и послали сюда, — тихо, так, чтобы не слышали остальные, сказал полковнику Драга.

— И к нам, в морскую пехоту, приезжайте. Только нам побольше о флоте расскажите, о матросах, о кораблях, — сказал Голубов, подходя к ним.

Окруженный ранеными, Драга вышел из палаты в длинный коридор. Полковник Богучар легонько взял его за локоть, сказал:

— Вам, Степан Кириллович, побывать на передовой — двойная польза. Вы увидите наших славных бой-

цов в деле и одновременно распознаете коварство врага. Вам в своих лекциях обязательно надо говорить о нашем злейшем враге, о фашизме. Разоблачать его вероломные и преступные методы, его сущность...

— Ваша правда, — ответил Драга.— Я думал об этом. Мне нужны материалы и факты с одесского участка фронта. Сведения, полученные от пленных, документы... Я знаю немецкий и румынский языки. Это очень важно...

— Подождите, профессор! У меня кое-что есть для вас. На первый раз, правда, маловато, но приедете на фронт, и мы вас засыплем этими трофеями. Подождите минуточку, — сказал Богучар.

Он принес из палаты свой планшет, достал из него потертую книжечку в желтой бумажной обложке и подал профессору. Это была походная памятка фашистского вояки. Драга листал ее, читал какие-то пометки, сделанные карандашом на румынском языке. На одной страничке он задержался и побледнел. Руки его задрожали.

— Бандиты!.. — едва смог проговорить он. — Вы слышите, что они пишут? Это разговорник для их солдат. Лексикон бандита. Фразы написаны на немецком и румынском языках, в скобках латинскими буквами дана русская и украинская транскрипция.

Раненые плотнее обступили Степана Кирилловича, и он показал им слова, которые фашист заучивал, ступив на нашу землю. В книжечке были такие фразы: «где тут колбаса, яйцо, хлеб, масло, кофе, пиво, водка?», «милая хорошая барышня!», «пожалуйста», «я люблю тебя», «пойдем», «ляжем», «спать», «спасибо», «до свиданья». На другой стороне был русский текст: «Кто комиссар этой деревни? Где здесь хлеб, масло, миод, сахар?», «Передавайте вас» (т. е. сдавайтесь).

Раненые крепко сжали зубы. Профессор Драга держал потертую книжечку двумя пальцами, словно боялся прикоснуться ею к своей одежде. Он шептал:

— Я буду рассказывать об этом всем. Сохраню для истории этот документ. Под стекло его, в музей. Пусть знают поколения. А к вам, на фронт, обязательно приеду. Собирайте мне всякие документы. Я очень рад, что пришел к вам, товарищи! Очень рад...

Над городом тревожно запели гудки, предупреждая о воздушной тревоге. Профессор поежился и медленно пошел к выходу, но его задержали в дверях и повели в бомбоубежище.

XVI

В порту стоял неимоверный шум. Над морем плыл тревожный ветер, остро пахло иодом от морских водорослей. Душно и томительно было у причалов. Два теплохода нагружены до отказа. На палубах и около трапов кто-то кого-то звал, но голоса сливались в один сплошной шум, и разобрать что-либо было невозможно. До Шагайды долетали отдельные слова, которые выкрикивали мужчины, провожая жен и детей, девичьи голоса, звавшие подруг.

Шагайда хотел поскорее оборвать неприятный разговор, начатый Марией. Время отплытия все приближалось. Оба теплохода заполнили женщины и дети, прибывшие с вокзала. С ними должна была отплыть и Мария.

Петр искал ее по всей Одессе. Был дома, на вокзале, наконец нашел в порту, среди студентов. Но теперь он хотел, чтобы она поскорее очутилась на палубе, чтобы матросы убрали трап, отдали швартовые. Только бы не слышать этих упреков, не видеть этих пылающих глаз.

— Мария, ты будешь писать мне?

— Не знаю,— не дослушав, сказала она.— Но почему ты молчишь о Вихоре? Он ведь остался в море, плавал на спасательном круге?.. Вы были рядом с ним. Как же это так, Петр?

— Эсминец «Гроза» погиб. Под огнем врага нельзя останавливать крупные корабли для спасения людей. В этом весь трагизм экипажа тонущего корабля. Но нам удалось подобрать кое-кого из команды. А Вихорь последним оставил палубу эсминца. Самолет сбил... Он герой, — тихо сказал Шагайда.

— Я думаю, он звал меня... — грустно прошептала Мария. Она понимала, что Шагайда не виновен в смерти Вихоря, но слова все рвались и рвались с губ, она не в силах была остановиться.

— Большие корабли не могли возвращаться к месту гибели эсминца, — повторил Шагайда.

— Знаю,— горько отозвалась Мария.

— Присядем перед отплытием... Помнишь, как когда-то, на Малаховом кургане?

Она прижала к глазам платок. Где-то там, на холме, лежала притихшая Одесса. Мария угадывала ее прямые улицы, замершие и настороженные, с ночными постами у парадных подъездов. Дежурные не спали всю ночь, прислушивались к малейшему шуму, берегли тревожный покой родного города. Мария знала там каждый камень и строение. Сегодня она долго без устали ходила по этим улицам.

Ей было грустно. И гибель Вихоря, в которую она не хотела верить, и эта внезапная встреча с Шагайдой, и тревожные прощания чужих, незнакомых семей глубоко ранили Марию. Она почувствовала себя одинокой. Где-то там осталась мать и те моряки, которые привезли к ним во двор «солнце на машине», и озабоченный отец, который снова пошел к командующему. Сквозь туман, опустившийся над Одессой, Мария видела младшего брата, который со школьниками спешил по полям вдоль лимана, все дальше и дальше, к Днестру. Трудно им, и ей трудно.

А Петр все стоит рядом, настойчивый, упрямый и немного растерянный.

— Не знаю, как и писать тебе, — говорит Мария. — Не знаю, как покинуть Одессу! Все равно, душа будет здесь. Кажется, не выдержу, не усижу там. Да и куда писать, если тебя не будет тут?

— На эскадру пиши, в Севастополь.

— А может, и я пойду на фронт, — вдруг сказала Мария.

— Что ты? Зачем? — встрепенулся Шагайда.

Мария почувствовала в его словах жалость к себе. Ждала, что он скажет что-то утешительное, поймет ее, угадает ее думы, отсоветует бросать Одессу в такое время, а он просто жалеет ее, как ребенка. Как всякий мужчина, он считает, что война — не женское дело. И внезапно ей стало не по себе от этих мыслей, и вновь вспыхнуло ничем не оправданное раздражение против Шагайды. Ей было худо, он был рядом, внимательный, заботливый, и все страданья этих дней, и боль разлуки, и смерть Вихоря — все вылилось сейчас в слезах.

Шагайда взял ее за локоть, хотел отвести в сторону

от суетливой толпы, но Мария легко высвободила руку, молча посмотрела ему в глаза. Потом потянулась к Петру, хотела сказать что-то, но на пирсе дважды прозвонили. Шагайда обнял ее, прижался к уху колючим подбородком и опрометью побежал к катеру. Мария шла молча, грустная, опустив голову на грудь. Она так и не успела сказать Петру, что не в силах покинуть родную Одессу.

Шагайда слышал голоса ее подруг, которые звали Марию с палубы, и этот зов еще долго стоял у него в ушах. А катер, рассекая зеркальную гладь моря, увозил его мимо теплохода и маяка к эсминцу.

«Стремительному» предстояло конвоировать теплоходы, идущие на Кавказ. Тяжело, с трудом разворачиваясь, теплоходы выходили за маяк. На одном из них Мария — это успокаивало Шагайду.

Но Мария одиноко стояла на берегу, прислонившись к причальной тумбе. Некоторое время ей еще были видны высокие силуэты теплоходов, но скоро и они растаяли во мгле. Только крошечный огонек эсминца долго мерцал в темноте. Там был Петр. Но вскоре огонек погас.

Мария еще не решила, чем займется, не думала, что будет делать завтра. Домой идти не хотелось. Ей вдруг стало обидно, что она не попрощалась с подругами, не поручила им своих книг. Но это чувство длилось лишь мгновенье. Она облегченно вздохнула и медленно пошла к городу.

XVII

Самойло Вихорь запомнил все. Точно и, кажется, навсегда словно ослепительный луч блеснул перед глазами и снова вырвал из темноты все события с того момента, как его вытянули из воды и бросили на гранитные камни пирса в пылающем порту. Он до сих пор чувствовал на губах соленый вкус воды, которая противно отдавала нефтью, видел, как покачивались на малой волне сизые пятна бензина, похожие на медуз. Казалось, это было только вчера, так ясно встало все в памяти.

«Может, так бывает перед смертью», — подумал Вихорь и попробовал крепко стиснуть челюсти, но не смог. Распухший язык не поворачивался. Казалось, что во рту полно мелких камешков и он должен пережевывать их

расшатавшимися зубами. Но это были не камешки, это был самый обыкновенный песок. Его вздымала колонна, шагавшая по глухой дороге, и песок засыпал глаза, хрустел на зубах.

Пленные шли, прижавшись друг к другу, спотыкаясь на ровной горячей земле. Молчали. Может, завтра не увидят они ни этого вечернего неба, ни солнца, алеющего перед закатом, не ощутят под ногами теплой земли, согретой за день. Не увидят, не услышат.

От этой мысли моряк пошатнулся, на секунду замедлил шаг. Шедший позади наткнулся на него, потому что брел, уже не видя перед собой дороги. Вихорь услышал его дыхание у себя над ухом, оглянулся и опять двинулся вперед. Он не знал того, кто шел с ним рядом. Не знал и тех, кто шли впереди и за ним. Их собрали со всего лагеря час назад, и они еще не успели перезнакомиться. Но Вихорь знал, что все они уже побывали в руках обер-лейтенанта.

Перед глазами снова вырос худощавый, вылощенный обер-лейтенант, с длинными ногтями на тонких пальцах. Ногти блестящие, покрытые лаком. От его мундира пахло фиалками, и с тех пор Вихорь возненавидел нежный запах этого цветка.

Всякий раз, когда вводили Вихоря, обер-лейтенант поднимался с кресла и, криво улыбаясь, повторял на ломаном русском языке одну только фразу: «Сейчас я буду начинайт». Вихорь втягивал голову в плечи и стискивал челюсти, боясь упасть после первого же удара.

Но все это было потом. Вначале, когда его вытащили из воды, не было ни обер-лейтенанта, ни проволочной нагайки, ни удушливого запаха фиалки. Был только пылающий порт, огонь, неистово бушевавший на всех причалах. На кораблях уже рвались снаряды, взрывались торпеды, и к ним не могли подступиться пожарники. Два корабля, стоявшие в порту, объятые высоким пламенем и густым дымом, медленно оседали на дно. Вихорь увидел несколько гидропланов, которые погружались в воду, чудно́ задрав хвосты, словно пили ее тупыми носами. Над их моторами развевались огненные ленты, и ничто не могло их загасить; казалось, сама вода горела со всех сторон.

Вихоря били в грудь, по голове, но он, страшный и окровавленный, шел по улицам пылающего города, даже

не пошатываясь. Один пленный моряк из всей эскадры.

Он ничего им не сказал ни на второй, ни на третий день. Молдавский язык он выучил, еще когда служил рыбаком на Днестровском лимане, а молдавский и румынский языки похожи, и теперь у него была одна забота: не показать румынам, что он понимает, о чем они говорят между собой. И он не показал.

Потом появился обер-лейтенант.

— Где расположены базы подводных лодок? — спросил он.

Вихорь поднял голову, посмотрел на ослепительную зеркальную поверхность моря и, даже не оглянувшись на офицера, сказал:

— Всюду... По всему Черному морю!

Три палача держали связанного моряка. Три палача отливали его водой, не давая упасть. Офицер зверел. Остро пахло фиалками и кровью, от этого мутилось сознание. А палач снова спрашивал:

— Точное расположение авиационных баз?

Моряк с трудом поднимал опухшие веки, видел в окно чистое небо, высокое солнце. Обер долго ждал, пока пленный вспомнит и укажет на его карте аэродромы, но тот молчал.

— Где? — снова спрашивал эсэсовец и поднимал к глазам парабеллум.

— А-а, — удивленно произносил моряк. — Авиация? Вон там, — и показывал глазами на небо.

От пола остро пахло смолой. Так бы и лежал, прижавшись к полу щекой, пил бы сосновый запах. С допросов его уносили, а утром, на допрос, он шел сам. Медленно и методично обер-лейтенант убивал его тело, но моряк молчал.

Тело постепенно теряло силы, покрывалось ранами, но ум был ясен; фашист не мог убить его. Вихорь стонал, когда его пытали, но молчал.

Во сне он видел ровные улицы Одессы, залитые солнцем. Иногда по этим улицам куда-то спешила Мария, встревоженная, простоволосая. Вихорь звал ее, но она убегала все дальше и дальше, и он не мог ее догнать. Потом он видел себя в саду Богучаров. Из-за деревьев выглядывала Мария. Он устремлялся к ней, но

стоило ему ступить на дорожку, ведущую к берегу, как девушка внезапно исчезала, словно таяла в море.

От холода он просыпался и возвращался в реальный мир. На фоне неба, усыпанного огромными звездами, ясно виднелись густые ряды колючей проволоки, часовые на вышках, слышалось ворчанье цепных собак. Вихорь снова представлял себе обер-лейтенанта. То он видел его с бородой, в штатской одежде, с тростью в руках. То находил его среди рыбаков на лимане, в соломенном бриле, с подвернутыми штанинами. То, опустив голову, тот прятался в толпе. И всякий раз, в каком бы виде Самойло ни представлял себе обера, он узнавал его.

Обер не оставлял моряка в покое. Вихорь вначале не мог понять, в чем дело, но однажды сами румыны проговорились, почему эсэсовец так следит за ним. Вихорь был первый и единственный пленный с Черноморского флота. Обер, верно, знал, что второго ему достанут нескоро. Моряки в плен не сдавались, и поэтому он держал Вихоря в живых.

Однажды Вихоря привели на допрос в комендатуру, и он долго ждал, прислушиваясь к разговорам, которые вели румынские офицеры и солдаты, пробегая по коридорам. Из схваченных на лету слов он понял, что обер куда-то исчез, и моряку стало легче. Не вызывали его ни на второй, ни на третий день. Краем уха Вихорь услышал от конвоиров, что обер выехал на фронт. И еще он услышал об Одессе. В эти дни она была главной темой всех разговоров. Моряк наблюдал, как произносили враги это слово: глухо, с раздражением, насупив брови. Из обрывков разговоров Вихорь понял, что Одесса уже окружена, но ее никак не могут взять, хотя туда ежедневно едут по железной дороге, на машинах, идут походным маршем все новые полки и дивизии. Каждый день на рассвете мимо лагеря, в котором сидел моряк, запыленные грузовики везли раненых с фронта. Высунувшись из берлоги, которую он вырыл собственным руками в земле, моряк внимательно наблюдал из-за колючей проволоки за дорогой и видел обмотанные белым головы и руки. Сквозь бинты проступала кровь. Тех, кто лежал на дне кузовов без рук и без ног, он не видел. Вслед грузовикам всякий раз перекликались часовые, и он снова слышал слово «Одесса». Слышал и видел страх в глазах врагов, улавливал испуг, с каким они произносили это слово.

«Скули. Скули! Скоро и ты там будешь,— шептал Вихорь и снова прижимался к земле, чтобы часовые не дали по нему очередь из автомата. — Все там будете. Я первый к вам не лез...»

Разбирала злость, что приходится сидеть одному в этой норе, что не дают подойти к другим пленным. Они тоже лежат на голой земле. Пыль засыпает им раны, ночной холод сковывает их тела. Они тяжело стонут, молят о помощи, в отчаянии просят воды. Но над головами все время раздаются автоматные очереди, рассыпаются ракеты, а за колючей проволокой рычат голодные псы.

И вдруг все кончилось. Вихоря ведут по чистому полю. Теплый вечер обнимает землю, над головой прошумели кряквы. Где-то близко плавни или озеро. Вихорь догадывается, из подслушанных разговоров, что враги уже взяли Херсон, Николаев. Но Одесса? Она, оказывается, стоит. Когда их выводили из лагеря, навстречу мчалась машина с фронта, затормозила на повороте... К ней подошел офицер, весело обратился к тому, кто сидел рядом с шофером:

— Скоро можно в Одессу?

Тот махнул рукой, выругался:

— Ад! Сумасшедший дом,— и покатил дальше.

Пленные шли молча, забыв о боли, низко опустив головы. Вихорь оглянулся на своего соседа. Тот хромал, правую руку нес на перевязи, сделанной из обмотки. На рубашке след от ордена. Вокруг все выгорело от солнца, а там, где был орден, клочок зеленого полотна. Вихорь шепнул соседу:

— Слышишь, Одесса еще наша. Я не собираюсь умирать.

— Ты думаешь — нам конец? — блеснул тот глазами.

— К яме ведут. Это точно, — сказал Вихорь.

Сосед тряхнул головой, скривился от боли, передал другому, а тот дальше: «К яме ведут». Глухо прокатились эти слова по рядам. Толпа качнулась и замерла, словно перед нею была пропасть, а не ровная дорога.

Затрещали автоматы. Кто-то вскрикнул и упал. Кого-то били прикладом, и он громко кричал. Конвоиры плотно окружили толпу, сбили с дороги на тропинку, и пленные осторожно обходили еще теплые трупы, которые лежали у них на пути. В степи снова стало тихо. Где-то

кричал перепел, тянуло болотной сыростью. И тогда над сонной степью раздался голос Вихоря:

— Братцы! Одесса наша!

Этот крик вывел всех из забытья, и пленные бросились вперед. Бежали толпой, по бокам конвоиры. Никто не стрелял, никто не ругался. Но это продолжалось лишь несколько секунд. Передние вдруг остановились, тяжело дыша, а на них, не в силах остановиться с разгону, все нажимали и нажимали задние. Но передние не двигались дальше. Прямо перед ними зияла глубокая яма, рядом свеженасыпанный бугор, а с него холодно смотрели им в глаза четыре пулемета на треногах. У пулеметов подпрыгивали, словно греясь, пьяные солдаты.

Вихорь вытянул шею, внимательно присмотрелся, словно искал среди них обера. Вечер заволакивал небо, и моряк не мог разглядеть лиц, но ему казалось, что обер должен быть среди солдат. Земля медленно покачивалась, и Вихорю казалось, что он ступил на палубу корабля. Перед глазами замерцали большие звезды, загоравшиеся в небе. Они горели все ярче, сливались в одно сплошное зарево, которое дрожало где-то у моря. Потом это зарево вспыхнуло огненными мечами и упало вниз, к ногам пленных; даже свежая земля над ямой закружилась, охваченная огнем.

Отчаянный крик раздался в чужом поле. Их не допрашивали, не пытали, но Вихорь опять почувствовал дурманящий запах фиалки. Низко над головой прошумели встревоженные птицы, и в глаза ударила горячая волна. Она залила его сразу, с головы до ног, и он уже ничего не видел. Упал в глубокую яму, не пошатнувшись, как падает в море срубленная снарядом мачта.

XVIII

Славка лежит на согретой солнцем траве и, опершись на локоть, равнодушно смотрит в чистое поле. Рядом с ним сидит Коля, тихо соскребает с лопаты присохшую землю. За день оба мальчика сильно устали, копая глубокие рвы, и теперь наслаждались отдыхом. Мозоли у них на руках почернели, затвердели, кожа давно огрубела. В голове стоял какой-то глухой звон, остро ныли в суставах руки, чесалась обожженная на солнце спина. Но мальчики не жаловались на усталость. Они были горды

тем, что их имена рядом с именами других школьников уже красовались в списках лучших землекопов. Им очень нравилось работать вместе со взрослыми, есть горячую пищу из полевой кухни, спать на соломе в открытом поле, слушать по ночам, как на передовых позициях гремит бой. Тут было куда лучше, чем там, в Одессе, где над каждым твоим шагом причитает мать, в школе присматривают учителя, у причалов в порту на тебя покрикивают матросы и грузчики. В поле ученики работали наравне с учителями и жили на равных правах с рабочими, студентами и домашними хозяйками.

Мимо запасной линии обороны, которую они строили, на фронт шли маршевые роты, возили снаряды и продовольствие, ехали орудия, танки и постоянно курсировали два бронепоезда. Один назывался «Черноморец», другой «Родина». Их построили одесские железнодорожники, и обшили корабельной броней рабочие завода имени Январского восстания, где работал отец Славки — Остап Богучар. Оба бронепоезда вызывали общее восхищение землекопов, а Славку и Колю совсем приворожили.

Один раз бронепоезд «Черноморец» остановился в степи, и мальчики побежали к нему. Пока машинист осматривал что-то под колесами паровоза, Славка и Коля не сводили глаз с чудесной машины. Паровоз, весь обшитый броней, помещался посередине между вагонами и платформами. Из люков и башен глядели орудия, стволы крупнокалиберных пулеметов, на платформах стояли зенитки. В больших прорезях бронированных щитов Славка заметил несколько пар внимательных глаз, которые смотрели на него, и ему вдруг стало завидно. А тут еще открылась тяжелая дверь, и на землю спрыгнул настоящий юнга, вероятно, ровесник Славки. На юнге был военный китель, бескозырка, а на широком поясе медная бляха с якорем. Лучше бы он не показывался, не дразнил Славку и Колю, потому что с тех пор они потеряли покой.

— Привет пехотинцам! — крикнул юнга, ловко одергивая брюки.

— Привет сухопутным матросам, — сухо ответил Славка.

— Картошку на камбуз копаете? — спросил юнга.

— Нет. Гитлеру могилу, — не выдержал Коля и засмеялся.

Мальчики разговорились с юнгой и сразу стали приятелями. Выяснилось, что юнга еще недавно был во флотском экипаже и оттуда с группой артиллеристов попал на бронепоезд. Служит на бронепоезде связным, а во время боя подносчиком снарядов и патронов. Славка хотел подробно расспросить его обо всем, но паровоз дал свисток, и юнга, помахав им бескозыркой, быстро скрылся. Тяжелая стальная дверь глухо загремела за ним. Бронепоезд тронулся, а Славка и Коля, опершись на лопаты, еще долго стояли у железнодорожного полотна и с завистью смотрели, как таял на горизонте прозрачный дымок паровоза.

— Видал, Коля? — спросил Славка.

— Видал. Ну, и что из этого?

— А то, что он по-настоящему воюет, а мы землю копаем. А чем мы хуже?

— Это верно. Но что поделаешь, — вздохнул Коля.

— Сделаем! Что-нибудь сделаем! — решительно проговорил Славка.

Немало времени прошло с тех пор, а настойчивая, упрямая мысль попасть на передовую не оставляла мальчиков. Они попрежнему работали на строительстве оборонных рубежей, но юнга с бронепоезда все время стоял у них перед глазами. Он снился им по ночам, они даже слышали его смелый голос, который звучал в грохоте битвы. Вначале мальчики колебались, но сегодня твердо и окончательно решили идти на фронт. Был как раз подходящий момент. Землекопы закончили строить одну линию обороны и завтра утром должны были перейти на новый участок, поближе к Одессе. Накануне этого дня мальчики и решили уйти от землекопов. Их отсутствие в такой суете не сразу заметят, а потом забудут о них. Когда все было решено, Коля предложил спрятаться в одном из готовых блиндажей и ждать, пока передовая сама придет к ним. Мальчики знали, что на фронте идут ожесточенные бои. Приморская армия генерала Ковалева и части морской пехоты, сдерживавшие бешеный натиск фашистских войск, с нетерпением ожидали новой линии обороны. Теперь эта линия сооружена, и, возможно, уже завтра на рассвете ее займут наши части. Об этом говорил строителям один политрук, передав всем землекопам приказ командования как можно быстрее закончить этот важный оборонительный рубеж.

На нем части Одесского гарнизона должны как можно дольше задержать врага, пока не будут созданы еще две глубоко эшелонированные линии обороны. Об этом только что напомнил и профессор Драга, делавший доклад у строителей.

Профессор приехал в поле под вечер, когда все уже заканчивали работу, и провел с землекопами интересную беседу о положении на фронтах Отечественной войны.

Он сидел на насыпи свежевырытой земли, строители расположились полукругом. В степи веял тихий, прохладный ветерок с моря, в небе висел чистый полный месяц, и его зеленоватые лучи холодно поблескивали в очках профессора.

Степан Кириллович говорил спокойно и медленно, в записи не смотрел, пересказывал на память даты и события, которые произошли за последнее время в Одессе и на других участках фронта. Он напомнил о том, что уже подписан договор между правительством Советского Союза и Великобританией о совместных действиях в войне против Германии.

В конце беседы профессор сказал, что он начал собирать все исторические документы, в которых говорится о героической обороне Одессы: стенные газеты, боевые листки, плакаты, фотографии, интересные письма, новые песни и поговорки. К этой кропотливой работе профессор приступил сразу же после того, как прочел в госпитале свою первую лекцию. Раненые дали профессору первый экспонат — солдатскую книжку фашиста. Теперь экспонатов у Драги уже немало. Горком партии и контр-адмирал Багров поддержали его почин, и сбор материалов идет полным ходом. Все это в конце концов может стать ценной коллекцией для будущего музея.

Славка слушал профессора, подперев голову ладонями, а сам блуждал глазами по ровному полю, мысленно устремляясь туда, на передовую, где гремел колесами заманчивый бронепоезд «Черноморец». Рассказ Степана Кирилловича о международном, внутреннем и военном положении страны окончательно убедил мальчика в том, что место его сейчас только на передовой. Он уже не слушал, какие вопросы задавали профессору землекопы, не видел, как они собирали для него полевые газеты, плакаты, листовки. Не успел он оглянуться, как

подошла военная машина, и профессор Драга уехал на фронт. Славка только грустно посмотрел вслед машине и горько вздохнул. Он не был согласен с Колиным планом остаться в блиндаже, а предложил идти на передовую.

— Кажется, нам пора,— тихо сказал он товарищу.

Коля перекинул через плечо свой мешочек с хлебом, посмотрел на лагерь, который уже угомонился, и неуверенно спросил:

— А что, если нас патруль задержит в дороге?

— Ну и что! — засмеялся Славка. — Скажем, что идем на фронт, к моему старшему брату Устиму. Несем ему передачу от матери и письмо. Нашего Устима весь фронт знает. Артиллерия его где-то тут стоит...

— Вот здорово придумано, — хлопнул в ладоши Коля, и они двинулись в густую кукурузу, которая росла над свежими, но пустыми еще окопами.

Лагерь медленно затихал, голоса землекопов удалялись, и скоро их совсем не стало слышно. Над сонной степью катился на запад бледный месяц, а в воздухе все нарастал гул передовых позиций, да где-то в небе у моря скрещивались ослепительные лучи прожекторов. Мальчики шли наугад, туда, откуда доносилась стрельба. Когда до фронта оставалось уже совсем немного и перед мальчиками посыпались осветительные ракеты, Коля сказал:

— Ну, Славка, я дальше не пойду...

— Почему?

— Страшно ночью идти... Так можно и к фашистам попасть, да и свои ненароком могут подстрелить. Давай, переночуем в этой копне. Переночуем, а днем двинемся... Днем мы сразу выберем, к какой части пристать...

— Согласен, — сказал Славка. Они залезли в копну свежей пшеницы и вскоре уснули крепким сном.

Ночью неожиданно для мальчиков разыгрался бой. Земля застонала от взрывов, ребята боялись даже нос высунуть из пшеницы. А когда все стихло и они огляделись, то от страха лишились языка. Передовая отошла на новый рубеж, и мальчики очутились во вражеском тылу. Коля горько заплакал и упал ничком на землю. Славка насупился и начал кусать побелевшие, растрескавшиеся на ветру губы.

XIX

Только на рассвете Мария выползла из заваленного обломками бомбоубежища. Порт был окутан дымом, и сквозь эту густую пелену она не увидела моря. Большое, грозное, оно лежало где-то совсем близко, билось о каменные причалы, навевая прохладу. Следом за Марией выползали женщины, дети, и только сейчас она увидела, как много их сидело в этой каменной норе.

Самолеты ворвались со стороны моря так внезапно, что ни один пост не успел подать сигналов воздушной тревоги. Силой первого взрыва Марию швырнуло на землю, и она чуть не скатилась в море. Потом ее подхватили какие-то женщины и потащили в этот каземат. В темноте она натыкалась на детей, долго не могла найти себе места в переполненном убежище.

Земля дрожала у нее под ногами, с потолка сыпалась штукатурка. Мария, прижавшись к стене, слышала страшные взрывы, гремевшие наверху. Казалось, холмы со всеми постройками и деревьями сползали в море. В убежище никто не знал, что происходит сейчас там, наверху, и это еще больше угнетало.

Тут сидели семьи портовиков, живших рядом, провожающие, которые отправляли на теплоходах своих родных. Были и случайные прохожие — блиндаж находился у ворот порта. Собралось много людей, и вместе им было не так жутко.

На пороге показался какой-то моряк и властно скомандовал:

— Порт горит. Мужчины, за мной!

Мужчины быстро пробирались к выходу, осторожно переступая через детей.

За ними двинулись те из женщин, у кого не было детей, но моряк их тотчас вернул, сказав: «Если надо будет, — вас позовут». Мария не послушалась, высунулась во двор, но ее обдало таким жаром, что пришлось спрятаться. Горела земля, и ночь делала этот пожар призрачным.

Хуже всего было, когда свистели бомбы. Тогда в убежище все притихали, каждому казалось, что бомба летит на него, что вот уже она, как сверло, вонзается ему в спину. Плакали дети, матери прижимали их к груди, успокаивали. Это была страшная ночь. Потом случались

ночи и пострашнее, но к ним в Одессе уже привыкли, и они стали военными буднями.

Пожар в порту погасили. На рассвете бомбежка прекратилась. Густой дым стоял над городом, заволакивая все на своем пути. Мария разглядела в его едких рыжих клубах почерневшие фигуры моряков и портовых грузчиков, которые двигались среди груд обожженного камня, заливая из брандспойтов огонь, засыпая битым кирпичом глубокие воронки от бомб.

Дым застилал улицу, уползал далеко в море, и Мария не увидела, как в то утро всходило солнце. Оно выкатилось из моря медленно, нехотя и, наконец, повисло над городом кровавым пятном. В его пунцовом свете курились догорающие строения, и люди искали на этих пожарищах свои вещи, разбирая камни и глину; глаза у всех были красны от дыма и слез, с рук стекала кровь.

Теперь для Марии и Шагайда, и корабли с подругами были чем-то далеким, недосягаемым. Перед нею лежал израненный город, она шла среди развалин, крепко сжав губы, суровая, молчаливая, и при виде каждого пятна крови у нее больно сжималось сердце. Нет, она хорошо поступила, что осталась в Одессе. Разве можно иначе? Она не бросит в такое время землю, где родилась и выросла.

Возле госпиталя, на углу Дерибасовской, стояла толпа женщин с кошолками; они принесли раненым вишни, яблоки, но было еще рано, и передач еще не принимали. К госпиталю подкатил запыленный автобус, санитарки начали выносить из него раненых. Бойцы, обросшие и худые, с тревогой посматривали на небо. Наконец санитарка пропустила во двор женщин, вынесла корзину, и женщины стали укладывать в нее свои подарки. Мария подошла к киоску с папиросами, долго выбирала и, наконец, взяла сотню «Сальве».

«Оба они любили эти папиросы. И Петр, и Вихорь», — подумала она и положила пачки в корзину.

Потом девушка пробралась в сад и долго ждала знакомую санитарку. Та выбежала на минутку, шепнула:

— Нет вашего брата. Выехал в полк.

— Знаю. Я была тут позавчера. Мне моряка надо, из пятой.

Санитарка исчезла в дверях и долго не выходила.

Потом открыла окно и, таинственно поманив Марию, сказала:

— Улетел твой Голубов, — и махнула в сторону лимана.

В саду было сыро. Мария остановилась у знакомой скамейки, где не раз сиживала с братом Устимом, когда он начал ходить. На этой же скамье Андрей Голубов рассказал ей о Вихоре, тут впервые в ее душу закралось сомнение в его гибели.

Тускло поблескивала росой одинокая скамейка. Мария долго стояла перед нею, словно искала на песке знакомые следы, потом выпрямилась и быстро пошла к воротам.

Девушка не шла, а бежала к матери на Пересыпь, обходя глубокие воронки, перепрыгивая через сваленные стволы каштанов и платанов. Дорога домой проходила мимо университета. Поравнявшись с ним, Мария остановилась и не могла сдвинуться с места. Центральный корпус, в котором размещались лаборатории и рабочая библиотека, был сверху донизу расколот бомбой, словно хирург вдоль разрезал его. Книжные полки обвалились, в угловой комнате стоял одинокий скелет человека. Ветер раскачивал его на легком стержне, и он жутко размахивал рукой. Марии даже казалось, что она слышит, как тарахтят его кости. Университетский двор был завален книгами. Вырванные страницы устилали всю площадь, словно чайки прилетели с моря и упали на землю, распластав белые крылья Среди книг ходил сгорбленный профессор Драга. Он осторожно поднимал каждую книжку, долго дул на нее, старательно вытирал полой пальто и клал на разостланное одеяло.

— Я тоже не уехал. Я знал, что они это сделают, — он показал на развалины.

— Я помогу вам. Скоро еще кто-нибудь подойдет. Не думаю, чтобы все эвакуировались, — сказала Мария.

— Многие ушли на фронт. Девушки в рабочих дружинах. Я теперь, голубушка, не отпущу вас от себя. Дам вам все справки, позвоню в штаб, если вы там записаны. Мы снесем книги в подвал, где был тир, и будем теперь работать вместе.

Мария удивленно взглянула на профессора и молча понесла книги в подвал.

В подвале было сыро и холодно. Глуховатый универ-

ситетский швейцар Кулина ходил по цементному полу в валенках, кожушке нараспашку и в матросском шерстяном шлеме. Он поклонился Марии и закричал:

— Вот хорошо, что вы пришли! Степан Кириллович уже давно поджидает кого-нибудь из студентов, а они все не приходят. Он теперь всюду ездит с лекциями, а я один не могу со всем управиться. Посмотрите только, сколько он за эти дни всякого добра насобирал. Музей хочет организовать и все не дает мне покою... Где какой плакат увидит, листовку, приказ коменданта — все тянет в подвал. По ночам мы вдвоем все это сортируем, раскладываем по ящикам. А мне трудно, ведь грамотей я никудышный. Вот хорошо, что вы пришли...

Мария подошла к Кулине и склонилась над дощатыми стеллажами, которые тянулись вдоль стен. На досках лежали комплекты центральных и областных газет, вырезки из фронтовой прессы, боевые листки. На стенах висели приказы военного коменданта. В одном из них Мария прочла суровое распоряжение опечатать во всех домах водопроводные краны, потому что с такого-то числа Одесса переходит на строгий водный паек. Водопровод, снабжавший город водой из Днестра, был перерезан фашистами. Рядом с приказом висели погоны и знаки различия солдат и офицеров румынской и немецкой армий, документы и свидетельства, взятые у пленных наши пропуска, с которыми вражеские солдаты переходили линию фронта и сдавались в плен. В отдельном ящике были письма, которые получали и писали домой фашистские солдаты. Некоторые из них уже были переведены на украинский язык и переписаны неровным размашистым почерком Степана Кирилловича. По всему было видно, что профессор Драга не на шутку увлечен собиранием этих немых свидетелей страшной войны. Мария невольно поморщилась и тихо прошептала:

— Не то... Это все не то...

Вдруг в глаза ей бросилась простреленная в нескольких местах спортивная мишень. Расчерченный кругами, похожими на пружину, лист бумаги до сих пор висел на каменной стене. Мария порылась в сумочке и нашла среди документов свой новенький значок «Ворошиловский стрелок». На нем была такая же мишень, покрытая белой эмалью. Значок был завернут в справку, где было написано, что Мария Богучар отлично сдала все нормы

на «Ворошиловского стрелка». Девушка бросилась к шкафам и разыскала спрятанную там мелкокалиберную винтовку. Все мигом стало ясно.

Профессор уже уложил книги на двух одеялах, а Мария все не возвращалась из подвала. Драга заглянул в подвал и замер. Девушка совсем забыла о нем. Расстелив на полу одеяло, она лежала на нем и безостановочно стреляла в малозаметный круг на стене. Профессор протер очки, кашлянул, но она даже не оглянулась. Тогда он подошел и тронул ее за плечо.

— Голубушка, вы, кажется, не за свое дело взялись.

Мария приподнялась на локоть, раскрасневшаяся и настороженная.

— Именно за свое, профессор, именно за свое, — и она радостно затормошила старика.

— На их танки и самолеты с этакой игрушкой?

— Теперь воевать должны все. И человек, и книги, и сама земля,— она снова прижалась щекой к ложу, и профессор удивился, что ствол винтовки не дрожит в ее руках. Он не узнавал тихой и немного застенчивой студентки. С ней, верно, произошло что-то. Может быть, убит кто-нибудь из ее родных? У нее ведь братья — военные.

— Товарищ Богучар, Мария... У вас дома все живы? Может, у вас горе какое?

Она, не оглядываясь, ответила:

— Все живы. На фронте.

Странно, как она раньше об этом не вспомнила. Совсем растерялась в первые дни. Книги не погибнут, их могут снести в подвал и школьники. Профессору придется только присмотреть за этим.

От стен подвала на нее опять повеяло родным университетским запахом. Дважды в неделю она с сокурсниками спускалась сюда, и молодой лейтенант из стрелкового полка строго и холодно покрикивал, когда кто-нибудь из студентов, лежа на земле перед мишенью, нечетко выполнял его команды.

В те дни Мария еще не знала, как пригодится ей стрелковое дело. Она, так же как и все студенты, в часы военной подготовки училась стрелять; у нее оказались острый глаз, твердая рука, и она вскоре стала ворошиловским стрелком.

Сделав последний выстрел, девушка с минуту рас-

сматривала мишень, словно колебалась, потом быстро побежала по крутым ступенькам. Вышла в университетский двор, залитый солнцем, прищурила глаза. Профессор копался среди книг, ему уже помогали ребята из соседних дворов. Мария подошла к нему:

— Прощайте! Может быть, я еще вернусь.

— Дальше госпиталя вас не пустят.

— В госпиталь? Ни за что на свете.

— На фронт, значит?

— Еще не знаю, но постараюсь.

Драга молчал и долго смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду.

«Что делать? — мучительно думала она. — Забежать домой, мать начнет плакать, отговаривать. Нет, лучше прямо на фронт, потом напишу», — и Мария побежала за угол, где стоял усатый боец с флажками и находился контрольно-пропускной пункт.

Мария ждала. Мимо нее мчались машины, груженные снарядами, шли маршевые роты, но никто не брал ее с собой. Кто она? К брату едет, в артиллерийский полк? Пусть поищет знакомых, может быть, они ее возьмут на свой страх и риск. Усатый с флажками не мог посадить ее на машину. Она долго ждала и даже не поверила, когда ее окликнули. Звал Андрей Голубов. Несколько моряков за руки втащили ее в кузов.

Среди них она узнала старшину Грызлова.

— А я думал — вы на Кавказе,— подмигнул Грызлов.

— Что у нас дома? — спросила Мария.

— Порядок. Ночью солнце зажигали, бомбочки падали. Не скучаем... А ваша мать горюет. Волнуется, как бы вас в море не потопили. Новости только начинаются...

Машина повернула и затряслась на выбоинах. Голубов смотрел на Марию большими детскими глазами и не решался спросить, куда она едет. К брату, верно. В машине сидел третий моряк; он странно подпрыгивал на пустых бидонах, а к нему прижимались два штатских паренька. Они с восхищением рассматривали незнакомого моряка, который с появлением Марии прервал свой рассказ, и ждали, когда же он продолжит.

— Значит, ты больше в тылу воюешь? — спросил моряка Голубов.

— Я? В тылу?! Смех, да и только! Да я день и ночь на фронте. То под бомбы подвернусь, то в огневой на-

лет попаду. Жарко! А вчера тащил обед в батальоны. Так он, подлюга, как засек меня — и давай садить. Бидон прострелил, борщ течет. Давал жизни!

— Кто? — спросил Голубов.

— Снайпер их. Да я тоже воды не в одном море хлебнул. Схватил бескозырку и повесил на куст. Смотри, где моя смерть сидела, — он показал старательно зашитые дырочки на бескозырке.

— Садит по бескозырке, а я бидон зацепил веревкой и полный вперед по долине. Борщ, правда, вытек, а кашу я все-таки приволок.

— А ваши снайперы молчали? — спросила Мария, и моряк недоверчиво оглянулся на нее, но, уловив только обычное женское любопытство, покосился на Голубова.

— Какие снайперы... В нашем батальоне? Пехота с разбитого корабля...

— А их зачем везешь? — показал на парней Голубов.

— Это мастера. Раньше я возил паять бидоны в Одессу, а теперь будут на месте их паять. Они и инструменты свои взяли. Я их через военкомат нашел. Жестянщики. В атаку ходить приучатся. Согласны, ребята?

— Мы-то? Мы можем, — сказал жестянщик.

Машину швырнуло в сторону. Впереди на дороге вырос куст пламени, и воздушной волной всех разбросало по дну кузова. Другой снаряд упал позади машины.

— Петя, в «вилку» берет! — закричал моряк шоферу. Тот дернул, и машина понеслась. — Утром он сюда не бросал, — моряк осторожно поднялся над кабинкой, широко расставив ноги, чтобы не упасть. Грузовик мчался с бешеной скоростью.

XX

Капитан Андреев легко выпрыгнул из машины, отряхнулся. Наконец все кончилось. Огневые позиции осмотрены, дивизион проверен. Осталась одна батарея, но она стояла совсем близко, и командир полка мог осмотреть ее в любое время. Капитан был рад, что Устим Богучар вернулся в свой полк. Он готов был выслушать любые замечания, резкие упреки, но оттого, что Богучар уже был в полку, у Андреева на душе было весело. Он смаковал

предстоящий завтрак за одним столом с командиром после долгой разлуки. Капитан припас для такого случая бутылку токайского, серебристую дунайскую селедку. Стоит только моргнуть Каюмову, и тот, прищурив раскосые глаза, мигом поймет капитана и поставит на стол угощение, так старательно сбереженное еще с мирных времен. Хорошо, что на фронте тихо. После второго наступления на Одессу враги притаились в своих окопах и выглядывают из них очень редко, словно чующие опасность суслики. Артиллерийские дуэли и огневые налеты капитан не считал настоящим боем. Это были обычные военные будни.

— Может, перекусим, Устим Остапович? — мягко спросил капитан.

Богучар не ответил. Он медленно оглядывался вокруг, осматривал свое хозяйство. Три канистры с водой, закопанные в землю, синие и красные жилы кабеля, спускавшиеся в блиндаж. Они соединяли его со всеми дивизионами, он даже мог вызывать отдельные батареи. Это обрадовало полковника, и он поднял к солнцу побледневшее лицо.

Солнце стояло высоко, выжигая ровную степь, и не верилось, что где-то там, за горой, плещется чистое и прохладное море. Он ни разу не выкупался с тех пор, как началась война, не полежал на уютном пляже. А кто купался? Его артиллеристы посменно ездили в одесскую баню, да и то, когда на фронте выпадала передышка.

Богучар покосился на узкую дверь блиндажа и прищурился. Глубокая яма, крытая рельсами, дубовыми колодами, старательно присыпанная землей и кукурузной листвой. После госпитальной палаты блиндаж казался очень неприветливым. Впервые за войну Устим поселился в таком штабе. До сих пор штаб всегда располагался на окраинах хуторов, а КП устанавливали где-нибудь на косогоре, в окопе полного профиля. Больше этого не будет. Пока он залечивал раны, фронт быстро продвинулся к морю, села и хутора встречались реже, а потом и вовсе исчезли с пути.

За Дальником, на холме, уже начинаются окраины Одессы, и высокие элеваторы около заставы хорошо видны даже с передовой. Немцы и румыны видели Одессу без биноклей. «Кусают, кусают, а не раску-

сят», — подумал Богучар и, взглянув на капитана, сухо сказал:

— Я недоволен третьим дивизионом... Боеприпасов мало... Наводчики неважные, на маневрах и то лучше были.

— Так точно, — ответил Андреев.— На маневрах были все кадровики. А эти из запаса. Не успели освоиться. Я думаю...

— Не думать, а учить надо. Изо дня в день.

— Они неплохо стреляют.

— Нам с вами трудно проверить это. У нас не всегда есть свои глаза там, куда мы стреляем, — сказал командир, направляясь к блиндажу. Он бросил окурок в немецкую каску у порога, задержался в дверях. — Сколько полк потерял людей?

Капитан ждал этого вопроса и, опустив глаза, начал называть фамилии. Многих погибших полковник знал лично, повышал их в звании еще до войны, хлопотал о наградах. Некоторых принимал солдатами, а в первый бой вывел младшими командирами. Всех он учил, тренировал, заботился о каждом, и они были ему, как родные.

— Все уставы изменены, — развел руками Андреев.— Мы часто прикрываем пехоту. Наши колеса нависают над передовой. Оборонять, охранять свои орудия в рукопашном бою, гвоздить прямой наводкой по танкам и пехоте — для тяжелой артиллерии уже не новость. Хорошо, когда пехотинцы и моряки стоят впереди нас.

— Слышал об этом. И об уставах слышал, но, кажется, в уставах не записано, чтобы мы отступали И об обороне, которую мы сейчас держим, тоже не записано. Единственный наш устав — всеми способами побеждать врага. Так думают коммунисты,— сказал Богучар и внимательно посмотрел на желтую степь, стараясь определить, где именно рвались снаряды и мины.

— Полк некомплектный, но кадровики обучают молодых, — сказал капитан, словно оправдываясь.

— Сколько у нас коммунистов?

Андреев назвал число. Брови полковника высоко поднялись на выпуклом лбу, он шагнул к капитану, словно хотел сжать его в объятиях, но только взял под руку, гостеприимно пропустил впереди себя в блиндаж. Командир знал, что перед каждым боем в партию подают заявления все новые и новые бойцы, но то, что партийная

организация за время его отсутствия выросла вдвое, было для него неожиданно.

В блиндаже пахло дынями. Сонный телефонист прижимал к уху трубку. Каюмов чистил автомат. Над его головой на стене висела карта фронта. Ее по приказу Андреева сфотографировали разведчики.

— Все, как на ладони. Даже скирды и отдельные деревца, — похвастался Андреев.

— Благодарю, — повеселел Богучар.

— Каюмов, — сказал капитан, и сержант стал перед ним, не зная, что ему делать: уходить из блиндажа или накрывать на стол. Капитан указал глазами под нары, и Каюмов загремел посудой. Богучар разложил на столе карту и долго водил по ней карандашом, еще раз прикидывая, какие у него соседи слева и справа. Дивизия, на участке которой стоял его полк, левым крылом спускалась к морю. Отсюда Устим ожидал атаки и сюда нацеливал второй дивизион. Третий стоял фронтально, первый на стыке дивизии с полком морской пехоты. Правый фланг не вызывал тревоги. Там были моряки. В случае надобности Богучар мог теперь сосредоточить огонь всего полка на одном каком-нибудь участке. Для этого он и ездил всю ночь по дивизионам, проверял все, проводил пристрелку по засеченным квадратам всем полком, отдельными дивизионами.

— Кажется все. Вам придется принять третий дивизион. Боюсь за него, — сказал командир, складывая карту.

— Есть принять третий, — козырнул Андреев, повеселев.— Я боялся, что вы оставите меня в штабе. Ну, какой из меня штабист...

— Знаю. Не любишь этого дела, — сказал Богучар.

На столе отливали бронзой шпроты, росой заиграли оранжевые помидоры и свежие огурцы. Старательно убранная зеленью серебристая дунайская сельдь лежала на фарфоровой тарелке. В кружках алело токайское, и Устим с грустью подумал: «Сын любил такие шпроты. И дунайскую любил. Как они там, за Волгой, что едят теперь?»

— Ну вот и все. Только жены и детей нет. И письма давно не приходят, — отгадал мысли командира Андреев.

— Далеко теперь до нас. Кругом море, — задумчиво проговорил Богучар.

В блиндаж вбежал Гаркуша. «Нюхом чует, бестия», — мысленно выругался Андреев.

— Разрешите? Я на минуточку...

— Пожалуйте к столу, — пригласил Богучар, и когда интендант сел, продолжал: — Хвалю за хозяйственность. Это все, я думаю, из нашего склада? — показал он рукой на стол. — Значит, есть еще порох в пороховницах.

Интендант блеснул рядом металлических зубов.

— Нет, это энзе капитана. У нас сейчас — туговато. Я по этому поводу и зашел к вам. Картошки, овощей, мяса в Одессе уже нет. Все поля и огороды по ту сторону фронта, — он показал рукой вокруг.

— Что же вы предлагаете? Везти овощи морем с Кавказа? Или выкопать грядки у жителей города? Что ж. Тогда идите к моей матери, на Пересыпи у нее есть огородишко. Для нас двоих хватит. А солдат что будет есть? Даже воды у него нет. Воды!

— Я не то хотел сказать, я в том смысле, чтобы предупредить через Военный Совет...

— Надо было заготавливать, когда огороды и баштаны были у нас. Тогда вы морского козла забивали?

— Приказа не было. Я сам не мог.

— Может, еще на устав будете кивать? Там записано — все на складах брать. В уставе не сказано — заготовляйте сами... Чего же не садитесь? Угощайтесь. Выйдет у капитана, к вашему энзе перейдем. А овощи чтоб мне были. Откуда? С фронта. Представьте себе. Ночью батальон идет в наступление, отбивает какие-то позиции. А вы следом копаете там картошку, все собираете, что на баштанах уродилось. Я думаю, Военный Совет не будет возражать.

— Так ведь это ж атака. Где я людей наберу? — в отчаянии развел руками Гаркуша; он уже не рад был, что забежал в блиндаж.

Над головой послышалось злобное завывание, и где-то совсем рядом разорвался снаряд дальнобойной артиллерии.

— Да. Это будет атака. И запомните: интендант Красной Армии — не директор кафе. Интендант у нас — могучая сила, — спокойно заметил Богучар, намекая этим на довоенное прошлое Гаркуши. Тот работал в Измаиле директором кафе-ресторана и прибыл в полк по мобилизации на второй день войны.

От второго снаряда в блиндаже задрожал потолок и распахнулась дверь. Капитан Андреев быстро закрыл ее. Он вспомнил: так было однажды ночью, в предвоенный год, когда их город краем задело далекое землетрясение. Вскочив среди ночи, капитан увидел, как в квартире сами собой распахнулись двери, закачался под потолком шелковый абажур, в буфете тоненько запела посуда. Было совсем тихо, город спал, и немногие заметили колебание земли.

С третьим выстрелом дверь сорвало с петель, и она с грохотом упала в блиндаж. На стол посыпалась земля, и Гаркуша с болью посмотрел на засыпанную, смешанную с землей еду.

— Узнайте, что там произошло, — бросил телефонисту Богучар, но тот уже вскочил с табуретки, протянул командиру трубку.

— Вас просит «Дунай».

Полковник прижал ухо к трубке. Он не слышал грохота, не видел, как санитары втащили кого-то в блиндаж и накрыли шинелью. Он прирос к телефону, повернувшись спиной ко всем, и только порою махал рукой, показывая, что он ничего не слышит. Словно здесь собралась шумная толпа и мешала ему. Перекрещенные ремни, впившиеся в широкую спину, двигались на плечах, выдавая его беспокойство. Потом он повернулся, на лбу выступили капли пота. Достал пачку папирос и зажигалку. Подержал их на ладони, словно пытаясь сообразить, чего ему не хватает, и положил обратно в карман.

— Каюм, быстрее, — проговорил командир, и сержант мигом подал ему планшет, фуражку и неизвестно откуда выхватил чистый носовой платок, с вышивкой по краям. Такие присылали на фронт в посылках. Потом он вытянулся, готовый на все.

— Я — на «Дунай». Здесь останется начштаба, а вы — в третий, — крикнул Богучар Андрееву. На пороге схватил за локоть интенданта и, кивнув на засыпанный стол, прокричал: — Обед на все батареи! Слышите? Первоклассный обед.

«Дунай» лежал недалеко, но путь к нему был труден. Миновав зону артиллерийского обстрела, они попали под минометный огонь. Прижавшись к земле, Богучар вдыхал запах выжженной травы и едкого дыма мелинита.

Над головой с клекотом пролетали мины. В промежутках между разрывами Богучар и Каюмов бросались вперед. Ветер на миг охлаждал разгоряченное лицо, а потом снова свистели мины, и командир с ординарцем прижимались лицом к удушливой траве.

— Не нам, — всякий раз шептал Каюмов, когда их обсыпало землей. Устим видел узкий, прищуренный глаз узбека. Ординарец неотрывно следовал за командиром. «Хороший офицер растет», — подумал Богучар.

Начала отвечать наша артиллерия, и по звуку выстрела Устим понял, что стреляет третий дивизион. Капитан Андреев уже добрался туда. После третьего залпа вражеские мины стали рваться реже, а вскоре перестали падать совсем.

— Молодец — накрыл! — вскочил Богучар.

Они бежали по чистому полю, спотыкаясь в густом жнивье. Румынские снаряды падали справа от них, и Устима разбирала злость, что третий дивизион этого не видит. Там, куда била вражеская артиллерия, должны были двигаться на фронт наши резервы и боеприпасы. Сейчас они не могут пройти. Враг выигрывает время. Богучар взглянул на часы. Они были в дороге двадцать минут, а казалось, прошла вечность. Навстречу им ползли связисты.

— Там все живы? — Богучар показал на скирду.

— Все живы, только вот немец провода рвет, — вздохнул усатый боец.

— Рация цела?

— Она и выручает, — приподнялся на локте усатый, не выпуская из рук провода.

В овражке спрыгнули на дно узкого окопа и побежали, пригибаясь, на самый верх холма, где стояла скирда. Дежурный лейтенант хотел рапортовать, но Богучар отстранил его, прижался к окулярам стереотрубы. Стволы ее лежали на скирде. Два телефониста согнулись у аппаратов, радист безостановочно вызывал штаб.

— Огневой налет они перенесли вглубь. Первые танки подорвались на минах. Несколько поджег наш третий, — докладывал лейтенант, неизвестно зачем держа в руках карту. — Я думаю, наступление только начинается. Но пехота уже замолкает. Может, она залегла. Связь с нашими пехотинцами прервана. Резервы не могут подойти. И неизвестно, есть ли они вообще.

— Ваш репер? Данные, и кто их пристрелял,— сухо потребовал Устим.

— Пристрелял третий. Вот данные, — показал карту лейтенант.

Богучар оторвался от стереотрубы, взял карту и начал быстро записывать в блокнот какие-то цифры. Каюмов взглянул в буссоль.

— Степь курится, словно орда надвигается! — воскликнул он, хлопнув себя по коленям. Богучар отстранил его, навел стереотрубу. Медленно, как из тумана, над степью, где двигались вражеские танки, вздымалась пыль. В ней реяло знамя. Пестрое полотнище слабо покачивалось на ветру, словно подрубленное крыло. Пыль медленно таяла, из-за нее выползали первые шеренги. Румыны шли плотными рядами, с автоматами и карабинами. Впереди оркестр. Устим увидел блеск медных труб на солнце, заметил даже, как поднимают их к небу музыканты, верно, играя какой-то марш. За ними двигался целый полк. Богучар навел буссоль на свои окопы. Там было тихо. Наша пехота молчала. А может, в окопах уже и не было живых?

— Ах ты, горе мое, — Богучар потянулся к телефону. — Дивизионы на провод! Штабную батарею тоже!

Он говорил по телефону громко, но спокойно, хотя рука его, державшая трубку, заметно дрожала. И тогда связные поняли, что он задумал: в их воображении провода опять побежали во все дивизионы, стволы орудий всего полка уже устремлялись с различных участков фронта сюда, на этот клочок земли. Они сходились, словно солнечные лучи, сведенные линзой увеличительного стекла, чтобы огненным потоком обрушиться на одну площадь. Орудия были наведены на тучу, которая под музыку с пестрым флагом двигалась прямо на наши окопы.

И когда дивизионы доложили о готовности, Устим Богучар подал команду:

— Огонь!

XXI

Третий час батальон морской пехоты, в котором служил Охрим Бандура, вел тяжелый и неравный оборонительный бой. Вражеская разведка верно разгадала замысел нашего командования. Противник знал, что фронт

должен отойти и занять новую оборонительную линию, выстроенную жителями Одессы. Вражеская авиация сфотографировала окопы, артиллерийская инструментальная разведка засекла ночной переход нашей артиллерии на новые позиции. Как только под прикрытием третьего батальона моряков пехота отошла, в наступление двинулись два вражеских полка, двенадцать тяжелых танков и три танкетки. Вражеские части ринулись в атаку на батальон морской пехоты не в лоб, а с двух флангов, которые были оголены, так как части, охранявшие их, переходили на запасные рубежи.

Создалась явная угроза окружения, и командир батальона, посоветовавшись с комиссаром Зеленцовым, приказал занять круговую оборону. Как назло, в ту ночь в полк прибыл профессор Драга, думая провести с матросами беседу о революционном движении на Черноморском флоте в 1905 году. Теперь отправить профессора в Одессу было невозможно, и командир распорядился укрыть его в центре обороны, в надежном блиндаже с тремя дубовыми накатами.

Снаряды и мины рвались по всей площади, пулеметный огонь просекал вдоль и поперек весь небольшой участок, занятый батальоном. Но матросы хорошо окопались, сидели в земле надежно, глубоко, и поэтому потери у них были незначительные, хотя бой продолжался уже около трех часов. Матросы вели непрерывный огонь из минометов, пулеметов и винтовок, не давая возможности вражеской пехоте оторваться от земли. По степи стлался густой пороховой дым и плыла, колеблясь, черная пыль, поднятая разрывами снарядов и мин. Даже солнце потускнело, заволакиваясь рыжей грязной тучей.

Матросы обливались потом, раненые просили хоть каплю воды, но воды не было. Ничтожный запас ее пулеметчики берегли для кожухов станковых пулеметов, от которых все чаще валил густой пар. Скоро в пулеметах выкипела последняя вода, и они смолкли. Тогда из своего окопчика поднялся Охрим Бандура и подал команду вторым номерам ползти в поле и собирать арбузы, огурцы, помидоры. Матросы ползали по истоптанному баштану, выгребали из земли, засыпавшей все вокруг, мясистые сочные овощи, давили из них сок в котелки и выливали его в кожухи пулеметов. Огонь больше не прекращался.

Охрим Бандура вставлял в свой пулемет все новые и новые ленты с бронебойными и зажигательными пулями. Он бил по пехоте и броневикам, которые каждый раз выползали из пшеницы, высокой стеной желтевшей вдали. От его пуль загорелся первый броневик, и пехота попадала на землю, отползла назад, в густые хлеба.

На левом фланге моряки остановили два танка, забросав их бутылками с горючей жидкостью. Танки вспыхнули высоким пламенем, окутались черным едким дымом. Матросы бросились в штыковую атаку на вражескую пехоту, фашисты не выдержали, дрогнули, в панике снова побежали в пшеницу. По всему было видно, что румыны в атаку шли не очень охотно, их, верно, каждый раз подгоняли офицеры, хорошенько перед этим подпоив. Оправдались рассказы пленных, которых моряки брали еще на Днестре. Да и комиссар Зеленцов не раз рассказывал матросам о настроениях румынских солдат. Пленные говорили, что основная масса румын очень неохотно переходила Днестр. В начале войны солдатам объясняли, что война для них закончится, как только они заберут Бессарабию. Но Бессарабия давно была взята, а их гнали дальше за Днестр. Солдаты глухо роптали, и к ним начали посылать карательные отряды эсэсовцев. Теперь румынам обещали, что война для них закончится, как только они возьмут Одессу. В газетах и листовках на все лады доказывалось, что Одесса является исконным румынским городом и портом на Черном море. Тут же указывалось на то, что многие известные румынские деятели когда-то закончили Одесский университет, немало известных промышленников и финансовых магнатов тоже начинали свою карьеру в Одессе. Наконец газеты отмечали и тот факт, что в Одессе даже имеется окраина, которая носит старинное румынское название: Молдаванка, а одна из больших улиц называется Бессарабской. Румынская пропаганда взывала к солдатам, уговаривала их смело идти в бой за Одессу, которая любой ценой должна стать румынским владением. Но все было напрасно. Солдаты шли в атаку только вслед за танками или под прикрытием сильного огня своей артиллерии. Открытого штыкового боя они не выдерживали и бежали врассыпную при первом появлении нашей пехоты и матросов в черных бушлатах. Вражеское командование нервничало. Сейчас перед ним, как на ладони, лежал

лакомый кусочек — целый батальон морской пехоты. Он был почти окружен, но взять его они не могли. А взять нужно было во что бы то ни стало. Таков был приказ немецкого генерала.

На позиции моряков с двух сторон двинулись танки, и Охрим Бандура дал по головному длинную очередь бронебойных и зажигательных пуль. Водитель, верно, заметил матроса и что было сил помчался к его окопчику, на ходу стреляя из пулемета. Пули ложились совсем близко. Взмахнул руками и упал смертельно раненый второй номер. Он только простонал: «Передайте жене...», но так и недосказал — что именно. Потом тяжело ранило запасного подносчика патронов. Недалеко разорвалась мина, и горячий осколок со звоном ударился о пулеметный щиток. Охрим коснулся рукой осколка: «Вот какова была моя смерть... Сорок грамм железа, и все...»

Танк, бешено грохоча, рос и рос перед Охримом, и вот его бронированное тело закрыло всю степь, пшеницу, расплавленное, словно залитое кровью, небо. Охрим больше ничего не видел. Сквозь узкую прорезь броневого щитка он взглядом прирос к смотровым щелям танка и, казалось, разглядел в них холодный огонь злых глаз механика-водителя. Разглядел и пустил новую очередь. Танк завертелся на месте и замер, подставив под удар свои бока. Охрим радостно вскрикнул и полоснул огнем по моторной части танка. Матросу даже почудился сухой скрежет, с которым зажигательные и бронебойные пули впились в холодную броню с черными крестами. И тут же блеснуло ослепительное пламя. Танк вспыхнул.

— Братцы, горит, гадюка! Горит! — не своим голосом закричал Охрим, сорвав с головы каску.

Но его голоса никто не услышал. Рядом лежал мертвый второй номер. Над степью стоял такой грохот, что на крик Охрима не отозвался даже санитар, который хлопотал над запасным подносчиком патронов, перевязывая ему окровавленную голову.

Охрим поднялся на колени и мгновенно охватил взглядом все поле боя. На левом фланге горел танк, но четыре других уже прорвались в расположение батальона и принялись трамбовать тяжелыми гусеницами окопы и блиндажи. По всему полю лежали мертвые матросы в черных бушлатах. Охрим до боли сжал зубы и на миг замер, затаив дыхание.

Вслед за танками, прорывавшимися к батальону, из пшеницы двинулась бесконечная лавина пехоты. Но это были уже не румыны. С засученными рукавами, не переставая поливать из автоматов все пространство перед собой, на матросов двигались немцы. Они выскакивали из густой, высокой пшеницы и со всех ног бежали за своими танками. Моряки вели по ним плотный огонь. Первые ряды наступавших редели, падали в спутанную ботву баштанов, но на их место вставали все новые и новые солдаты. Охрим опять прижался к пулемету и ударил по фашистам длинной очередью. Он стрелял порывисто, исступленно и только звонкий гул родных голосов остановил его. Матрос прекратил огонь и поднялся во весь рост.

Он увидел, как комиссар Зеленцов с автоматом в руке выпрыгнул из окопа и крикнул, обращаясь к матросам:

— За Родину! Вперед!

Ему в ответ загудела земля, отозвалась сотнями голосов:

— Ура-а-а!

— Ура-а-а!

Каждый матрос, словно выпущенная из гнезда пружина, вылетал из своего окопчика, все рванулись в атаку, держа винтовки наперевес, сверкая на солнце штыками.

Охрим слышал, как рвались гранаты, закрывая фашистам дорогу к отступлению. Ручные и станковые пулеметы прикрывали моряков своим огнем.

Взвалив на плечо две коробки с патронами и схватив тележку пулемета, Охрим Бандура побежал за матросами в атаку. Он бежал, пригнувшись, широко раскидывая ноги, а навстречу ему шумела высокая спелая пшеница, словно манила и звала к себе.

Охрим установил свой пулемет на правом фланге и застрочил по фашистам сбоку. Атака удалась — враг дрогнул и побежал в пшеницу.

С моря налетел ветер, и пшеница буйно закачалась. Там, в гуще пшеничного поля, сидели враги, верно, готовились к новой атаке. Колосья гнулись от ветра до самой земли, высокие стебли громко шуршали, и Охриму опять стало жаль богатого урожая, который погибал у него на глазах.

«Родная моя, — думал Охрим, — сеяли тебя отборными семенами. Зерно отбирали бубочку к бубочке. Острые плуги постель тебе мягкую да высокую готовили, женские руки бурьян выпалывали, чтоб тебе просторней было. Черноморские ветры косы твои расчесывали, чистая роса орошала твой колос... Родная ты моя, хлеборобская утеха... А они пришли к тебе, как разбойники, топчут копытами и колесами, жгут огнем, ироды проклятые...»

Ветер с моря все нарастал, крепчал, клонил колосья к западу. Из пшеницы доносилось урчание танковых моторов, горловая ругань, одиночные пистолетные выстрелы. Видно, офицеры сгоняли солдат для новой атаки...

Услышав это, Охрим вдруг встрепенулся и прыгнул в окопчик к командиру. Окопчик был неглубокий. Стоять в нем было невозможно.

— Товарищ командир, — горячо зашептал Охрим, упав на колени. — Там пшеница, как лучина сухая... Они из нее в атаку пойдут. Мне не жаль пшеницы... Ветер туда дует. Пусть и она им смерть несет.

Командир удивленно посмотрел на Охрима, замигал воспаленными глазами, не сразу понял, что хочет от него старый матрос.

В одну минуту где-то был найден бензин. Матросы, во главе с Охримом Бандурой, подползли к пшенице и обрызгали ее бензином из своих котелков. Пшеницу подожгли посредине и с двух сторон. Огонь вспыхнул дружно и внезапно по всему полю. Высокие языки рыжего пламени взлетели над степью, заклубились тучей черного дыма, огневым валом покатились на врага. Пшеница пылала неудержимо, потрескивали сухие стебли. Зерно стреляло из тугих колосков, разлетаясь по всему полю. Во вражеском лагере начался переполох. А матросы сквозь огонь еще ударили из пулеметов и винтовок. Фашисты бросали орудия, боеприпасы, танки и пушки; бежали куда глаза глядят. У врагов начали рваться боеприпасы, потом взорвался первый танк, и командир приказал матросам прекратить атаку и залечь. Пусть огонь сам делает свое дело.

Пожар свирепо бушевал в степи. Огонь перекинулся на рожь и ячмень, потом ветер погнал его по сухим стеблям кукурузы, все дальше и дальше на запад, по всему фронту, где были вражеские окопы и блиндажи. Враг

дрогнул и побежал. Это заметили артиллеристы и ударили из минометов по отступающему в панике врагу. А ветер с моря все нарастал и крепчал, гоня впереди себя смертоносный огненный вал.

Почерневшая, выгоревшая земля, на которой еще так недавно красовались отяжелевшие от золотого зерна колосья, оголилась, открыв свои страшные раны. Из огня, бушевавшего в кукурузе, выскакивали румынские офицеры и солдаты и, поднимая руки, сдавались в плен.

И вдруг матросы увидели седого профессора Драгу. Степан Кириллович выскочил из блиндажа и весело что-то кричал. Он подбежал к Зеленцову, схватил его за плечи и крепко обнял.

Матросы согнали пленных, собрали трофеи, документы убитых и по приказу командования спокойно отошли на новые рубежи.

Моряки выпили положенные сто граммов, с аппетитом ели горячий флотский борщ. Вдали догорала рожь, пшеница и кукуруза. Теперь можно было послушать и беседу профессора Драги, но Зеленцов обратился к профессору с просьбой:

— Степан Кириллович, беседу мы проведем после. А сейчас я попрошу вас перевести матросам этот документ. Он написан на румынском языке. Это дневник убитого сегодня румынского офицера Михая Олтяну. Я думаю, это будет нам интересно.

Комиссар протянул профессору общую тетрадь в черной клеенчатой обложке.

Степан Кириллович прочел заголовок, перелистал несколько страничек, подтвердил:

— Правильно, действительно интересно. Офицер Михай Олтяну, кажется, писал правду. Хорошо, я сейчас почитаю вам его записки... А вы, товарищи, продолжайте обедать, это мне не мешает...

Матросы переглянулись, замолчали, только еще дружнее застучали ложками в котелках. Профессор откашлялся и спокойным голосом, медленно и четко произнося слова, начал переводить:

«11 июля. Снова получаем приказ занять Меришаны. В селе ни одного человека, которому можно было бы довериться. Нас извещают, что подъехало 9 машин с русскими. Сейчас же перегруппировываемся и открываем огонь. Пули свистели немилосердно. Бой продолжался

2 часа 10 мин. и закончился нашим отступлением. Два наших взвода, вклинившиеся во вражескую линию, остаются без поддержки и отступают под сильным огнем противника, а потом их атакует и гражданское население. Мы сильно поплатились: из первого и второго взводов отсутствует свыше 20 человек. Русским досталось 8 автомашин. Так мы закончили первый наш бой с русскими.

15 июля. Возобновляем наступление, как видно, по направлению к Бендерам. С русскими пленными обращаются по-варварски.

30—31 июля. Выступаем в 2. 30 в марш на 40 км, чтобы приблизиться к Днестру. Боимся перехода через Днестр. Все грустные и потеряли надежду. Проходим Бендеры 31 июля. Нас сейчас же отмечает русская артиллерия и обстреливает с присущей ей точностью.

1 августа. Производится исследование и зондирование реки. Офицеров, переодетых в гражданские костюмы, население узнает и открывает по ним огонь. Получаем приказ о переходе Днестра. Эх, кто знает, кто останется жив при атаке этого укрепления... Солдаты ропщут. Солдаты спрашивают — что нам нужно за Днестром? Но сзади нас идут немцы. А они на такие вопросы не отвечают.

18 августа. Роковой день батальона. В 3 часа 30 минут пускаемся в атаку. Враг прекрасно организован, встречает нас дождем пуль. Я никогда ничего подобного не видел. После контратаки в нашем батальоне осталось всего 120 человек.

21 августа. Продолжаем оставаться в резерве. Как только мы просыпаемся, появляется русская авиация и строчит по тыловым частям. Благодаря страшным усилиям мы продвигаемся. Прошли 14—15 км. Целую ночь продвигается наша артиллерия, это значит, что русские отступили на другую, хорошо организованную позицию. Они великолепны в разрушении и защите. Даже противотанковые рвы минированы. Мы тронулись по линии железной дороги на Одессу. Нужно было быть очень сильным, чтобы не упасть. В окопах — трупы русских и наших. Один на другом. Русские, как великаны. Вечером 18-го, когда нас сменяли на позициях, я узнал, что Аристотель взят в плен со всем своим взводом.

23 августа. Авиация атакует нас очень сильно. Бой

продолжается впереди нас, на передовых позициях. Ждем снова нашей очереди, чтобы войти в огонь...»

Профессор закрыл тетрадь, снял очки. Над вечерней степью разгоралась новая битва. На правом фланге пылало какое-то село, и по нему все время била артиллерия, которой командовал Устим Богучар.

Матросы устало переглянулись и в знак благодарности кивнули головами профессору. Кто-то сказал за всех:

— Вот и лекция получилась... Большое спасибо, профессор, интересная лекция.

— Вы правы, товарищи матросы, — ответил Степан Кириллович, — этот документ надо опубликовать в газетах, а оригинал сберечь для музея. Чтобы все советские люди узнали, что о нас думают враги... И я сделаю все, чтобы об этом узнали.

— Спасибо за перевод, профессор, — сказал Зеленцов, забирая из рук профессора дневник. — Там, в тетради, есть еще кое-какие цифры, таблицы, карты; их надо передать нашей разведке.

Охрим Бандура, все время сидевший молча, очнулся от глубокой задумчивости, сказал:

— Вы посмотрите, браточки, как он заканчивает свои записки! Так, кажется, и говорит: «Ждем снова нашей очереди, чтобы идти в огонь». Ну, вот и дождались. Вошли в огонь.

Он помолчал, разгладил обожженной ладонью усы, тихо, словно сам себе, проговорил:

— А пшеницу все-таки жаль... что там ни говорите, а жаль. Не успели... Она давала нам добрых тридцать центнеров с гектара. Давала, а мы не взяли... Поздно было...

И опять посмотрел на выгоревшую землю, что расстилалась перед окопами, черная и немая, покрытая вражескими трупами. По ней из края в край гулял лихой черноморский ветер, гоня перед собой серое облако пепла и пыли.

XXII

Мария не могла понять, что происходило на хуторе, который корчился в огне и дыму. Ее подхватил на руки Андрей Голубов, потом еще кто-то. Девушка до сих пор

не могла опомниться после головокружительной дороги, на которой рвались снаряды и падали подрубленные осколками высокие, стройные деревца. Мария помнила, как еще школьниками они сажали их и Самойло Вихорь пританцовывал вокруг саженцев, утрамбовывая землю в лунках. Как быстро они выросли, зашумели! Тогда Мария совсем не думала, что деревца станут защитой для морской пехоты, а они прятали матросов, маскировали их. Теперь они лежат срубленные, вывороченные с корнем, присыпанные пылью и уже увядшие.

Мария упиралась, отталкивала Голубова кулаками, но матросов было много, и они быстро и ловко высадили ее из грузовика. Моряка тоже сбросили, и он растерянно разводил руками. Все произошло так быстро, что веселый моряк не успел снять ни своих бидонов, ни обоих мастеров, которых вез из военкомата. Им дали в руки винтовки, поставили к бортам пулеметы, и грузовик, заревев, покатил прямо к хутору.

Марии было трудно понять, что произошло. Матросы выскакивали из окопов и блиндажей, прыгали в грузовики. Злые, страшные, только зубы белели на покрытых пылью, загорелых лицах. В машине не хватало мест, и моряки прыгали на крылья, хватались руками за борта, бежали за машинами.

Восемь грузовиков, в их числе тот, на котором приехала Мария, брызгая огнем пулеметов и винтовок, рванулись к пылающему на берегу лимана хутору. Этот хутор не относился к их участку фронта, но там неожиданно произошла беда. Враг целым полком атаковал село и смял нашу роту, занимавшую в нем оборону. Угроза неминуемого прорыва к морю стала ясна. В полку морской пехоты, куда приехала Мария, заметили опасность и бросились на правый фланг. Это был смелый и даже дерзкий маневр: прямо на грузовиках ворваться в только что занятый хутор, почти оголив свои позиции. Но у командира полка не было другого выхода. Он знал, что румыны не полезут на его позиции. Не так просто им было идти на моряков. И он принял молниеносное решение: в контратаку, на грузовиках.

Машины промчались по открытому полю и, как гром среди ясного неба, ворвались в пылающий хутор. Серебряную гладь лимана заволокло пылью, и от этого вода в нем потемнела, покрылась ржавым налетом. Весь

хутор был объят пламенем, а Марии вспомнилось, что когда-то там рос чудесный абрикосовый сад и густой виноградник. Неужели и они горят?

— Что ж мне с тобой делать, девонька? — подошел к Марии моряк и развел руками. — Бидоны мои уехали, бой идет полным ходом... Уж наши, верно, есть хотят и ругают меня... Давай хоть познакомимся, — и, одернув пояс, протянул руку: — Майборода, или просто Яша, — и, вздохнув, прибавил: — Яшенька...

— Тоже с «Грозы»?

— Так точно. Злость у нас большая. Ты видела, как они на машины садились? Многие с «Грозы», остальные с крейсера, с линкора — все моряки. Огнем нас жжет гибель «Грозы»...

— Вихоря знали?

— Самойла? Кто же его не знал!..

Над головой тонко пропела пуля. Майборода взмахнул рукой, словно отгоняя осу, дернул Марию за руку, и оба припали к земле.

— Это опять он. Уже засек.

— Кто?

— Снайпер.

— Яшенька, — встрепенулась Мария. — Вам поверит командир, я знаю. У вас есть авторитет среди моряков, послушайте меня...

— Приказывайте. Все якоря подниму.

— Я ворошиловский стрелок...

Майборода пожал плечами и как-то по-детски засмеялся:

— Вы серьезно или так?

— Достаньте мне винтовку. Я тоже не верю на слово. Можете, Яшенька? Я ведь с парохода убежала, не поехала на Кавказ... — и она положила руку ему на плечо.

Сбоку кто-то кашлянул, и Майборода отшатнулся от Марии. Из-под земли послышался хриплый голос:

— Майборода, накрывай столы! Обед готов.

— Ну, вот и все, — с досадой сказал Майборода. — Обед сварился, а бидонов нет. Уехали.

— Термосы есть. Только как ты их доставишь на хутор?

В дверях землянки стоял раскрасневшийся повар в белом колпаке и весело подмигивал Майбороде.

— Доставлю. У твоего черпака ума не займу. Герой! — выпалил Майборода и прошмыгнул в блиндаж. Мария слышала, как он там гремел посудой, спорил с поваром, кричал в трубку, вызывая какую-то «Чайку», приказывал, чтобы с нее немедленно прибыли два юнги. Потом вынес два больших термоса и третий поменьше, перевязал их ремнями и опять исчез в ходах сообщения. Его долго не было. А шум боя на хуторе разрастался, усиливался и скоро потонул в гуле тяжелой артиллерии. От разрывов, сотрясавших землю, от одиночества, от полной беспомощности Марии стало жутко. Наконец Майборода снова появился. Он держал перед собой винтовку. Мария потянулась к ней и просияла, но моряк отвел ее руку.

— Не имею права официально вручать. Для себя взял. Пойдешь со мной. Я тебе отдам ее, когда в поле выйдем, чтоб никто не видел, — сказал Майборода, закидывая ремни от термосов за шею.

По ходам сообщения они двинулись прямо к хутору. Мария уже представляла себе, как прижимает винтовку к плечу. Вдруг в сердце закралась тревога: сможет ли она стрелять? Ведь она впервые держала в руках боевую винтовку.

Глубокий кювет у обочины дороги неожиданно оборвался, впереди лежала степь, покрытая кустиками картофеля и баштанами.

Мария грустно покачала головой.

— Вот тут оно и начинается, девушка. Возьми ее. И патроны возьми, — он протянул винтовку. — Я поползу вперед, а ты за мной, — и Яша распластался на земле. Два термоса двигались за его ногами на веревке, перекинутой через плечо, маленький он катил впереди себя.

— Мне вот, главное, этот термос, — постучал он пальцем о металл. — В нем живительные капли. Я знаю, наши хутор отобьют, а раз отобьют, значит, командир прикажет выдать по сто граммов на брата. Вот я им и поднесу. Только бы он, проклятый, не пробил, — сетовал Майборода.

Пересекли дорогу, по которой проходил свежий след от грузовика. На плечи Марии давила удушливая жара, пот ручьями катился со лба, заливал глаза. Мария видела впереди себя Майбороду, который полз, зарываясь

коленями в землю, и ей стало неловко, что он все несет один.

— Давай я помогу тебе.

Моряк отмахнулся:

— Не могу. Это служба моя.

— А ты стреляешь или только еду матросам носишь? — неожиданно спросила Мария.

Майборода остановился, смущенно посмотрел на Марию:

— Долго не пускали. Комбат все говорил: «Каптеру по уставу не положено в атаку ходить». А я все наседал на него, день изо дня. Один раз схитрил. Говорю комбату: «Я добровольно хочу. Когда люди уже накормлены. Не могу сидеть спокойно, когда фашист лезет. Он мне жизнь искалечил». Комбат посмотрел на меня и даже засмеялся: «Раз добровольно, говорит, тогда положено. Разрешаю».

Марию тронула искренность моряка.

Все чаще рвались мины, вставали над землей дымки пулеметных очередей, словно крупный дождь бил по пыли. Тут уже была передовая, и они пробирались вдоль окопов к пылающему хутору. Под железнодорожной насыпью пошли пригибаясь.

— А теперь стоп! Дальше тебе нельзя, — воскликнул Майборода и побежал к окопчику, где сидели пехотинцы. Мария слышала, как он крикнул:

— Это наш боец. Если кто из вас посмеет над ней смеяться — моряки головы снесут. Я скоро за ней вернусь.

Мария вдавила локоть в нагретую землю. На горизонте дрожало марево, затягивая кисеей сожженные поля, желтую скирду, сгоревшее село, поваленные деревья.

Марии стало страшно. Вражеские окопы были так близко, что временами до нее долетали обрывки чужой речи.

Обстрел усиливался, пехотинцы открыли ответный огонь, и Мария, стараясь крепче прижимать к себе винтовку, выстрелила.

XXIII

Остап Богучар забежал в подвал к профессору Драге, как было условлено, на минуточку, но оставался там значительно дольше. Он должен был передать профес-

сору оригинал письма, которое написали молодые рабочие завода имени Январского восстания правителю Румынии генералу Антонеску. Остап Богучар тоже принимал участие в составлении этого письма. Ученики ремесленного училища из его бригады попросили об этом своего учителя. Это письмо напечатали все одесские газеты, оно ходило по рукам, было издано отдельной листовкой, на обложке репродукция с известной картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Профессор Драга перевел письмо рабочих на румынский язык и теперь разыскивал оригинал для музея. Степан Кириллович долго искал оригинал по редакциям, в заводской многотиражке, но ему всюду протягивали копию, написанную на машинке. Оригинал куда-то исчез. Совершенно случайно Драга пожаловался на это Остапу Богучару, и тот спокойно заявил, что оригинал, написанный карандашом на старых бланках-рапортичках начальника токарного цеха, валяется, верно, где-то у него дома, если Марта еще не выбросила. Остап обещал разыскать оригинал и вот сегодня принес его профессору.

— Я очень благодарен вам за заботу. Вы сами не знаете, какая это для меня ценность. Присаживайтесь, прошу вас, — говорил Степан Кириллович, пододвигая Остапу стул.

Остап поблагодарил, но не присел. Он внимательно осмотрел свежевыбеленные стены, длинные дощатые стеллажи в два яруса. Наконец взгляд его задержался на большой мишени, одиноко висевшей на стене. Степан Кириллович заметил его взгляд, объяснил:

— Это тоже историческая мишень. На ней тренировалась в стрельбе ваша дочь Мария перед уходом на фронт. Я уговаривал ее не идти, остаться со мной, но теперь вижу, что ошибался. Вот ведь какой из нее снайпер получился!

— Слышал, — глухо сказал Остап Богучар, — но и сейчас думаю, что не женское это дело. Если уж она бросила университет и не захотела эвакуироваться, то надо было санитаркой идти на фронт или на завод, к станку! Такие, как она, девушки уже дают у меня по двести процентов нормы. Это они обшили бронепоезда корабельной броней. Теперь делают новые танки. Любо смотреть на их работу. Но что поделаешь... Мария взрослая, своим умом живет,— вздохнул Остап и пошел вдоль

стеллажей, равнодушно осматривая разные брошюры, плакаты, газеты, листовки.

Его сопровождал Степан Кириллович, а немного позади шел глуховатый швейцар Кулина, время от времени прикладывая к уху ладонь, чтобы слышать их разговор. Чем дальше шли они вдоль стеллажей, тем внимательнее смотрел Остап. Он видел на больших кусках картона фотографии Одессы, ее людей, разрушенные бомбами дома и кварталы. Вот на снимке знакомая улица после ночной бомбежки. Каштаны, вывороченные с корнем, срубленные столбы с электропроводами валяются поперек мостовой. Окна магазинов холодно зияют выбитыми стеклами. Посреди площади лежит убитая бомбой женщина, а маленькая девочка плачет возле нее. А вот групповые фотографии заводских ополченцев, санитарных дружин, группы самообороны, портреты лучших стахановцев заводов, фабрик и предприятий. На отдельном листе собраны портреты лучших матросов и командиров торгового флота, портовых грузчиков, которые постоянно работают под бомбами. Среди многочисленных фотографий Остап Богучар увидал и свою. В рабочей спецовке у станка, с трубкой в зубах. Вспоминал, когда его сняли, и не вспомнил.

— Где это вы набрали столько документов? — спросил он.

— Люди сами несут, — гордо ответил Драга. — С того времени, как услышали о музее, все фотографы сдают мне отпечатки, а иногда я и сам хожу, выбираю, что нужно... Вот так, по крупицам, воссоздаем картину нашей жизни в эти героические для Одессы дни.

— Дело серьезное задумано... Надо и свое что-нибудь принести, — сказал Остап.

— Будем рады. А что у вас есть? — спросил Драга.

— Имеется присяга ополченцев. С подписями. Нарукавная повязка заводского ополченца. Фотографии первых женщин, пришедших на завод и теперь ставших токарями высоких разрядов. Ну, да если подумать, можно и еще кое-что найти, — по-хозяйски ответил Богучар.

Тут же к нему подошел швейцар Кулина:

— Можно мне завтра к вам на завод прийти? Я заберу все это, чтобы вам не ходить.

— Приходите. Меня вызовут в проходную, — согласился Остап.

В витринах под стеклом лежали фронтовые материалы, преимущественно вырезки из военных газет с рассказами пленных, записками и дневниками румынских и немецких офицеров, фронтовые частушки и песни, сатирические окна, армейские уголки юмора. Среди трофейных экспонатов попадались и оригиналы. Степан Кириллович вынул из витрины общую тетрадь в черном переплете, сказал:

— Вы, должно быть, читали в газетах записки румынского офицера Олтяну. Мне их вернули из разведки. Офицер был убит в тот день, когда матросы подожгли пшеницу. Это оригинал...

Остап брезгливо поморщился и, даже не прикоснувшись к тетради, пошел дальше. Он остановился у фотографии, изображающей длинную очередь женщин и детей, которые пришли на одну из улиц получать по карточкам воду. Остап долго вглядывался в суровые, нахмуренные лица, словно хотел узнать среди них своих знакомых, но, так и не узнав, глубоко вздохнул, опустил глаза в землю. Одесса стояла у моря, и ее томила нестерпимая жажда.

Степан Кириллович показал Остапу хронологические таблицы войны, и они заинтересовали старого рабочего. День за днем в первую графу этих таблиц профессор наклеивал вырезанные из газет сообщения Советского Информбюро. Во вторую графу записывал главные события, которые произошли в этот день в Одессе и на фронте под Одессой. Остап рассматривал таблицы, словно читал живую историю этой войны, видел в ней свою жизнь, чувствовал биение пульса своего завода. Особенно долго читал он первые, наиболее пространные сообщения Советского Информбюро о боях под Одессой.

— В свободное время я приведу к вам своих токарей. Пусть почитают и увидят все это. Еще крепче за работу возьмутся. Ну, будьте здоровы, Степан Кириллович, мне опять надо бежать на завод...

— А письмо? — остановил его Драга.

— Чуть не забыл, засмотрелся,— Богучар подал профессору засаленные листки, на которых было написано письмо генералу Антонеску. При этом он попросил:

— Только вы не очень в этом деле меня вперед выставляйте. Меня ремесленники попросили... Это они... Так и отметьте... Правда, грубовато вышло, но из песни

слова не выкинешь. Мы по-рабочему сказали, от всего сердца...

Профессор пересмотрел листки и передал их швейцару Кулине:

— Положите в отдел внутренней жизни. Папка народного творчества, пятая полка. А я провожу гостя до трамвая.

Старый мастер и профессор вышли из подвала. Швейцар Кулина надел очки и, не удержавшись, громко захохотал. Он уже читал это письмо в газете, но теперь, сверяя с оригиналом, опять не мог удержаться от смеха. Его радовало еще и то, что в газете не было исправлено ни одного слова. Все было напечатано точно по оригиналу. А в оригинале было так:

«Письмо генералу без армии Антонеску от внуков великих запорожцев земли Украинской.

...Недавно мы написали письмо твоему фюреру Гитлеру, с которым ты состоишь в союзе и ползаешь перед ним на пузе. А чтоб ты не думал, что мы тебя забываем, так мы и тебе письмо сочиняем. Только ты нас прости, что мы не знаем, как к тебе теперь обращаться, так что просим не обижаться.

Подумай сам: правителем... тебя нельзя назвать, потому что немцы запретили тебе управлять. И говорят, что ты сидишь где-то за Бухарестом, под домашним арестом. Генерал ты не генерал, ведь генерал, у которого нет армии для войны, даром трет генеральские штаны!

А все потому, что у тебя голова пуста, недаром на твое место Гитлер назначил генерала Листа, хотя, впрочем, от этой операции не повысились ваши акции.

Не тебе с твоей головой дурною идти на нас войною. Огнем и мечом расправимся мы с тобою, балдою. Немецкая марионетка ты и генерал-лакей — продался Гитлеру за несколько лей, мамалыжник ты и лисица, подхалим и кровопийца. Нечего моське грозить слону... и зачем ты впутался в эту войну? Наверно, тебе, тупице, захотелось украинского сала и пшеницы? Мы знаем, что все вы охотники за чужим караваем. Только на чужой каравай рта не разевай. Получишь ты у нас не пшеницу, а добрую фигу, и придется тебе есть одну мамалыгу.

Что выиграл ты для румынского народа от Мальбрукского похода? Не помогли тебе, проституированной марионетке, ни немецкие танкетки, ни автоматы и мины,

куда ни глянь — на поле валяются убитые румыны, а под Одессой, где наши пушки гремят, легло столько твоих храбрых солдат, что новые твои батальоны не перелезут через эти заслоны, препоны, потому что им на го́ре возвышаются трупов целые горы.

А ты еще хвастаешь, что возьмешь Одессу, когда мы из твоей армии сделали тесто. Никогда не видать тебе, псу, нашей Одессы.

Запомни, что наша Одесса, как и вся Украина, будет только советской и пролетарской, а не твоей, боярской. Об этом ты, фашистский холуй, и Гитлеру отрапортуй. Ты к нему в приймы пристал, но ничего себе не достал. О тебе, вояка вражий, верно украинская пословица скажет: пошел пес в приймаки и вернулся домой без ноги.

Вот так и ты, вояка, побежишь, как собака. Только имей в виду, а хочешь, запиши себе на бумажке, что где ты ни появишься, жлоб, мы будем бить тебя прямо в лоб, чтобы обеспечить тебе надежный гроб...

Ну, еще раз прощай, бывший главнокомандующий.

Наш адрес — город Одесса, которая закрыта для тебя, балбеса».

Швейцар Кулина осторожно расправил смятые листки, завернул их в чистую бумагу и торжественно положил в отдельную папку на пятую полку. Теперь он окончательно убедился, что это письмо действительно вместе с Остапом Богучаром писали ремесленники завода имени Январского восстания, а не журналисты из областной газеты «Черноморская коммуна».

XXIV

Петр Шагайда ступил на холодные камни пирса и с грустью посмотрел вокруг. Одесса, постаревшая и неузнаваемая, раскинулась на холме. В порту с кораблей сносили ящики со снарядами, оружие. Пехотинцы и артиллеристы, поскрипывая новыми ремнями, высоко поднимая винтовки, сбегали по трапам. В Одессу прибыл свежий полк. Бойцы косились на руины порта, на горизонт, окутанный клубами порохового дыма: там проходил фронт. Он окружал Одессу подковой, упираясь флангами в море.

Просвистел и разорвался у причалов первый снаряд. Потом снаряды начали падать чаще, и моряки броси-

лись растаскивать ящики. «Из Дофиновки бьет. Она у него», — подумал Петр и, перепрыгивая через две ступеньки, побежал по широкой лестнице. Полк торопливо выходил в ворота, строился по батальонам и тяжело поднимался в гору вдоль моста. По Дофиновке открыла огонь наша артиллерия, но вражеские снаряды рвались в порту со все нараставшей силой. Только когда вступили в бой крейсер «Червона Украина» и два эсминца, разрывы в порту стали реже.

Суровая, настороженная Одесса выросла перед Шагайдой за углом первой же улицы, там когда-то находился дом обкома партии. Теперь на этом месте лежала груда развалин. Петр посмотрел на оперный театр: он попрежнему высился над морем. Шагайда шел наобум по опустевшим улицам города. Беспрерывно слышалась артиллерийская канонада. В ясном небе плыли серые облачка зенитных разрывов; Петр заметил, что люди уже не обращают на них внимания. Взглянут вверх и спешат дальше, молчаливые, суровые.

«Неужели и Мария стала такой?» О том, что она не уехала на Кавказ, Петр знал. Вначале он сердился, упрекал Марию, но теперь он был горд за девушку, которая осталась защищать родной город. Где она сейчас и что делает? На Кавказе в порту он видел девушек, которые умоляли капитана увезти их в Одессу. Они рвались в огонь, чтобы вместе с отцами и братьями встать на защиту родного города. Кое-кому из одесситок удалось прорваться на пароход, и их обнаружили только в Одессе. Они так проворно скрылись в порту, что разыскивать их было пустым занятием.

Шагайда всматривался в зеленые кварталы, узнавал знакомые дома, пытался угадать, чем жил город в эти дни.

Но чем дальше шел он по широким улицам, тем больше поражала его Одесса своим суровым спокойствием, размеренным и напряженным ритмом жизни, который не могли сковать ни железные законы войны, ни жестокая осада. В центре города Шагайда увидел стайку детей в белом, с красными пионерскими галстуками на груди. Дети бежали, крепко прижимая к себе книжки и тетради, о чем-то звонко спорили. Они выскочили из открытой двери книжного магазина, и это удивило мичмана. Он ласково посмотрел им вслед и перешел на

противоположную сторону улицы, туда, где был книжный магазин.

В витрине, стекло которой было заклеено полосами белой бумаги, лежали аккуратно разложенные ученические тетради, карандаши, резинки, чернильницы, маленькие портфели, пеналы — всё нехитрое имущество школьника. На высоком стенде красовались новые, еще не разрезанные учебники. Рядом поблескивали лидериновыми корешками с золотым тиснением произведения Ленина, Сталина, Пушкина, Шевченко, Толстого, Чехова, Гейне.

Шагайда вошел в магазин и незаметно стал в углу, рассматривая большую карту Европы, висевшую на стене. Он проводил воображаемую линию по морю от кавказских берегов до Севастополя, потом к Одессе и дальше к вражеской Констанце, оккупированной фашистами Варне. Море синело у него перед глазами, перекрещенное пунктирами морских путей, которые сходились в узком Босфоре. Где-то там, под Констанцей, на дне моря лежит эскадренный миноносец «Гроза», затянутый илом, облепленный ракушками. Придет время, и его поднимут из воды, но следов Самойла Вихоря уже не найдут. Что произошло с ним? Погиб в море или его подобрал вражеский катер?

Шагайда опустил голову и отвернулся от карты. В магазине было шумно. Две продавщицы едва успевали обслужить маленьких громкоголосых покупателей. Дети толпились у прилавка, перебирали перья, тетради, требовали промокашки, циркули, цветные карандаши. Продавщицы подавали все это, советовали, что лучше покупать. В магазине приятно пахло типографской краской, клеем, чернилами, и от всего этого на Шагайду повеяло далекими годами детства. Вот он бежит в школу босиком, а мать грозит ему пальцем, наказывает не шалить. За плечом болтается полотняная сумка с новыми книжками, в руке пирог с капустой, возле пуговицы подрагивает пузатая чернильница. Вокруг все залито солнцем. Где-то на полях гудят первые тракторы, плещется в затоне рыба, и над всем этим весело и тонко поет школьный звонок, зовет Петю Шагайду в классную комнату. Что сейчас делается в их школьных классах? Ведь там теперь фашисты... А тут не умолкают дети:

— Тетя, а в клеточку тетради есть?

— А мне ботанику для седьмого класса.

— Букварь дайте.

— Перо восемьдесят шестой номер...

— Можно геометрию для восьмого?..

— Можно, дети, только не все сразу, — отвечает продавщица, ловко выхватывая с полок нужные книги и школьные принадлежности.

Шагайда стоит в магазине, пока не редеет толпа школьников, и только тогда подходит к прилавку.

— Вам что, товарищ мичман? — спрашивает продавщица.

— Я, собственно, так... Школьников увидел и вот — зашел, — неуверенно объясняет Шагайда.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ласково улыбается продавщица.

— Разве школы у вас работают?

— Что за вопрос? Конечно, работают, — в голосе девушки звучит обида. — Точно по расписанию, с первого сентября. Первые — шестые классы учатся по квартирам, группами, по нескольку учеников. Так безопаснее, на глазах у родителей. Старшие учатся в школах. Там свои бомбоубежища, столовые, буфеты...

— Я так давно не был у вас в Одессе, — оправдывается мичман. — Спасибо вам, будьте здоровы.

— Счастливого плавания! — ласково отвечает девушка.

Школьники в магазине умолкают, с завистью поглядывая на настоящего мичмана военного флота, который прибыл в Одессу откуда-то издалека, по опасному теперь Черному морю. Верно, он привез им что-то хорошее, если прибыл в такое трудное время.

Шагайда сворачивает в боковую улицу и останавливается перед витриной, где когда-то висели афиши одесских театров. Теперь театральных афиш нет, и он начинает читать различные объявления и обращения. Одни из них уже пожелтели от солнца и дождя, другие еще влажны от клея. Мичман внимательно рассматривает их, словно сразу хочет постигнуть всю сложность жизни осажденной Одессы.

В глаза сразу бросаются рекламы кинотеатров. Ого! Кинотеатры, оказывается, работают. В кинотеатре «20-летие РККА» идет фильм «Мы из Кронштадта», у «Котовского» — «Трактористы», у «Горького» — «Музы-

кальная история», в «Серпе и молоте» — «Фронтовые подруги», у «Ворошилова» — «Моряки», в «Профинтерне» — «Федька», у «Короленко» — «Чапаев» и «Профессор Мамлок». Начало сеансов с двенадцати часов дня.

Рядом висят торговые и другие объявления: «Магазины Одесского горпромторга торгуют ежедневно, без выходных дней, с 9 часов утра до 5 вечера». Открыта подписка на октябрь месяц и до конца года на газеты «Черноморьска комуна», «Большевистское знамя», «Ленинским шляхом». Сберегательные кассы выдают вклады, внесенные после 22 июня, в неограниченных суммах; операции производятся ежедневно, кроме общевыходных дней, с десяти утра до трех часов дня. Все аптеки и магазины санитарии и гигиены получили для продажи витаминизированный рыбий жир, гематоген, печеночный экстракт против малокровия. Фотографии треста «Укрфото» принимают заказы ежедневно.

Дальше шли пожелтевшие от времени частные объявления об обмене квартир, пропавших собаках, приблудных голубях, о покупке и продаже мебели и других мелочах — одним словом, всё из той мирной жизни — и тут же, рядом, свежие приказы военного коменданта и постановление Президиума областного совета. Шагайда прочитал первые строчки, и они вывели его из равновесия. Война опять встала перед ним, как черная градовая туча.

В приказе коменданта сообщалось: «Выдачу воды проводить по специальным карточкам за плату... Воду отпускать населению только через дворовые краны, согласно установленных норм. Все водопроводные краны в квартирах, ваннах, бачки в уборных опечатать и строго запретить ими пользоваться... Отпуск воды мелким предприятиям, мастерским, промартелям, расположенным в жилых домах, прекращается. Вода из дворовых кранов отпускается по специальному разрешению... Поливка парков, садов, улиц, деревьев и зеленых насаждений категорически воспрещается. Лица, виновные в нарушении этого приказа, привлекаются к ответственности по законам военного времени».

Шагайда облизнул языком запекшиеся губы, посмотрел на море. Оно было бескрайнее и холодное, но мичману оно показалось горячим, словно растопленное на огне блестящее олово. И уже не прохладой повеяло

с моря на Шагайду, а палящий мертвый суховей ударил в лицо. Он мчался по улицам Одессы, шелестел засыхающей листвой платанов, поднимал на тротуарах столбы сухой пыли, в которой уже кружились первые пожелтевшие листья.

Шагайда вытер платком вспотевший лоб и продолжал читать.

Рядом с этим постановлением был наклеен свежий приказ начальника гарнизона: «В связи с серьезностью положения, создавшегося в городе, и необходимостью самой строгой дисциплины и организованности, приказываю: всем торгующим организациям, столовым и ресторанам продажу всех видов спиртных напитков категорически запретить. Все организации, частные лица, замеченные в малейшем нарушении этого приказа, будут привлечены к самой суровой ответственности по всей строгости законов военного времени».

Шагайда круто повернулся и пошел прочь. На центральных улицах было глухо, одиночные прохожие озабоченно спешили куда-то, в кафе под парусиновыми тентами пусто, даже не видно официантов в белых передниках. На протяжении всей Дерибасовской улицы Шагайда увидел одного безногого грека в тюбетейке, который дремал у своих щеток и коробочек с мазью. А еще недавно на этой улице было тесно от голосистых и веселых чистильщиков.

Петра потянуло к людям, и он быстрее зашагал узкими переулками, направляясь к дому Богучаров. В заводском районе женщины и девушки строили каменные баррикады, а дети помогали насыпать в мешки песок. В люльках под каштанами спали младенцы. Почтальон раздавал письма и газеты; в квартиры он не заходил, зная, что все теперь около баррикад на улице. Громко звучали репродукторы. Над городом плыла торжественная и суровая музыка. Разрушенные дома смотрели на мичмана пустыми глазницами окон. На разбитой раме одиноко трепетала обгоревшая занавеска.

Девушки молча укладывали камни и с любопытством посматривали на мундир, чистый воротничок и блестящие, как зеркало, башмаки мичмана. Он надеялся встретить среди девушек Марию и вглядывался в их лица пристальнее обычного, но они отворачивались, и ему становилось неловко. Продребезжал трамвай. Петр вскочил на

ходу. Там было тесно, ехали только женщины с грудными детьми. У каждой в руках была бутылка.

«Эпидемия»,— с ужасом подумал Петр. Женщины расступились, одна освободила ему место.

— Садитесь, — предложила она, — мне скоро выходить.

— Не волнуйтесь. Я с Большой земли. Вам тяжелее, — сказал Шагайда.

— Не жалуемся. Теперь всем трудно.

— Что у вас — эпидемия? — спросил Петр.

Женщины притихли. Каждая посмотрела на свою бутылку, прижала к груди ребенка. Над трамвайными проводами, чуть не задевая деревья, с ревом пронесся самолет — на крыльях рдели красные звезды — за ним другой, третий... Целое звено. Женщины с мольбой проводили их глазами. «Так низко», — удивился Петр.

— Что с детьми? — опять спросил он.

— В бутылках вода, — спокойно сказала женщина. — Немец перерезал нам воду в Беляевке. Вся Одесса без воды. Грудным детям выдают еще из старых запасов.

— Колодцы копаем. Вода глубоко, — откликнулась другая.

Самолеты снова заревели над трамваем, и Петр заметил капельки масла под их крыльями, сухую траву на колесах.

— Теперь даже аэродромы в самой Одессе расположены. Кругом фронт, — объяснила женщина и, взглянув на Петра, спросила: — А там, на Большой земле, помнят о нас?

— Помнят, любят, думают о вас, гордятся вами, — ласково сказал Шагайда.

— Гордятся... — в раздумье прошептала женщина.

В вагоне наступила тишина. Но вот затрещали зенитки, и трамвай остановился.

Женщины вышли из трамвая, свернули в сквер, к бомбоубежищу. Шагайда, не решаясь идти с ними, остался в пустом вагоне. Постояв с минуту в раздумье, выпрыгнул и быстро зашагал к знакомой улице.

Марта Богучар встретила его неприветливо. Вылезла из глубокой ямы, подала руку, измазанную глиной.

— Ты к Марии или на фронт? — и, наклонившись к яме, крикнула: — Вылезайте, соседка, у нас гость.

Из ямы, отряхивая глину, вылезла седая женщина. Она оперлась на лопату, тяжело дыша.

— Мать Вихоря. Ты же знал его? — спросила Марта.

— Знал, мать. Он герой, — неизвестно к кому обращаясь, сказал Петр.

Женщина сразу поникла и заплакала. Она плакала тихо, не вытирая слез, а правой рукой судорожно расстегивала кофту на груди. Наконец достала узелок и протянула Шагайде сложенную вчетверо бумажку.

— Вот. Вчера принесли. Как же это он мог пропасть без вести? Он ведь не иголка, он сын мой, сын, большой, сильный...

В саду увядали вытоптанные цветы, а между ними пролегали новые, незнакомые Петру, дорожки к морю. Мичман увидел на этих тропинках обнаженных до пояса моряков. Они копали землю. Все были в черных очках и напоминали слепых.

— Почему они в очках? — спросил мичман.

— Глаза, — ответила Марта. — У них нет такой трубы, которая по звуку улавливает самолет ночью. На других батареях есть, а у них нет. Они ложатся навзничь, на спину, и смотрят на звезды, когда небо чистое, без туч. Пролетит самолет, на миг закроет звездочку, а они уже кричат командиру, в каком квадрате самолет, и он посылает туда прожектор. Глаза у них потом очень болят.

Сиротливо выглядел между деревьями облупленный дом. От сотрясений веранда была усыпана битым стеклом. В саду виднелись узловатые корни вывороченных взрывной волной яблонь. Фашисты бомбили прожектор и, не попав в него, уничтожили в саду много деревьев.

— Не плачьте, мамаша... Не мог он погибнуть. Еще придет о нем весть, — сказал Шагайда, и обе матери посмотрели на него умоляющими глазами.

— Колодцы копаем. В госпиталях воды мало, — прервала молчание Марта. — Где же ты был, что так долго на глаза не показывался?

— Я с конвоем пришел. Свежие войска к вам прибыли.

Усталые глаза матери ожили, засветились. Она засуетилась, заохала, горюя, что негде усадить гостя.

Пусть не хлопочет. Ему ничего не надо, он просто пришел навестить их и поговорить о Марии. Марии нет? Где же она?

— А что я тебе скажу — воюет Мария снайпером. Спасибо людям, хвалят, а нас к ней не пускают. Говорят, она днем так замаскирована, что и своим ее найти трудно. Теперь я одна.

— А Славка? — робко спросил Шагайда.

— Не вернулся с окопов. Ребенок совсем, — заплакала Марта.

— А Мария бывает дома?

— Нет, — сухо сказала женщина. — Мало я знаю. Если б начальник их явился, он бы объяснил, — показала она глазами на прожектористов.

— Какой начальник?

— Скоро забываешь: Павлуша с «Грозы», старшина первой статьи.

— Грызлов? Разве он тут?

— Ушел куда-то. А ты, может, на фронт съездишь? Теперь на фронт трамваем ездят. Завернешь за угол и садись. Очереди нет. А то со мной пойдем. Обед понесу на завод старику. Увидишь хоть его, — и она, не сводя глаз с Шагайды, уже ставила в кошолку чугунок с едою.

— Не успею я. Скоро надо на корабль возвращаться,— ответил Шагайда.

Шли молча. Возле заводских ворот она сказала:

— Ты не обижайся на меня, коли резкое слово скажу. Очень я зла на фашистов. И весь народ тоже. Не затоптать извергам такой народ. Черное море — не корыто. Мы на нем хозяева.

Из заводских ворот выходили рабочие. Они шли строем, по четыре в ряд, увешанные гранатами и патронташами. Поблескивали плоские штыки полуавтоматов. Женщины, принесшие еду, не решались подойти к мужьям, только молча вглядывались воспаленными глазами в дорогие лица. То, чего ожидали женщины, произошло.

Почти весь завод уходил на фронт. Шли через Лузановку к морю. Там было тяжело. Силы истощались, противник снова потеснил наши войска на двух важных участках фронта. Шагайда смотрел на понурые фигуры женщин. Одесситки стояли молча, сжимая узелки с едой.

Тихо было у завода. Только звонкий голос моряка, который вел колонну на фронт и отсчитывал «ногу», звучал над головами. Вдруг женщины вздрогнули, одна побежала, нагоняя колонну, за ней двинулись все. Они чуть не сбили с ног Шагайду.

— Стойте! — донеслось от ворот.

Это кричал, стоя на грузовике и размахивая кепкой, старый Богучар.

Женщины, не обращая внимания на крик, бежали за колонной. Мужчины протягивали руки, гладили жен по головам, шептали что-то нежно и ласково, верно, просили беречь себя, детей. Женщины плакали, а колонна все убыстряла шаг, и все труднее и труднее было догонять уходивших. Пришлось повернуть обратно к заводу. Богучар все еще стоял на грузовике, ожидая: знал, что они вернутся сюда, откуда ушли их близкие. Женщины узнали его, обступили грузовик, поглядывая в ту сторону, где скрылась колонна.

Остап Богучар поклонился женщинам.

— Дорогие мои соседи! Гражданки родной Одессы! Помогите нам, — сказал он. — Военный Совет приказал, чтобы наш завод работал. Он очень нужен фронту. Ваши мужья ушли сейчас на фронт. В цехах остались считанные рабочие. Мы, старики, одни тут не справимся. Помогите нам, дорогие...

В толпе кто-то вздохнул и закашлялся. Потом прозвучал хриплый голос:

— Пошли на завод! Чего стали?

— Пусть записывают нас! — отозвался кто-то.

И женщины двинулись к воротам заводского двора. Шагайда тронул Марту за локоть, и она только теперь увидела, что он стоит рядом. Отвела его руку, сказала тихо, чтобы никто не слышал:

— Иди. Не стой тут. Забеги, передай Вихорихе, может, Славка придет, пусть сейчас же сюда бежит. А колодец пусть она теперь сама докапывает.

XXV

Медленно гасли зарницы. Над Одессой потухали зарева, и Самойло Вихорь залег в окаймлявшей дорогу высокой кукурузе. Он все шел и шел к морю. По ночам держался вдали от больших дорог. На рассвете прятался в степи на целый день. В сумерках снова поднимался и плелся усталый, голодный, потеряв ощущение времени.

За Дунаем и Днестром ему еще приходилось чистить сапоги, брить бороду. Иногда даже удавалось ехать на румынских машинах, которые везли в Одессу боеприпасы.

На нем была новая румынская шинель, солдатские сапоги с короткими голенищами и высокая пилотка, украшенная пером из крыла сойки. В дороге его сочувственно встречали румыны и удивлялись, что он сам, по доброй воле, спешит в этот ад под Одессу. Зачем он туда идет? Там большевики собрали всю свою армию, и румыны каждый день мрут в окопах, как мухи. Раненые рассказывали, что на позициях стоит такой смрад от трупов, что хоть противогаз надевай.

А Вихорь шел, обходя немецкие заставы и посты. Гитлеровцы давно уже не верили румынам. Перед его глазами неотступно стояло море. Оно шумело в снах, мерещилось в утреннем тумане, далекое и недосягаемое. За Днестром он незаметно спрыгнул с грузовика и спрятался в винограднике. В ту ночь он впервые увидел огромное зарево на востоке и побежал прямо на него, спотыкаясь в густой виноградной лозе. Ему казалось, что это уже Одесса. За ней лежит родное море. Там шумит теплый ветер. И море, и ветер Родины, и безграничная любовь к родной земле, по которой он ходил с высоко поднятой головой, тянули его с непобедимой силой все вперед и вперед.

Фронт был совсем близко, по ночам даже слышался его приглушенный гул, и Вихорь стал еще осторожнее. На дорогах рыскали немецкие патрули, вылавливая румынских дезертиров, в селах стояли гарнизонные тыловые части.

По знакомым названиям сел и хуторов, из разговоров с местными жителями Вихорь понял, что находится где-то возле Бирзулы, впоследствии переименованной в город Котовск. Вначале он хотел пробраться туда до рассвета, но усталость валила с ног, и мичман отказался от этой мысли. Правда, в Бирзуле жили родичи матери, Самойло был у них несколько раз, да и вообще с этим местом у него были связаны кое-какие воспоминания. Еще школьником он участвовал в похоронах легендарного героя гражданской войны Григория Ивановича Котовского. Он видел его в высоком гробу, со всеми боевыми орденами и значками на груди. Выпуклый, ровный лоб, прорезанный глубокими морщинами на переносье, заметно ввалившиеся глазницы, прямой, немного заострившийся нос. Руки, тяжелые, сильные, одна сжата в кулак, словно держит саблю. Золотая сабля, которой был награжден

Котовский, лежала при нем, на широком поясном ремне. Гроб героя везли на орудийном лафете шесть белых коней, а следом шли войска, вели своих лошадей кавалеристы, шагали опечаленные рабочие заводов, делегации трудящихся Одессы, крестьяне, учащиеся. Котовский лежал в новых хромовых сапогах с блестящими шпорами, словно живой. Маленькому Самойлу казалось, что Григорий Иванович только что встал с коня и после трудного боя прилег на часок отдохнуть. Тогда Самойло еще толком не знал, кто такой Григорий Котовский, но позже он много читал о нем, слушал захватывающие рассказы его соратников, и образ героя на всю жизнь остался в его памяти.

Через десять лет после этого, уже комсомольцем, Вихорь снова был в Бирзуле. Тогда в торжественной обстановке открыли памятник-склеп, в котором хранилось набальзамированное тело легендарного героя. Котовский лежал в цинковом гробу, под прозрачным стеклом. Фуражка с верхом из красного сукна, которую на похоронах несли на крышке гроба, лежала у Котовского в ногах. Лицо Котовского тоже мало изменилось за эти десять лет и опять показалось Вихорю живым.

С того времени памятник-склеп посетили сотни тысяч трудящихся.

Теперь мичман Вихорь шел по земле, где находилась эта легендарная могила. От одной мысли, что он должен прятаться, таиться от людей, идти становилось еще тяжелее.

Нет! Так дальше невозможно. Земля, на которой жил и боролся Григорий Котовский, — это земля Вихоря, и народ на ней живет не чужой, а родной, свой, дорогой мичману Черноморского флота. Советский народ, а с ним и Самойло Вихорь — полновластные хозяева этой земли. Он и до сих пор дурно поступал, когда стороной обходил людей, чурался их, боялся столкнуться с предательством.

Вихорь выглянул из своей засады и сразу повеселел.

На краю кукурузного поля женщина, часто оглядываясь вокруг, копала картошку. Неподалеку в глубокой долине лежал тихий, малозаметный хуторок — с десяток хат, утопавших в густом вишеннике. Вихорь долго наблюдал за хутором, но там было пусто. За все время по улице прошла только одна девушка с ведрами — верно, к колодцу. Потом мальчик пригнал с выгона гусей.

В степной тишине послышался стук топора, где-то пропел петух, и весь хутор снова погрузился в дремоту. По всему было видно — вражеского гарнизона там нет.

Вихорь высунулся из кукурузы, кашлянул.

Женщина вздрогнула, оперлась на лопату, начала пристально рассматривать Вихоря. Румынская военная форма, борода не брита, — верно, все это показалось ей подозрительным. Ни автомата, ни винтовки — это еще больше насторожило женщину. «Может, дезертир ихний», — подумала она и опять наклонилась к картошке.

— Бог помощь, тетенька, — поздоровался Вихорь.

— Эге! Бог-то бог, да и сам не будь плох, — в сердцах ответила женщина.

— Не бойтесь, я свой. В Одессу из плена пробиваюсь, — объяснил Вихорь.

— Свой, говоришь? — строго переспросила женщина.

— Матрос, не сомневайтесь... Нельзя ли у вас на хуторе молока раздобыть?

— Почему нельзя? Можно, — сдержанно ответила женщина.

— А немцы в вашем хуторе стоят?

— Нет, — отрезала она.

— А румыны? — допытывался Вихорь.

— Уехали вчера,— коротко ответила женщина и, взяв корзину с картошкой, повела мичмана к хутору.

Она шла быстро, часто оглядывалась на тракт, проходивший в стороне, и все приказывала Вихорю пригибаться на обнаженных пригорках, чтобы его не увидели с центральной дороги, по которой на мотоциклах курсируют патрули. Женщина напряженно вслушивалась в слова пленного, но он говорил на чистейшем украинском языке, без акцента, — и все-таки она относилась к Вихорю настороженно. Кто его знает, за каким молоком он пришел!

В своем дворе она сдержанно объяснила:

— Только у меня, дружок, молока нет... Корову забрали. Но мой сын проводит тебя к тетке Марье. У нее есть корова...

— Спасибо, — сказал Вихорь; он был уж не рад, что связался с этим молоком.

Мальчик лет шести повел Вихоря огородами к тетке Марье, но молока не оказалось и там. Тетка жаловалась, что корова еще не пришла с поля, а утреннее молоко

давно выпили. Она послала Вихоря со своей дочкой к бабке Олене. Моряк заметил, что за ним уже следят десятки глаз, настороженно выглядывая из огородов, садов, из окон. У бабки Олены молока тоже не было, и она наказала внучке отвести Вихоря к своей невестке. Это встревожило мичмана; он понял, что его принимают за врага. Невестка удивленно развела руками и принялась жаловаться, что ее корова утром подорвалась на мине. Потом она накинула на плечи платок и повела Вихоря к какому-то деду Гордею, у которого молока хоть залейся.

Они шли молча, обходя хаты, по заросшей узенькой тропиночке. Невестка шла впереди, поблескивая толстыми загорелыми икрами. Вихорь — следом за ней, едва держась на ногах. На все его вопросы она коротко отвечала: «да», «нет», «не знаю»... Он внимательно осматривался вокруг, прислушивался, что делается в селе, и убедившись, что немцев и румын здесь действительно нет, успокоился.

Седой дед Гордей латал сапоги и даже не оглянулся на невестку и Вихоря, когда они перешагнули порог. Хата была бедная, но чистая. На стенах под вышитыми рушниками висело много фотографий в самодельных рамках. Видно, у деда раньше была большая семья, но теперь, должно быть, все разбрелись.

— Дедушка,— сказала невестка,— они молока хотят. Их с поля наша Ганна привела, а молока нигде нет. Были у Марьи, у бабки Олены, а мою корову миной утром... Вы же знаете?

Дед сдвинул на лоб очки в железной оправе, повернулся к Вихорю.

— Садись, служивый. Видно, к своим пробиваешься? — спросил дед.

— Угадал, дедушка,— ответил Вихорь.

— А сам издалека будешь? — равнодушно спросил дед.

— Родился и вырос в Одессе. Потом на флот пошел. В морском бою погиб мой корабль, а меня, когда без памяти был, в плен взяли. Убежал от расстрела, — утомленно произнес Вихорь.

Невестка сидела напротив Вихоря, не сводя с него глаз.

Дед как будто дремал и, казалось, мало прислуши-

вался к словам Вихоря. Когда мичман закончил свой короткий рассказ, дед оживился, очнулся от задумчивости.

— А где в Одессе стоит та больница, в которой один ученый слепым зрение возвращает? — вдруг спросил он и подался к Вихорю.

Вихорь вытянулся, спокойно объяснил:

— За стадионом «Динамо», дед, как идти в Аркадию. Дом номер сорок девять дробь пятьдесят один, по левой стороне. Фамилия ученого академика — Филатов.

— Знаешь, — удовлетворенно кивнул головой старик.— Спасибо ему. Теперь я солнце вижу, а прежде для меня всегда была ночь... Знаю я этого Филатова и больницу его знаю. Лежал там... Подсаживайся ближе ко мне, поговорим, пока баба свежего молочка надоит.

Невестка скинула платок, ласково взглянула на Вихоря и быстро вышла.

Вихорь посмотрел в окно, на ровную знойную степь. Там было пустынно и мертво, только вдали пылил тракт, по которому мчались танки с черными крестами на броне, грузовики с пехотой, громко ржали обозные лошади.

— А почему ты, сынок, именно в Одессу идешь? — неожиданно спросил дед. — Ведь там пекло... Лучше пробиваться на восток, туда все наши отступили...

— Не могу на восток. В Одессе моя палуба, — сурово ответил мичман.

Дед пристально смотрел на Вихоря, пощипывая усы. Потом в его поблекших глазах затеплился ласковый огонек.

— А ты у нас оставайся, на хуторе... Зачем рисковать головой? Мы тебя женим, припрячем...

Вихорь порывисто встал, тряхнул сердито чубом:

— Ну, знаете!..

— Да ты садись, не прыскай, — остановил его дед. — Видел эту молодайку, что привела ко мне? Красавица! Вот на ней и женим. Документы выдадим, по всей форме, в том, что ты наш односельчанин. Паспорт и все прочее... Оставайся, сынок...

— Как вам не стыдно! — вспыхнул Вихорь. — Родина в огне, такое горе вокруг, а вы меня под крылышко к молодице... Да лучше я пулю в лоб!

Дед молча покачал седой головой, вздохнул.

— Ну, без молодицы оставайся. Сам по себе... Нам на хуторе очень нужны такие, кто уже порох нюхал

и смерти в глаза не раз заглядывал. В Одессе их много, а у нас нет... Оставайся, сынок...

— Нет! — вскочил Вихорь, собираясь уходить. — К чему этот пустой разговор?

— Ты, матрос, не сердись на меня, — остановил его дед. — Теперь такое время, и народ всякий по степи шляется... Живо садись к столу, вместе и пополдничаем. Я догадывался, что ты свой, но проверить надо было. Садись, говорю, к столу...

В комнату вошла невестка. В руках у нее была бутылка с молоком.

— Нет, я не сяду. Дайте мне еду с собой... Я должен в Одессу идти. Пусть меня кто-нибудь на глухую дорогу выведет. Можно? — вскочил Вихорь, застегивая шинель.

Дед завернул в чистое полотенце горбушку черствого хлеба, кусок сала, несколько луковиц, а литровую бутылку с молоком воткнул мичману в карман.

— Скажите, дедушка, зачем вы уговаривали меня остаться в этом хуторе? — прощаясь, спросил Вихорь.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — весело ответил дед. — Вот если б ты у нас в степи остался, я бы тебе все рассказал... А раз ты уходишь, значит, не надо тебе знать... Что говорить, раз ты уходишь, — с грустью повторил он.

— Проводи его на старый чумацкий тракт. Через кукурузу, — обратился дед к невестке. — Ясно?

— Ясно, — ответила женщина и вышла из хаты.

— Присядем перед дорогой, матрос, чтоб тебе удача была, — сказал дед, и они сели на лавку, плотно прижавшись друг к другу.

— А когда придешь в Одессу, передай командованию о нашей беде. О Котовском передай, — дед опустил седую голову.

— Что передать? Что случилось? — вскочил Вихорь.

— Они вошли в Бирзулу и страшно поглумились над прахом Котовского. Памятник-склеп разрушили, гроб разбили, а тело бросили в яму, где лежали расстрелянные горожане... Я ходил на ярмарку в Бирзулу и все видел. Куча битого камня и золы... Ироды! — застонал дед и припал головой к плечу Самойла.

Он весь дрожал, тяжело всхлипывая. Услыхав плач, в комнату вбежала невестка и подала старику холодной воды. Вихорю она шепнула на ухо:

— Нельзя ему о Котовском вспоминать. Он служил в его бригаде.

Вихорь обнял старика за плечи.

— Иди, сынок, и передай, — прошептал дед.

— Передам. Матросам расскажу... Не простим им и этого.

Невестка незаметной тропочкой провела его на старый и давно забытый чумацкий тракт, теперь напоминавший обычную полевую межу, уже заросшую полынью. Вихорь распрощался с женщиной, крепко пожал ей руку и скрылся среди высоких стеблей.

Всю ночь, усталый и злой, он шел по сухой земле, а перед глазами все стоял гроб под прозрачным стеклом, фуражка красного сукна, и, как молния среди туч, мерцала золотая сабля Котовского.

На востоке угасали высокие зарева, мгла заволакивала горизонт и откуда-то сбоку уже тянуло крепким запахом морской волны. Слипались глаза, ныло, словно налитое свинцом, тело, усталость валила с ног.

Дальше он не пойдет. Немного свернет с этой тропинки и вон там, под кустами, снова заляжет на целый день. Будет лежать и думать, с какой стороны пробиться в Одессу. Вихорь опустился на колени, чувствуя запах росистого чебреца.

В степи прозвучал глухой и отрывистый выстрел. Целились прямо в него, потому что пуля пролетела очень близко. Убить хотели именно Вихоря — в степи никого больше не было.

«Этого только не хватало. У самого порога — пуля в лоб», — успел подумать Вихорь и щекой прижался к земле. Лежал, не сводя глаз с густой кукурузы по ту сторону тропинки. Они придут к нему. Сочтут, что убили, и, конечно, захотят посмотреть на свою работу. Лежать было легко, тело размякло. Далеко на тракте вздымалась пыль, там тарахтели наши грузовики, и не было им дела до того, что он лежит тут, что в него кто-то стрелял.

Сухие стебли качнулись, на тропинку высунулся замурзанный мальчуган. Он боязливо оглядывался, держа в руках карабин, но к Вихорю подойти не решался. Постояв так и убедившись, что тот не шевелится, мальчуган махнул рукой, к нему подошел второй, белокурый, в соломенном брыле. Они пошептались и направились

к Вихорю, не сводя с него оружия. Тогда моряк оторвался от земли, приподнялся на колени и закричал:

— Полундра! Кого стрелять хотел?

— А ты кто будешь? — спросил тот, что с карабином.

— Матрос.

— Гляди на него. Матрос! А зачем эту робу нацепил?

— На ихнем возу ехал... Убери свою винтовку, неважно бьет...

Ребята растерянно переглянулись. Мальчик подошел ближе, но винтовку не опустил.

— Пацан, не шути. Я нервный стал. — Вихорь внезапно вскочил и вырвал карабин из рук мальчугана. — Кто такие? Откуда?

Мальчики молчали. На запад ровным строем плыли самолеты. Они шли низко. На крыльях хорошо были видны красные звезды. Легкий вздох вырвался у мальчиков. Вихорь опустил карабин.

— Откуда? — опять спросил он.

— С Пересыпи, — хмуро ответил русый.

— Одесские? А кто голкипером в «Динамо» был?

Тот, что стрелял, даже вскрикнул:

— Богдашкин, Ванька... За дамбой живет.

— Ах ты ж, золото мое, — Вихорь схватил его в объятья. — Значит, знаешь? А кто в пятом номере живет? Тоже знаешь?

— Там мы живем, Богучары, — может слышал? Моряки...

И, забыв о фашистах, все трое покатились по земле, сжимая друг друга в объятьях. Слышались неясные, но радостные восклицания. Они забыли и об усталости, и о голоде, и об опасности.

XXVI

Пятый немец убежал. Он бежал зигзагами, припадая к земле. Мария послала ему вдогонку четыре пули, но уже смеркалось, и ни одна не попала в него. Убитые лежали за кустом шиповника в глубокой воронке, и снайперы поползли туда. Мария в середине, Андрей и Майборода по бокам. Яша уже не носил бидонов с едой, а ходил охотиться на гитлеровцев вместе с Голубовым и Марией.

Вскоре после первого боя под хутором, где Яков

Майборода вручил Марии винтовку, командир полка послал девушку, показавшую себя метким стрелком, на краткосрочные снайперские курсы. Мария обучалась недалеко от фронта, в Холодной балке, у самого моря, и возвратилась в полк морской пехоты уже снайпером. Теперь она отлично стреляла сама и стала обучать снайперскому искусству матросов, которые пришли в полк из экипажа и с кораблей. На рассвете они переходили линию фронта и залегали на ничьей земле между нашими и румынскими окопами. Майборода всем хвастался, что именно он нашел Марию, что он первый вручил ей винтовку. Сам Майборода убил уже несколько фашистов. Кроме того, он выискивал цель для Марии и считал убитых. Убитый падал, и Майборода вынимал из левого кармана камешек, перекладывал в правый. Когда Мария рапортовала за день, он высыпал эти камешки на стол перед командиром роты. Сегодня камешков было много.

— Сколько? — спросила Мария, не поворачивая головы.

— Четыре,— ответил Майборода.

— Я убила шесть. Почему у тебя четыре?

— Два спорных. Точно не видел, что упали.

— И ты не видел? — обернулась она к Голубову.

— Сунулись в окоп, а живые или мертвые — черт их знает.

Они молча ползли к одинокому кусту шиповника, который рос над глубокой воронкой. Вечерняя мгла покрывала степь, из немецких окопов доносился приглушенный говор, бренчанье котелков.

Над Одессой уже скрещивались мечи прожекторов, догорали дровяные склады, и высокое зарево освещало путь Марии к кусту. Теперь она хорошо его рассмотрела, не в бинокль, а простым глазом. Ветки иссечены пулями, листья осыпались, но один цветок уцелел и тихо покачивал розовыми лепестками.

— Начинайте, — шепнула Мария. — Я покараулю.

Голубов и Майборода тихо скользнули на дно воронки. Они тяжело сопели, переворачивая убитых. Мария слышала, как Голубов спарывал финкой погоны. Майборода шелестел бумагой, выворачивая карманы. Чуть слышно звякнули автоматы, и моряки выползли.

— Порядок. Трех в лоб, четвертый — между бровей,— шепнул Майборода.

— Документы и планшеты? — спросила Мария.
— Взял.
— Автоматы?
— И два железных креста, — прибавил Голубов.

Мария облегченно вздохнула. Наконец засада, которая контролировала все тропинки к нашему переднему краю, была ликвидирована. Снайперы могли, пробравшись овражком, пролегавшим между колючей проволокой и минными полями, вернуться к первому ходу сообщения. А там можно идти во весь рост. Но сейчас они еще лежали головами к вражеским окопам, укрытые пестрыми маскировочными плащами.

Над вражеским окопом взвилась ракета. Мария ясно услышала, как она пролетела над ними, потрескивая, и рассыпалась ослепительными брызгами. Они замерли, кто где лежал, и вдруг Мария заметила три фигуры, которые ползли прямо на них. Она выхватила финку. Голубов и Майборода своих еще не спрятали. Но тут произошло непонятное. По тем, кто полз, немцы вдруг открыли стрельбу. И эти трое бросились бежать прямо к кусту. Приземистый делал большие прыжки, сгибаясь пополам, словно складной ножик, а двое тонких и гибких катились за ним по земле.

Голубов подставил ногу, и приземистый с разгону грохнулся на землю. Майборода упал на него, у горла блеснула финка.

— Полундра! Я свой... — простонал румын, и Майборода задержал нож.

— Мария, беги! Мы — одни! — толкнул девушку Голубов, и она поползла. Так они делали всегда, когда трудно было выходить из снайперской засады. Марию отсылали первой, а сами вступали в бой. Таков был приказ командира батальона.

С нашей стороны ударили ротные минометы, и мины начали рваться по ту сторону немецких окопов. Вспыхнул пулеметный огонь с фланга. Мария бросилась вперед, перебежала зону обстрела и упала на колени. Она слышала, как бьется сердце, чувствовала тяжесть бинокля, который качался на шее.

Голубов и Майборода долго не возвращались. Мария сидела в окопе мрачная, молчаливая. Моряки предлагали ей шоколад, но она раздраженно мотала головой, кутаясь в пятнистую плащ-палатку. Потом прошла в блин-

даж батальона и долго пила холодную воду, прислушиваясь к тревожным выстрелам, доносившимся оттуда, где остались друзья. Клонило ко сну. Связные, чувствуя, как она устала, старались ступать неслышно, тихо разговаривали.

Зазвонил телефон, и Мария сквозь дрему слышала, как телефонист тихо говорил в трубку:

— Ну, я «Тополь», а ты что хотел, «Орел»? Она? Уже вернулась. Одна. Ты не кричи так громко. Я тебе говорю, что задремала. Какой ты неугомонный. Спит, говорю, и больше не звони. Командир роты? Ну, так и скажи, а потом передашь мне. Хорошо? Будь здоров.

Вдруг она вздрогнула и сразу проснулась. В дверях, покачиваясь, стоял Майборода. Гимнастерка на груди разорвана, лицо в крови, в глаза не смотрит.

— Где Голубов? — Мария подошла вплотную.

Моряк склонил голову и безнадежно развел руками.

— Их пятеро навалилось. Я троих уложил, — и он по-хозяйски снял с плеча немецкие автоматы, положил на стол документы.

— Как же ты смел... Голубова... Андрея? Человека такого...

— Вот он тебе скажет. Я что-то не пойму, что тут происходит.

И крикнул в дверь:

— Введите пленного!

Глаза Марии округлились, зрачки расширились и замерли, уставившись в одну точку.

Перед ней стоял Вихорь. Обросший, худой, челюсти крепко сжаты, ноздри трепещут, раздуваются. Руки связаны за спиной.

— Майборода! Ты не узнал его? Это ж Вихорь! — вскрикивает Мария и бросается к мичману, но, не дойдя до него, отшатывается, зажимает себе рот и застывает, съежившаяся, маленькая. В глазах испуг. Все на Вихоре румынское — ботинки, погоны. Чужое, отталкивающее.

— Он сам двоих задушил. Тех, что на Голубова насели, — говорит Майборода. — Да это не все...

— Мария, прости. Я брата твоего... Славку, не смог сберечь,— говорит Вихорь.

— Молчи, — толкает его Майборода.

— Боже мой!.. — Мария бросается к двери, но Майборода отталкивает ее, выбегает и закрывает дверь. Он

долго грохочет сапогами по ступенькам и, наконец, вносит завернутое в свою плащ-палатку холодное тело Славки. Вносит и осторожно кладет на дощатые нары.

Мария опускается на колени, боязливо прикасается к непослушному вихру. Смоченный кровью, он прилип ко лбу. Славка лежит, раскрыв рот, словно затянул песню на высокой ноте да так и заснул. Он заметно похудел, и его трудно узнать. Мария шевелит губами, шепчет ему что-то ласково и нежно, но слов не слышно. Потом она вскрикивает и падает брату на грудь. Тяжелые рыдания потрясают блиндаж. Связные стоят навытяжку, сняв пилотки. Тает на столе огарок свечи.

XXVII

Контр-адмирал Багров покусывает прокуренные усы и снова обращается к офицеру. Он разговаривает с ним без переводчика на чистейшем немецком языке, но офицер упирается, разыгрывает благородного вояку.

— Почему так долго не убираете трупы своих солдат? — спрашивает Багров.

— Таков приказ...

— Приказ?

— Да, приказ не убирать трупы до тех пор, пока ветер дует на Одессу. Чтобы задохнулись ваши солдаты.

Челюсти контр-адмирала сжимаются, и под кожей на щеках перекатываются желваки. На лице у него печать усталости, но он не выказывает ее, спокойно прохаживается по дощатому полу высокого блиндажа.

— Вы верите в военные способности Антонеску?

— Мы, немцы, не верим.

— Почему?

— Он бездарен во всех отношениях. Да, да,— быстро заговорил пленный, заметив веселый огонек в глазах Багрова. — Все командование в наших руках. Я буду откровенен. Маршал Антонеску отдал глупый приказ своим дивизиям.

— Какой приказ?

— Держать оборону.

— А раньше какой был приказ?

— Наступать. Взять Одессу.

Багров повернулся к своим офицерам:

— Слышали? Теперь оборону держат они. А мы

тогда что же? Выходит, что мы наступаем. Здорово выходит. Здорово! А что вы скажете о нашей артиллерии?

— Это сущий ад. Я видел атаку королевского полка, он попал под огонь ваших батарей. Спасся один капельмейстер из оркестра. Тогда стрелял «Богучар».

— Что это значит — «Богучар»?

— Ваша артиллерия. Так ее румыны называют.

Контр-адмирал отвернулся к стене, замолчал. В блиндаже стало слышно, как вздрагивает потолок; гул ночной бомбежки Одессы долетал и сюда.

— По сведениям нашей разведки, немцы подбросили румынам еще одну дивизию «СС» и готовятся теперь к последнему решительному штурму Одессы, — это верно? — спросил Багров. Офицер не ответил, ссылаясь на свою неосведомленность. Он военный инженер, осматривал укрепления, руководил их строительством и о деталях стратегических планов своего командования совершенно не информирован. И вообще если б на этом участке фронта воевали не моряки, он никогда не попал бы в плен. Моряки схватили его в тылу, там было совершенно спокойно, и под покровом ночи неизвестно как перетащили через линию фронта. Это могут сделать только моряки, слепая стихия, неуловимая черная туча.

— Сколько лет вы эсэсовец? — неожиданно спросил Багров.

Немец вытянулся, замотал головой:

— Нет, нет. Я только инженер. Я даже не наци.

— А ваша форма? Знак эсэс?

— Форму выдали всем немцам. Румыны очень ее боятся.

В блиндаж вбежал юркий адъютант:

— Товарищ командующий! Они уже прибыли.

— Пусть войдут, — сказал Багров и присел к столу.

Вошла Мария, бледная, усталая. Под глазами лежали широкие тени. Автоматчик ввел Вихоря. Моряк зажмурился от яркого света, вытянул руки по швам, огляделся. Контр-адмирал, не поднимая головы, читал какие-то бумаги. Он только услышал, как моряк вскрикнул и бросился на пленного. Автоматчик своевременно успел оттащить его.

Вихорь тяжело дышал, кусал побелевшие губы и весь дрожал. Перед ним стоял обер. Моряк сразу узнал его.

Немец закрыл ладонями лицо, прижался к стене и стал медленно оседать на пол. Он тоже узнал своего пленника.

— Что такое?! — вышел из-за стола Багров.

— Гестаповец! — и, повернувшись к Марии, Вихорь тихо сказал: — Это он допрашивал меня в Констанце. По лагерям гонял.

— Гестаповец? — переспросил Багров.

Допрос длился недолго. Все выяснилось быстро и точно. Контр-адмирал предложил Марии и Вихорю сесть, приказав адъютанту:

— А его немедленно в штаб. В конвой двух пехотинцев.

Адъютант щелкнул каблуками и исчез в дверях. Автоматчик увел пленного.

— Слушаю вас, мичман Вихорь. Долго вас не было, видно, есть что порассказать. Он, кажется, ваш земляк? — обратился Багров к Марии.

— Сосед наш.

— Курить... Можно мне закурить? — глотая слюну, спросил Вихорь. Контр-адмирал протянул папиросы. Моряк взял одну дрожащей рукой, поднес к глазам мундштук и долго шептал, глядя на фабричную марку: — Москва... Казбек... А я уж не думал такие курить...

— А вы не ошиблись? — спросил Багров, показав на дверь.

— Я его и на том свете не забуду. Он каждый день меня допрашивал. В порту, в лагерях. Знал, что другого моряка ему нескоро приведут. Меня всегда выносили от него...

— Дальше. Я слушаю, — не поднимая головы, бросил Багров.

— Партийный билет в море. Они не видели его. Я с пирса бросился. Разрешите только, я кровью его верну. На диверсии пойду, под танки брошусь.

— Вас орденом посмертно наградили. Спасибо за службу, — не сдерживая волнения, сказал Багров.

— Служу Советскому Союзу! — вытянулся Вихорь.

Опять в его памяти всплыл порт, закурился дымок эскадры, уходящей к своим берегам. Пахнуло фиалкой от тонких пальцев обера. Над степью опускался вечер. Вихорь уже прощался с жизнью... Их вели к яме. Но обо всем трудно сразу рассказать.

Мария сидела задумчивая, настороженная и прислушивалась, затаив дыхание. Вихорь старался говорить ко-

ротко, торопился, но мысли нагоняли одна другую и остановить их было трудно.

...Пленных расстреливали в сумерки, он упал в яму, даже не будучи ранен, одним из первых. Потом падали мертвые. Может быть, потому, что было поздно, их не засыпали землей, и он ночью выполз из ямы. Выбрался и пополз прямо в степь. По звездам, окольными путями долго пробирался к Дунаю, там рыбаки спрятали его. Из-под Одессы уже бежали румынские дезертиры, выменивали свою военную форму на штатское платье. Рыбаки одели Вихоря в военное, дали солдатский билет, который какой-то румын забыл в шинели, и Самойло двинулся к Днестру. Долго прятался у линии фронта, выискивая, где и как ее перейти. Тут он встретил двух мальчиков. Белокурого в брыле и Славку, брата Марии. Ребята чуть не убили его, думали — румынский солдат.

В сумерках они пробрались сквозь кукурузу к окопам, и, воспользовавшись затишьем, поползли через фронт. Немцы их заметили, начали стрелять. Около воронки, где растет куст шиповника, враги их догнали. Но там были два моряка. Они помогли ему, ну вот и все... Остальное известно.

Он вскочил, словно что-то припомнив, сказал:

— Еще не все... Разрешите рассказать дальше...

— Вы садитесь, говорите, — тихо сказал контр-адмирал и настороженно сдвинул густые брови.

Он мысленно перебрал все главные детали рассказа мичмана, представил себе его трудный и дальний путь от Констанцы, через Дунай и Днестр, к Одессе, но не нашел в рассказе ни сомнительных, ни подозрительных фактов.

Багров еще раньше ознакомился с личным делом Вихоря, видел его фотографию и тогда же припомнил этого вихрастого и беспокойного черноморца. Выяснилось, что контр-адмирал видел Вихоря на «Грозе», даже отличил его во время весенних учений эскадры в море.

— Продолжайте, — сказал Багров.

— Фашисты уничтожили могилу и гроб с телом Котовского, — сказал Вихорь, часто глотая влажный воздух.

— Какие знаете подробности?

— Памятник-склеп взорван. Останки брошены в яму вместе с большой группой растрелянного мирного населения...

— Других подробностей не знаете?

— Нет.

— Жаль. Нам нужны фамилии тех, кто глумился над прахом Котовского. А данные о разрушении могилы нам уже известны.

— Знаете? Откуда? — удивился мичман.

— По радио шифровкой передали партизаны. В том районе действует молодая, но сильная группа,— спокойно объяснил контр-адмирал.

— Я догадывался еще там, на хуторе, — сказал Вихорь.

Он удовлетворенно прищурил глаза и на миг представил себе тихий хуторок в уютной долине, беленькие хатки, потонувшие в вишеннике, чистое поле, на котором женщина копала картошку. Потом в памяти встал дед Гордей, латавший сапоги, молодая невестка, которая привела к нему Вихоря.

— Ну, что ж, — произнес Багров. — Раз вы остались таким, как тогда, в бою, раз вернулись к нам, значит, идите на фронт. Идите! Только обстановка теперь другая. Корабля вашего нет. Пойдете в морскую пехоту, — контр-адмирал остановился перед Вихорем, положил руку ему на плечо.

Моряк козырнул.

— В первый морской. Выдать оружие, переодеть и все прочее, — приказал адъютанту Багров. — Идите.

В дверях Вихорь обернулся, посмотрел на Марию и вышел. Багров подошел к девушке.

— Я не ожидал, что вы такая смелая. Сколько же вы убили немцев?

— Сорок восемь, — тихо ответила Мария.

— Спасибо, доченька. Другой и не может быть дочь старика Остапа.

— Профессор прибыл,— снова появился адъютант.

— Проси, — Багров белым платком стряхнул с рукава глину. Мария подняла голову. Возле двери, с рюкзаком за плечами, стоял ее профессор, Остап Кириллович Драга. Он похудел, сгорбился, но глаза, острые и пытливые, блестели из-за очков попрежнему молодо.

— Садитесь, профессор. Чувствуйте себя, как дома. Устали с дороги? — обратился к нему Багров.

— Какая там дорога? Я тут недалеко живу. Сегодня у меня лекция будет об адмирале Нахимове, а завтра —

о Порт-Артуре. А я вам гостинцев привез, — он снял рюкзак. — Тут у меня Лермонтов, Горький и Диккенс. Хотите? Это из собственной библиотеки, — и, посмотрев на Марию, растерянно остановился. — Погодите, погодите! Боже мой, да ведь это... вы, Мария! Вон какая стала, а в газете совсем непохожа. Читал, читал. Все мне завидуют, а я ее стрелять не учил. Я только историю читал им. Вот вам и лектор свой, чудесный лектор!

— Нет, профессор. Она сейчас фашистам другую науку преподает... Некогда ей.

Где-то на поверхности снова раскатился тяжелый гул канонады. Зазвонил телефон, трое связных одновременно протянули Багрову трубки. Он говорил коротко, отрывисто, лицо его побледнело.

— Простите, профессор, лекции сегодня не будет. Нет слушателей. Там опять начали и, кажется, всерьез. Отдохните у нас. Адъютант, проводите профессора в запасный блиндаж и устройте...

— Какой может быть сон, — ворчал Драга. — Я давно потерял всякий сон. Зачем вам беспокоиться? Я один.

— Почему один? — удивился контр-адмирал. — Возьмите вот эту папку с документами и переведите вместе со своей ученицей. Мои переводчики уже не справляются.

— Благодарю за доверие. Вдвоем мы быстро, — сказал Степан Кириллович и, взяв Марию под руку, вышел из блиндажа.

XXVIII

Они шли по глубоким ходам сообщения, которые закончили рыть сегодня утром и еще не успели обжить. Узкие траншеи протянулись далеко в тыл, к запасному блиндажу командующего, и были хорошо замаскированы в голой степи. Их прикрывала нитяная сетка с пучками сухой травы, которая сверху напоминала пожелтевшую, сожженную солнцем степь. Маскировочная сеть сливалась с осенним полем, прикрывая не только ходы сообщения, но и вынутую из окопов землю, — ее трудно было различить с самолета даже через сложные оптические приборы.

Впереди шел адъютант, потом профессор Драга с полным рюкзаком, из которого во все стороны выпирали книги, какие-то рулоны, папки в твердых обложках.

Следом за ним устало ступала Мария. У нее перед глазами расплывались желтые пятна, дробились на маленькие осколочки, и в их сиянии возникало желтое, холодное лицо брата с окровавленным и прилипшим ко лбу вихром. «А я так и не успела проститься с ним, когда он уходил из дому», — подумала Мария, слезы душили ее. Что она скажет матери сегодня ночью, когда привезет мертвого братишку в старый, заросший деревьями двор Богучаров? Какими словами утешить мать? Разве есть слова, способные облегчить материнское горе?..

— Мария Остаповна, — окликнул ее профессор, впервые назвав по отчеству. — Объясните мне, наконец, хоть вы, что произошло за последнее время на фронте. Только прошу вас, объясните просто, без стратегических и тактических концепций. Представьте себе, что я на фронте никогда не был, совсем не знаю законов войны, не ведаю, что и как происходит...

— Законы войны, — тихо проговорила Мария. — Какие же законы? Вот мичман эскадренного миноносца «Гроза» не захотел перейти линию фронта там, где легче, а пробился в самый ад, к нам, в Одессу... Летчик Гастелло не захотел спастись на парашюте, а бросился на горящем самолете в гущу вражеских танков. Мой отец обшивает на заводе тракторы корабельной броней, и они идут в атаку, как танки... Старый колхозник матрос Охрим Бандура поджег целое поле дорогой ему пшеницы, чтобы в ней сгорели фашисты... А вообще историческая и военная, как вы говорите, концепция здесь очень простая. Каждый советский человек отдает в эти дни самое дорогое — жизнь. Отдает, не дрогнув от страха, только чтобы враг был разгромлен, чтобы победа была за нами. Вот это и есть святой и основной наш закон, Степан Кириллович.

Мария замолчала и прислушалась: там, в степи, снова клокотал тяжелый бой, ревели орудия всех калибров, захлебывались станковые пулеметы, противно завывали мины и сухо трещали автоматные очереди.

— Я слушаю вас, Мария Остаповна. А что происходит сейчас на этом участке? — профессор показал рукой в сторону передовой.

— Они вклинились в нашу оборону тремя своими дивизиями, — глухо сказала Мария, — и рвутся к морю, чтобы разрезать наш фронт на две половины. А нам надо

удержать врага на этом невыгодном для него плацдарме в голой степи до тех пор, пока вокруг Одессы не будут закончены новые оборонительные рубежи и заграждения.

— Значит, это и есть тот самый район, о котором писал в статье генерал Ковалев?

— Да, — коротко ответила Мария.

Профессор наклонил голову и двинулся дальше. Ходы сообщения, которыми они шли, спускались к лиману и становились все глубже. Под землей было уютно и спокойно, в лицо веял холодный ветерок с лимана. Где-то в сторонке нежно зазвучала гитара. Тонкий детский голос тихо запел, отчетливо произнося слова незнакомой песни. Иногда ему подтягивал мягкий тенор, и песня едва слышно плыла среди лунной ночи.

Драга прижался к стене, сделал Марии знак тоже остановиться. Песня лилась из боковой землянки, примостившейся у самого хода сообщения. Профессор выхватил блокнот и при свете месяца начал записывать песню. Он писал слова, как прозу, не разбивая на строки. Так было удобнее и легче. По временам тенор стихал, и тогда нежно звучал один тоненький мальчишеский голос.

Мария хотела войти в землянку, но Драга остановил прошептав:

— Не спугните! Они так задушевно поют...

Наклонясь к плечу профессора, Мария следила за словами, которые он выводил в блокноте.

«...Я пять лет служил на флоте, суши не видал, редко по своей охоте о земле скучал. Но сейчас такое дело — под Одессой враг. И идет на битву смело молодой моряк. Если уж сойдет на сушу паренек такой, из врага он вынет душу, черт их упокой. Так сказали, провожая, мне мои друзья. И махнул им, уезжая, бескозыркой я. Мы в бушлатах с Черноморья шли, как черный вал. «Черной хмарой» после боя нас румын прозвал. Но велят для маскировки нам бушлаты снять, к новой форме без сноровки трудно привыкать. Гимнастерки, скатки, фляжки, но, неся грозу, черноморские тельняшки подо всем внизу. Как рванешь в атаке ворот, тельник бьет в глаза, словно защищает город моря полоса. Мы идем на бой кровавый, подставляя грудь, черноморской нашей славой озаряя путь. Восемь раз я всем отрядом в бой водил ребят, на девятый — где-то рядом угодил снаряд. Я вперед рванулся телом, но в глазах темно. На тель-

няшке синей с белым красное пятно... Пусть пройдет в последнем взоре все, что знал моряк. Белый свет, да окна-море, да багровый стяг... Я лежу в бинтах у хаты, рана жжет меня. Но вперед идут ребята, не боясь огня. И врагам моим на горе белый свет стоит, и вверху над синим морем красный флаг шумит...»

Профессор записывал, покачивая головой в такт песне.

— Это свои... Майборода наш, — зашептала Мария и широко распахнула дверь.

Звон гитары и песня сразу же оборвались.

— Яшенька! С кем это ты? — тихо спросила Мария.

На пороге вырос плечистый моряк, снайпер Яков Майборода, стыдливо пряча за спину гитару с большим белым бантом. Его продолговатое лицо казалось бледным при свете месяца, влажные глаза смотрели грустно. В землянке за его спиной что-то зашуршало и послышался глубокий вздох.

— Скажите, пожалуйста, а кто сложил эту песню? — спросил профессор.

— Матросы, — ответил Майборода и, повернувшись к Марии, объяснил, указывая на землянку. — Там наш юнга, я разучивал с ним эту песню.

— Какой юнга? — удивилась Мария.

— Коля. Тот, что с вашим Славиком в окопах остался... Теперь он сирота. Отца и мать бомбой в Одессе... Дом сгорел. Будем просить командира, чтобы разрешил ему при нашем полку жить. А куда ему теперь?..

— Тише, Яшенька, не говори ничего. Ты лучше уложи его спать и сам отдыхай... Завтра на рассвете опять пойдем на передний край. Я зайду за тобой, — замахала на него рукой Мария и, схватив профессора за локоть, быстро потащила к запасному блиндажу контр-адмирала.

— Вы идите, Мария Остаповна, если вам некогда,— сказал Драга, когда они вошли в блиндаж.

— Нет, я побуду с вами, — ответила Мария.

В просторном блиндаже было пусто и тихо. Гром войны сюда не долетал. У телефонных аппаратов дремал дежурный матрос, у дверей прохаживался автоматчик, уже предупрежденный об их прибытии; он пропустил профессора и Марию в блиндаж.

Драга присел к столу, начал перелистывать письма убитых и пленных, их записные книжки, тоненькие листочки папиросной бумаги с отпечатанным на машинке текстом — показаниями пленных.

XXIX

Устим Богучар полз по открытому полю. Оно было неровное, изрытое минами и снарядами. Полковник ясно видел завядшие стебли и выкопанные клубни. «Чистая работа. Молодец, Гаркуша», — подумал Устим и оглянулся на Каюмова:

— Посмотри, Каюм. Всю картошку Гаркуша выкопал.

— Всю ночь копали. Еще бой шел, а они копали. Выйдет из него интендант, — рассмеялся Каюмов.

— Много накопали?

— Полный грузовик. Гаркуша говорит, что ему за это медаль дадут. А я не верю, чтоб за картошку да медаль...

— Пожарим вечером с салом, Каюм...

— Якши... Румяная, хрустит на зубах...

Разорвалась мина, и они бросились вперед, залегли.

— Каюм,— опять сказал полковник.— Ты после войны переезжай жить в Одессу. Кефаль будешь ловить, скумбрию. Переедешь?

— Я с вами буду. Где вы, там и я.

Тяжелый дым стлался над горизонтом, гром разрывов перекатывался к морю. Железная подкова фронта с каждым днем сужалась, силы защитников таяли на глазах, но Приморская армия и моряки стояли насмерть. Фронт теперь был далеко, по ту сторону Днепра. Враг вышел к Азовскому морю, стоял у преддверья Крыма, рвался к Москве, начал осаду Ленинграда. Второй месяц жила и боролась осажденная Одесса. В последние дни сентября здесь не стихали бои.

Именно сегодня, ожидая нового, более сильного наступления, Устим Богучар спешил на наблюдательный пункт первого дивизиона. Хотелось проверить все самому лично. Полковник понимал, что судьбу боя придется решать его орудиям, если наша пехота отойдет под натиском вражеских танков. Танков же у нас было мало. Это хорошо знал Устим Богучар.

Он, пригибаясь, перебегал метровое пространство, с трудом полз под обстрелом, чувствуя рядом дыхание Каюмова. Каюмов не отставал. Мины рвались по всей площади, и артиллеристы снова залегли в воронку от снаряда.

— Товарищ полковник, — тяжело дыша, сказал Каюмов: — Я в партию хочу подавать. Дадите мне рекомендацию? Майор Андреев дал.

— Хорошо, Каюм. Прибудем на НП, напишу. Это очень хорошо, — и они выскакивают из воронки, перебегают, пригибаясь, и вдруг падают от оглушительного взрыва. Каюмов машет руками, отряхивается, но подняться не может. Он загребает пальцами землю, кричит:

— Товарищ полковник! Устим Остапович! Уже близко... — он трогает за плечо Богучара, но тот лежит вверх лицом, бледный и неподвижный. Каюмов приподнимает его голову.

— Каюм... Это снаряд, — едва слышно стонет Богучар. На руку Каюмову течет кровь. Он приподнимается на колени, кричит на всю степь:

— Артиллеристы! Полковника нашего! Полковника!..

Наступление врага только начинается. Телефонисты уже передают координаты батареям, и по всем дивизионам летит:

— Полковник убит! Огонь! Полковник убит! Огонь!

На высоком морском берегу, за садом Богучаров, офицеры снимают с плеч гроб, опускают его на землю. Опустелый, искалеченный бомбами сад. Затоптанные клумбы, вырванные с корнем деревья. Пожелтевшие листья кленов кружатся над головами, медленно падают на землю. Серебристые нити бабьего лета, окутавшие кипарисы, так белы и прозрачны, что кажется, будто морской горизонт дрожит, мерцает между деревьями.

В почетном карауле стоят Павел Грызлов и Самойло Вихорь. Грызлов уже воюет на фронте, сегодня он в первый раз прибыл к своим прожектористам. Он искоса поглядывает на них: они все такие же — ловкие, молчаливые. Одни сосредоточенно копают могилу, другие орудуют на холме, около прожекторного хозяйства. Их хорошо видно на фоне ослепительного моря.

Мичман Вихорь в одежде пехотинца, и только выцветшая на солнце бескозырка выдает моряка. Он стоит ровно, впившись взглядом в даль города, где зияют черные провалы разбомбленных домов, высятся обгоревшие стены. Он смотрит на безлюдную улицу, по которой катятся санитарные машины и грузовики, везущие с фронта раненых. Потом улица оживает. К дому Богучаров стекаются женщины с детьми на руках, школьники; они покрывают гроб букетами огненных георгин и желтоглазых астр. Дети поднимаются на цыпочки, заглядывают в гроб; им непонятно, почему у полковника лоб перевязан бинтом. Не пришли проститься с полковником только мужчины. Их нет в Одессе. Все рабочие батальоны, народное ополчение давно в окопах.

Семь прожектористов с карабинами становятся под кипарисы.

В ворота, опираясь на палку, входит мать Вихоря. Она еще не видит сына. Моряк крепче приминает сапогами траву. Мать проходит вперед, смотрит на Самойла перепуганными глазами и, покачнувшись, чуть не падает, но ее подхватывает генерал Ковалев. Полковой врач Гончаров дает ей какие-то капли, и она поднимает голову. Мать уводят. Самойлу до боли в груди хочется громко крикнуть: «Мама, мамочка!» — но он стоит неподвижно, молча, словно прирос к земле.

Гроб утопает в цветах. Каюмов кладет на него пробитую каску полковника. А люди все идут и идут. Вихорю кажется, что скоро сюда соберется вся Одесса. У ворот останавливается машина, и к гробу, спотыкаясь, бежит Марта Богучар. Она заломила руки, закричала на весь двор:

— Устимочко! Почему же ты нас не позвал?

Какая-то женщина, прижимая к груди ребенка, шепчет:

— Двух сыновей сразу, и старшего и самого младшего. Словно нарочно...

— Меньшой еще совсем ребенок был, — слышно в толпе.

Остап Богучар подходит к гробу, слегка опираясь на руку Марии. Из бокового кармана у него торчит кронциркуль и складной метр. В руках он сжимает клок пакли. Весть о смерти сына застала его на заводе, и Остап побежал с женой к фронту. Марии пришлось до-

гонять родителей. Старый, почерневший от горя Остап задумчиво смотрит на сына. «Когда ж ты поседел, Устим?» — думает он и целует холодные руки сына. Потом поднимает с земли жену, шепчет:

— Не плачь, Марта. Слезами горю не поможешь, — а сам шершавой ладонью вытирает глаза.

Вихорь замечает, как дрожит у Марии верхняя губа, покрытая золотистым пушком. У дома останавливается запылившийся мотоцикл, и к генералу Ковалеву подбегает его адъютант, протягивает синий конверт. Генерал раскрывает и, отвернувшись, читает.

Перед глазами его с быстротой молнии мелькает запыленный, весь в огне и дыму Одесский фронт.

Вдруг генерал вытянулся, поднял голову и в хрустальных льдинках его пенсне заиграло солнце. Генералу даже показалось, что разгоревшийся на фронте бой начал затухать, разрывы снарядов вражеской артиллерии стали откатываться на запад и над Дофиновкой воцарилась успокоительная тишина.

Ковалев еще раз поднес к глазам синий конверт, который только что вручил ему мотоциклист, и вздох облегчения вырвался у него из груди.

За лиманом ясно слышны орудийные выстрелы, потом в небе раздается пронзительный свист, и снаряд разрывается где-то за углом, на соседней улице. Снаряды рвутся все чаще, заволакивают пылью порт. Женщины у гроба стоят, задумавшись, прижавшись друг к другу, словно чего-то ждут. Вокруг Одессы встают высокие тучи дыма и огня.

«Снова атакуют. Кажется, по всему фронту», — думает Вихорь, переставляя затекшую ногу.

К гробу подходит генерал Ковалев. Он произносит короткую речь, прожектористы салютуют из карабинов. Но гроб в могилу не опускают. Ковалев идет к толпе, голос его крепнет, наливается силой:

— Товарищи! Мы отомстим за него, отомстим за нашего замечательного командира. Только что получена радиограмма из Москвы. Ставка просит нас продержаться еще шесть-семь дней. К нам идет помощь. Скажите об этом всем, кто живет и борется в Одессе.

По толпе прокатился гул облегчения. Громкий и глубокий, как отголосок далекой бури, которая уже нарастала в море и катила к берегу свою первую волну.

XXX

Вечером, после похорон, Самойло Вихорь был хмур, молчалив. Две свежие могилы в саду Богучаров — младшего сына и старшего — окончательно вывели его из равновесия, породили в сердце томительную боль.

Перед ним стояла сгорбленная, постаревшая, седая мать. Она все время молчала, тихо вытирая слезы. Трудно было догадаться, о чем она плачет. Может, похороны в семье соседей навеяли на нее тоску, а может, от неожиданной радости, что наконец вернулся сын, которого, верно, уже не чаяла повидать. Самойло коротко рассказал обо всем, что с ним случилось после гибели «Грозы», — и мать еще громче заплакала, должно быть, представив себе все страдания, которые перенес ее Самойло.

— Ну, будет вам, мама...— успокаивал он ее, стоя у покосившегося домика в пустом дворе.

За три года, что он служил на флоте, старый отцовский дом заметно обветшал, дверь на крыльце покосилась, окна как будто стали меньше, а потолок опустился так низко, что Вихорь касался его головой. Во дворе чернел глубокий окопчик, должно быть, вырытый матерью, чтобы прятаться от бомб и снарядов. Бедная, старая мать. Когда окончится война, он больше не оставит ее одну, всюду будет брать с собой, куда бы ни бросила его судьба — на военную ли службу или на гражданскую работу. Надо будет, как только стихнут тяжелые бои и на фронте станет спокойнее, приехать на целый день в Одессу. Пойти в жилуправление и сделать все, чтобы матери отремонтировали дом, починили крышу; ведь уже началась осень, идут дожди, и на потолке появились пятна сырости. Сама ведь не пойдет, и даже никому не заикнется об этом. Пока он здесь, надо сделать все, что возможно, чтоб мать жила в тепле и не нуждалась. Денежный аттестат он для нее оформил, скоро она получит первые деньги.

Но мать плакала.

Он хотел, чтоб она рассказала ему о своей жизни, просил прощения, что долго не писал из Севастополя в те дни, когда еще не было войны, что не приезжал часто в гости. Мать гладила худыми, почерневшими от работы ладонями его смуглое лицо и все смотрела ему

в глаза. Словно боялась, что он сейчас уйдет на фронт и больше не вернется. За воротами уже гудел автомобиль — шофер звал Вихоря. Мать, вздрагивая от этого гудка, только крепче прижималась к груди сына.

— Мама, — глухо говорил Самойло, — ну, успокойтесь, я же вернусь к вам... Матросы снова приняли меня к себе, как родного... Это в море я был бессилен, один, а кругом враги... Теперь меня фашисты не возьмут живым. Меня орденом наградили за морской бой в Констанце. Успокойтесь, мама...

Мать краем платка вытерла покрасневшие глаза:

— Сыночек мой, я приду к тебе...

— Хорошо, мама. Только не плачьте... Там же матросы меня ждут. Увидят ваши слезы, а я не хочу этого.

Он поцеловал мать в сморщенную щеку и выбежал на улицу. Мать бросилась за ним, и уже у самой машины стряхнула у него соринку с плеча, застегнула пуговицу на гимнастерке.

Матросы на прощанье замахали ей руками, и грузовик быстро покатил с горы. Вихорь еще некоторое время видел на пустынной дороге одинокую фигуру матери. Прижав ладонь ко лбу, она смотрела ему вслед и, верно, сквозь слезы ничего не видела.

Скоро машина свернула на центральную дорогу, соединяющую Одессу с передовой, фигура матери скрылась за поворотом, а старый дом и сад потонули за высокими каменными кварталами. Вихорь смотрел на разрушенные бомбами жилые дома, исковерканные в огне тавровые балки, срубленные снарядами и обгоревшие деревья, и на сердце у него стало еще тяжелее. Он старался узнать среди развалин знакомые дома и сады, но они были искалечены до неузнаваемости.

Когда выехали на Лузановку, Павел Грызлов сказал:

— Ты о матери не волнуйся. Мы ей помогали все время, пока тебя не было. А сейчас я дал команду своим прожектористам к осени подремонтировать ей дом. Крышу, потолок, окопчик во дворе. Чтоб все как следует... На днях приступят к работе.

— Зачем ты говорил им об этом? Я хотел сам все устроить, — возразил Вихорь.

— Пока ты соберешься...— махнул рукой Грызлов. — Чего обижаться. Мать не будет знать, откуда это, поду-

мает, что от тебя. Мои прожектористы тоже все с «Грозы», дело знают...

Вихорь ласково посмотрел Грызлову в глаза.

— Спасибо тебе.

— Брось, Самойло... Это наша обязанность, — ответил Грызлов, и они замолчали.

Машина прибыла в полк, когда уже стемнело и горячий бой затих, чтобы на рассвете вспыхнуть с новой силой.

В низинке за лесной полосой, где разместились ближние тылы морской пехоты, сидела группа румын, добровольно сдавшихся в плен. Они не выдержали огня нашей артиллерии и пулеметов. Офицер погнал их в атаку, румыны, пригибаясь, побежали, но вскоре подняли руки и упали на землю. Охрим Бандура прекратил стрельбу из пулемета и принял пленных в запасной окоп. Это произошло вечером, когда зашло солнце, и теперь старый матрос привел пленных в низину, усадил на землю, а сам стоял перед ними во весь рост, размахивая руками, верно, стараясь завязать беседу. В это время к ним подошли Вихорь и Грызлов, направлявшиеся в свой батальон.

— Ну как дела, папаша? — спросил Грызлов.

— Жарко было сегодня, — Бандура вытер ладонью вспотевший лоб. — Чуть не сыграл в ящик. Эти не сбрехали, честно сдались в плен, а те, что днем на меня шли, те думали схитрить. Начали они, значит, вторую атаку, а у нас уже и после первой редковато в окопах стало.

— А командир роты жив? — спросил Вихорь.

— Жив. Когда началась атака, я через подносчика патронов успел доложить командиру, что они наседают на нас с разных сторон. А командир так сказал: «Ну и что, если наседают с разных сторон? А ты не думай, с какого бока противник. Бей их, гадов, так, чтобы они забыли, где правый, а где левый бок...» Вот и вся инструкция, полученная мною от командира роты.

— Красота! — воскликнул Грызлов.

— Э-э, нет. Красота была потом,— продолжал Охрим свой рассказ. — Значит, поднялись они в атаку и прямо на меня. Я открыл огонь и вижу — румыны попадали, пулеметы их замолчали. Тогда я подтянул свой станкач дальше, вперед, замаскировался и опять поливаю. Вдруг

вижу, с другой стороны идут еще человек семьдесят, и танкетка у них на фланге. Идут во весь рост и кричат: «Рус, не стреляй. Сдаемся». Я прекратил огонь, жду. А они, гады, подошли совсем близко и давай палить в меня из автоматов. Между нами осталось так метров семьдесят. Вижу — пропадать либо мне, либо им. И — как дал из пулемета. Вывел их танкетку из строя... Гляжу — подтянулись ко мне еще два других пулемета. Уложили мы человек тридцать, остальные разбежались. Потом новая атака, и пулеметчики убиты. Вот тут-то жарко мне пришлось. А к вечеру вот эти сдались, не выдержали. Командир роты мне благодарность вынес, отдых дал на ночь и их вот приказал сюда привести.

— А они по вас не стреляли? — спросил Грызлов.

— Нет, эти добровольцы. Сами сдались. Вот только поговорить с ними не умею, а хочется, — жаловался Бандура.

— Говорите, я буду переводить, — предложил Вихорь.

Охрим смерил незнакомого моряка недоверчивым взглядом и, вопросительно посмотрев на Грызлова, сказал:

— А ну-ка, спроси... что за газетку они мне всю дорогу тыкали?

Вихорь заговорил с румынами.

Из толпы пленных выскочил капрал и, протянув Вихорю смятую румынскую газету, что-то быстро затрещал. Пленные в знак согласия закивали головами. Вихорь взял газету, спросил о чем-то капрала и перевел Бандуре:

— Это румынская газета «Универсул», выходит в Бухаресте. Капрал заявляет, что они не верят своим газетам, потому что газеты врут прямо в глаза. Капрал ссылается на эту корреспонденцию.

Самойло пробежал глазами статью и продолжал переводить:

— Газета «Универсул» в номере сто девяносто четыре пишет, что в занятых румынами местностях советское население встречает румынские войска с восторгом, устраивает митинги и прочее. А пленные заявляют, что это наглая ложь. Вражеское командование отдало приказ, как можно дальше обходить населенные пункты, потому что там красные партизаны, потому что оккупантов

ненавидят все — и старики, и женщины, и дети. Капрал объясняет, что они действительно стараются обойти стороной каждое село, каждый хутор. Они говорят: мы знали, что от русских нам пощады не будет. Многие солдаты уже испытали на своей спине силу партизан. Мы давно не верим своим газетам.

— Так прямо и говорят? — удивился Охрим.

— Так и говорят.

— Ну, тогда я дам им поужинать. — Охрим вынул из вещевого мешка непочатую буханку хлеба, три круга колбасы и подал румынам. Они сразу набросились на еду, начали низко кланяться матросам, что-то выкрикивать. Охрим понял, что они благодарят, и уже не просил Вихоря переводить. Он передал пленных прибывшим конвоирам, и они повели их дальше, в тыл.

— Ну, браточки, пошли, — весело окликнул Охрим Грызлова и Вихоря, — слышите, как борщом потянуло.

Они шли к лесу, из которого доносился приглушенный солдатский разговор, вкусно пахло свежим борщом и жареным луком. Прибыла полевая кухня. Обед раздавали в лесу. Бренчали ложки и котелки, храпели кони, позвякивая уздечками. «Тыловики» обедали возле кухни, фронтовикам дежурные разносили еду по окопам.

Над степью веяло осенней прохладой, из-за облаков тускло поблескивал месяц, в мутном небе зажигались звезды.

С севера надвигалась серая пелена, заволакивая весь горизонт до самого моря. По ту сторону фронта начали вспыхивать осветительные ракеты, ясно обозначая вражескую линию обороны. В лунные ночи румыны и немцы сидели тихо, изредка постреливали из пулеметов и автоматов, но когда надвигались тучи и на степь ложилась тяжелая тьма, они безостановочно пускали ракеты, нервничали, ожидая дерзких вылазок матросов.

— Боятся темноты, — сказал Охрим, — а нашему брату черная ночь, как мать родная. Там, где среди бела дня мышь не пробежит, матрос ночью всегда проползет. Вот они и боятся... Недаром наши ребята уже песенку сочинили: темная ночка, Черное море, для фашиста люто горе...

— Правильная песня. Запали мне в душу эти ночи в степях, — тихо проговорил Вихорь, но Грызлов дернул его за рукав, и он замолчал. Зачем растравлять старое? Вихорю и так тяжело от всего пережитого, а он опять начинает вспоминать. Чтобы переменить разговор, Грызлов спросил Охрима:

— Скажите, папаша, а про новое оружие больше не слышно?

— Нет, — недовольно ответил Охрим.— Только командир роты еще раз намекал, что оно прибыло к нам и скоро вступит в дело. Поговаривают, что на грузовиках и закрыто со всех сторон брезентом. Кто-то даже рассказывает, что оно без стволов и снаряды с него летят прямо по рельсам. Верно, выдумка. Как может снаряд без ствола лететь? Разорвется на машине и разнесет все.

— Почему разнесет? В основе там, говорят, реактивный принцип, — объяснил Грызлов.

— Кто его знает, — неуверенно заметил Бандура. — Только, верно, недаром по всем окопам опять политруки предупреждали, чтобы мы не испугались, когда оно стрелять начнет... Видно, дело серьезное, однако я не согласен, чтобы без стволов...

В главном ходе сообщения, который вел в окопы, их остановил патруль и приказал всем троим идти к командиру роты. Не заходя к себе в окопы, они повернули к знакомому блиндажу.

Командир роты лейтенант Грибачев принял их сразу, пригласил сесть на дубовую лавку, тянувшуюся вдоль земляной стены. В блиндаже ярко горела электрическая лампочка от аккумулятора, хорошо освещая дощатый стол, широкие нары, чистый, посыпанный белым морским песком пол. На стене в алюминиевой рамке висела фотография крейсера «Червона Украина», на котором начинал свою службу лейтенант Грибачев. Он всегда возил эту фотографию с собой, и она напоминала матросам о море, боевых кораблях и суровой флотской жизни. Знакомые очертания крейсера вызвали множество воспоминаний и у Охрима Бандуры; когда-то и он служил матросом на этом корабле.

— Командование поручает вам ответственное и сложное задание, — начал Грибачев.

— Мы готовы, — в один голос ответили моряки.

— Сегодня вражеские минометы вывели из строя прислугу двух наших станковых пулеметов. Завтра снова начнется наступление и минометная батарея врага не даст нам поднять головы, может сорвать нашу контратаку. Пленные показали, что батарея стоит в этом квадрате.

Грибачев развернул карту и показал на ней кружок, обведенный красным карандашом.

— В палатках, в кукурузе, живет прислуга батареи. Этой ночью надо уничтожить всю батарею и прислугу. Вы пойдете на это дело втроем. Старшим будет мичман Вихорь. Он знает румынский язык, ходил уже по вражеским тылам, ему, как говорится, все карты в руки. Ваш переход прикроем огнем. Вопросы будут?

Вихорь встал, бросил взгляд на Бандуру и Грызлова, твердо ответил:

— Нет. Все ясно. Батарея будет уничтожена, товарищ командир.

— Счастливого пути. — Пожимая каждому руку, Грибачев прибавил: — Только прошу, берегитесь... А вам, товарищ Бандура, придется отдохнуть в другой раз. Не позже, чем на рассвете, перед их атакой, вы должны быть в батальоне.

— Есть, быть в батальоне на рассвете.

— Добро́! — сказал лейтенант, и от этого слова на матросов повеяло морем.

Под прикрытием минометного огня, который огненным валом катился в глубину вражеской обороны, три матроса выскочили из своих окопов и поползли. Впереди Вихорь, за ним Бандура. Замыкал их продвижение Грызлов.

Румыны встревожились, тоже открыли огонь, начали пускать осветительные ракеты. Над степью занялось высокое зарево. Враг глубже зарылся в землю, и этим воспользовались разведчики.

Они осторожно проползли мимо вражеских окопов и попали в густую кукурузу. Стрельба стихала, ракеты вспыхивали уже за спиной у матросов и хорошо освещали им путь.

Вскоре стало совсем тихо, на сонную степь спустилась густая, непроглядная темень. Вихорь шел сквозь нее, настороженно слушая ее дыхание, разгадывая все опасные для себя звуки, шелесты, неясный, чужой разговор.

Впереди замаячили черные заросли, и Вихорь приказал Бандуре и Грызлову залечь в степи, а сам пополз вперед. Земля была теплая, покрытая росой и дышала ему в лицо родным, сладким запахом.

Среди зарослей вспыхнул огонек. Он то разгорался, то становился совсем маленьким. Вихорь догадался: папироса. Огонек двигался в зарослях, словно плавал в черной воде. Верно, часовой. Вихорь дождался, пока огонек удалился, и, прижимаясь грудью к земле, подполз ближе. Теперь он увидел на фоне черного неба три толстых минометных ствола, торчащих из ям. Жерла их были нацелены на Одессу. Рядом белела брезентовая палатка, в которой, как и говорил командир роты, верно, размещалась прислуга.

Сердце Вихоря учащенно забилось, он ясно услышал его стук. Сложив ладони, Самойло дважды тихо свистнул, подражая ночной птице. Бандура и Грызлов услышали его и подползли. Вихорь ощутил у себя на затылке их горячее дыхание. Он вынул гранату и указал ею Охриму на левый миномет, Грызлову на средний, себя ткнул в грудь, указав на правый. Потом поднял вверх три пальца и показал в сторону брезентовой палатки.

Приподнявшись на колени, они одновременно швырнули гранаты. Бандура в левый миномет, Грызлов в средний, Вихорь в правый. Затем все трое, метнув гранаты в палатку, прижались к земле.

По степи разнесся оглушительный взрыв. Когда дым рассеялся, Вихорь уже не увидел на фоне черного неба трех грозных стволов. С того места, где стояла палатка, послышался отчаянный вопль, тяжелый стон. Вихорь опять взмахнул рукой, и они еще раз швырнули по гранате в сторону палатки. Вопли и стоны затихли.

XXXI

Это были длинные и трудные дни, исполненные тревоги и томительного ожидания. Фронт истекал кровью. Единственной надеждой была телеграмма Ставки. Она даже раненых поднимала с постели и бросала в бой. Услышав о ней, они убегали из госпиталей на фронт, не дожидаясь, пока заживут раны. Теперь слова телеграммы были у всех на устах, люди усталыми глазами всматри-

вались в море. Но море было пустынно, долгожданные дымки не появлялись на горизонте, — фронт стоял уже на окраинах города. В штабе готовились к уличным боям; на каменных баррикадах дежурили рабочие дружины.

И вот, наконец, помощь прибыла. Это произошло ночью, в последних числах сентября. Погасив все огни, корабли незаметно подошли к восточному участку фронта; моряки, высадившиеся на лодках и баркасах, ударили румынам в тыл, около села Григорьевки. Высадка десанта была настолько неожиданна, что противник не выдержал. Его береговые заслоны были смяты в первый же час боя. Петр Шагайда слышал, как, прижатые к лиману, румыны истерически кричали, ругали Антонеску, просили лодок. И еще он видел в выгоревшей степи много ботинок и сапог. Румыны сбрасывали обувь и бежали босиком.

Мария в это утро не убила ни одного врага. Она только что взобралась на чердак разбитой железнодорожной будки, которая уцелела между нашими и румынскими окопами, едва успела заложить в магазин первую обойму, как Майборода потянул ее за ногу.

— Мария! — закричал он. — Слышишь?

Над Григорьевкой, во вражеском тылу, поднимались огненные столбы. Потом над головами загремели тяжелые снаряды нашей артиллерии, и пехотинцы, выскочив из окопов, побежали в атаку. Мимо будки пробегали моряки, среди них Мария узнала растрепанного Вихоря. Он бежал засучив рукава, за плечами у него, словно змеи, развевались две ленточки. Он бежал, пригибался, бросал гранаты, стрелял из автомата, потом спрыгнул во вражеский окоп и словно провалился сквозь землю. Только финка ослепительно блеснула на солнце. Вихоря догонял и не мог догнать Павел Грызлов.

— Мария, я не могу. У меня разрыв сердца будет на этой палубе... — и Майборода так стукнул сапогом по крыше, что девушка чуть не свалилась.

— Бешеный. Куда ты?! — она хотела его остановить, но он уже спрыгнул с крыши, и протягивал ей руки.

— Приземляйся! — весело кричал он.

Во вражеских окопах стоял надсадный крик. Румыны дрогнули, побежали, но их пулеметы еще били по насту-

пающим морякам. Мария увидела первых убитых матросов. Матросы лежали головами на запад, большие и неподвижные, словно черные снопы, разбросанные бурей по полю. И не знала Мария — побежал ли Вихорь дальше или упал там, за окопами.

Мимо будки, фыркая дымом и пылью, протарахтели странные машины, похожие на танки; на идущей впереди Мария увидела отца. Он сидел за рулем, в расстегнутой куртке, без шапки, а рядом с ним за двумя пулеметами лежали моряки. Машины брызгали огнем, окутывались дымом, грохотали и дребезжали.

— Пригибайся! — закричала отцу Мария, но Богучар не услышал ее голоса. Машины переползли через окопы и покатились вслед за моряками. Мария заметила на их серых боках две большие буквы НИ.

— Скорее, а то один побегу,— торопил ее Майборода. — Скорей, приземляйся!

Бинокль бил по груди. Мария бежала за Майбородой, спотыкаясь в высокой некошенной траве, буйно разросшейся на этом кусочке ничейной земли. Она узнала куст шиповника, и у нее ёкнуло сердце. Она шла теперь, не пригибаясь, по тому полю, где еще вчера не могла ползти. С тех пор, как тут погиб ее брат Славка, это место простреливалось днем и ночью. Шиповник уже отцвел, вместо розового цветка алела тугая ягодка. В траве лежал знакомый снайперский плащ, и Мария остановилась перед ним. Под плащом вытянулся весь почерневший и высохший Андрей Голубов. Далеко отброшенная рука сжимала поржавевшую финку. Рядом лежали трупы румын.

— Андрей, — сбросила пилотку Мария. — Дорогой наш...

— Похороним, когда кончится бой, — хмуро сказал Майборода.

— Над морем, в Одессе,— отозвалась Мария.

Гром боя нарастал широким фронтом, катился по степи дальше, на запад. Но враги уже опомнились, и огненный вал их артиллерии задержал наше наступление. Моряки залегли. Мария схватила Майбороду за рукав и потянула в сторону, к растоптанной скирде, где когда-то сидели немецкие снайперы.

— Лезь, — сказала Мария. — Видишь, они пошли в контратаку. Тут будет наша позиция.

Первый выстрел сухо протрещал из скирды. В бинокль Мария увидела, как у идущего впереди румына подкосились ноги, и он грохнулся на спину.

— Молодец. Почин хорош, — сказала Мария, удобнее устраиваясь в соломе. Рота за ротой поднимались в контратаку враги и снова падали на землю. Один за другим было убито несколько офицеров, руководивших боем, и это вызывало среди солдат замешательство. Мария заметила, что противник не бросает в бой свои резервы, а выводит их поротно из глубокой балки, чтобы оттянуть время, пока подойдет пополнение. Неужели командующий не видит этого? Неужели он приказал пехоте лежать, отбивая контратаки?

Вдруг произошло что-то странное. Мария оторвалась от оптического прицела, поднялась на колени и схватила Майбороду за плечи.

— Яшенька! Родной! — воскликнула она, показывая в сторону балки: там, окутанные дымом, по полю бежали десантники. Мария узнала моряков. Они были в черном, бежали, не пригибаясь к земле. Из-за лимана била наша артиллерия, Мария ясно видела разрывы. Снаряды рвались впереди моряков, все дальше продвигаясь к глубокой балке, где сидели румыны. Румыны не выдержали, дрогнули, побежали. Наша пехота рванулась следом. Мария не могла различить даже через прицел своей винтовки, были ли среди них Вихорь и старшина Грызлов. Пули отсюда уже не достигали отступающих врагов, и Мария, прекратив огонь, спрыгнула со скирды.

— Бежим вперед, Яшенька! Быстрее! — шептала она, спотыкаясь о зелень баштанов.

XXXII

Лейтенант Грибачев, по приказу командования, после боя отвел свою роту на отдых. Рота расположилась в «тылу» на окраине Одессы. Тотчас кто-то из одесситов, служивших в роте, дал знать об этом в город, и скоро на окраину к пехотинцам прибежали родные и знакомые. Послышался оживленный говор, посыпались острые шутки, где-то зазвенела песня.

Вихорь сидел на подбитом танке, медленно и торжественно доедая большой румяный пирог Возле него стояла тихая поседевшая мать. Она большими глазами

смотрела на сына, прогоняя мух, вившихся над кошолкой, в которой остывал обед.

— А может, поешь борща? Хоть попробуй. Я ведь тебя с самого утра ищу. Всех спрашиваю — никто ничего не знает. Всем некогда, все бегут, показывают мне рукой на этот вот лиман.

— Борща не хочу. Жарко сейчас. А пирога еще бы съел.

Мать бросилась к кошолке, подала пирог. Вихорь разломил его и бóльшую часть подал белокурому мальчику.

— На, Коля, ешь! Хороши пироги с яблоками. Мы с ним, мама, не раз о таких пирогах мечтали, когда по ту сторону фронта бродили.

— Бедный сиротинка, — вздохнула мать.

— Почему он бедный... У него теперь вон какая семья! Все моряки, вся пехота морская. Моряком будет.

— Как я зол на фашистов,— тряхнул головой Коля.— Что я им сделал? Учился в школе на пятерки, был в комсомоле, только б жить да жить. А они влезли. Пока я бродил там, за окопами, со Славиком, пока тебя встретил... они бомбой в Одессе отца и мать... Что мне теперь делать? Молчать, сложив руки? Черта с два!..

— Ешь, дитятко, не тревожь себя, — мать Вихоря пододвинула к ним кошолку с едой.

— Уже растревожили. Теперь нас не остановишь, — сказал Вихорь.

По другую сторону танка стояла Мария, в траве сидел старый Остап Богучар. Марта собирала в кошолку пустую посуду. Вытирая ладонью усы, Остап заговорил:

— Иди уже, старая, домой. Иди на хозяйство...

— А ты на заводе ночевать будешь или, может, с моряками останешься? — спросила Марта.

— Командующего подожду. Пусть скажет, как мои машины.

— Иди, папа. Командующий сам тебя разыщет, если надо, — вмешалась Мария. Вихорь услышал в ее голосе прежние ласковые нотки, и сердце его забилось чаще.

— Идите и вы, мама. Неровен час, не случилось бы чего.— Вихорь положил в корзинку недоеденный пирог.—

Спасибо за обед, за пироги. И прячьтесь в окоп, когда бомбить будет.

— Разбил он окоп. Я и добежать не успела, как он бомбу туда кинул.

— Ну, тогда в катакомбы идите. Все люди туда на ночь ходят. Подушки с собой берут, одеяла. Сам видел. Как вечер, так и идут...

Мать не сводила глаз с сына, словно хотела запомнить мельчайшие черточки его лица. Сухие губы ее заметно дрожали. Положив руки сыну на грудь, она шептала:

— Прошу тебя, Самойло, не попадайся им больше. Воюй, бей, а не попадайся...

— Теперь не попадусь. Живым не дамся. Идите, мама. А то и они не идут, стоят, — кивнул он головой на танк, за которым сидели Богучары.

На дорогу, поднимая пыль, выполз трактор и протарахтел к центру Одессы. Он тянул тяжелую пушку с длинным и широким жерлом. Верхом на ней сидел Майборода, на ходу подкрашивая толстой кистью начерченные мелом слова. Вихорь прочел: «Она стреляла по Одессе. Больше не будет».

— Моряк, что за декорацию везешь? — окликнул его Вихорь.

Майборода оглянулся, взмахнул в воздухе кистью.

— Контр-адмирал приказал привезти и поставить на центральной площади, чтобы все приходили смотреть на нее. Красота, я тебе скажу.

Трактор свернул на мостовую, пушка неуклюже запрыгала на камнях. Майборода что-то кричал Вихорю, но слов нельзя было разобрать.

Из-за танка вышла Мария.

— Идите, скоро уже стемнеет, — сказала она матери Вихоря. — А то и мои не хотят уходить; вместе идите.

— Чистое горе с ними. Так бы и сидели тут, — отозвался Остап Богучар.

— И нам ведь больно. Не ты один воюешь. Все мы воюем, — громко сказала Марта и стала прощаться с Марией.

Все вышли на дорогу и стояли там, ожидая попутную машину.

По дороге катилась запыленная, покрытая сеткой из искусственной травы, знакомая «эмка» командующего. Вихорь и Остап Богучар узнали ее еще издали и пошли ей навстречу.

Багров вышел из машины. Он был худой, усталый. Седые усы покрыты пылью, одежда измята, на коленях следы глины. Только фуражка с блестящим шитьем напоминала о высоком звании Багрова. Контр-адмирал легко перескочил через кювет, схватил Богучара за руку, крепко пожал.

— Спасибо, старик. Большое спасибо. Твои машины в самый раз пригодились. Здорово ты их придумал.

— Какие там машины, — смутился Остап. — Одна полуда. Простой трактор, с боков обшит легкой броней в два листа. Между листами песок, шлак. Ну, а пулеметы — это уж как полагается. Два «максима», один «дегтярев». Хорошо бьют с хода. А еще трактор урчит, фыркает, вот румыны и пугаются,— что это, мол, за дьявол ползет...

— Я только что допрашивал пленных. Говорят о твоих машинах, что это новое вооружение. Насмешил ты моряков, Остап, ой, насмешил...

— Мне не до смеху было. Танков у нас нет. Морем их много не привезешь. Хоть бы боеприпасы возили. Ну, вот и придумал. А как наши минометы, гранаты как?

— Чистая работа. Как с Урала,— ответил Багров и, повернувшись к Вихорю, внимательно посмотрел на него. — Жив, моряк? Вот и хорошо... Орден твой получен, тот, что посмертно за «Грозу» дали.

— Служу Советскому Союзу! — радостно ответил Вихорь и одернул гимнастерку.

— А что за буквы написаны на твоих машинах? — спросил контр-адмирал Богучара. — Две буквы, Н и И, что это? Фамилия изобретателя?

— Какой там изобретатель! Буквы поставили в последнюю минуту, когда из заводских ворот выезжали. Думали, что бы такое написать. Неудобно ведь без фабричной марки. Ну, и написали. Буквы эти, Н и И, означают: «На испуг». — Богучар удовлетворенно разгладил усы.

— Значит, пленные говорили правду. Ты угадал, — засмеялся Багров.

Богучар оглянулся и растерянно заморгал глазами, увидав женщин, которые со своими кошолками направлялись прямо к ним.

— А это еще что за команда? — заметил их Багров.

Женщины в нерешительности остановились.

— Ага, да ведь это ваши. Зачем они здесь? — спросил контр-адмирал.— Разве вас не зачислили на довольствие?

— Зачислили. Только, знаете, женщины всегда ведь остаются женщинами,— махнул рукой Богучар.— Раньше на завод носили, а когда мы на фронт ушли, они и сюда носят. Рота сейчас на отдыхе...

— Зовите, чего ж они встали? — сказал Багров.

— Мама, идите сюда, — позвал Вихорь и отошел в сторону.

Контр-адмирал пожал женщинам руки, слегка поклонился и задержал взгляд на вихрастом Коле. Мальчик, опустив голову, смущенно разглядывал свои грязные босые ноги.

— Товарищ командующий, — Вихорь заслонил мальчика, — сирота он. Пошел вместе со Славиком Богучаром рыть окопы, а их отрезали. Они в тылу врага блуждали. У пьяных румын карабин похитили. Я их там встретил, вместе с ними перешел линию фронта. Очень прошу, прикажите принять его в наш полк, к морякам хочет.

— В первый морской. Но в бой не пускать. Так и передай командиру, — сказал Багров. — А вы — отдыхайте. Остальных могу подвезти, как-нибудь поместимся.

В машину сели обе женщины, потом Остап. «Эмка» рванулась с места и покатилась по ровной дороге, мимо вывороченных столбов и деревьев, напрямик к Одессе, где уже поблескивали вспышки зениток.

Коля бросился Вихорю на шею.

— Ну чего ты! Ну хватит, а то увидят, — отталкивал его Вихорь.

— Теперь я законный матрос. Я покажу им за все...— всхлипывал мальчик.

Мария отошла в сторону, задумчивая и молчаливая, нежно посматривая на Вихоря, который гладил Колю по

голове так же, как она когда-то ласкала младшего брата. Глаза ее затуманились, и она, опершись на винтовку, позвала товарищей.

— Моряки не любят слез, Коля. Не показывай их, — сказала она мальчику, и они пошли к лиману.

С моря тянуло прохладой, прошумел свежий ветер, над лиманом задрожала первая звезда.

— Мария, я думал о тебе. И там, когда было очень трудно... — Вихорь показал рукой на Днестр, тихо вздохнул. Мария не ответила. Моряк подошел к ней ближе, заглянул в глаза: — Думал, ты в Севастополе осталась, там, где Шагайда. Я не забывал тебя...

— Не говори глупостей. При чем тут Шагайда?

— Ни при чем, а при ком. Он ведь такой же, как и тогда? Или, может... изменился...

— Не знаю, не видела.

Долго шли молча, думая каждый о своем. До окопов было далеко. В низине, возле лимана, находился сборный пункт, там сегодня утром встретились, прорвав фронт с двух сторон, десантники и защитники Одессы. На привале было шумно и тесно. Моряки кипятили в котелках чай, угощали пехотинцев, чистили оружие и одежду. В отдельных группках слышались разговоры о Севастополе, Кавказе. Там теперь тихо, но по ночам иногда налетают, бомбят.

— Прощай, Мария, — сказал Вихорь, — забегу еще в штаб и опять к своим, в окопы.

— Не будь таким, — сказала Мария.

— Каким?

Взглянула на него прищуренными глазами, протянула руку:

— Горячим. Береги себя.

В тихом вечернем воздухе отчетливо прозвучал молодой голос. Где-то близко, почти рядом:

— Мичман Шагайда, сюда-а-а!

Мария с Вихорем бросились на этот голос, словно он звал их. Подбежав к крайней группе моряков, они увидели Петра Шагайду. Он поднялся с земли, высокий, плечистый, застегивая распахнутый бушлат. Его вызывали к командиру батальона, и он, ловко забросив на плечо автомат, побежал по тропинке к оврагу. Мария поняла, что он этой ночью был в десанте.

Шагайда бежал прямо на них, опустив глаза в землю,

и чуть не налетел на Марию. Его широкий шаг надломился, и он замер с вытянутыми вперед руками:

— Мария, а я так искал тебя...

Но, увидев рядом с ней Вихоря, Шагайда замолчал и опустил руки.

XXXIII

Полк морской пехоты вместе с другими защитниками оборонительного района, по приказу Верховного Главнокомандующего, приступил к эвакуации. Войска морем перебрасывались из Одессы на другие фронты.

По ночам, когда фронт спал, а по улицам Одессы было строго запрещено движение граждан, с передовой тихо поднимались целые подразделения. Они быстро и незаметно, без звона оружия и вспышек огня, оставляли свои окопы и сосредоточивались в точно указанных пунктах, недалеко от портовых причалов. Специальные офицеры связи по твердому графику, который был расписан с точностью до одной минуты, приводили в порт военные части с различных сборных пунктов и грузили на корабли Черноморского флота. На передовой оставалось все меньше и меньше отрядов для прикрытия, они вели огонь из всех видов оружия.

Героическая оборона близилась к концу.

Охрим Бандура смотрел на посеревшую от дождя степь, и сердце его больно щемило от сознания, что такой плодородной степи этой осенью еще не касался плуг. Да, верно, и не коснется. Порастет земля бурьяном, одичает. Кругом железный лом, проволока... На поле уже нет ни пшеницы, ни кукурузы, ни ячменя. Погибло все, сгорело в огне, осыпалось. Плодородная степь лежала дикая и страшная, вся в глубоких ранах, по ней бродил крепкий морской ветер, гнал черные тучи пыли, и она вихрем вздымалась в небо. Пламенеющее солнце желтым пятном расплывалось в мутном пыльном облаке.

Охрим прошелся по глубокой траншее, присел возле пулемета. В траншее было пусто, вся рота, занимавшая оборону, уже ушла незаметно по густым зарослям в балках, по ходам сообщения и соединилась с другими ротами полка морской пехоты. Охрима заберут из окопов около полуночи, это будет последний рейс в порт. А может случиться и так, что Охрима Бандуру не заберут из

окопов, просто не успеют захватить. Ну, тогда он дорого продаст фашистам свою жизнь. Очень дорого. Добрый десяток вражеских голов возьмет за свою. Он сам добровольно согласился прикрывать отход своей роты. Никто его не уговаривал, не принуждал. Комиссар Зеленцов крепко сжал Охрима в объятьях, горячо поцеловал, как целуют друзей перед долгой разлукой.

Охрим смотрел вдоль извилистых окопов и видел за земляными брустверами зеленые каски таких же, как и он, смельчаков, которые тоже остались в окопах держать опустевшую линию обороны. Правда, они не одиноки в этой степи. Методично, прицельно бьет с моря по вражеским окопам наша корабельная артиллерия, в небе проплывают звенья бомбардировщиков и истребителей, сбрасывая на фашистов бомбы, поливая их пулеметным огнем. Из наших окопов раздается автоматная и пулеметная стрельба. Нет, они не одни в этих окопах, смелые добровольцы!

В этот день Охрим получил подарок и не знает, что с ним делать. Он берет в руки большой пакет и разворачивает его.

В пакете, среди подарков, лежит письмо. Охрим долго рассматривает ровные строчки, написанные большими печатными буквами: «Дорогой товарищ боец! Ты мужественно защищаешь каждую пядь нашей земли от озверелого врага, а я работаю на заводе им. Январского восстания и своей работой укрепляю мощь Советского Союза, в котором создана счастливая жизнь для нас, советской молодежи. Своего счастья мы никому не отдадим, будем бороться, не щадя жизни. Мы глубоко убеждены, что победа будет за нами. Прими от меня этот скромный подарок, и прошу, если будешь в Одессе, зайди ко мне в гости. Маруся Стоянова. Мой адрес: Спуск Вакулинчука, дом 10, кв. 5».

«Вот у меня еще одна знакомая, Маруся, объявилась, — думает Охрим. — Если за мной не приедут из порта, я по этим адресам сам найду дорогу к тем, кто вместе с подарками присылал нам письма. Они проведут меня в катакомбы. Буду из-под земли бить фашиста...»

Он вынимает из пакета подарки.

Кусок душистого мыла, пачка одесских папирос «Сальве», флакон одеколона «Красный мак», три носовых платка, вышитые шелком, бархатный кисет с серебряным

якорем, расшитый мелким бисером. Два белых целлулоидных подворотничка и снова бритва артели «Вача» с черепаховой ручкой. Третья бритва за войну. Вот наслали Охриму этих бритв! Верно, все хотят, чтобы он сбрил свои усы. Не выйдет! Он должен вернуться в свою Качановку на Полтавщине с усами, чтобы жена мигом его узнала. Как можно сбрить такие усы?

На дне пакета катушка черных ниток. Охрим долго держит ее на ладони, не зная, что с ней делать. Зачем она ему? Но вдруг его осеняет мысль. Он бросается к земляной полочке, на которой лежат листовки, выбирает письмо к Антонеску с копией картины Репина, и добродушная улыбка расплывается по его лицу. Охрим читает предпоследнюю строчку, напечатанную на украинском и румынском языках: «Наш адрес — город Одесса, которая не для тебя, балбеса».

Через прорезь броневого щитка пулемета ему хорошо видны румынские окопы, в которых сидит свежий, недавно прибывший батальон. Охрим перевязывает листок черной ниткой и высоко подбрасывает над окопом. Сильный ветер подхватывает его и несет прямо на врага. Охрим только успевает разматывать нитку. Румыны заметили бумажку в небе, засуетились. Когда листовка была над их головами, Охрим прижал катушку к земле и бритвой перерезал нитку. Румыны схватили листовку и, верно, начали читать; из окопов послышался дружный хохот, какая-то возня. К окопам, пригибаясь, бежал офицер. Раздался выстрел.

Разгладив усы, Охрим прошептал:

— Спасибо, Марусенька, за черную нитку...

Над степью опускались холодные сумерки, краснел изогнутой полосой далекий закат, на пепельную землю оседала розовая пыль. Охрим Бандура дал длинную очередь из пулемета и, вынув трофейную авторучку, сел писать письмо. Коротко и сжато он изложил в письме историю своего окопа, который доживал последние часы. Он писал так: «В этом месте героически дрались русские люди против немецко-румынских войск. На протяжении долгих-долгих дней, невзирая на жестокий артиллерийский и минометный огонь противника, третий батальон морского полка, по заданию командования и штаба армии, небольшими силами сдерживал наступление многочисленных войск противника, нанося ему поражения. Каждый

наш боец уничтожал не меньше 15 захватчиков. Борьба продолжается. Героизм советского многонационального народа разобьет и уничтожит фашистских захватчиков. Победа будет за нами».

Потом он вложил письмо в пустую бутылку, крепко закупорил ее, залил стеарином, растопив огарок свечи, и закопал в землю под бруствером окопа [1].

В земляной нише у пулемета послышался тихий зуммер полевого телефона. Звонили с соседнего участка.

— Ты слышишь нас, матрос? — послышался далекий, но отчетливый голос.

— Слышу, — ответил Охрим.

— Берегись, матрос, и не пугайся.

— А что случилось?

— Посмотри в низину, себе в тыл, и жди, — пояснил сосед и положил трубку.

Бандура оглянулся.

Прямо перед ним, в низине, где заканчивалась лесная полоса, стояли в ряд новенькие грузовики, с них уже сняли брезенты, и над кабинами поднялись блестящие рельсы.

Охрим понял все и застыл от неожиданности. Мгновенье — и по этим рельсам побежали ослепительные огненные кометы с длинными хвостами. Вокруг все содрогнулось и загудело, словно земля раскололась и из ее недр вырвалась на поверхность расплавленная вулканическая лава. Такого грома и сотрясения еще не переживал на своем веку старый матрос Бандура, побывавший уже не на одной войне. Тяжелая волна ударила его, он пошатнулся, упал на колени. А вокруг ревело и бушевало, словно над головой разорвалось солнце и упало на степь тысячами смертоносных брызг расплавленного камня и металла.

«Вот тебе и рельсы, Охрим. Вот тебе и стволы...» — подумал Бандура и, поднявшись, припал к пулеметному щитку. Он впился ладонями в жесткие рукоятки, уперся ногами в земляную стену, боясь снова упасть. Над его головой творилось что-то необычайное, невиданное, страшное. Но еще более страшное происходило во враже-

---

[1] Это пожелтевшее письмо в бутылке, после освобождения, выпахал один тракторист, и оно сейчас выставлено в музее „Оборона Одессы".

ских окопах. Там горела земля. Сквозь дым и пламя Бандура видел, как над окопами взлетало какое-то тряпье, солома, каски, комья земли.

«Эге,— подумал Бандура,— при таких рельсах я могу с одним пулеметом весь фронт держать... Хорошие стволы!»

Ему казалось, что реактивная артиллерия, о которой ему уже не раз говорили, ведет огонь целую вечность. На самом деле она стреляла всего несколько минут. В степи внезапно снова стало тихо и пустынно. Охрим оглянулся на низину, увидел грузовики, уже накрытые брезентом. Они рванулись к дороге и на полной скорости покатили за лесную полосу. Охрим слышал, что «катюши» и раньше уже стреляли под Одессой, но так близко видел их работу впервые.

Вечерело, по-южному быстро сгущались сумерки. Охрим посмотрел на мертвые окопы румын и для проверки полоснул по ним из пулемета. Вражеские окопы, окутанные тьмой, зловеще молчали. Так продолжалось около часа, но потом они начали оживать. Вероятно, туда вернули беглецов, подбросили подкрепление. Вначале вспыхнули осветительные ракеты, потом застрочил крупнокалиберный пулемет, ударили минометы. Охрим Бандура и такие же, как он, добровольцы, тоже открыли пулеметный огонь.

Время тянулось долго и томительно. Над Одессой скрещивались лучи прожекторов, а за оврагом, невидимый и далекий, шумел морской прибой.

В полночь два связиста начали сматывать телефонный кабель, связь с соседними окопами прервалась. Охрим с горечью вздохнул и загрустил. Он вдруг почувствовал себя одиноким в этих окопах, среди темной ночи, в голой степи. Чтобы заглушить чувство одиночества, он то бил из пулемета, то бросал в небо зеленые и красные ракеты, то вел огонь из винтовки и автомата. Румыны немедленно, но как-то вяло отвечали. Видно, сон тоже валил их с ног.

Наконец на передовую прибыли последние машины, и Охрим получил приказ оставить окоп. На помощь ему прибежали бойцы из соседней траншеи. Они помогли унести пулемет с лентами, погрузили его на машину, стоявшую в низине. Охрим взял автомат, винтовку, за-

кинул за плечо солдатский вещевой мешок, на миг присел в окопе, по обычаю старых людей, которые всегда присаживаются перед дальней и утомительной дорогой. Потом встал, хозяйским глазом окинул пустой окопчик,— «не забыл ли чего», — еще раз присыпал травой закопанную бутылку с запиской, потом поклонился на обе стороны степной земле:

— Спасибо, родная, за службу, — и пошел к машине.

Когда он был уже в ходах сообщения, ночь снова вспыхнула огнем, наполнилась орудийным громом. Это корабельная артиллерия Черноморской эскадры, точно по графику, открыла огонь.

Охрим пришел к машине последним.

— Папаша! А ты распрощался с фрицами или забыл? — весело окликнул его шофер.

Бандура прищурил левый глаз, сказал:

— А зачем мне с ними прощаться? Я еще приду к ним. За меня «катюша» распрощалась... Такой марш им сыграла, что куда там... Называется — капут!

Машина с потушенными фарами мчалась мимо лиманов, по опустевшим, словно вымершим, улицам, подпрыгивала на разбитой снарядами мостовой и, наконец, остановилась возле расколотого бомбой здания университета.

— Прыгайте! Будем грузить! — крикнул в кузов старшина.

Охрим с солдатами соскочили на землю. Старший объяснил:

— Командующий приказал захватить профессора Драгу с его ящиками. Давайте быстрее за мной.

Они пробежали по двору и, услышав сдержанный старческий плач, остановились возле подвала. Кто-то горько всхлипывал в темноте. Старшина зажег карманный фонарик и отшатнулся. У глубокой свежей воронки лежал профессор Драга. Бледное лицо было залито кровью, руки раскинуты крестом. В крепко сжатом кулаке он держал сверток каких-то бумаг. Рядом с ним стоял на коленях университетский швейцар Кулина и растерянно шептал:

— Просил же я вас не выходить из подвала среди ночи. На что вам та книга сдалась, когда их и так у нас уже полны ящики? Просил, а вы не послушались... Как же мне теперь, одинокому?

Старшина взял швейцара за плечи, и тот сразу замолчал.

— Как это случилось? — спросил он.

— Не знаю... Я паковал ящики, а они пошли за какой-то книгой в свою квартиру, а он снарядом... Зачем было выходить? Я же просил, — тихо вздыхал Кулина.

— Он был одинокий? — опять спросил старшина.

— Вдвоем мы жили... как братья родные, — проговорил Кулина.

— Давайте плащ! — крикнул солдатам старшина и прибавил: — Завернуть тело и на машину. Где ящики?

Кулина повел их в подвал. В сыром и холодном подземелье горела, отбрасывая на стены горбатые, чудные тени, коптилка, сделанная из расплюснутой вверху снарядной гильзы. Вдоль стеллажей стояло несколько фанерных ящиков, готовых к отправке. На стене возле коптилки лежала неоконченная хронологическая таблица событий за октябрь. Охрим склонился над ней, начал читать. Это были приветственные телеграммы из Лондона и Тобрука, в которых англичане преклонялись перед мужеством защитников Одессы. Рядом была приписка профессора Драги, его последние предсмертные слова. Ровным и ясным почерком профессор записал: «Мы кровь проливаем, деремся с врагом один на один, а они нам только телеграммы присылают».

Охрим глубоко вздохнул и, взяв последний ящик, осторожно понес его к машине.

Матросы положили завернутое в плащ тело профессора Драги на дно кузова, усадили Кулину и медленно поехали в порт.

На причалах было свободно. Все бойцы уже находились на кораблях. Под грузовик подвели стальные тросы, и кран, легко подняв его над землей, опустил на палубу. Услышав о смерти профессора Драги, матросы сняли бескозырки. На внешнем рейде гремела артиллерийская канонада. Корабли вели огонь по вражеским позициям, по передовой. Там уже не оставалось ни одного нашего солдата и матроса.

На корабли грузили последнее оружие, размещали отряды прикрытия, прибывавшие с фронта. Погрузка шла быстро и тихо, а в порту, сгорбившись, суетливо пробегали какие-то люди, таща за собой зажигательные шнуры.

Это подрывные команды готовились к большому и опасному делу.

Охрим Бандура стоял на палубе и пристально вглядывался в черный, замерший город. Он был пуст и нем, не слышно людского шума, не видно теплых огоньков в окнах. Только холодный ветер с моря бился о стены домов, шумел листьями деревьев в Приморском парке имени Тараса Шевченко.

На рассвете, когда корабль был далеко в море, матросы похоронили профессора Драгу. Его тело завернули в серый саван, привязали к ногам железо и на широкой доске медленно опустили за борт. Дежурный офицер записал в бортовом журнале широту и долготу. При этом на палубе стояла такая тишина, что Охрим Бандура даже услышал, как где-то в небе тоскливо курлыкали журавли, улетая в теплые края.

XXXIV

Мария долго и настойчиво стучала в дверь. Никто не отзывался. Родителей дома не было. Приложив ухо к окну, девушка услышала однообразное тиканье часов, которые висели в столовой на стене. Слышала, как скребется, узнав Марию, запертая в доме кошка. На стук дом глухо откликался эхом, тонко позванивал на веранде разбитыми окнами.

Мертво и холодно было в саду. За садом, на высоком морском берегу, чернела покрытая цветами могила Устима, рядом с ней холмик поменьше — могилка младшего брата. Мария смотрела на холмики свежей земли, которые уже начали оседать, глаза заволакивались слезами. Ну, вот и все. Войска покидают родную Одессу.

Эвакуация Приморской армии подходила к концу. Наши части уходили из города организованно, в полном порядке и без всяких потерь. Ни трофеев, ни, тем более, пленных советских солдат фашисты в Одессе и в глаза не видели. Даже пленные румыны и немцы, числом в несколько тысяч человек, были эвакуированы все до единого. Командование разработало детальный план эвакуации, и в течение восьми дней из Одессы были вывезены тыловые войска, штабы, учреждения, материальная часть

артиллерии, танки, автотранспорт, промышленное оборудование.

К четырем часам утра 16 октября посадка на суда была закончена. Арьергарды, находившиеся на позициях до двадцати четырех часов, к этому времени пришли в порт и через час также благополучно погрузились. Особо сформированные команды метр за метром проверили территорию порта — не отстал ли кто, не забыто ли что-нибудь из боевого имущества. Командные пункты, армейские и морские, были свернуты лишь тогда, когда командир порта сообщил, что порт чист «под иголочку». Прошло еще полчаса, и в пять тридцать оперативный дежурный доложил командованию: эвакуация Одессы полностью завершена. Потерь ни в людях, ни в технике нет. Важные в военном отношении объекты разрушены согласно плану.

Так закончилась героическая оборона. Враг вышел к Азовскому морю, штурмовал перекопские позиции. Одессу надо было оставить. Мария хорошо знала и умом понимала это. Но когда сегодня вечером, после тяжелого дневного боя, ей приказали зачехлить снайперскую винтовку, ее охватила гнетущая тоска. Ей стало жутко от одной только мысли, что мать не придет больше к ней на фронт, не принесет отцу поесть. Мать проснется завтра утром и уже не услышит шума боя, не увидит своих прожектористов в саду. Завтра здесь будут фашисты.

Они придут в этот сад и растопчут цветы на могилах братьев, выгонят из этого дома отца и мать. Но все равно Одессу им не покорить. Истекая кровью, она боролась два месяца и девять дней. Окруженная с суши, прижатая к морю. Фашисты рвались к ней по трупам своих солдат, видели ее даже невооруженным глазом, но взять ее не могли. Железные люди стояли в обороне, враг не поставил их на колени.

«Враги придут, — с горькой улыбкой думает Мария.— Но все равно Одессу они не завоевали! Не взяли ее штурмом. Враги войдут в Одессу, но они не победители. Победитель — Одесса! Это хорошо знают все, кто оставался здесь в эту ночь. Все, кто отплывает на другие фронты по приказу Верховного Главнокомандования. Знают!»

Мария прислушивается. Может быть, родители где-

нибудь здесь? Может, она еще успеет взять их с собой на пароход? Завод остановился вчера. Они где-то здесь, но найти их в такую ночь просто невозможно!

Нет, она должна что-то делать, должна найти их.

Мария опять стучит в немой дом, в отчаянии топает ногами, до боли кусает губы. Дом мертв, сад пуст, Одесса тонет в густом мраке. Только по улицам безостановочно мчатся с фронта последние грузовики. Часы монотонно отстукивают в запертом доме считанные минуты. Тяжело стуча сапогами, через сад бежит запыхавшийся Вихорь.

— Нету? И моей нету, — Вихорь останавливается возле девушки. Они молчат, опустившись на порог родного дома, а на улице надсадно гудит грузовик,— моряки зовут их. Мария приходит в себя; бежит к могиле Устима, на ощупь срывает пучок холодных, окропленных росой астр. За ней бежит Вихорь, и вот они уже вскакивают в переполненную моряками машину.

— Они, верно, в катакомбах! — кричит Марии Майборода.

— Там их не найти, — говорит Павел Грызлов. — Там полно женщин и детей.

Машина мчится по пустынным улицам, объезжая глубокие воронки, лежащие поперек дороги телеграфные столбы. Под колесами путаются порванные телефонные провода. На полном ходу машина влетает в порт, в сонные лица моряков веет морской прохладой.

В темноте кто-то зовет мичмана Шагайду. Он бежит по пирсу, прыгает на палубу, и вот уже катер мчится за маяк, где стоят конвойные корабли эскадры. Теплоходы, тяжело развернувшись, идут мимо волнореза. Мария кутается в шинель, не сводит глаз с притихшей, молчаливой Одессы. Ее хорошо видно с моря: румыны с остервенением шлют в небо ракеты, наугад посылают очереди трассирующих пуль.

На корабле контр-адмирал Багров, склонившись над картой, что-то показывает генералу Ковалеву. Около них сидят начальник штаба и два члена Военного Совета. Голос командующего глухой, усталый:

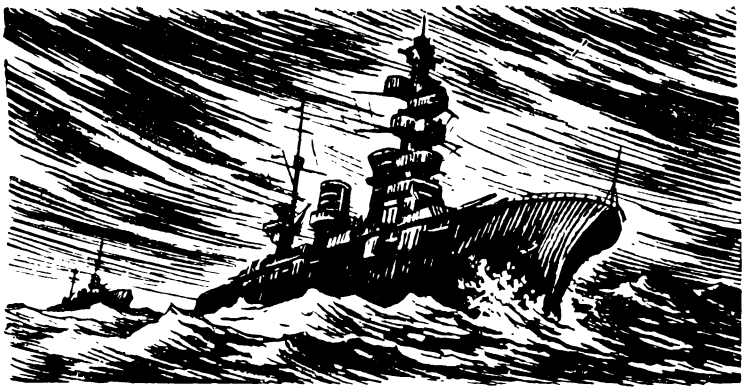
— Приготовьте радиограмму в Кремль и передайте немедленно: «Приказ Ставки выполнен. Весь личный состав армии оставил Одессу...» Завтра штаб-квартира Гитлера будет лгать. Представляю, что они запоют, — говорит контр-адмирал начальнику штаба.

Над морем лежит звездная ночь. С Тендровской косы протянулись в небо и рассекают темноту ослепительные мечи прожекторов. Там остался последний отряд моряков. Когда корабли пройдут, он тоже следом за эскадрой уйдет на катерах на восток.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ



I

В катакомбах было душно, сыро. Каменные стены покрыты мутной росой. Дети спали тревожно, размахивали ручонками, вскакивали и стонали. Матери прижимали их к груди, прикрывали своими телами от холодных капель, падающих с потолка.

Матери не спали. Они настороженно прислушивались к тому, что происходило там, наверху, среди родных кварталов и дальше, на окраинах Одессы, где проходила линия фронта. Но катакомбы были глубоки, и грохот боя не долетал сюда. Даже ночная бомбежка угадывалась лишь по неясному шуму, доносящемуся откуда-то с моря, словно надвигалась первая волна, предвещавшая десятибалльный шторм.

Каждый вечер женщины спускались в катакомбы, прячась от ночных налетов фашистской авиации. По утрам они вновь возвращались в свои дома и брались за будничную работу: стирали бойцам белье, носили в госпитали родниковую воду, убирали развалины, помогали устроиться тем, у кого было разрушено жилье.

И вдруг тревожная весть проникла в катакомбы, вывела всех из равновесия, выбила из колеи, по которой они шли все эти дни героической обороны города. Никто не ожидал, что все произойдет именно сегодня, после такого удачного контрнаступления Приморской армии, поддержанного кораблями Черноморского флота. Ведь всего не-

сколько дней назад фашистские войска были отброшены на десять, а в одном месте даже на целых двадцать километров от Одессы. В городе открылись все магазины и склады. Жителям по талонам выдали муку, сахар, жиры, одежду и даже мебель. Фронт и тыл почувствовали прилив новых, свежих сил.

Но сегодня в катакомбах было тревожно и глухо.

Все прислушивались к тому, что происходило наверху, но толком никто ничего не знал. Остап Богучар, еще в полночь ушедший на разведку, до сих пор не возвратился.

Глубоко дышали сонные дети, где-то тихо и однообразно пел сверчок, и Марте Богучар даже показалось, что над ее головой проплывает тихая домашняя ночь, наступившая после мирного трудового дня. Марта дремала, прислонившись плечом к сырой каменной стене, подложив руку под голову матери Вихоря. Эти две женщины теперь были неразлучны. Они и проснулись вместе от неясного шума, долетевшего с моря.

— Не пришел? — тихо спросила соседка.

— Нет, — вздохнула Марта.

— Верно, на завод подался...

— Нет, верно, в порт. Там должны все знать...

— Я, Марта, не верю, что они нас так оставят. Если вашей Марии нельзя было, так мой Самойло хоть попрощаться забежал бы. Я ему вчера на фронт бушлат и чистую рубаху передала. А с другой стороны, как подумаю... Вот эта мука и сало, что людям роздали... Зачем так много сразу? Нам до нового урожая хватит...

Марта отстегнула от кофты булавку, поправила фитилек коптилки, начавший гаснуть.

У входа в катакомбы послышался шум, посыпались мелкие камешки, и все насторожились.

— Может, Остап, — прошептала Марта.

Старый Богучар, мрачный, сгорбившийся, медленно шел прямо к ним так, словно нес на плечах тяжелый груз. В его руке тихо позвякивал железный фонарь. Свет вырывал из тьмы сонные лица людей; женщины просыпались, шли за Остапом. Он поставил на пол фонарь и глухо проговорил:

— Ну, вот и всё. Наши войска оставили Одессу. Сейчас отошел последний корабль,— и, выпрямившись, Остап

приподнялся на цыпочки, словно хотел головой достать до потолка. — Кто там всхлипывает? А ну, тише. Теперь мы одни остались в Одессе, но как были, так и будем ее хозяевами. Война против фашистов только начинается. Раз Черное море наше, значит и Одесса наша. Слушайте, что нам сказала партия наша и командование. Жена, подержи фонарь, — обратился он к Марте, вынимая из фуражки напечатанную листовку.

Он читал медленно, громко, отчеканивая каждое слово:

«Ко всем гражданам города Одессы и Одесской области. Воззвание Обкома КП(б)У и Облисполкома. Дорогие друзья!»

Замолчал на мгновенье, прокашлялся.

— Слышите, так и написано: «Дорогие друзья!» Сейчас я дочитаю, и мы разойдемся по своим домам. Пропащий человек тот, кто подумает, что отныне он уже перестал быть хозяином своей Одессы. И еще попрошу всех тех, кто не будет специально призван, забыть дорогу в эти катакомбы. Так надо! Забудьте и не показывайте ни одному фашисту. А теперь читаю дальше.

Женщины через плечо Богучара заглядывали в обращение, прижимали к груди детей, думая о своих мужьях, сыновьях, дочерях. Где они теперь? Счастливого им пути в море...

Голос Богучара гулко разносился по каменным коридорам и был слышен в самых отдаленных закоулках.

— «Дорогие друзья! Областной комитет партии и исполком областного Совета депутатов трудящихся призывает вас не складывать ни на минуту оружия в борьбе против немецких оккупантов. Беспощадно расправляйтесь с фашистскими захватчиками, бейте их на каждом шагу, преследуйте по пятам, уничтожайте их, как подлых псов. Пусть в каждом доме, на каждом дворе и улице, на больших и малых дорогах врага подстерегает смерть. Давайте ему вместо хлеба пули, вместо пристанища — огонь».

Медленно просыхали у женщин слезы, и, казалось, таял в катакомбах сырой мрак.

Когда караульные сообщили, что стало светать, все вышли из подземелья. Расходились группами, молчаливые и сосредоточенные.

На высокой круче все вдруг остановились. Прикрыв глаза ладонями от солнца, люди внимательно вглядывались в лиман, туда, где только вчера проходила линия фронта. Там все еще кружились вражеские самолеты, засыпая бомбами наши окопы, все еще грохотала фашистская артиллерия, вздымая в небо столбы земли и огня. Война продолжалась...

— Остап! Что же ты сказал! — вскрикнула Марта.

— Он обманул нас! Куда ж он подевался? — закричали женщины.

Остап Богучар уже спустился вниз, но услышав крики, побежал назад к женщинам, с трудом взбираясь на высокую кручу. Он подошел к ним, красный, запыхавшийся, потряс жилистым кулаком в сторону фронта и неожиданно расхохотался:

— Го-го-го! Не верится, что фашист пустые окопы бомбит. Ох, не могу! Жарьте, иродовы души, жарьте по пустым окопам. Там наших уж и след простыл, а вы, дурни, наступление начали. Боитесь... Вот она, ваша разведка, тупоголовые! Ой, вахлаки!

Все утро гремели на фронте фашистские орудия, шныряли в небе самолеты, а в наших окопах было пусто.

На улицах Одессы стало тихо, безлюдно. Женщины и дети давно разбежались по квартирам, крепко заперев дома на все засовы и замки.

Пришли домой и Марта с соседкой.

На столбе у ворот висело знакомое обращение, и они еще раз прочитали его.

Мать Вихоря прислонилась к столбу, прошептала:

— Сынок мой, Самойло...

Марта молча плакала.

Город затих, притаился, ожидая врага. Но враг не шел. Прошло утро. Солнце уже поднялось в зенит, а фашисты всё боялись вступить в Одессу. Только под вечер на Крыжановском шоссе загудели первые вражеские танки. И тотчас раздался взрыв. Два танка почти одновременно подорвались на минах, даже не дойдя до города. Третий загорелся на Пересыпи от бутылки с бензином, которую кто-то бросил из обгорелых развалин трехэтажного дома.

Город словно вымер, двери были заперты. Фашисты двигались по пустынным улицам, озираясь по сторонам.

II

Война шла вслед за кораблями.

Во второй половине октября гитлеровцы вышли к Азовскому морю и направили главный удар на Крымский полуостров. Уже завязались жестокие бои на Перекопе, за Чонгарскую переправу, за старинный Турецкий вал, у города Армянска, где проходила вторая линия нашей обороны.

Снова, как и в гражданскую войну, в дни, когда тут гремела боевая слава командира Фрунзе, крымский перешеек привлекал к себе внимание всей страны. О нем все чаще упоминалось в сводках Советского Информбюро скупой, но тревожной фразой: «ожесточенные бои». Зато фашистское радио из Берлина почти ежедневно уведомляло об успешном продвижении своих войск через непроходимые затоны и озера Перекопа, где большевики успели построить невиданные до сих пор укрепления. Эти укрепления, по словам фашистского наблюдателя, выглядывали чуть ли не изо всех озер, соленая вода которых день и ночь разъедала руки и ноги храбрым воякам фюрера.

Эти сводки были рассчитаны на дешевый эффект. Если фашистским армиям посчастливится с хода ворваться в Крым, можно будет рассказать всему миру о своей силе, военном мастерстве, выучке, благодаря которым удалось преодолеть большевистские укрепления на крымском перешейке. Если же ворваться в Крым с хода не удастся, причиной станут те же неприступные укрепления, построенные большевиками в соленых озерах и в голой степи. Возможно, что этот крик и оказывал кое на кого влияние, но у всякого нормального человека, который знает географию и рассматривал карту Крыма, это вызывало только улыбку. Ну какие могли быть укрепления в вечной трясине, где соленая жижа заливала все озера и протоки? Туда и цапли не ходили за поживой, там и рыба не жила, а вокруг, в голой и ровной степи, даже птицы не вили гнезд.

Советское радио в эти дни приносило из-под Москвы и Ленинграда все более и более тревожные вести. Блокированный Ленинград вел теперь такую же героическую борьбу, как Одесса. Тревожно было и на Перекопе. Фашистские газеты и журналы печатали фотографии рос-

кошных крымских курортов, виноградников, рыболовных промыслов, описывали керченскую руду, геологические запасы Крымских гор. Завоевание Крыма стало первоочередной задачей гитлеровского командования. Севастополь был их целью. Один радиокомментатор из Берлина утверждал, что со взятием Севастополя Черноморский флот потеряет свою последнюю базу, станет похож на «летучего голландца» и ему придется или сдаться в плен или добровольно пойти на дно. Черное море с суши блокировано фашистскими наземными войсками, в его водах уже появились немецкие подводные лодки и транспорты. Комментатор при этом умалчивал о том, что в Черное море они попали по Дунаю.

Фашистские радиосводки наши солдаты не слушали, но когда ставка Гитлера сообщила о взятии Одессы (это произошло только на другой день после того, как наши войска сами оставили город), контр-адмирал Багров приказал оповестить об этом сообщении все части армии и флота, которые принимали участие в обороне Одессы.

В сообщении гитлеровской ставки говорилось, что доблестные немецко-румынские войска после ожесточенных и трудных боев, собрав и перегруппировав крупные силы, так прижали части Красной Армии и Морского Флота в осажденной Одессе, что последние были вынуждены в панике оставить город и бежать морем на восток. Дальше перечислялись огромные трофеи, которые якобы достались гитлеровцам при взятии Одессы.

Расхохотались солдаты и матросы, растянули пестрые мехи гармоний, над морем зазвучали убийственно-острые частушки о Гитлере.

— Это все Мария Богучар со своими снайперами наделала. Зачем было оставлять столько гильз? — подмигнул Самойло Вихорь.

— Я нарочно оставила. Пусть сами подсчитают, сколько врагов уложили мы под Одессой...

— Матушка, родная! — воскликнул Майборода. — Я ведь забыл в блиндаже свои ботинки. И старшина их не принял на склад, и сапожники отказались чинить, но для фашистов и это — трофей первый сорт. Может, Гитлер залатает и пустит в ход...

— Твои ботинки они уже, верно, записали, — откликнулся угрюмый Павел Грызлов. — Гляди, еще и пушку запишут в трофеи... ту, что ты в Одессу с фронта приво-

лок, их пушку. Помнишь, притащил и написал на стволе: «Она стреляла по Одессе. Больше не будет».

— А что ж, и не будет, я у нее язык вырвал и рот кляпом заткнул. Пусть пишут!

Над кораблем посменно барражировали истребители, ожидая нападения с воздуха.

Перед рассветом матросы и приморцы увидели по левому борту тонущую в сизой мгле родную землю. В тумане проплывали херсонские степи, желтые холмы Бугского лимана. Там были враги. Они не стреляли по кораблям из орудий, словно притаились, ожидая чего-то. Берега, заполненные когда-то веселыми рыбаками и шумными курортниками, были теперь безлюдны и немы. Не видно ни огонька.

— Верно, и наша Одесса так притаилась. Я ведь даже с родными не успела попрощаться, — грустно проговорила Мария.

— Мы не виноваты, сама знаешь,— тихо отозвался Вихорь.— А об Одессе говорить еще рано. Вот побудут там фашисты немного, тогда и узнаем, как их встретила Одесса. Думаю — хорошо встретила, по-черноморски...

— Это факт, — многозначительно заметил Майборода. — Я однажды ночью вместе с матросами возил в катакомбы тол и аммонал. И, кстати, видел там вашего отца, Мария Остаповна. Теперь это уже не секрет, можно сказать...

— Отца видел? А почему ж ты мне не сказал? — тихо спросила Мария.

— Порядок. Так надо, — ответил моряк.

Бойцы морской пехоты, ни на секунду не сомкнув глаз, всю ночь простояли на палубе эсминца «Стремительный», который шел из Одессы флагманом. Вихорь с Грызловым обошли все кубрики и отсеки, битком набитые солдатами Приморской армии.

В одном из кубриков Грызлов задержался:

— Вот здесь, Самойло, покойный Андрей Голубов и я, раненные, лежали. Тогда нас здорово бомбили.

На востоке занималась заря, но ей трудно было пробиться сквозь мутную пелену, колыхавшуюся над морем. Солдаты лежали на верхней палубе, кутались от утренней прохлады в шинели, плащ-палатки, заворачивались в одеяла. Моросил мелкий дождь. Над морем стояла глухая тишина, а в ушах бойцов до сих пор зву-

чала одесская канонада, свистели бомбы, слышалось опостылевшее завывание мин.

Под утро проснулся ветер и покатил по морю первую волну. Пробили склянки, на вахту заступила новая смена. На ходовой мостик поднялся командир корабля, капитан третьего ранга Платон Богучар.

Вахту принял и мичман Петр Шагайда. Шинель, застегнутая на все пуговицы, плотно облегала стройную сильную фигуру. Под низко надвинутой на лоб фуражкой прятались пытливые глаза. Смуглое, худое лицо было старательно выбрито, до синевы на скулах.

Мичман окинул внимательным взглядом палубу и, увидев трех бойцов морской пехоты и Марию, властно приказал в блестящий мегафон:

— Всем от борта!

Потом перегнулся через брезентовый борт мостика, словно хотел протянуть Марии руку. Но это продолжалось одно мгновенье; вот он снова впился взглядом в морскую даль, прижав к глазам тяжелый бинокль.

Вскоре его голос опять раздался над палубой, передавая приказ командира корабля:

— Всем от борта! Вахтенным усилить наблюдение!

Быстро таяла утренняя мгла.

На корабле чувствовалась настороженность, по палубе часто пробегали матросы. Вихорь подошел к одному из них.

— Что случилось?

— А ты служил на флоте? — спросил матрос.

— На эсминце «Гроза». Может, слышал о таком?

— Как не слышать? Слышал. Дело в том, что в эту пору как раз в этом квадрате нас часто подстерегают подводные лодки и торпедоносцы. Только и гляди в море...

Вихорь оглянулся. На эсминце сейчас не отдыхал ни один матрос.

Настороженность команды быстро передалась всем приморцам, и они стали с опаской поглядывать на море. На палубе «Стремительного» царила тишина. Казалось, она продолжалась очень долго — час, может быть, два. В действительности это были считанные минуты. Солдаты чувствовали, что опасность притаилась где-то совсем рядом. Подавляющее большинство пехотинцев впервые плыли морем и никогда не видели морского боя. В глазах бывалых солдат светилась тревога.

Вдруг мичман Шагайда вывел всех из этого напряженного ожидания:

— Перископ! Слева по носу!

Потом он выкрикнул какую-то цифру, но пехотинцы ее не разобрали, только ясно услышали знакомое слово: «румб!»

Вахтенные матросы мгновенно повернулись к левому борту, но высокая волна уже скрыла от них опасность, и никто не заметил зловещих признаков. Только Платон Богучар по сигналу Шагайды успел засечь холодный блеск перископа на воде. Он качнулся на волне и исчез.

Командир корабля побледнел.

Подводная лодка засекла эсминец и ушла под воду на пересечение курса, которым шел караван. Головным в караване был эсминец «Стремительный», ему в первую очередь грозила смертельная опасность.

Шагайда прирос ладонями к холодным поручням мостика. Перед глазами молниеносно пронеслась картина катастрофы. Он ясно представил себе пенистые буруны за торпедой, желтоватый блеск, удар под ватерлинию эсминца.

Но командир корабля не растерялся. Его приказ был точно выполнен в машинном отделении. Эсминец рванулся, отвернул вправо и очутился на параллельном курсе с фашистской подводной лодкой. И никто не увидел, как слева под водой параллельно кораблю стремительно пролетела торпеда. Она промчалась в нескольких метрах от «Стремительного» и затонула в море. Люди, казалось, ощутили только ее смертельное дыхание.

Пехотинцы оглядывались на север, туда, где минуту назад блеснул перископ, а теперь шел ожесточенный морской бой. Тральщики и торпедные катера, окружив со всех сторон большой квадрат, сбрасывали глубинные бомбы. Их взрывные механизмы были поставлены на разные глубины, и подводная лодка не могла укрыться даже на дне.

Сквозь утренний туман пробилось солнце, заиграло золотыми брызгами на волне, озарило вымпелы на высоких мачтах. Слева показались желтые крымские берега, замигал электрический маяк. Мимо «Стремительного» пронесся торпедный катер эскорта, который вместе с другими кораблями охраны бомбил подводную лодку. Он

шел впереди эсминца и все время подавал флажками сигналы.

— Что передают? — спросила Мария.

— Отсюда не видно, я подымусь выше, — и Вихорь вспрыгнул на трап, ведущий к мостику.

Широко расставив ноги, он наблюдал за движением сигнальных флажков на катере. Его теребили, звали, но он молчал. Наконец он встрепенулся, ударил ладонями о полы бушлата, чуть не подпрыгнул от радости.

— Вот это здорово! Да им за это орден надо дать!

— Не вертись! Читай всем, — Майборода дернул его за штанину.

— Родимые мои! Они же без кода жарят! Слушайте...

Внизу около Вихоря столпились пехотинцы и артиллеристы Приморской армии.

Вихорь громко читал сигналы, передаваемые с торпедного катера:

— Приказ выполнили. Глубинными бомбами подводная лодка потоплена. На поверхности воды замечены нефтяные пятна. Всплыл труп немецкого офицера. Под его кителем найдены: боевой флаг подводной лодки, бортовой журнал, на шее железный крест с дубовыми листьями. Труп и все вещи у меня на борту. Жду вашего приказа. Всё.

Солдаты закричали «ура». Вихоря силой стащили и стали качать. Вверх полетели пилотки, бескозырки. Пехотинцев уже не интересовало, что отвечали катеру с эсминца. Их охватила радость, словно они сами потопили подводную лодку.

Шагайда удивленно прислушивался к возбужденным голосам пехотинцев и не заметил, как к нему на мостик влетела Мария Богучар, за нею Вихорь и Майборода. Они хватали мичмана за руки, что-то кричали.

На каменистых скалах показался Севастополь. Корабли подходили к городу.

Самойло Вихорь, Павел Грызлов и Яков Майборода сняли выцветшие на солнце бескозырки. Так они и стояли, молчаливые и суровые, высоко подняв головы. Издали узнавали Малахов курган, стеклянный купол исторической Панорамы, старую церковь на холме, где были похоронены выдающиеся русские адмиралы — герои первой обороны Севастополя.

Мария нарушила молчание.

— Воды! Хоть каплю родниковой воды. В Одессе соленая, а тут чистая, как кристалл...

Услышав о воде, моряки оживились. В Севастополе всегда была вкусная и холодная горная вода. Они словно ощутили ее вкус на пересохших губах, потому что в лицо им повеял знакомый теплый ветер с Крымских гор.

III

В первые минуты Марии казалось, что холодные камни пирса зашатались у ней под ногами. Вдоль высоких причалов Севастопольской бухты стояли эскадренные миноносцы, пассажирские теплоходы, катера. Корабли разгружались. По гнущимся трапам сбегали солдаты, неся на плечах станковые и ручные пулеметы, минометные плиты, железные коробки с патронами. Снайперы держали высоко над головами свои винтовки. Разведчики и десантники позвякивали двумя, а кое-кто и тремя трофейными автоматами.

Выцветшие на солнце гимнастерки и бушлаты, пилотки и бескозырки, пропитанные соленым потом полосатые тельняшки, выглядывавшие из-под раскрытых воротов чуть ли не у каждого солдата, свидетельствовали о непоколебимой дружбе матросов и пехотинцев. От штормового ветерка, дувшего с моря, на спинах воинов надувались плащ-палатки. С кораблей всё шли и шли пехотинцы, артиллеристы, связисты, танкисты, разведчики, словно море расступилось и выпустило из своих недр Приморскую армию богатырей.

Над глубокими трюмами кораблей стрелами взлетали высокие подъемные краны, легко поднимающие над водой бронемашины, тяжелые гаубицы, танки, «катюши». Вот кран зацепил и пронес над головами людей самодельный танк-трактор, который сконструировал Остап Богучар, — машину системы «На испуг». Узнав знакомый танк, пехотинцы засмеялись, захлопали в ладоши.

Флотские командиры, руководившие разгрузкой кораблей, удивленно переглянулись, разглядывая странную машину, которую так горячо приветствовали солдаты.

Самодельный танк навеял на Марию воспоминания о родном доме, об отце. Перед глазами снова возник знакомый сад, поникшая фигура матери у ворот. Что она

делает, бедная, в эту минуту? Где сейчас старик отец? Может быть, фашисты уже ведут их через город, подталкивая в спину автоматами? Все случилось так внезапно и неожиданно, что она даже не разыскала их в ту ночь. Положим, она ничего не могла сделать, но Платон ведь мог своевременно эвакуировать их из Одессы? Нет, и Платон не мог! Родители всякий раз, когда Платон заговаривал об этом, отказывались уезжать. Не раз просила их и Мария, советовал, наконец, и контр-адмирал Багров. Но старый Богучар и слушать не хотел:

— Я тут хозяин, а Марта — моя жена. Одесса была нашей и будет, пусть в нее хоть сам сатана придет, а не то что фашист. Не уеду! Я тут на мертвом якоре стою, вот и все!

Вихорь заметил задумчивость Марии:

— О чем загрустила? Кого выглядываешь в море? Может, отца? Нет, не приехал отец. Раз он тол принимал в катакомбы, значит, не жди его здесь.

— Знаю. Его теперь и мать не отпустит...

— Что ему мать? Будет команда, он и на шаланде в Севастополь придет. Я уже раскусил его.

В портовые ворота въезжали все новые и новые грузовики. Забирали солдат и мчались на крутую гору, растекаясь по узким севастопольским улочкам. Приморская армия располагалась на Корабельной стороне, в садах пригородных совхозов, над бухтами Херсонеса, в парке, возле Панорамы. Морские офицеры связи указывали маршруты, рассаживали бойцов по машинам. Порт постепенно пустел.

Контр-адмирал Багров и генерал Ковалев, которые лично руководили разгрузкой кораблей, не надеялись на отдых. Командующий Черноморским флотом уже вызвал их к себе, и они понимали, что разговор пойдет о будущих боях под Перекопом. Оттуда приходили не очень утешительные вести, хотя грохот канонады еще не долетал до Севастополя.

Увидев Марию, которая стояла в стороне от выстроившихся батальонов, Багров окликнул ее. Мария подошла и отрапортовала. Командующий заметил в ее глазах усталость.

— Грустно, Мария? Вспоминаете Одессу? — спросил контр-адмирал, и губы его дрогнули.

— Машину свою жду... Я со снайперами...

— Не таитесь, я все вижу и понимаю. Отец... что ж отец? Он в Одессе, как рыба в море. Хорошее он дело затеял. Да хранит его морская судьба.

— Да хранит, — тихо ответила Мария.

— А вы не ждите машину. Ваш полк стоит на горе, возле Панорамы. Десять минут хода. Приведите себя в порядок и принимайтесь за тренировку. Отдых наш будет недолог. Передайте это снайперам.

— Есть передать снайперам, — Мария ловко повернулась и пошла.

— Скучает, — сказал Багрову генерал Ковалев. — Чудесная девушка. Надо ее поберечь.

— Я тоже об этом подумал... — и тотчас: — Посмотрите, как солдаты идут! Головы держат высоко, плечи расправили. Хорошо идут, а ведь на душе у каждого как горько.

— Я, кажется, тоже скоро моряком стану, — снял пенсне Ковалев.

— А я вас, Павел Владимирович, давно моряком считаю, — пробасил Багров, легонько взяв генерала за локоть.

Из порта сплошным потоком выезжали грузовики. В их кузовах, обняв друг друга, тесно стояли солдаты. Они громко запевали, и песни разносились над Южной бухтой. Вдоль улиц, на террасах горы, стояли жители Севастополя, бросали бойцам цветы. Все с уважением смотрели на обветренные, худые лица защитников героической Одессы.

За воротами Марию сразу поглотила толпа. Ей вручили букет осенних цветов. Георгины были такие же бархатистые розовые и желтые, как те, что росли у них дома, а стебельки срезаны так же аккуратно, как срезала их мать. От воспоминаний у девушки сжалось сердце. Незнакомые женщины и девушки обнимали ее, школьники цеплялись за плащ-палатку. Кто-то предлагал отдохнуть в чистой и уютной квартире, кто-то приглашал в гости, другие хотели выстирать и выгладить одежду.

Если б не Павел Грызлов, локтями прокладывающий дорогу, да не Вихорь и Майборода, которые с боков оттирали от Марии людей, она нескоро выбралась бы из толпы.

— Пропустите! Она придет к вам вечером! — сказал Грызлов.

— Это наш снайпер, она под Одессой шестьдесят фашистов убила. Вы, верно, читали в газетах — это Мария Богучар, — похвастался Вихорь, уже вырвавшись из толпы.

Услышав эти слова, женщины снова попытались задержать Марию, но она, подталкиваемая моряками, скрылась в густых кустах жимолости.

Тихо шумели на ветру запорошенные бронзой деревья. Вдали сияло море. Но и на этом пейзаже уже лежал отпечаток войны. Окна нарядных севастопольских домиков были перекрещены белыми полосками бумаги. Высокие стены многоэтажных домов покрыты ржавыми пятнами камуфляжа. Война вплотную подходила к Севастополю, хотя море было чистым, спокойным и над городом еще не гремела канонада. Бои пока шли на соленых озерах и болотах, где-то под Армянском. Приход Приморской армии вселил в жителей города уверенность и силу.

На вершине горы, там, где поднимался стеклянный купол Панорамы, Мария перевела дух. Здесь, на аллеях, под широколистыми деревьями, расположился на привал батальон морской пехоты. Солдаты сидели, лежали, чистили оружие, сушили выстиранные рубахи, читали свежие газеты. Свободные от работы бойцы потянулись смотреть Панораму. Седой служитель пропускал всех без билетов. Солдаты старательно вытирали ноги перед порогом, гасили недокуренные папиросы.

— Ну, теперь, Мария, одна не показывайся на улице, украдут, — шутил Майборода.

— Куда пойдешь — бери и нас, — прибавил Вихорь.

— Мы все вместе к брату пойдем. Ты ведь помнишь, Вихорек, двор Громовых, — сказала Мария, направляясь к Панораме.

С боковой аллеи выскочил и чуть не налетел на них человек, увешанный кожаными футлярами. Он вытер платком вспотевшее лицо, преградил Марии дорогу.

— Вы и есть снайпер Мария Богучар? Я бежал за вами от самого порта. Эти крутые горы, чтоб они пропали, могут уморить лучшего бегуна. Я не привык к ним, все время работал на кораблях. Я фотокорреспондент газеты «Черноморец», и у меня задание снять вас. Мы сейчас выберем подходящее место, близкое к боевой обстановке.

Моя фамилия Колосок. Вот мое удостоверение. Я вас долго не задержу...

Он бы еще говорил, но Мария остановила его:

— Вы опоздали. Какая же тут боевая обстановка? Надо было приезжать к нам в Одессу. Вот там была обстановка.

— Согласен с вами. Не будем говорить о боевой обстановке, назовем это иначе. Снайпер Мария Богучар на отдыхе. Крымский пейзаж, вдали море... А потом я запишу краткие данные о вас. Я обо всех все интересное записываю в свою книжку, чтоб не забылось. Меня в редакции за это даже летописцем прозвали. Ну и пусть... А какой из меня летописец?

Откровенность Колоска понравилась Марии, и она сказала:

— Только не меня одну, а всех нас. Это тоже снайперы, я без них в засады не хожу.

Колосок даже вспотел, ползая по траве. Он то нацеливался в матросов аппаратом, то расставлял их, суетясь вокруг.

— Не тяни душу, у нас времени нет, — не выдержал Вихорь.

— Спокойно! Так. Еще раз! Готово! — Колосок щелкал то одним, то другим аппаратом, а Мария, лежа на выгоревшей траве, ясно видела в оптический прицел боновое заграждение бухты и серые тела кораблей на рейде.

IV

Капитан третьего ранга Платон Богучар забежал домой только на полчаса, чтобы уговорить жену уехать. Частые воздушные тревоги, налеты фашистских бомбардировщиков, по ночам прорывавшихся к Севастополю, совершенно издергали Софию. Последнее время Платон редко бывал дома, и жена жила одна. Каждую ночь ей с сыном приходилось прятаться в сыром погребе или в холодной щели в саду. От этого ребенок все ночи не спал, даже не брал грудь, набухшую и воспаленную от перегоревшего молока. Мальчик охрип от крика и теперь только всхлипывал, слабо шевеля ручонками. Доктора настаивали на отъезде Софии в глубокий тыл, но она об этом и слушать не хотела. Черноморский флот попрежнему базировался в Севастополе, Платон ходил в море

где-то рядом, и София ни за что не хотела расставаться с ним. Он ведь после каждого похода хоть на часок, а забежит домой. Каждый день от других моряков она будет знать о судьбе эсминца «Стремительный», значит — и о жизни Платона. А в глубоком тылу сиди и жди писем, а когда-то они дойдут. Нет, уж лучше ей остаться в Севастополе. Ведь все соседи остаются. И Варвара Громова, седая женщина из Тулы, и ее муж Артем, который работает на Морском заводе. Бывают дни, когда он работает по две смены. Во время налетов рабочие на Морзаводе даже в убежище не ходят. Варвара рассказывала, что кое-кто из рабочих и живет в общежитии при заводе. Скоро, верно, и Артем переедет туда.

Не думает уезжать из Севастополя и Люба, дочь Громовых, недавно вышедшая замуж за командира береговой батареи Никиту Сереброва, спокойного и очень застенчивого человека. На свадьбе он все краснел да молчал. Школу на Корабельной стороне, где преподавала Люба, закрыли, и она теперь часто ездит к мужу на батарею, куда-то за Мекензиевы горы.

Младшему сыну Громовых, Игорю, тоже не сидится дома. Его страшит отъезд из Севастополя. Другие ученики школы эвакуировались, а он сбежал с парохода. Теперь он все дни проводит у причалов, а по вечерам, когда начинается налет вражеской авиации, убегает со своими товарищами на Зеленую гору и оттуда наблюдает за воздушными боями.

Ну, как же София может уехать из Севастополя? Ей будет просто стыдно перед семьей потомственных оружейников из Тулы, а особенно перед Варварой. Она же Софию и в родильный дом отвозила, и цветы ей приносила — Платон тогда был в море.

А Варвара настойчиво уговаривала молодую женщину немедленно выехать из Севастополя, не ожидая возвращения Платона, София решительно отказывалась, запиралась в комнате и, склонившись над ребенком, тихо плакала. Потеряв надежду уговорить соседку, Варвара пошла в штаб Черноморского флота. Там хорошо знали и ее Артема и Платона Богучара. Варвару внимательно выслушали и попросили передать Софии, чтобы та немедленно собиралась в дорогу. Скоро должен уйти еще один транспорт с женщинами и детьми. Варвара выслушала принимавшего ее моряка и махнула рукой:

— Не послушает! Вы ее не знаете...

— Послушает. Убедите ее, что ребенок может погибнуть, простудиться в убежище. Вечером за нею зайдут женщины из Дома офицера.— И неожиданно спросил: — А вы не собираетесь уезжать из Севастополя?

— Разве так можно шутить, товарищ начальник? — обиделась Варвара.— У меня маленьких детей нет. Не о себе пришла вас просить. Я из Севастополя не уеду. А увезете силой — сбегу! Я еще и на заводе поработаю и в госпитале...

София, наконец, согласилась ехать, и Платон застал ее уже готовой в дорогу. Она со слезами бросилась ему на грудь и все жаловалась, что сын немного прихворнул. Возможно, в этом виновата она сама. Теперь такие тревожные ночи. Но больше их не будет. Она сегодня уезжает вместе с другими женами флотских командиров. Что? Неужели Платон сам об этом думал? Чудесно! Она словно угадала его желание. Она уже попросила Варвару присматривать за мужем. Стирать ему белье, штопать носки, вообще смотреть за ним, как за своим. Она ведь едет ненадолго, скоро вернется и даже не возьмет с собой всех вещей. Возможно, удастся вернуться в Севастополь еще до Нового года, когда начнется наше наступление и фашистов погонят с Украины.

Платон качал на руках сына, поглядывал на пустую кровать, на голую стену, где раньше висели их фотографии, и ему было очень грустно.

Мария копалась в шкафу, помогая Софии укладывать чемоданы.

— Ты не скучай без меня, — говорила мужу София.— Вы будете вдвоем с Марией. А может, и родители приедут из Одессы.

— Не приедут, — хмуро сказал Платон.

Мария метнула на него взгляд и замерла с простыней в руках. Может, он что-то знает?

— Я искал их в катакомбах. Дважды заезжал домой.

— Плохо искал, — укоризненно сказала Мария.

В комнату вошла Варвара.

— Давай, София, ребенка, и быстрее собирайся. Ты, Мария, пойди присмотри за матросами, а то развели с Любой хиханьки да хаханьки. Что им тут, курорт или санаторий? — и, пропустив Марию вперед, она вышла в сад.

Под густой стеной винограда, рядом с открытым ульем, хлопотал младший Громов — Игорь. Он вынимал рамки с медом, внимательно осматривал их, подметал дно улья чистым крылом. Артем сидел на пожелтевшей траве, опустив на колени тяжелые руки. Изредка покрикивая на Игоря, он говорил Вихорю:

— Пчела любит хорошо вымытые руки и белую рубашку на чистом теле. Рубашка, правда, у меня всегда чистая, а вот руки — с начала войны не успеваю отмывать. Прибегу раз в сутки с завода, сосну часок и обратно. Теперь сына приучаю к пчелам. Видишь, матрос, Игорь уже без сетки работает.

— А может, теперь ни к чему все это? Не та пора теперь...

— Как не та пора? А что же, по-твоему, пчелам пропадать? Для войны Игорь еще мал,— возразил Артем.

— Почему мал? У нас под Одессой такие в разведку ходили. Гасили на крышах зажигательные бомбы, подносили патроны. Ну, и вообще...

Артем приподнялся, замахал руками на Вихоря.

— Замолчи, а то услышит, хлопот не оберусь. Он уже раз хотел бежать в вашу Одессу, — прошептал Артем.

— Люблю морской характер,— громко сказал Вихорь.

Легкий ветерок забирался под полосатую тельняшку, приятно холодил тело. Тихо шелестели оголенные ветви. Клумбы заросли бурьяном, на дорожках между камешками пробилась трава. Декоративные кусты давно не подстригали, и они пустили угловатые побеги. Морской песок на дорожках сбился в комья, его не разрыхляли граблями, как в те дни, когда Вихорь встретился здесь с Петром Шагайдой.

— Я для вашего эсминца «Гроза» Государственный герб делал, — сказал Артем. — Тонкая и сложная работа. Мои гербы на многих кораблях стоят. Жаль мне «Грозу».

— Я пойду, а то опять воспоминания начнутся. Мне нельзя слушать о «Грозе», — поднялся Вихорь. — Мы всякий день мстим за нее.

— Ты приходи к нам почаще, — сказал Артем, закуривая трубку. — Мои сыновья тоже на фронте: Иван на подводной лодке в Балтике плавает, Сергей — в пехоте под Москвой. Ты обязательно приходи, нам со старухой веселей будет.

— Спасибо, жив буду, зайду.

— Не говори глупостей.

Они остановились у крыльца; во дворе был настоящий солдатский бивуак. Майборода стоял над бадьей и, потряхивая чубом, отжимал матросскую фланелевку. Мария развешивала на проволоке выстиранную плащ-палатку. Грызлов подрезал садовыми ножницами кусты благородного лавра. Люба, весело перекликаясь с Майбородой, стирала матросам полосатые синие воротники.

— Он у нас такой, что пули не боится, — не поднимая головы, продолжал Майборода.— Бежит ли в атаку, налетает ли в разведке на пулеметное гнездо — все равно придерживается теории лобового удара. Он всегда говорит: «Беги прямо, будешь зигзагами бежать — больше пуль нахватаешь». Может, это и правда, не знаю.

— А вы его сдерживайте, — Люба тряхнула волосами.

— Ого! — подмигнул Майборода. — Тут и себя не удержишь, не то что Вихоря. Вы приезжайте к нам на фронт, увидите его работу. Только у нас полундра кругом. А теперь позвольте спросить: ваш муж кто такой?

— Артиллерист.

— Спокойная профессия, я вам завидую.

Люба нахмурила брови.

— Не задирайте нос, Яша. Думаете, раз вы из-под Одессы, так и все тут...

— Да он шутит, Люба, — вмешалась Мария.

— И то правда, — Майборода стряхнул белую пену с рук.— У нас артиллерия всегда пехоте колесами на пятки наступала. Не знаю, как у вас, под Перекопом...

— Поживете, увидите.

— Затем и приехали в гости, — не удержался Майборода.— Это у меня первый выходной за войну, и как тут, знаете, не поговорить на мирные темы. Простите, коли что не так. Забыл я мирную жизнь. А так хочется пожить мирно...

Над глухими воротами громко зазвенел звонок, и все повернулись в ту сторону. Артем открыл калитку, и перед ним вырос Шагайда. Увидев Марию и матросов, он на миг остановился, но тотчас же козырнул, блеснув золотым шевроном на рукаве, и обратился к Артему:

— Капитану третьего ранга срочный пакет. Куда мне пройти?

Артем провел Шагайду на крыльцо, указав дверь в комнату Платона. Во дворе сразу стало так тихо, что все услышали, как в порту скрежетали тяжелые якорные цепи. В комнате всхлипнула София, и на веранде появился Платон Богучар, на ходу надевая кожаный реглан. Следом за ним вышел Шагайда и, слегка улыбнувшись, сказал то ли всем, то ли одной Марии:

— Завидую вам. Отдохнуть сегодня можете: в кино пойти или на концерт. А нам опять в море.

Он ласково посмотрел на Марию, потом обратился ко всем:

— Прошу, проводите на пароход жену капитана третьего ранга. Он сам не сможет, нас на улице ждет мотоцикл.

V

Под вечер 25 октября авангардные части Приморской армии, переформированные и довооруженные в Севастополе, заняли левый фланг Перекопского фронта.

Передний край протянулся по соленым озерам и болотам до самого моря. Вторая армия, которая до сих пор держала весь Перекопский фронт, встала на правом фланге, на восток от Джанкоя, вплоть до основания Керченского перешейка. Таким образом, наиболее опасное место — стык этих двух армий, оборонявших теперь Крым, находился на линии Армянск — Джанкой, в пустынной степи, где все вокруг было видно, как на ладони, и на расстоянии пяти километров можно было рассмотреть человеческую фигуру.

Приморская армия с хода завязала жестокие бои с танковыми и моторизованными частями фашистов. Но вскоре бои перекинулись на правый фланг, и у приморцев воцарилась относительная тишина. Велись бои местного значения, а чаще всего разведывательные.

Хорошо зная фашистскую тактику — бить по стыкам наших армий, — контр-адмирал Багров и генерал Ковалев тщательно готовились к отпору. Оборона на стыке двух армий глубоко эшелонировалась. Третью и четвертую линию должны были занять новые части морской пехоты, курсанты электромеханической школы, батальон ополченцев из Севастополя. Большинство этих частей еще находились на марше и только на следующую ночь должны были подойти к своим позициям. Удерживать стык было

приказано генералу Ковалеву, и он сразу же появился на своем «газике» в глубине фронта. Там, где машина не могла пройти, генерал пересаживался на лошадь. Связисты передавали одно только слово: «едет» — и оно было понятно каждому офицеру и солдату.

В это самое время к генералу пришел фотокорреспондент газеты «Черноморец» Колосок, с трудом добравшийся к передовой из Севастополя. Вокруг все сотрясалось от артиллерийского огня. Округа тонула в густом тумане, надвинувшемся с моря. Увидев генерала Ковалева, Колосок решил выяснить у него обстановку. Но генерал встретил его холодно, сама фигура корреспондента показалась ему странной. Короткая кожаная куртка вместо шинели наброшена на китель, из-под нее торчит пистолет.

— Вы куда прибыли в таком виде? — спросил генерал.

— Я впервые на фронте. Думал, что шинель помешает снимать... — оправдывался Колосок.

Ковалев остановил коня, еще раз окинул взглядом корреспондента и уже ласковее сказал:

— Странно... Тогда пробирайтесь на левый фланг, нечего тут солдат смешить. Все равно солнце для вашей работы взойдет нескоро. А редактору доложите о нашей встрече и о вашей форме.

— Есть доложить!

Генерал поскакал дальше, а Колосок остался на краю дороги, тревожно прислушиваясь к разрывам, гремевшим где-то совсем рядом. В лицо ему дул северный ветер, и он чувствовал в этом ветре дыхание Украины. Она была совсем близко, за туманом, застилавшим Перекоп. За Джанкоем был мост, а потом станция Ново-Алексеевка, оттуда шла линия на Геническ. Родные, знакомые места. Там живут его мать и сестра. Колосок мечтал о встрече с ними, верил, что она состоится, но никому об этом не говорил.

Корреспондент стоял в грязи, робко переступая с ноги на ногу, не зная, что ему делать, куда идти, где искать этот левый фланг. Должно быть, там уже начались бои, и генерал нарочно послал его туда понюхать пороху. Генерал, вероятно, поступил правильно. Ведь война идет уже четыре месяца, а Колосок все еще не получил боевого крещения. Какой же он военный корреспондент! Те-

перь Колоску казалось, что все встречные оглядываются на него, но солдаты спокойно ехали на тачанках, тягачах, шли в пешем строю и не обращали на него ни малейшего внимания.

Кто знает, сколько он простоял бы так на перекрестке, если бы не раздался из тумана громкий окрик:

— Здорово, оператор! О чем загрустил?

Перед Колоском вырос Самойло Вихорь, верхом на коне.

— Постой, браток! — вскрикнул Колосок и засуетился. — Вот так и стой, только улыбнись мне, чтоб зубы блеснули... Я тебя сейчас сниму.

Управившись с аппаратом, он спросил:

— А как же в газете подпишем?

— Не знаю. Это твое дело,— пожал плечами Вихорь.

— А куда ты ездил и зачем? Может, на боевое задание?

— Отвозил пакет в штаб Ковалева.

— А ты генерала знаешь? Говорил с ним? — спросил Колосок.

— Говорил. Он меня знает. Мы еще под Одессой вместе были... Я и контр-адмирала Багрова знаю.

— А меня генерал исповедовал, — искренно признался Колосок.

— Значит, заслужил. Генерал даром не исповедует.

— Что же мне делать? Генерал посоветовал идти куда-то на левый фланг. А где этот фланг, как туда идти, я не знаю.

— Это у нас, — осадил коня Вихорь. — Так бы и сказал. Мы стоим у самого моря, на озерах. Машины к нам не доходят, можно только на танке или на коне. Садись сзади и держись за мои плечи. Мигом доедем.

Конь, с трудом переставляя ноги, шел по глубокой грязи. Ехали молча, даже не отвечая на едкие шуточки пехотинцев, которые подсмеивались над всадниками, быстро шагая вперед, к стыку двух армий. Вскоре Вихорь свернул с центральной дороги, по которой двигались войска, и сказал:

— Генерал тебя правильно исповедовал. Зачем ты полез на этот участок? Там же стык двух армий, туда фашист основные силы бросает. Разве не знаешь его тактики? Очень ты нужен там со своими аппаратами... А у нас теперь тише. Ты и работу себе найдешь.

— Вот оно что! А генерал мне этого не объяснил.

— Плохо думаешь о генерале. Ты сам должен был раскумекать все это еще в Севастополе, раз ты корреспондент. А к нам надолго? Покажи командировку.

Колосок подал личное удостоверение, прибавив при этом, что это и есть его командировка. Пробудет он у них в зависимости от обстоятельств...

— Ну, тогда скоро мы тебя не отпустим,— безапелляционно заявил Вихорь, — нам надо много фотокарточек на партийные билеты. Перед боем солдаты вступают в партию, а своего фотографа у нас нет. Сделаешь нам это?

— Сделаю. А та девушка, снайпер, Мария Богучар, у вас?

— У нас. А тебе что до нее? — оглянулся Вихорь и остановил коня.

— Я везу ей сегодняшнюю газету. Там напечатан ее портрет. Как она поживает?

— Хорошо. Вчера открыла свой счет на крымской земле. Первого фашиста убила из засады на озере.

— А мне можно с ней в засаду?

— Нельзя. Аппараты свои промочишь, и тебя сразу убьют. У них тоже снайперы есть.

Впереди потянулись болота и озера. Где-то слева, совсем близко, шумело море, разбивая в тумане свои волны о глинистые берега. На пути всадников все чаще вырастали из-под земли часовые, но, увидав Вихоря, опускали винтовки, прятались назад в свои окопчики.

— Тебе повезло, что туман, а то полз бы на животе по этим болотам. Тут степь, как футбольное поле, и они в ясный день всю ее простреливают. — Вихорь остановился, прислушался к морскому шуму. — Шторм будет. Слышишь, как звенит волна? Жди воробьиной ночи и атаки. А может, будет приказ, и мы сами в атаку пойдем. Пойдешь с нами?

Колосок не ответил. Он едва добрался до штабного камбуза, стащил сапоги, разостлал возле печки куртку и, похлебав флотского борща, хотел было прикурнуть на снопах камыша. Но снаружи донесся оглушительный взрыв. С потолка посыпалась земля. Колосок вскочил, не зная, что делать — бежать ли из камбуза или оставаться тут.

VI

Удар фашистской авиации, танков и моторизованной пехоты по стыку наших армий, как потом выяснилось, был только демонстрацией. В разгар наступления фашистское командование, под прикрытием тумана, бросило основные силы на тихий левый фланг, где стояли части Приморской армии и морской пехоты.

После артиллерийской подготовки, продолжавшейся два часа, на позиции морской пехоты двинулись тяжелые танки, самоходная артиллерия, моторизованная пехота на бронетранспортерах. Силы были неравны: один к шести в пользу врага. Пропорция эта не изменилась существенно даже после прибытия резервов из глубоко эшелонированной обороны.

Черноморцы буквально стояли насмерть. Вода в озерах кипела от разрывов бомб и снарядов. В море нарастал девятибалльный шторм, разгоняя густой туман, и матросы ясно видели двигающиеся на них серые танки с черными крестами на броне.

Блеснули первые выстрелы противотанковых орудий, под гусеницы полетели связки гранат, бутылки с зажигательной смесью. Три первых танка остановились, окутанные густым черным дымом. Из люков горящих машин стали выскакивать танкисты. Они катались по слякоти, пытаясь загасить огонь на одежде.

Мария, лежа за разбросанной копенкой камыша, крикнула Майбороде:

— Только не волнуйся, а то задрожит рука.

— Не задрожит!

Над степью стоял такой грохот, что снайперы не слышали своих выстрелов. Танки ползли, тяжело покачиваясь. Мария ловила в их броне щель, сквозь которую смотрел водитель, и, затаив дыхание, стреляла. Ей даже казалось, что она видит в смотровую щель холодный блеск вражеских глаз.

Вот закружился на месте головной танк. Он еще стрелял, но было ясно, что водитель убит, и танк дальше не пойдет, хотя мотор его ревел во всю мощь, выбрасывая из патрубков клубы черного дыма.

Матросы подползали к танкам, забрасывали их бутылками с горючей смесью. Машины вспыхивали высоким пламенем. Мария все чаще поглядывала на то, что

делалось вокруг подбитых танков, и сердце ее болезненно сжималось. Рука порой вздрагивала, и тогда пуля пролетала мимо танковой щели, черкнув рикошетом по броне. Мария кусала губы, старалась не смотреть по сторонам, туда, где падали мертвые матросы. С каждой минутой убитых становилось все больше и больше. Теперь они лежали по всему полю, протянув вперед руки, сжимающие автоматы и гранаты.

Но живые не прекращали боя, и могучее «ура», не стихая, катилось по полю. Одни матросы бежали в штыковую атаку, другие окружали танки, прорвавшиеся через наши окопы, забрасывали их бутылками и гранатами. Однако силы были слишком неравны, и ряды бойцов заметно редели.

Локти и колени Марии все глубже погружались в болото. Одежда промокла, но девушка не чувствовала холода, хотя лихорадочная дрожь пронизывала ее насквозь.

Наша пехота начала отходить. Вражеские танки, прорвав первую линию обороны, безостановочно мчались вперед, сворачивая к морю, где было больше озер и проходила грунтовая дорога на Евпаторию и Бахчисарай. Можно было подумать, что фашисты не раз бывали в этом краю и хорошо знали здесь все пути.

Из одного танка заметили снайперскую засаду. Танк круто развернулся и, стреляя, пополз прямо на камышовую копенку. Майборода тронул Марию за локоть:

— Отходи... Я сам его...

В этот миг они оба увидели, как из своей засады выскочил Вихорь и с разбегу вскочил на танк. Перегнувшись через башню, он размахнулся плащ-палаткой и закрыл ею смотровую щель. Ветер плотно прижал полотно к броне. Танк закрутился на месте.

Вихорь швырнул две бутылки с горючим в моторную часть и спрыгнул на землю. Танк вспыхнул, из верхнего люка выпрыгнули трое. Два немецких танкиста, а третий в штатском, с черной бородой и ярким шарфом на шее. Он первый поднял руки, испуганно замигал глазами, залепетал что-то.

— Предатель! Показывал дорогу!.. — воскликнул Вихорь и ударил его прикладом в грудь. Предатель зашатался и упал.

Немцы стояли с поднятыми руками, злобно поглядывая на своего проводника.

Майборода бежал к Вихорю, кричал:

— Не бей! Живыми веди!

— Знаю!

Мария огляделась.

Фашистские части прорвались у самого моря и полным ходом мчались вперед, оставив далеко за собой линию нашей обороны. Вслед за танками в прорыв пошли самоходные орудия, бронетранспортеры с пехотой. Прорыв фронта произошел там, где его меньше всего ожидали.

Генерал Ковалев радиограммой приказал морской пехоте немедленно выйти из боя и направиться на соединение с основными частями Приморской армии, указав маршрут движения. В радиограмме стояло слово: «Севастополь», которое вскоре разнеслось по всему полку, обжигая сердца матросов.

«Севастополь! Они пошли на Севастополь, чтобы взять его с хода. Как же это случилось? Севастополь! — эта мысль мгновенно овладела и Марией. — Ведь оттуда почти все войска ушли к Перекопу. Там много женщин, детей».

Почерневшее от шторма море было пустынно до самого горизонта. Ни дымка, ни мачты, только шторм ожесточенно бесновался на всем просторе, гоня в Крым густые холодные облака. В степи хлестал косой дождь, дороги становились непроходимыми, в грязи увязали машины, орудия, выбивались из сил лошади, урчали тягачи.

Это была трудная дорога. Всю ночь армия шла по степи, все время бойцы видели справа над морем далекие и близкие зарева. Горели Евпатория, Кача, вставали сполохи над Бахчисараем.

Армия правого фланга, по приказу командующего, отходила на Керченский полуостров. Впереди уже горели Джанкой, Старый Крым, Карасу-Базар.

На рассвете части Приморской армии подошли к Симферополю. После ночной бомбежки город еще горел, обваливались стены домов, по улицам стлался едкий дым, где-то громко кричали дети и плакали женщины. Не задерживаясь в Симферополе, войска двинулись дальше, на Севастополь. За ними потянулось население. Жен-

щины и дети шли за подводами, везли тачки, несли на плечах узлы с пожитками.

Отсюда на Севастополь вели две дороги: одна вдоль берега, через Ялту, вторая — через Бахчисарай. Части, шедшие на Бахчисарай, наткнулись на вражеские заслоны и, не приняв боя, который мог их задержать, стали пробиваться к Севастополю через горы.

Другие части двинулись на Ялту, но в горах их встретил огонь немецких автоматчиков. Фашисты обстреливали приморцев сверху, бросали на дорогу гранаты, каменные глыбы, ввели в бой минометы и горную артиллерию. Путь к Севастополю лежал сквозь огонь, но армия шла. Войска спешили в Севастополь.

Самойло Вихорь достал в обозе еще одного коня, и теперь они вместе с Колоском ехали верхом. Пленных танкистов Вихорь сдал на сборный пункт, а предателя вел сам, связав ему руки длинной веревкой, конец которой прикрепил к своему седлу. Выяснилось, что предатель — сын матерого кулака, высланного из Крыма. Для полной безопасности Вихорь отрезал у него все пуговицы, и тот, придерживая штаны, ласково улыбался на каждый вопрос моряка.

Вихорю это надоело, и он дернул предателя за веревку:

— Не скаль зубы, продажная шкура! Смотри, какие горы чудесные да море. За сколько же ты хотел продать все это Гитлеру?

Предатель молчал. Замолчал и Вихорь, задумавшись о чем-то своем. Его мысли прервал Колосок:

— Слушай, мичман, а тебе не страшно было там, на левом фланге?

Вихорь пожал плечами.

— Чудак ты! Когда же тут было о страхе думать! О Севастополе я думал!

— А мне было страшно,— признался Колосок.— Вначале я прятался в блиндаже, даже затыкал уши, а потом стало стыдно. Я лег в окопчик и стал стрелять. Трех фашистов убил. Честное слово! А когда танки начали гореть, фотографировал их. И тебя снял, когда ты один танк плащом прикрыл, а их троих в плен взял. Тогда уже не было страшно...

— Молодец! — похвалил Вихорь, — значит, не зря я привез тебя на левый фланг, будет что порассказать тебе

в редакции. Ты теперь приезжай к нам почаще. А когда будешь писать о нас в своей книге, — напиши, что нам не страшно было, а трудно. Очень трудно, труднее, чем на эсминце «Гроза», когда он тонул.

Колосок смотрел на мичмана, не мигая, ему хотелось запомнить каждое движение его лица. Может быть, удастся перенять хоть черточку этого матросского характера.

VII

Всегда шумный и оживленный дом Артема Громова сегодня окутала какая-то томительная дремота. В густом саду под Зеленой горой не стало слышно детского щебета и плача. Мария Богучар увела из домика своих шумных, говорливых матросов. Вскочив на попутные машины, они уехали на Перекоп. Зеленые и синие вагоны прямого пассажирского сообщения Москва — Севастополь стояли на запасных путях запыленные, пустые и немые. Все товарные вагоны и платформы ушли с матросами на Симферополь, только один маневровый паровоз сновал вдоль Южной бухты, хрипло и протяжно крича, словно звал кого-то.

Варвара закрыла ставнями свои и соседские окна, проверила, выключено ли в комнатах электричество, подлила воды в пожарные бочки и присела отдохнуть на крыльцо.

Радио и сегодня не принесло утешительных вестей. Бои шли под Москвой. Тяжко было блокированному Ленинграду. Варвара каждый день мыслями уносилась к сыновьям, спрашивала, что им надо, чем помочь. По вечерам перечитывала их старые письма и не могла понять, которому из них труднее. Оба, словно сговорившись, писали, что днем и ночью бьют фашистов, что им ничего не надо, и обещали после войны, если останутся живы, вернуться к ней, в Севастополь.

Она написала Сергею, чтобы дал знать о себе в Тулу, на бывшую Курковую улицу, где живет целое поколение оружейных мастеров Громовых, родственников его отца. Или на Ствольную, где живут ее сестры. Они свяжут ему шерстяной шарф, варежки и носки. Они сами приедут к нему и все привезут, если узнают, где он. Но сын не слушал ее советов, не берег, видно, своего горла, которое так часто болело в детстве.

Просила она и старшего, Ивана, надевать меховушку, помнить о давнишнем воспалении легких. Иван, посмеиваясь над этими советами, писал, что ему жарко даже в летней форме номер один. Варвара хорошо знала эту форму, матросы в Севастополе носили ее только в жару, а сейчас в Ленинграде зима.

В начале войны матери очень хотелось, чтобы сыновья служили в одной части, но теперь, когда кто-нибудь спрашивал ее о сыновьях, с гордостью отвечала: «Мои там, где всего труднее. В Москве и в Ленинграде — вот где они!»

Крым был отрезан от суши, письма теперь шли окольными путями, через Кавказские порты, и там долго лежали, ожидая своей очереди. Корабли ведь возили в Севастополь оружие, боеприпасы, продовольствие, и Варвара решила, что сейчас на Кавказе не до писем.

Она долго не могла уснуть по ночам, просыпалась перед рассветом и ждала, когда на кухне заговорит радио. Прижав к груди горячие ладони, она низко склонялась к репродуктору, подкрутив его до шепота, чтобы не разбудить сына и Артема. Варвара все время надеялась, что однажды утром услышит, наконец, хорошие вести о Москве, Ленинграде или о других фронтах. Тогда она, невзирая на ранний час, включит радио на полный голос и настежь распахнет дверь в спальню — пусть просыпаются все и слышат, как гремит голос из Москвы: Разгромили!.. Взяли!.. Наступаем!

Но и сегодня не слышно долгожданной вести. Грустит Варвара в саду. С ветвей абрикосовых деревьев свисает паутина. Ржавые листья каштанов осыпались на выгоревшую траву, но никто их не сгребает. Деревья сбросили свой наряд, засыхают стебли цветов, преет пожелтевшая трава. Не слышно в саду голосов, звонкого детского смеха, не доносится сюда по вечерам веселая песня. Сумрачный сад одичал. Варвара почувствовала себя одинокой еще в день отъезда Софии с ребенком. Тогда же ушла на фронт Мария Богучар с матросами, а вслед за ними дочь Люба перешла жить к мужу на береговую батарею. Если б все они снова собрались в саду!

Приоткрыв дверь на веранду, Варвара зовет мужа:

— Артем, пойдем на люди. Почему-то так сердце ноет.

— Пойдем, только ты оденься, — говорит Артем.

— А, верно, оденусь.

— Не жалей, надевай самое лучшее. Я давно не был в Севастополе. Пройдемся к Панораме, на Малахов курган, к Корнилову. У меня в голове все станки заводские гудят...

Они идут степенно, тихо, раскланиваясь со знакомыми. Артем в аккуратно отглаженных брюках и таком же кителе. Из-под форменной морской фуражки с якорем смотрит загорелое, чисто выбритое лицо. Варвара в нарядном платье; она с достоинством держит Артема под руку, а в левой руке несет старомодный ридикюль, не размахивая им, как это делают нынешние молодые женщины.

Навстречу и обгоняя их, с лопатами и кирками бегут подростки, девушки, спешат за город рыть окопы. Многие здороваются с Артемом, он отвечает едва заметным кивком, всякий раз говоря при этом Варваре: «Ученики мои. С Морзавода».

С Приморского бульвара им хорошо виден Малахов курган. Внизу поблескивает море, белеет ажурная колоннада Графской пристани. Артем вглядывается во взбудораженные штормом волны, в тяжелые свинцовые тучи, проплывающие над ними. Пустынно в море, тихо в небе, а где-то там, у Перекопа, идут кровопролитные бои. В саду гуляют матери с грудными ребятишками, играют дети. Артем замечает следы тяжелой усталости на всех лицах. Матросов и флотских командиров почти не видно, не заметно и пехотинцев. Прошли два морских летчика и полевой артиллерист с перевязанной рукой.

— Опустел Севастополь, — говорит Варвара.

— Так и надо. Все на Перекоп ушли, там, говорят, очень трудно, — раскуривает трубку Артем.

— Ты на Игоря накричи, а то я не слажу с ним. Утром грозился, что убежит на фронт. Хоть всю его одежду прячь, — жалуется Варвара.

— Где он сейчас?

— В школе. Они там учатся бросать деревянные гранаты, стрелять из мелкокалиберной... Зачем это все детям?

— Неверно рассуждаешь, старая. Пусть учатся. В Севастополе все может быть...

— В Севастополе? — Варвара обеими руками вцепилась Артему в плечо. — Ты думаешь, они и сюда придут?

— Я ничего не думаю, но война есть война, — Артем хотел подняться, но вдруг покачнулся и неожиданно упал на скамью.

Под ним содрогнулась и загудела земля. Взрыв огромной силы загрохотал над тихими парками и бульварами, воздушной волной ударил о скалы и покатил свой гром в море. Из рам со звоном посыпались стекла. Люди прижались к земле, со страхом глядя в небо. Но небо было чисто — ни вражеских самолетов, ни облачка от разрыва зенитных снарядов.

А взрывы нарастали с новой силой и накатывались со всех сторон, так, словно старые Крымские горы, извергая огонь, грозно шествовали к морю, стирая на своем пути курортные города, парки, портовые причалы.

Артем не сразу понял, что произошло. Постепенно освоившись с неслыханным до сих пор грохотом, он взобрался по крутым ступенькам на балкон Панорамы. Над всеми батареями береговой обороны были ясно видны высокие огневые вспышки. Громов внимательно вглядывался в Южную бухту, за которой стояла батарея его зятя Никиты Сереброва. Артем понял, почему грохот был оглушительным: береговая артиллерия с тех пор, как ее установили, ни разу не стреляла вся одновременно. На маневрах севастопольцы слышали выстрелы лишь отдельных орудий или стрельбу одной батареи, но вся вместе артиллерия заговорила сегодня впервые.

— Варвара, ты только не плачь, — ласково сказал Артем, вернувшись к жене. — Кажется, они прорвались. Это бьет вся береговая артиллерия. Иди домой, Варвара, а я на завод.

— Домой? Они прорвались в Крым, а мне домой? Как тебе не стыдно? Наша Люба на батарее...

— И Люба скоро вернется, и Игорь придет. Дома тебе легче будет,— и, дважды поцеловав жену в лоб, побежал к заводу. Варвара спустилась на Приморский бульвар.

Все машины мчались из города на Инкерман. Варвара топталась на перекрестке, просила подвезти ее на батарею Сереброва. Матросы и солдаты с удивлением осматривали седую женщину, недоумевая, пожимали плечами и мчались дальше. Уставшая от суеты, от грохота все нараставшей канонады, Варвара только под вечер добралась домой. У ворот на камне сидел Игорь. Увидев мать, он бросился ей навстречу.

— Где-то ходите, а я вас жду! Немцы прорвались, наступают на Севастополь. Теперь нельзя поздно ходить по улицам, а вы ходите. Уже приказ есть, и нам один принес. Читайте.

Упершись ладонями в забор, Варвара читала коротенькую листовку. Она была так утомлена, что буквы двоились, плясали у нее перед глазами.

Прочитав, Варвара постояла молча, покачала головой.

— Это хорошо, что всех врагов расстреливать на месте. Очень хорошо, — и она погладила Игоря по голове. — Бедненький мой, ты сегодня ничего не ел.

— Ого! Нас комендант накормил. Мы при нем вроде добровольной команды. У него бойцов мало осталось, все на Перекоп ушли...

Долго и томительно тянулось время, трудно было ожидать Любу и Артема. Уже и канонада начала стихать, а их все не было. Варвара, склонившись головой на стол, задремала, и когда Игорь разбудил ее, она не сразу поняла, что произошло в доме. В медной гильзе мигал фитилек, у стола стоял потемневший от пыли Артем.

— Только не волнуйся, Варварочка... Она жива, ногу немного задело...

— Что случилось? Ты чего пугаешь меня? — вскочила Варвара, но на крыльце послышались шаги, две женщины внесли в кухню брезентовые носилки и осторожно поставили их на пол.

На носилках лежала Люба.

— Почему у нас темно? Зажгите свет, — тихо простонала она.

— Любочка, доченька... — припала к носилкам Варвара.

— Спасибо вам, теперь мы сами, — выпроваживал женщин Артем.

Любу уложили в спальне, в головах поставили коптилку, чтобы раненая видела склонившихся над ней мать, отца, Игоря. Люба тихо всхлипывала, платком вытирая глаза.

— Я, мама, не о том плачу, что фашист мне ногу прострелил. Нога заживет. Кость ведь цела. Меня зло берет, что все так по-дурацки вышло. Мы же ничего не знали

о прорыве на Перекопе. Только батарея нашего Никиты стояла в Бельбекской долине. Другие морские батареи в глубине, у нас за спиной. Дайте мне водички, мама. Спасибо. Никита первый заметил танки, и первым же залпом мы подожгли три машины, они загородили дорогу другим. Те бросились в обход. Тогда Никита по радио передал координаты в штаб и на все береговые батареи. Спасибо им, они сразу же ударили с Херсонеса, с Мекензиевых гор, с Малахова кургана. Все в один квадрат. На батарее у нас были жены и других командиров. Они приехали к мужьям на выходной день. Ох, не могу вспоминать... Наш огонь встал перед фашистами железной стеной. Их остановили в долине, но наша батарея стояла ближе всех, они видели ее невооруженным глазом, и в тот же миг бросились на нас. Автоматчики заползали нам в тыл, окружали, но батарея стреляла. Матросы отбивали атаки, не прекращая огня. На батарее стало черно от дыма и пламени. Гранаты рвались возле порохового погреба. Мы, женщины, начали перевязывать раненых, подавать снаряды. При мне ослеп от разрыва мины заряжающий Щербак. Вы знаете его, такой кудрявый, у меня на свадьбе был. С аккордеоном. Он, слепой, не выпускал шнура из рук, пока я не увела его в блиндаж. Комендору Иванову оторвало обе ноги. Главстаршине Петрову — руку. Но батарея, мама, все равно стреляла. Я накладывала главстаршине жгут, чтобы кровь остановить, а в это время фашист ударил из автомата. Я не помню, как все произошло, видно, он подобрался сзади. Потом к нам пришла помощь, фашисты притихли, не рвались больше к Севастополю. Но они опять полезут, если не ночью, то на рассвете. А может, уже и начали. Батарея нашего Никиты первая увидела и остановила немцев. Это он, мама, только на свадьбе такой молчаливый был да застенчивый, наш Никита...

Зажав рот платком, Люба замолчала. На стене монотонно постукивал медный маятник, отбивая короткие секунды.

— Мы тебя, дочка, в морской госпиталь положим,— сказал Артем.

— Тесно сейчас в госпитале, а у меня рана легкая, — приподнялась на локте Люба. — Я не потому плакала, что нога. Я от злости, что все так по-дурацки вышло... И прорыв на Перекопе, и эта неожиданная рана.

VIII

Артиллерийский полк, которым теперь командовал Андреев, а солдаты попрежнему называли Богучаровским, ведя тяжелые бои, пробился через горы к ближним подступам Севастополя. Артиллеристы прошли по незнакомым горам, выстилая камнями и бревнами узкую дорогу, чтобы могли пройти гаубицы и тягачи. Бывало, что гусеницы тракторов свисали над ущельями, орудия едва не срывались в каменные бездны. Андреев до сих пор не мог опомниться от этого марша, не мог постичь, как ему удалось вывести полк к Севастополю. Теперь поход окончился и казался далеким, страшным сном. Андреев уже объехал все дивизионы, которые окопались на указанных штабом позициях. Проверил их боеспособность, побывал чуть ли не во всех окопчиках и землянках. Его поразило, что многие артиллеристы до сих пор были в летнем обмундировании. На его вопрос, где шинели и ватники, какой-то боец ответил «там» и безнадежно махнул рукой в сторону Перекопа. Заметив недовольство в глазах командира, боец растерялся и, указав на вкопанные и готовые к бою орудия, прибавил: «Но они-то тут, целые и невредимые. А нам не холодно, товарищ командир. Интендант Гаркуша нас каждый день греет». Бойцы, стоявшие вокруг, тихо рассмеялись.

Вызванный по этому поводу Гаркуша мигом очутился в землянке. Он сразу же стал расстегивать планшет, догадываясь, о чем пойдет речь.

— Где обмундирование? Почему люди раздеты? — спросил Андреев.

— Все учтено. Вот, — Гаркуша выхватил список и начал читать, сколько ватников, одеял, шинелей не хватает в каждом дивизионе.

— Спрячьте это! — крикнул Андреев и вплотную подошел к интенданту. — О чем вы думаете? Тут хоть и Крым, но не Ялта. Скоро морозы ударят.

— Так точно, — кивнул головой Гаркуша. — Я все оформлю актом. Вы должны подписать этот акт. Иначе мне на складах и пуговицы не дадут. Честное слово...

— Нечестное у вас слово, — Андреев решительно поднялся. Прошелся в дальний угол блиндажа, где стояли телефонные аппараты, помолчал и повернулся к Гаркуше. — Значит, напишем в актах, что при отступ-

лении от Перекопа мы едва ноги унесли. Так, мол, бежали, что и штаны потеряли? Ложь! Мы все орудия вывезли, ни одной винтовки не потеряли. Все солдаты выходили из боя в шинелях или в куртках. А вы подсовываете мне какие-то акты и списки. Хотите, чтобы я напомнил вам одесскую картошку, которую вы копали следом за атакующей пехотой?

— Разрешите пояснить. Вас, очевидно, неверно информировали. На Перекопе мы не оставили ни одной шинели, ни одной куртки. Это точно.

— А куда ж они делись? Побросали?

— Побросали?! — блеснул глазами интендант. — К чему такие шутки, товарищ командир? Ночью, когда шли через горы, бойцы подкладывали свои шинели под гусеницы тягачей, под колеса орудий. Дорогу ими устилали, чтобы орудия прошли. Я просил их хоть рваные привезти, да разве они меня послушают... Они и сами готовы лечь под колеса, только бы орудия прошли. Герои! — в волнении воскликнул Гаркуша и, вздохнув, добавил: — Только я не знаю, как написать об этом в акте. В инструкциях интендантской службы такого пункта нет.

— И хорошо, что нет такого пункта, а ты прибавь его. Так и напиши в акте, как все было, как сейчас мне рассказал. Может, этот акт когда-нибудь станут читать, как стихи. Пиши, Гаркуша, но чтоб мне завтра все были в шинелях и куртках. Будут или нет?

— Будут, товарищ командир! Для таких я с ног собьюсь, все склады обойду, а достану. Разрешите идти?

— Иди.

Гаркуша бросился к двери и чуть не сбил с ног Каюмова, который сбегал по ступенькам. Каюмов закрыл за ним дверь, потянул носом воздух.

— Ты что нюхаешь? — спросил Андреев.

— Березовым веником тянет. Опять ему баня была?

— Нет, Каюм, он молодец. А что у тебя?

— Матрос прибыл, тот, кого вызывали.

— Ну, как он?

— Боевой, товарищ командир. Радист с эсминца «Гроза». Сестру нашего полковника Марию Богучар знаете? В одном батальоне с ней служит. Только сейчас злится.

— На кого?

— На вас. За то, что забрали его оттуда, от дружков.
— Кем он там служил?
— Разведчиком.
— Хорошо, что разведчик. И что злой — хорошо. Позови его и сам останься здесь.

В блиндаж, насупясь, вошел хмурый Павел Грызлов. Подал Андрееву пакет, отошел к стене и встал как вкопанный. Андреев, читая вынутые из конверта бумаги, слышал прерывистое дыхание Грызлова, угадывал его настроение. Прочитав боевую характеристику, командир пригласил старшину сесть и подал ему только что открытую коробку папирос «Северная Пальмира» Они закурили и с минуту молча, с любопытством рассматривали друг друга.

— Выполнив задание, — начал Андреев, — вы, конечно, можете снова вернуться в свой полк морской пехоты. Мы же с вами соседи. Скоро у нас тоже будут свои радисты, но дело не в этом.

— Я не перебежчик, такой профессии не знаю, — неожиданно сказал Грызлов.

— Обстановка вам тоже известна, — продолжал Андреев, не обращая внимания на его слова. — Целых три дня, пока Приморская армия отходила от Перекопа, фашистов под Севастополем удерживала морская артиллерия. Теперь и мы встали на севастопольских рубежах, но фашистское командование успело подтянуть основные силы танков, пехоты, артиллерии, авиации... Они хотят взять Севастополь до Октябрьского праздника.

— Не выйдет! — сказал Грызлов и глубоко затянулся папиросой.

— Я тоже так думаю. Завтра и наш полк вступит в дело. Нам нужны свои глаза как на передовой, так и за передовой. Трех корректировщиков и рацию я уже послал. Очередь за второй рацией, с ней пойдете вы. Наблюдать за маневрами противника во время наступления, вычислять данные для наших батарей будет сержант Каюмов. Мне трудновато придется без него, но другого выхода нет. Высота, на которой вы расположитесь, очень ответственная. Эта высота контролирует все главные дороги, ведущие к Севастополю. Каюмов, вы слышали, что я сказал? Идите, садитесь ближе, — перешел на официальный тон Андреев.

Сержант присел на краешек снарядного ящика, и ему показалось, что все в этом блиндаже стало для него незнакомым и даже чужим: стол, нары, которые он сам мастерил, коптилка из снарядной гильзы, печка из бензиновой бочки. Голос командира стал тихим и официальным, слова доносились как по телефону.

— На случай, если рация выйдет из строя, у вас будут ракеты. Условные обозначения для ракет, код для рации получите в роте связи. Для налаживания рации и проверки даю вам час. Ровно в пять ноль-ноль вам надо быть на высоте, вот тут, — Андреев карандашом показал место на карте. — Каюмов знает дорогу. Мы были там вчера. Обстановку уточните попутно, в своем полку морской пехоты.

— Ясно,— сказал Грызлов. Морщинки на его лбу разгладились, лицо просияло.

— Приказ будет такой, — продолжал Андреев: — абсолютная маскировка, внимательное наблюдение, передача точных координат. Ни одного выстрела, ни в коем случае не ввязываться в бой, который обязательно разгорится вокруг. Каюмов знает эти законы. Это я вам говорю, старшина Грызлов. Поняли?

— Есть! — ответил Павел.

Они поднялись вместе с командиром полка и остановились посреди блиндажа.

— Ну, будь здоров, Каюмов, скоро встретимся, — Андреев протянул руку и заметил, как бьется жилка на виске сержанта.

Грызлов пожал командиру руку, и они с Каюмовым вышли из теплого, обжитого блиндажа.

Над горами лежало низкое южное небо, усыпанное большими звездами. Звезды блекли перед яркими вспышками трассирующих пуль и холодных мечей прожекторов, скрещенных над Севастополем. Павел Грызлов загляделся на пойманный прожекторами бомбардировщик, но Каюмов потянул его за рукав.

— Рота связи там. Идти надо напрямик.

— Пошли. Теперь ты мне братишкой будешь, — сказал Грызлов.

Тяжелая рация, запасные батареи к ней, автоматные диски, гранаты, бутылки с зажигательной смесью, продовольственный паек, две лопаты и кайло — все это хорошо разогрело Каюмова и Грызлова, пока они добра-

лись до полка морской пехоты. Около штабной землянки Грызлов наткнулся на Вихоря и подбежал к нему, обрадовавшись, так, словно они целый год не виделись.

— Вернулся! Вот красота! — закричал Вихорь. — В самую точку вернулся. Пойдешь со мной в разведку. Я, верно, под Бахчисарай пойду. Идем к комиссару.

— Не могу. Я сегодня в артиллерии, на высоту иду, буду по рации всем полком вам помогать...

Вихорь засопел.

— Значит, втравили. А я думал... С «Грозы» нас теперь горсточка осталась, да и тех разбирают. И смены нет. Командир полка сегодня убит. Комиссар один остался. В ротах редковато... Неужели контр-адмирал ничего не знает об этом?

На голос Вихоря из темноты вышла Мария.

— Чего бунтуешь? Иди уж да счастливо возвращайся. Мы с Майбородой тоже идем в засаду на передний край. Кто знает, где будет этот край завтра? До свиданья, товарищи, — сказала Мария и, взглянув на огненное зарево у моря, прошептала: — Опять Севастополь горит...

Пожав друг другу руки, приморцы разошлись.

Грызлов, попав в землянку комиссара Зеленцова и наблюдая, как комиссар инструктировал пятерых матросов, идущих в танковый заслон, понял, что Вихорь был прав — бойцов в полку осталось маловато. Даже среди этих пятерых, которые должны были преградить дорогу танкам, он знал только двоих — политрука Николая Фильченкова и матроса Василия Цибулько. Остальные трое были ему незнакомы.

Зеленцов держал раненую руку на перевязи. Рука была забинтована по локоть, сквозь бинты проступала свежая кровь. Черная с проседью щетина на подбородке резко оттеняла осунувшееся, бледное лицо. Грызлов подумал: «Когда ж его ранило? Утром рука была здорова. Значит, это днем, во время штурма высоты. Трудно им будет. Командир убит, комиссар ранен. Навстречу танкам посылают пятерых матросов. В ротах не густо...»

— Но высоты мы не сдадим, — закончил напутствие комиссар, — не имеем права сдать. Скоро подойдут резервы, а пока они появятся, вы будете первым и единственным заслоном. Я верю вам, политрук Николай

Фильченков, и вам, матросы Цибулько, Паршин, Красносельский, Одинцов.

Называя фамилии матросов, комиссар подходил к каждому, смотрел в глаза, пожимал руку. Попрощавшись, оглянулся на Каюмова и Грызлова:

— И они идут с вами, корректировщики из артполка. Счастливого пути, матросы.

В дверях комиссар задержал политрука Фильченкова, уходившего последним, и положил руку ему на плечо:

— Командование возлагает на вас большие надежды. Помни об этом, Николай. Не осрами черноморцев, сынок, — сказал он тихо, так, чтобы услышал его один политрук.

— Постараемся, — сказал Фильченков и вышел.

На топчане зашевелился полушубок, и из-под него выскользнул заспанный воспитанник полка Коля. С тех пор, как Вихорь вывел его из окружения под Одессой, мальчика оставили при штабе, в полку морской пехоты. Он чистил автоматы, набивал диски, был вестовым штабной роты. В полку строго выполняли приказ Багрова беречь мальчика, не пускать в бой. Но после Перекопа и тяжелого перехода через горы Коля все чаще стал намекать комиссару о разведке, снайперских засадах, а после вчерашней контратаки на высоту совсем осмелел и категорически потребовал послать его в роту разведчиков. Зеленцов прикрикнул на мальчика, сказал, что спишет его в тыл и отправит на Кавказ. Теперь Коля, словно ничего не произошло, снова принялся за свое. Он на цыпочках подошел к задумавшемуся комиссару.

— Николай Иванович, я вам горячего чаю принесу.

— А ты будешь пить со мной?

— Буду. Я все слышал, о чем вы тут говорили. Это хорошо, что вы назвали политрука сыном. Они в полку часто вас отцом называют. Сам слышал. Эти выстоят! Жаль только, что Самойла с ними не будет...

— Какого Самойла?

— Вихоря моего, он в Бахчисарай ушел, а меня не пустили... Когда же вы меня пустите, Николай Иванович?

— Беги за чаем, и чтоб я не слышал больше этих разговоров. Понял?

— Понял, — мальчик забренчал чайником, немного постоял у двери и, громко вздохнув, вышел.

IX

Поздно вечером, когда внутренние полосы газеты «Черноморец» шли в машину, а первая и четвертая верстались в ожидании сообщения Советского Информбюро, Колосок садился за свой дневник, чтобы записать, как он говорил, «по горячим следам», хотя бы самое главное. В толстую конторскую книгу, разлинованную на «дебет» и «кредит» и обрезанную так, чтобы можно было класть ее в полевую сумку, он вначале вписывал краткие данные о людях, которых фотографировал. Потом он стал писать о своей тоске по родному дому на берегу Азовского моря, жаловался на стычки с редактором и вообще записывал только одному ему понятные и близкие мелочи. Но после боев у Перекопа на знаменитом левом фланге записи в дневнике Колоска резко изменились. Все личное, интимное постепенно исчезло, заменилось описаниями встреч корреспондента с фронтовиками и мирным населением Севастополя. Эти встречи были так разнообразны, что Колосок часто путался в своих записях. Записывая свои наблюдения, он вновь переживал их. Сегодня, как и всегда, прежде чем сесть за дневник, Колосок долго ходил по своей лаборатории, расположенной в подвале редакции, рассматривал снимки и, наметив по ним содержание очередной записи, закурил трубку и присел к столу.

«Я пишу этот журнал для себя. Если останусь жив, буду по этим записям рассказывать людям о Севастополе. В памяти все равно всего не сохранишь. Товарищ Ленин сказал как-то в одной из статей, что лучшая память — это карандаш. Хорошо сказано. Вот я и решил записывать. Кое-кто из товарищей подсмеивается. Пусть смеются, теперь я больше им ничего не прочитаю и не покажу. Отдам фотографии, сделаю под ними подписи — и снова на фронт. Как трудно в двух-трех словах написать о Марии Богучар, Самойле Вихоре или Никите Сереброве! Это же настоящие герои! Вот почему подтекстовки к фото у меня всегда выходят очень длинными, и кое-кто издевается, что я вместо подтекстовки вписываю под снимками отрывки из своего дневника. Пусть издеваются, но наступит такое время, когда все будут спрашивать меня, какая погода была в такой-то день, что случилось в Севастополе в такую-то ночь, как звали та-

кого-то матроса, откуда он родом. Все может быть, и я пишу...

Мне сейчас чуточку грустно. Через несколько дней великий праздник Октябрьской революции, а у нас, кажется, и корабли не выйдут на парад, пристань будет пуста, не засветятся окна на Корабельной стороне. Просто не верится, что ты уже не сможешь поехать домой, не сможешь ни позвонить туда по телефону, ни письма написать.

Сегодня меня спрашивали летчики на аэродроме, матросы и артиллеристы в капонирах — будет ли парад на Красной площади? Будет ли торжественное заседание в Москве? Они спрашивали меня как представителя редакции, и я не мог им ответить. А кто мог бы? Я промолчал. Тогда они сами уверенно заявили, что они уже наладили радиоприемники и будут слушать передачу из Москвы, если не начнется новое наступление немцев. Но я думаю, что наступление обязательно начнется, пленные рассказывают, что есть приказ Гитлера взять Севастополь к октябрьским праздникам. Эту новость принес один разведчик из полка морской пехоты. При этих словах вскочил Самойло Вихорь, дремавший в углу, и выразился об этом наступлении так, как не выразился бы ни один старорежимный боцман.

Я не могу сказать, где сейчас труднее — на фронте или в самом Севастополе. По городу бьет дальнобойная артиллерия. Мы не успеваем разбирать завалы. Если б я показал свои фотографии, на которых засняты севастопольские руины, кажется, и камень застонал бы. Но я их никому не показываю, пусть лежат, может, когда-нибудь сдам их в музей. Надо обязательно пойти в политуправление и объяснить, что негативы моих снимков могут сгореть при бомбежке, и тогда пропадут все следы. Пусть лучше их постепенно вывозят на Большую землю вместе со штабной почтой. Я потом все разберу и систематизирую.

Вчера я окончательно убедился, что после прорыва на Перекопе Севастополь спасла береговая артиллерия Черноморского флота, а сегодня об этом написал в газете генерал Ковалев.

Я хорошо знал эти батареи еще до войны. Побывал на них и теперь. Более трехсот снарядов и несчетное количество мин выпустили фашисты по батарее Сереброва

за один день. Я осматривал орудийные котлованы после обстрела. Они были завалены каменными глыбами, цементом, землей. Вся позиция батареи была изрыта воронками. Казалось, ни одно орудие не может уже стрелять. Я все это заснял... Всю ночь офицеры и матросы не спали, расчищая котлованы от завалов, заменяя в орудиях разбитые детали, готовя батарею к бою. В восемь часов утра — в час, когда все корабли поднимают флаги, батарея открыла огонь по врагу, хотя фашисты, по показаниям пленных, считали ее погибшей. Жаль, что нельзя написать об этом в газете и приложить два фото: какой батарея была вечером после обстрела и какой стала утром, вновь открыв огонь.

Я знаю еще батарею, тоже не пустившую фашистов в Севастополь. Она была установлена еще в 1915 году на высоком берегу для охраны входа в бухту. Двадцать шесть лет простояла она, повернув свои грозные стволы к морю. Когда батарею устанавливали, не думали, что ее придется поворачивать в сторону суши. Некоторые авторитетные специалисты утверждали, что вообще это сделать невозможно. Но командир батареи, когда над Севастополем нависла угроза, опроверг эти утверждения. Он повернул батарею к суше, и она преградила путь фашистам стеной огня.

Сожалею, что я опоздал на тральщик, который ходил снимать и перевозить на другой рубеж матросов и офицеров батареи Сереброва, окруженной с трех сторон и прижатой к морю.

Батарея выполнила свою задачу, и оставлять ее в тылу у врага было безумием. Я опоздал, но командир тральщика рассказал мне, как он снимал артиллеристов. Семибалльный шторм подбрасывал тральщик, как перышко, и все матросы шли по шею в воде. Два моряка, шедшие последними, несли на носилках тяжело раненого, потерявшего сознание Сереброва. Батарея все еще продолжала стрелять, и командир тральщика не отдавал команды отходить. По тральщику уже били фашистские минометы и крупнокалиберные пулеметы. Тогда один из моряков сказал: «Те уже не придут. Они остались прикрывать нас». Артиллеристы сняли бескозырки, и слезы замерзали на их обожженных щеках. На батарее остались их политрук и два комсомольца. Тральщик уже зашел за гору, а батарея все еще продолжала стрелять из

одного орудия. Слезы сдавили мне горло, когда командир тральщика рассказывал об этом. Какие они герои! А в газете о них не написали. Говорят: их батарея — военная тайна. Может, и правда, что сейчас о них нельзя писать, а очень жаль. Люди так и не узнают о политруке и двух комсомольцах. Даже фотографий их нет...

Я смотрю на другие фотографии, которые стали мне дороги. Каждое лицо надо разглядывать в лупу. Это бойцы народного ополчения, ушедшие на фронт. Среди них много девушек-санитарок. Я фотографировал их во дворе военкомата, как только они получили оружие. На другом снимке бойцы истребительного батальона. Я снял их на марше, когда они уходили на фронт по Лабораторному шоссе. Из тихих домиков к ним выбегали дети, женщины, протягивали им папиросы, еду. Я снимал с дерева. Вот группа севастопольских ополченцев. Многих я знал еще до войны, но теперь смог узнать не всех — так они изменились на фронте. А они все узнают меня, как только я появляюсь на передовой, окликают, как старого друга, расспрашивают, что в Севастополе. Какую улицу разбомбили в эту ночь, какой район обстреливала дальнобойная. Просят передать записку жене и детям. Мне каждый день приходится бывать не в одном полку и не на одной батарее. Каждую ночь появляются все новые и новые герои, которых надо показывать в газетах, всем войскам и мирному населению. Тот глубоко ошибается, кто думает, что фотокорреспондент не бывает там, где стреляют и рвутся снаряды. В начале войны я тоже так думал, пока не побывал на левом фланге у Самойла Вихоря. Теперь меня в полку морской пехоты принимают, как родного.

Недавно по заданию редакции я ездил в Инкерманские штольни, в так называемое подземное царство. Тут, в каменных пещерах, справа и слева от дороги, расположился большой подземный город. Заводы, цехи, базы, склады, детские сады и школы, общежития, госпитали, столовые, почта и телеграф. Своды в штольнях высоченные, внутри можно поместить трехэтажный дом. От потолка до поверхности земли стометровый слой камня. Бомбы и снаряды не пробивают его. В цехах изготовляют мины и минометы, гранаты, ремонтируют гаубицы и танки, делают лопатки и ножницы для саперов, противотанковые и противопехотные мины, шьют зимнее и лет-

нее обмундирование, обувь, белье. Мужчин почти нет. У станков одни женщины и дети. Они принимают заявки от интендантов, быстро выдают готовую продукцию. Только в оружейном цехе я видел нескольких мужчин с Морзавода. Они берут в ремонт оружие, но чинят его все равно девушки под их наблюдением.

В одном из отсеков я услышал школьный звонок. Это была подземная школа, и я попал как раз на большую перемену. Ученики вместе со своими семьями живут в штольнях, а те, у кого погибли родные,— в хорошо оборудованном общежитии. Ко мне подбежал вихрастый мальчуган и сразу же забросал вопросами: что делается сейчас в Севастополе и особенно на Минной улице, далеко ли отсюда передовая, скоро ли выгонят из Крыма фашистов? Потом он вздохнул и пожаловался: «Каждый день арифметика да арифметика, хоть бы раз повезли на передовую. Один шофер, который ездил на зеленом «газике», обещал подвезти. Я целую неделю жду, а он все не приезжает. А может, его убили, он ведь снаряды возил...»

Милые, хорошие дети! Я так хотел сфотографировать их, но у меня не было с собою магния, а при электрическом освещении аппарат не берет. Дети в штольнях не слышат, как у них над головой рвутся бомбы и снаряды. Здесь им не грозит опасность. Несколько часов, проведенных в штольне, успокоили мои до предела напряженные нервы. Впервые за войну я услышал здесь девичью песню. Под ровный однотонный шум швейных машин пели белошвейки, и я записал две строчки этой песни: «Ты приди, приди — не бойся, приголублю, приласкаю я тебя...»

На этом я должен поставить точку, меня срочно вызывает редактор. Верно, опять кому-нибудь из матросов присвоили звание Героя Советского Союза, и срочно нужен его портрет».

X

Прошло десять часов с тех пор, как Грызлов и Каюмов распрощались с пятью моряками. Те засели под каменным выступом высокой скалы в неглубоком овражке за крутым поворотом дороги, огибающей горное плато над Бельбекской долиной. Когда над горами проплыли

низкие снежно-белые облака, Павел Грызлов внимательно осмотрел все вокруг.

Перед ними лежала долина, покрытая садами, сквозь которые в двух местах просматривалась широкая асфальтированная дорога. По этой дороге к Севастополю подходили фашистские резервы и скапливались в садах, готовясь к штурму. Эта дорога и сады стали объектом внимательного наблюдения двух артиллеристов.

На флангах они видели извилистые линии окопов морской пехоты, камни, кусты горного дубняка, под которыми притаились наши пулеметные гнезда. В окопах было мертво, словно пехота спала крепким сном. Потом Грызлов заметил, как по ходам сообщения, низко пригнувшись, пробежали два бойца в касках.

— Что видишь, Каюмов? — спросил Грызлов.

— Дорогу вижу, сад вижу, — не отрываясь от стереотрубы, ответил Каюмов. — Мотоциклист немецкий проехал, вижу. Легковая машина прошла на Бахчисарай.

— Мало, — вздохнул Грызлов.

— А ты что видишь? — спросил Каюмов.

— Полундру. Не густо в наших окопах, резервы не подходят.

— А матросов наших видишь? — снова спросил Каюмов.

— У матросов порядок, с ними политрук Фильченков. Они сидят вон за тем каменным овражком и ждут своей рынды.

— Рынды?.. А что такое рында? — пожал плечами Каюмов.

— Колокол такой на корабле. Ударит — начинай работу...

— Якши рында, — улыбнулся Каюмов, еще теснее прижимаясь к окулярам стереотрубы.

В узеньком окопчике, который они выкопали за ночь, было тесно. На обоих флангах уже гремела артиллерия, рвались мины, снаряды. Прошла первая волна вражеских бомбардировщиков, предвещая новый штурм Севастопольского оборонительного района. В горах прокатился громовый удар, и Грызлов догадался: вступили в бой корабельные орудия главного калибра.

Перед Балаклавой взвились в небо столбы дыма и земли. Значит, корабельная артиллерия била туда; верно, где-то там фашисты старались прорваться через село Ко-

мары к Сапун-горе. Потом загремело слева, в районе совхоза имени Перовской. Грызлов отчетливо видел, как над столбами дыма взлетали искалеченные ветки виноградных лоз.

— Мой аппарат готов, Каюм, — горячее дыхание Грызлова обожгло Каюмову затылок; рация тонко засвистела.

— Танки вижу, — встрепенулся Каюмов. — Передавай: танки и мотопехота в садах Бельбекской долины. Квадрат пятый, плюс ноль три. Они прятались за домами и теперь выезжают. Ты слышишь, Грызлов?

— Слышу. Нас уже и командир полка услышал, — бросил Грызлов, передавая кодом первую радиограмму в артиллерийский полк.

— Слушай выстрел! — не отрываясь от окуляров, крикнул Каюмов.

— Слышу выстрел,— ответил Грызлов и инстинктивно пригнулся.

Над головой просвистел снаряд и разорвался за селом, где находились фашистские танки и мотопехота. Второй снаряд разорвался в Бельбекской долине над дорогой. Площадь между этими двумя разрывами и была местом сосредоточения вражеских войск для атаки.

— Вилка есть, — четко сказал Каюмов.

— Вилка, — передал по радио Грызлов.

— Накрываю, — долетел в наушники далекий голос Андреева. Грызлов передал эти слова Каюмову, и сразу над высотой словно затих штормовой ветер. Собственно, он не затих, но его заглушили новые разрывы. Быстро мчались на запад свинцовые тучи. Удалялся грохот корабельной артиллерии, которая с моря била по полуострову. Над головами корректировщиков тяжело зашумели снаряды родного артполка. Казалось, они пролетали над самым окопчиком, едва не касаясь короткой антенны, она гнулась от ветра и тонко посвистывала. Каюмов подумал, что это не антенна, а воздух, пронизанный сотнями снарядов, запел родным, знакомым только артиллеристу голосом. Его словно обдало горячей волной, согретой теплом раскаленных стволов.

Укрытая садами долина, асфальтированная дорога, татарские домики из ракушняка — все потонуло в дыму. Огневой налет обрушился на голову врага. Их танки и

бронетранспортеры бросились назад за дома, покатились с дороги в пропасти, расползлись по садам, но огонь полка нарастал с каждой минутой, густо покрывая разрывами всю площадь. Каюмов с увлечением наблюдал сквозь линзы мастерскую работу наших артиллеристов и выкрикивал Грызлову новые данные. Грызлов повторял эти данные в микрофон, каждый раз прибавляя без кода одно только слово: «красота». Но скоро в грохоте его голос начал слабеть и как будто удаляться. Каюмов все чаще оглядывался на рацию, передавал Грызлову вырванные из блокнота листочки, на которых записывал новые координаты и расчеты.

Над их высотой стоял такой гул, что они давно охрипли от крика и вынуждены были переговариваться жестами либо цифрами и словами, написанными на клочках бумаги. Фашистская артиллерия открыла массированный огонь по нашим окопам и по высотам, господствовавшим над Бельбекской долиной. Снаряды рвались методично, накрывая всю широкую полосу, по которой проходила наша оборона.

Вдруг в окулярах стереотрубы блеснуло желтое пламя. Каюмова ударило в грудь, и он тяжело стукнулся головой обо что-то острое. Перед глазами поплыла золотая полоса, в ушах часто-часто зазвенело, и Каюмов почему-то подумал: рында звонит. Вот она оторвалась от перекладины, упала на землю и накрыла Каюмова своим медным колпаком. Под рындой Каюмову трудно дышать, в глухой тьме он ничего не видит, а железный язык все ударяет, бьет о медные стены, оглушает.

Каюмов не слышит, не видит, как стонет бледный Грызлов, стягивая зубами окровавленный бинт на правой руке. Левой он то включает, то выключает рацию, с отчаянием глядя на стрелку вольтметра. Стрелка не колышется, рация молчит, снаряды уже рвутся вокруг высоты, все приближаясь к окопчику.

«Засекли блеск стереотрубы», — думает Грызлов и ухом прижимается к груди Каюмова. Жив. Едва слышно бьется сердце. Сердце бьется. Грызлов брызгает на товарища водой из фляги, дает ему понюхать нашатырь, и Каюмов медленно открывает глаза, изумленно озирается, не узнавая, где он. Лицо у него желтое, бровь все время подергивается, он хочет что-то сказать, шевелит губами, но слов не слышно.

— Каюм, что ж нам делать? Танки лезут, рация молчит, — и, показав на батареи питания, Грызлов провел ребром ладони по горлу.

Каюмов слабо подался к товарищу, прикоснулся рукой к кобуре его пистолета. Грызлов отшатнулся: «Что ты надумал, Каюм? Пустить пулю себе в лоб? Не дождутся они...» — подумал моряк и спохватился.

— А-а-а! Ракеты! — воскликнул он и, выхватив ракетницу, быстро начал вставлять в нее ракету с красным ободком. Каюмов весь встрепенулся, бровь опять задергалась, и он так широко открыл глаза, что Грызлов остановился.

— Что, Каюм? Не та ракета? Может, эта? — он протянул ракету без ободка.

У Каюмова часто задрожали ресницы, словно он чего-то испугался.

— Тогда, может быть, эта? — показал Грызлов ракету с зеленым ободком.

Теплый свет разлился по лицу Каюмова, он быстро зашевелил губами.

Грызлов загнал ракету в патронник и выстрелил. Серый дым разорвался в небе, расцвел зеленым цветком, из которого брызгами посыпались яркие лепесточки.

— А-а-а! — неожиданно закричал Каюмов.

— Понимаю, браток, все понимаю, — Грызлов схватил бинокль и замер на каменном бруствере окопа. Он увидел немецкие танки, которые вырвались из долины и мчались по открытому полю на наш правый фланг, где был стык морской пехоты со стрелковым полком. С молниеносной быстротой Грызлов припомнил все условные знаки ракетных сигналов и послал в небо одну за другой красную и зеленую ракеты. Разрывы снарядов в долине стали реже. Заметив ракеты, артиллеристы перенесли огонь на правый фланг, преградив дорогу танкам.

Грызлов поднял Каюмова и, обняв его за плечи, помог облокотиться на бруствер, показал в бинокль панораму боя. Каюмов застонал. Фашисты уже в двух местах прорвали оборону. Их танки проскочили к горе, под которой сидели пять матросов.

И матросы начали неравный бой с группой танков, которые пытались выйти на Севастопольскую дорогу. Бой продолжался около двух часов, но его не видали артиллерийские наблюдатели — раненый Грызлов и конту-

женный Каюмов. Выступ скалы прятал от них клочок родной земли и пятерых матросов.

Наконец они увидели, что четыре немецких танка повернули назад, не выдержав напора моряков.

Прошло еще несколько часов. Снова показались танки. Теперь их было пятнадцать. По три на каждого матроса. Каюмов и Грызлов с ужасом думали о том, что происходит сейчас под скалой.

Вдруг до них долетело далекое раскатистое «ура». Это наша пехота, получив, наконец, новое подкрепление, под прикрытием артиллерии, танков и бронемашин бросилась в контрнаступление. Морской полк, пополненный двумя свежими батальонами матросов, двинулся на фашистские позиции и стремительным ударом захватил первую линию вражеской обороны.

Наше наступление успешно развивалось, и артиллерийским разведчикам уже нечего было делать на высоте. Они начали спускаться. Грызлов ступал тяжело, поддерживая Каюмова.

— Тебе больно, Каюм? — замедлив шаг, спросил он.

— Мутит меня очень,— тяжело дыша, ответил Каюмов.

— Это тебя воздушной волной контузило. Спустимся в долину.

— В долину... там, где матросы... — шептал Каюмов.

— Молчи, Каюм...

— Разве они погибли?

— Не знаю. Я ничего не видел...

Под горою Грызлов опустил Каюмова на плащ-палатку, укрыл шинелью и, прихрамывая, побежал к обгоревшим танкам.

На скользком шоссе зияли свежие страшные следы жестокого поединка. Как мертвые змеи, вытянулись посреди дороги сбитые гусеницы танков. Между ними лежала одинокая бескозырка. Холодный ветер равнодушно трепал ее муаровые ленточки, на которых ослепительно сверкали золотые якоря. Гладкий асфальт был сплошь изрыт снарядами, иссечен ливнем крупнокалиберных пулеметных очередей. Живого места не увидел Грызлов на этой земле.

В овражке за каменным выступом, где была позиция матросов, лежали аккуратно сложенные пять банок мясных консервов, нетронутая солдатская буханка хлеба,

две надкусанные воблы и пять румяных яблок. На каждого — по яблоку.

Грызлов услышал за спиной сигнал грузовика и оглянулся. К нему бежал Зеленцов, спрыгивали с грузовика матросы. Но, узнав Грызлова, комиссар вдруг остановился на полдороге и тихо, с досадой, ни к кому не обращаясь, сказал:

— А-а, это ты, Грызлов? А я думал...

Матросы подбежали к обгоревшим танкам и возле камня увидели окровавленного Василия Цибулько. Он тихо стонал, а когда его подняли и уложили на плащ-палатку, медленно открыл глаза, непонимающим взглядом обвел матросов.

— Ты узнаешь меня, Цибулько?! — склонился к нему Зеленцов.

— Узнаю-ю, — одними губами прошептал матрос.

— Мы уже наступаем! — сказал комиссар.

— Не могу.— Цибулько хотел приподняться на локте, но не смог. Бойцы осторожно приподняли его на плащ-палатке, и он увидел, как из-за горы по широкой асфальтированной дороге шла на фронт свежая пехота.

Военфельдшер осмотрел Цибулько, послушал пульс и, безнадежно опустив голову, пошел к Каюмову. Комиссар поднял руку, и матросы расступились, стихли.

— Говори, сынок, — просил комиссар. Рядом с ним стояла Мария Богучар, и Зеленцов, услышав, как часто она дышит, вот-вот готовая разрыдаться, отстранил ее рукой.

С моря надвигался холодный ветер, в долине стихли последние выстрелы. Тяжелые тучи низко плыли над горами, заволакивая мутной мглой дальние вершины. Приземистый дубняк шелестел на ветру оголенными ветвями, качался краснолозый шиповник. Над горами, чуя кровь и мертвецов на земле, взвились большие птицы, неизменные спутники боя. Жизнь шла своим чередом, а на руках у черноморцев умирал матрос Василий Цибулько, и ничто уже не могло его спасти.

— Вы идите... Я один, — заговорил он, пересиливая смерть. — Мы не пустили их... Паек в окопе заберите...

Он произносил каждое слово так, словно вспоминал что-то далекое и давно забытое. Потом его голова безвольно склонилась набок, и он закрыл глаза.

Комиссар влил ему в рот несколько капель воды из фляги. Цибулько опять открыл глаза, взглядом поманил

к себе комиссара. Зеленцов склонился к нему и услышал последние слова матроса:

— Напишите матери в Чернигов...

Моряки опустили на асфальт плащ-палатку с телом Цибулько. Под горой стало так тихо, что слышно было, как в море гулял свирепый шторм и где-то на крутых подъемах буксовали грузовики.

Матросы прижали к плечам винтовки и автоматы. В мутное небо ударил троекратный салют, громкое эхо пробежало по ущельям, и в мертвой тишине, наступившей после атаки, его услышали все соседние полки и батальоны.

К матросам, ничего не зная о гибели пятерых черноморцев, летел на коне воспитанник полка Коля. Он грудью прижимался к шее коня и радостно выкрикивал что-то, размахивая бескозыркой. Дерзость мальчика, самовольно прорвавшегося на передовую, удивила даже матросов. Зеленцов недовольно поморщился. Коля подлетел к ним на полном аллюре, мигом осадил взмыленного коня. Он был так взволнован скачкой, что даже не заметил мертвого Цибулько. Весело козырнув, мальчик четко отрапортовал:

— Товарищ комиссар, вам телефонограмма. Приказано всем частям сегодня слушать по радио Москву. Завтра ведь праздник Октябрьской революции!

Комиссар вытер платком вспотевший лоб. Он знал об этом еще утром, но его взволновал поступок мальчика. Зеленцова радовало, что у него такой непоседливый и разбитной юнга. А Коля уже ластился к комиссару, без умолку тарахтя:

— Я коня у интендантов самовольно одолжил, чтобы сразу сообщить вам эту новость. Вы скажите интендантам, что я коня для дела взял, если они будут жаловаться на меня. Скажете?

Зеленцов задумчиво, широко открытыми глазами смотрел вдаль, жесткой, потрескавшейся ладонью нежно гладя белокурые, мягкие детские волосы.

XI

Сегодня Мария Богучар впервые надела новую форму, сшитую еще в Одессе. Добротная гимнастерка, тельняшка, узкая юбка, хромовые сапожки. Девушки-

связистки, с которыми она жила в землянке, вертели Марию во все стороны, старались, чтобы все сидело на ней «как влитое», и поэтому долго не отпускали из землянки.

За дверью покашливал Яков Майборода, намекая, что Марии давно пора быть готовой. Наконец, когда синий берет был прилажен на непослушных косах и в землянке запахло духами, девушки выпроводили Марию, пожелав ей весело встретить праздник. У порога Мария остановилась.

— Возьму плащ-палатку, может, дождь будет.

— Не будет дождя. Близко тут...

— В палатке удобнее как-то... А то подумают еще — вырядилась.

— И правильно, пусть думают, на то и праздник. Ты в этой форме, словно курсант, а нацепишь плащ-палатку — и все испортишь.

Но Мария все-таки взяла плащ-палатку. Новая форма с непривычки казалась тесной, неудобной. Скрипучие сапожки сковывали ноги, жали в пальцах. Перед зеркалом все казалось красивым, а вышла из землянки — стало как-то не по себе. Может, вернуться, надеть свою будничную форму, ту, в которой ползала по горам. Яков Майборода загородил ей дорогу.

— Кого я вижу! — воскликнул он. — Ну, чисто выпускник Ленинградского морского училища. Только на рукава немного золота прибавить, на грудь ордена — и полный порядок.

— Оставь, Яша, — Мария накинула плащ-палатку.

— Зачем оставлять? Мы идем в полк, на праздник и будем представлять там всю роту. Я тоже надел мичманскую форму, правда, не свою, но думаю, что Вихорь на меня не обидится. Чем я не мичман? — покрутился Майборода перед Марией.

— А знаешь, Мария, скажу тебе по секрету — он любит тебя, — выпалил Майборода и сам испугался своих слов.

— Кто?

— Вихорь. Самойло...

— Не говори глупостей.

— Ей-богу, любит. Во сне тебя зовет... Я все слышу.

— Как тебе не стыдно? Снайпером уж стал, а в голове все ангелы порхают.

— Почему мне должно быть стыдно? Мы живые люди. Я, конечно, на мичмана не равняюсь, у меня своя судьба. Рыжий — раз, побитый оспой — два, ну, а что курносый — это всем видно. Меня девушки не любят...

— А кто же это по вечерам кашляет возле нашей землянки?

— Кашляет? Ну, знаешь... Мало ли кто кашляет... Теперь поздняя осень, разные там гриппы пошли. Кашляет себе человек, ну и пусть. Я серьезно о мичмане, а ты — о кашле.

Мария не слушала его.

— Под Одессой мы вместе с Вихорем были. И Шагайда часто с эскадрой приходил... А теперь обоих нет. Один где-то под Бахчисараем, может, на волоске от смерти, другого в море торпедоносцы и подводные лодки подстерегают.

— Я думаю, что придется нам все-таки искать гадалку, пусть она бросит карты на бубнового и червонного королей. Не согласна? Тогда можно объявить приказ по роте. Хотя напрасно все... Сердце приказов не слушает, даже если их подпишет сам контр-адмирал Багров. Но ты, Мария, не падай духом. Я думаю, скоро оба мичмана постоянно будут с нами. Так что разберемся и без гадалки, и без приказов. А до тех пор, можешь быть уверена, я поставлю свой язык на мертвый якорь. Все. Точка.

— Легко мне с тобою, Яшенька. Словно с подругой. Еще чего доброго начну тебе и сны свои рассказывать, — тихо засмеялась Мария.

В лицо дул холодный западный ветер, гнал густые облака, и Мария подумала, что они мчатся к ней из родной Одессы, где остались родители. Каждый год в этот вечер Богучары расходились по торжественным собраниям — в Оперный театр, на завод, в университет. Слушали по радио Москву. Всем было уютно и радостно в эти праздничные вечера. Корабли на рейде расцветали всеми огнями. В парках и садах было тесно. Надев нарядное платье, Мария с подругами ходила по набережной, окруженная матросами. Утром загоревшие, веселые матросы проходили в колоннах демонстрантов по городу к Куликову полю, и осеннее солнце грело их по-весеннему. Мария с восхищением всматривалась в ровные ряды краснофлотцев, которые церемониальным маршем

проходили через площадь, узнавала среди них Вихоря и, зардевшись, шептала подругам: «Вон он, правофланговый...»

И девушке вдруг захотелось надеть в этот вечер нарядное платье. Надеть и прийти на командный пункт полка, где сидят по два представителя от каждой роты, те, кто больше всех отличился в сегодняшнем бою. Они все посмотрят на Марию и вспомнят своих жен и невест. Может, от этого им станет легче в торжественный час, после неравного, но победоносного боя.

Майборода не выдержал долгого молчания.

— Может, воды в рот наберем, Мария? Наберем и посмотрим, кто дольше промолчит.

— Ой, Яшенька, замечталась я... Прости.

— Замечтаешься, когда сразу два мичмана.

— Ты замолчишь, наконец? Вот уже штаб полка. Застегивай свою душу на все пуговицы, — скомандовала Мария.

В ходах сообщения, ведущих к блиндажу командного пункта, тихо разговаривали матросы. Мария с Майбородой подошли к ним.

— Привет снайперам! — послышался из темноты веселый голос.

— И особо — первой девушке из нашего полка,— пробасил другой.

— Когда же вы к нам, в третий батальон? Фашистский снайпер три дня головы не дает поднять.

— А где же ваши снайперы? — спросила Мария.

— Наши еще в колыбельке. Приходите вы...

Кто-то громко вздохнул. Охрим Бандура раздраженно сказал:

— Не растравляй хоть ты, и так болит... Под танки бросаемся, самолетов не хватает, а твои снайперы все в люльке. Гитлер лезет к Севастополю, руки ему надо отрубить, а твои снайперы в люльке!

Матросы зашевелились, докуривая папиросы. Мария заметила у многих на руках и головах бинты, кое у кого небритые бороды. Матросы не шутили в этот вечер, не перебрасывались остротами. Печать нечеловеческой усталости лежала на их лицах. Все они пришли сюда прямо из боя, оставив своих товарищей в еще не засыпанных братских могилах. В блиндажах и окопах остались пустые нары и вещевые мешки друзей, которые уже не вернутся.

Мария видела по дороге сюда крутой поворот, где пять матросов бросились под танки. На сердце было горько; все знали, что завтра все начнется сызнова, и кто-нибудь из них тоже бросится с гранатами под танк, чтобы не пустить фашистов в прорыв, намертво закрыть им дорогу к Севастополю.

Мария почувствовала настроение матросов, и ей стало стыдно за свои мелочные мысли по дороге сюда... Она плотнее завернулась в плащ-палатку, подумав, что лучше было бы все-таки надеть старую форму, в которой ее ежедневно видели матросы, когда провожали на передний край.

В окопчике снова послышался хрипловатый голос Охрима Бандуры:

— Под Ленинградом уже завяз, сядет в калошу и у нас — под Севастополем! Голову даю на отсечение. Скоро к нам придут танки, и самолеты, и артиллерия. Зальем глотку фашисту, три креста ему в лоб! — зло сплюнул он.

— Скорее бы уж радио включали. Который теперь час? — опираясь на автомат, спросил матрос с перевязанной головой.

В блиндаж заходили не спеша, низко пригнув головы, позвякивая оружием. Когда все вошли, Коля плотно закрыл дверь, включил электрический свет от аккумулятора. Маленькая лампочка ярко осветила сырые стены, дощатый стол, на котором стоял радиоприемник. Матросы, щурясь от яркого света, размещались у стен, на полу. Командиры уселись на лавках. Марии матросы подсунули ящик из-под снарядов, и она сняла плащ-палатку. Моряки пристально посмотрели на нее и, не найдя в новой форме никакого изъяна, ласково улыбнулись.

Матросы ждали, что Зеленцов скажет речь, но он, сосредоточенный и молчаливый, подошел к радиоприемнику, до отказа повернул регулятор и опустился на походный брезентовый стульчик. Весело светился зеленый глаз приемника.

Но вот музыка стихла, и землянка заполнилась каким-то неясным шумом, шарканьем подошв или треском атмосферных разрядов, смешанным с людским гомоном. Потом из этого шума вырвались такие аплодисменты, что зеленый глазок приемника начал нервно мигать и пустой

стакан на столе тихо зазвенел. Лица матросов настороженно вытянулись, застыли в ожидании. Все ждали.

Наконец, сквозь гром аплодисментов они услышали имя Сталина.

Казалось, все забыли о своих ранах и страшной усталости после боя, мысленно перенеслись в иной мир. Каждый, кто хоть раз побывал в Москве, увидел себя в эти минуты на ее шумных улицах, на Красной площади возле Кремля. У кого-то сорвались аплодисменты, но на матроса покосились несколько человек, и он опустил руки. Морякам не хотелось ни единым звуком заглушить слова, которые через поля и горы долетали в этот далекий от Москвы блиндаж.

«Товарищи!

Прошло 24 года с тех пор, как победила у нас Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего, 25-го года существования советского строя».

И каждый матрос вспомнил свою жизнь. Перед глазами Марии всплыл родной университет, тома книг, которые она прочитала, страницы неоконченной дипломной работы. Потом она увидела отца, седого Остапа Богучара, простым матросом, поднимавшим красный флаг на Черноморском флоте в тысяча девятьсот пятом году. Двадцать четыре года! Марии еще и на свете не было, когда начинались эти годы.

Матросы нередко поглядывали на своего комиссара, который все время поддерживал ладонью перевязанную руку. Все жадно ловили каждый звук, прислушиваясь к дыханию Москвы. Там неустанно хлопали в ладоши, горячо выкрикивали слова одобрения, а моряки молчали, они не могли аплодировать — это заглушило бы передачу. Но когда из Москвы донесся раскатистый и все нарастающий мотив «Интернационала», матросы не выдержали. Первым подхватил песню комиссар, за ним низким альтом вступила Мария, взвился мягкий тенор Майбороды, и матросы запели все вместе. Запели громко, во весь голос, вдруг почувствовав, что до Москвы не так уж далеко и что они словно перенеслись в тот зал, где москвичи пели «Интернационал».

Часовые, стоявшие снаружи, с недоумением переглянулись. Во время трансляции доклада они по очереди

подходили к двери, урывками слушали речь и пересказывали услышанное другим. В горах было тихо, и вдруг песня, прилетевшая по радио из Москвы, вырвалась из блиндажа наружу, громким эхом покатилась по долине. Караульные словно оцепенели на своих постах. Они услышали «Интернационал» и справа и слева от себя; он уже летел с моря, катился из тыла. И часовые поняли, что вместе с Москвой пели солдаты и матросы всего Крымского фронта, пели во всех дзотах и блиндажах.

— Я попрошу вас, товарищи, рассказать в своих окопах о докладе. Газеты будут только завтра, а радио не все слышали, — сказал на прощанье Зеленцов.

Матросы выскакивали из блиндажа взволнованные и веселые и, прислушиваясь к песне, которая продолжала звучать в горах, исчезали в темноте. Пение «Интернационала» услышали в фашистских окопах и, не поняв, что произошло, начали стрелять по всей линии фронта, но моряки не обращали внимания на эту стрельбу.

Мария, спотыкаясь на узенькой тропинке, уцепилась за Майбороду.

— Послушай, горы до сих пор поют, — сказала она, срывая с плеч плащ-палатку.

XII

Вечером старый Артем не вернулся домой, и Варвара, приказав Игорю безотлучно сидеть возле раненой Любы, схватила кошолку с едой и побежала к Морзаводу.

Еще издали она увидела у проходной будки толпу знакомых женщин. С узелками и кастрюльками в руках они стояли вдоль серой стены, изредка посматривая в небо, где вспыхивали кудрявые облачка зенитных разрывов. На завод их не пускали. «Верно, там что-то случилось, раз все принесли своим еду», — подумала Варвара и побежала к женщинам.

С того дня, как она и Артем ходили гулять к Панораме и впервые услышали залпы береговых батарей, Севастополь перестал быть тыловым городом. Выйдя к морю возле села Качи и Балаклавы, фашисты блокировали Севастополь с суши и бросили на город сотни тяжелых бомбардировщиков. Даже сквозь густую стену зенитного огня вражеские бомбардировщики прорывались к городу, сея смерть, пожары и разрушения. Теперь

в Севастополе бомбы рвались днем и ночью, на всех улицах, в порту, в бухтах, горели школы, больницы, детские ясли. Женщины и дети ночевали в бомбоубежищах, которые были устроены в каменных скалах и в подвалах многоэтажных домов. Бомбоубежища оборудовали в каждом дворе, кое-где — одно на несколько дворов.

Варвара собрала своих соседок, и они сообща тоже оборудовали себе бомбоубежище в гранитной скале, где когда-то помещался винный склад, а теперь были погреба. Там было безопасно и просторно.

У заводских ворот Варвара увидела соседок.

Молчаливые и хмурые, они легкими кивками ответили на ее приветствие и продолжали прислушиваться, стараясь определить, откуда бьют зенитные батареи. Разрывы зениток покрывали все небо, и женщины не могли угадать, какие именно батареи ведут огонь. Но скоро зенитки затихли, облачка начали таять, расплываться. В воздухе послышалось тонкое металлическое пение, — в небе появились истребители. Они примчались откуда-то с моря, и женщины сразу повеселели.

— Наши! Наши пошли!

— Чего вы тут стоите? Почему никто не выходит с завода? — спросила Варвара и постучала в окошечко проходной будки.

— Не стучите, уже идут, — отозвалась дежурная девушка.

Женщины, услыхав эти слова, подались к Варваре и встали у двери проходной. Дверь открылась, и на пороге появился Артем Громов. Он побледнел, сгорбился, под глазами появились зеленоватые мешки, но усы, попрежнему залихватски подкрученные, торчали кверху. Из открытой двери яснее донесся шум моторов, звон молотов в кузнице.

— Здравствуйте,— мрачно сказал Артем, плотно прикрывая за собой дверь. — Значит, поесть принесли? Спасибо. Только, знаете, нам ваш обед не нужен. Теперь мы на полном заводском довольствии. Тут на заводе и жить будем. Так что спасибо вам, а есть нам больше не носите, — и он слегка поклонился, сняв фуражку.

— И долго вы тут пробудете? — спросил кто-то.

— Долго.

— И все вместе?

— Все.

— А может, кому что надо? Может, что принести?

— Надо — сам выберет время или передаст с кем-нибудь... А вы не ходите.

Ветер распахнул дверь проходной будки, и женщины стали заглядывать через плечи Артема на заводской двор. Он, как и до войны, был безлюден, медленно сновали вагонетки с механизмами, поднимался над эстакадой паровой кран. Мимо будки пробежал озабоченный рабочий, даже не взглянув на женщин.

Снова ударили зенитные батареи на Малаховом кургане, и женщины невольно прижались к стене. Артем почесал затылок, прикрыл дверь, подошел к женщинам.

— А вы переселяйтесь в бомбоубежище. Кто еще не закончил строить, поспешите. Это надолго, оборона Севастополя.

— Знаем, — сказала Варвара. — Ты только не скрывай от нас. Может, у вас рабочих маловато? Скажи! Мы все придем...

— Хорошо, я скажу нашим, — Артем повернулся и ушел.

Женщины не расходились, словно ждали, что дверь снова откроется и к ним выйдет еще кто-нибудь.

С моря дул пронзительный ветер, пахло иодом и рыбьей чешуей. На Мекензиевых горах все сильнее гремела артиллерийская канонада, поднимались клубы порохового дыма. Надвигался еще один тревожный вечер войны.

— Чего ж мы стоим? Пошли! — сказала Варвара. Все двинулись за ней.

Они шагали медленно, опустив головы. На перекрестке Варвара остановилась, сказала:

— На завод нас не позовут — нет у нас квалификации. А сидеть дома, ничего не делая, — стыдно. Когда-нибудь внуки спросят нас, что мы делали во время обороны Севастополя. Что им скажем? Прятались от бомб?.. Нельзя в такое время сидеть сложа руки...

— А кто говорит, что можно? — ответила молодая женщина в потертом морском кителе.

— Тут не во внуках дело, — вступила в разговор соседка Варвары, Анна Рябова. — Внуки — это когда-нибудь, а война — сейчас. Гитлер в Севастополь лезет. А мы с детьми в бомбоубежищах...

Женщины долго не расходились по своим домам. На-

чатый Варварой разговор по-настоящему взволновал всех, и они не могли оставить его, не придя к определенному решению. Предложение — идти на фронт санитарками — отбросили сразу. У каждой на руках были дети или внуки. Ходить по очереди в госпиталь, дежурить возле раненых? Это они делали уже давно и будут делать дальше. Посылали носовые платки, одеколон, мыло, вышитые кисеты, табак, каждый подарок старательно завертывали в чистый платочек, перевязывали шелковой лентой. Что еще они могут?

В разговор вмешалась Варвара:

— Стойте! Сегодня по радио передавали призывы городской партийной организации. Ведь там все ясно сказано, что нам делать. А мы головы себе ломаем. На что солдату ваш платок и кисет? Зима идет, ему шапка нужна, рукавицы хорошие, носки теплые. Интендантство пусть выдает им по уставу, а мы от себя...

— Ой, правда!

— Шить можем, вязать! Все нужно! — зашумели женщины.

— А рубашка чистая разве не нужна солдату? — сказала Анна Рябова.

— И рубашки постираем, — тихо проговорила женщина в кителе.

Они столпились над самой бухтой, у разбитого вокзала. Мимо пробегали матросы, мчались грузовики с боеприпасами, санитарные машины везли с передовой раненых. Солдаты и матросы бросали на женщин удивленные взгляды, не понимая, зачем они стоят на перекрестке, о чем так горячо говорят и спорят. Но женщины не обращали на это внимания. Они уже решили снести сегодня же в бомбоубежище все свои швейные машины, а в одной из квартир организовать для фронта общественную прачечную. Варваре поручили пойти в райком партии и просить, чтобы им выделили подшефную часть, прикрепили интенданта из склада. Пусть интендантство дает материал и заказы на пошивку белья, ватников, шапок, рукавиц. Не придется возить все это с Кавказа, пусть корабли доставляют оружие и боеприпасы.

Горячая беседа, возникшая у заводских ворот, сразу сроднила всех женщин. Личное дело каждой стало общим. Одна уже обещала присмотреть за детьми другой, кто-то кому-то советовал лекарство, подробно объясняя,

как его употреблять, кто-то предлагал поделиться с детьми своими продуктами.

— Варвара, а как ваша Люба? — спросила женщина в кителе, и соседки теснее обступили Варвару. В их глазах она увидела искреннее желание помочь ее беде, чем-нибудь облегчить ее.

— Горе мне с нею, да и только,— сказала Варвара.— Ходить до сих пор не может и все плачет. Каждый день посылает меня к Никите в госпиталь... А что я ей скажу утешительного, когда он лежит в гипсе, руками не шевелит... Разве я могу ей об этом сказать? А она от него записки требует...

— Ну, пусть доктор ей напишет...

— Доктор операции не успевает делать. А Люба такая капризная стала. Прошу в бомбоубежище перейти жить — не хочет. Приходится каждый раз, когда немцы налетают, носить ее туда, — жаловалась Варвара.

— Пойдемте к ней все вместе, — сказала женщина в кителе.

— Не надо всем. Мы и втроем управимся, а вас дети дома ждут. Мы скажем ей, что приказ такой получен — всем жить в бомбоубежищах... А вы тоже не мешкайте,— сказала Варвара и, взяв под руку Анну Рябову и женщину в кителе, быстро пошла вверх по Лабораторному шоссе.

Во дворе у Громовых было тихо и пусто. С деревьев падали последние листья, и ветер гнал их к крыльцу, вышивая на посыпанных гравием дорожках бронзовый узор. Женщины вошли в дом тихо, но Люба узнала шаги матери, позвала из комнаты:

— А где отец?

— Лежи, доченька, отец теперь будет жить на заводе.

— Здравствуй, Любочка. — Анна встала на пороге. — Это долго продлится, оборона Севастополя. И нам всем приказано в скалу переселиться. Ты не одна там будешь, сегодня все перейдем туда...

— А я не буду с вами целый день сидеть, — сказал Игорь. — У меня своя работа.

— Какая работа? — удивилась Анна.

— Рыбу надо с мальчишками ловить. Немец каждый день глушит ее бомбами, а мы по утрам будем выезжать в бухту и подбирать. Нам комендант сказал.

— Вы слышали? — всплеснула руками Варвара. —

Ему комендант сказал. А твой комендант у меня спросил разрешения?

— Он еще спросит. Вы не знаете, мама, нашего коменданта... Он моряк с крейсера...

— Моряк, — пробормотала Варвара. — В Севастополе все моряки. Ты лучше пакуй вещи. Одежду, постель, раскладушку себе. Будем в скалу переезжать. И книги, какие нужно, собери, чтобы не бегать всякий раз в дом.

— Есть паковать, — засуетился Игорь. — Я ночью с вами буду, за рыбой можно только когда налетов нет. Рыба наша в госпитали пойдет, в детские сады... А может, и на передовую, матросам.

— Ты лучше в госпиталь к Никите сбегай. Пойдешь? — попросила Люба.

— Не надо к ночи, — вмешалась мать. — Он завтра пойдет. Я же ходила сегодня... Никите уже лучше. А сейчас мы тебя перенесем. У нас там будет швейная мастерская для фронта, а ты, как поправишься, организуешь школу, будешь детей учить...

— Школу? Это хорошо, мама. Вам кто-нибудь сказал об этом или вы сами?

— Горком партии решил. Одна такая школа уже есть в штольнях Инкермана, а теперь будет и у нас.

Женщины надели на Любу теплое пальто, накрыли одеялом и осторожно вынесли во двор. В лицо Любе подул холодный ветер, неся с собой родной, острый запах портовых причалов. Она оглянулась и не узнала своего сада, дворика, пожелтевших кустов винограда у крыльца. С оголенных деревьев медленно падали большие дождевые капли. Сад стоял хмурый и пустынный, дом, казалось, постарел от осенней измороси. По клумбам уже прошлись ранние морозы, яркие цветы пожелтели, прилегли к земле.

Кровать не проходила в калитку, и женщинам пришлось открыть ворота. Люба слегка покачивалась на матраце, глядя в глубокое осеннее небо, серое и мутное. За воротами женщины опустили кровать на землю. По Лабораторному шоссе, которое им надо было пересечь, спешили на фронт маршевые роты матросов, ехали автомашины, груженные боеприпасами. Женщины ждали, пока пройдет колонна, и Люба всматривалась в лица моряков. Матросы шли чеканным, широким шагом, тяжело покачиваясь, словно под ними была палуба. Увидев на

кровати бледную Любу, кто-то из них ласково проговорил:

— Красивая...

Из рядов ему ответили:

— Верно, бомбой...

Другой голос добавил, когда они отошли подальше:

— Может, больная...

Люба болезненно поморщилась и зажмурила глаза. Над колоннами взлетела песня о широком море и матросе, который храбро воевал. Песню дружно подхватила вся колонна, и Люба уже не слышала ни разговоров, ни стука солдатских сапог. Кровать перенесли через дорогу в соседний двор, к высокой скале.

В темноте Люба не могла различить, кто был в бомбоубежище. Она только услышала предостерегающие голоса женщин:

— Сюда, Варвара, к стене...

— Дайте фонарь.

В желтом свете фонаря Люба увидела в углу три швейные машины, свертки одежды на стульях. Женщины с детьми на руках молча расступились. Глаза Любы еще не успели привыкнуть к мраку пещеры, как со двора донеслось громкое завывание портовой сирены, и сразу же — залпы зенитных батарей. Заплакали дети, захлопала дверь. В бомбоубежище, тяжело дыша, вбегали люди. Потом послышался отвратительный свист, и на Любу с потолка посыпался песок. Земля под кроватью покачнулась, загудела. Варвара опустилась на колени рядом с кроватью, и Люба чувствовала, как дрожала материнская рука, лежавшая на одеяле. Кто-то тихо сказал:

— Около нас упала...

— Мама! — крикнула Люба. — А в госпитале нет бомбоубежища. Он в палате лежит...

— Есть, доченька, убежище, есть. Я сама видела. Их носят туда. Успокойся,— шептала Варвара, укрывая дочь.

Со двора катился сплошной гром, и трудно было на слух отличить залпы береговых батарей и зенитные залпы от разрывов тяжелых бомб.

В бомбоубежище вбежал запыхавшийся Игорь.

— Мама, я тут...

— Сядь, окаянный, — дернула его за рукав Варвара.

— Я одежду принес, — виновато сказал Игорь.— Там родильный дом горит. Туда пожарные машины поехали.—

Мальчик дрожал, прижавшись к рукам матери. Ладонь Варвары обожгла детская слеза.

— Родильный дом! Надо спасать... — послышались голоса.

— Доченька, — встрепенулась Варвара.

— Бегите, мама... Я с Игорем побуду, — сказала Люба. Она не заметила, сколько женщин выбежало из бомбоубежища. В скале стало тихо и почти пусто.

XIII

Самое сложное для Вихоря началось под Бахчисараем. Линию фронта он перешел по мало заметным даже днем горным тропинкам и круто повернул на север. С ним шел разведчик Иван Зубов. Во время беглого знакомства в штабе Вихорь узнал, что Зубов до войны работал слесарем в Москве, потом служил в пограничных войсках на Дунае, а разведчиком стал только под Одессой. В глубокую разведку Зубов еще не ходил: под Одессой ему приходилось бывать в ближней разведке, из которой он часто приводил «языков».

Привычным жестом Зубов передал Зеленцову на сохранение свой партийный билет и две медали «За отвагу», аккуратно завернутые в белый платок. В его движениях Вихорь не заметил ничего показного, не было в нем никакой рисовки. Это понравилось Вихорю. Он тоже протянул комиссару свой орден Красного Знамени. Только партбилета не подал и потому искоса метнул взгляд на Зубова, чтобы узнать, что тот думает. Но Иван Зубов даже бровью не повел. Вихорь понял, что напарник заметил, только виду не подал. Это беспокоило Вихоря всю дорогу; наконец он заговорил:

— Ты с какого года в партии?

— С января тридцать восьмого, — ответил Зубов.

— Значит, мы ровесники, — повеселел Вихорь.

— Нет, ты старше, — сказал Зубов.

— Я о партии говорю, о стаже, — объяснил Вихорь.

— Разве ты в партии?

Вихорь помолчал, внимательно глядя на пехотинца

— Я заново буду вступать. Вот заслужу в боях право быть членом партии — и подам. Не по своей вине я на «Грозе» тонул и в плен попал. Не по своей вине. Моего

партийного билета враги даже не видали... Я с пирса бросился, и билет в море остался...

Зубов грудью подался к матросу, глаза его заблестели:

— Подожди, подожди! У нас слух прошел об одном матросе с «Грозы»... Говорили, он к Одессе от самой Констанцы пробирался и пробился. Может, ты знаешь его?

— Верно говорили. Это я был.

— Так чего ж ты? Подавай заявление. Вернемся из разведки, я тебе рекомендацию дам.

— Спасибо. У меня уже одна рекомендация есть, контр-адмирал Багров написал.

— Вот здорово! А я не знал, что ты и есть тот самый моряк...

Они лежали в густом кустарнике, за огромными камнями, раскиданными по всей долине. Глубокое ущелье, перерезая центральную дорогу, уходило далеко в скалистые горы и служило разведчикам удобной позицией для наблюдения, для внезапного нападения и тайного безопасного отхода.

Вихорь еще до войны, когда приезжал с матросами на экскурсии в Бахчисарай, не раз бродил по этому ущелью. Даже в самую невыносимую жару здесь всегда зеленели плодовые сады, поднималась густая трава, цвели в горах огненные полевые маки. В садах и в лесах не смолкало птичье пение. Теперь тут было холодно и неприветливо. Сады стояли обнаженные, лес почернел, высокая трава полегла. Только на кустах горного дубняка еще крепко держались бронзовые листья, тугие и жесткие, как осока. Густые кусты, прикрытые большими каменными валунами, служили разведчикам удобной засадой.

На рассвете Вихорь, хитро обходя сторожевые посты немцев, провел сюда Ивана Зубова. Даже среди ночи разведчики распознавали врага по вспышкам электрических фонариков, урчанью моторов, трескучей речи. Как выяснилось, немцы в тылу держались очень свободно и беспечно. Их тыловые подразделения и резервы были размещены по татарским селениям и на территориях совхозов. Но в горы или ущелья фашисты заходить не решались, и это облегчало работу нашим разведчикам.

В горных маскировочных халатах они были незаметны среди серого камня и густых перелесков дубняка. Развед-

чики сидели у самого поворота дороги и хорошо видели серую ленту асфальта, тянувшуюся от Бахчисарая на Севастополь.

Небо на востоке постепенно светлело, ветер гнал с моря тяжелые снежные облака. В предрассветном тумане их очертания становились все отчетливее, и всякий раз на них вспыхивали бледные отблески далекого севастопольского зарева. Зарево то поднималось высоко к облакам, то на миг затухало. Ветер доносил из Севастополя далекий, несмолкавший гул. Этот гул преследовал разведчиков всю ночь от самой линии фронта, а теперь безудержной волной катился сюда, в глубокое ущелье. В Севастополе и так было тяжко, а движение фашистских танков, артиллерии, моторизованной пехоты по бахчисарайскому шоссе, за которым следили разведчики, не прекращалось. Свежие резервы шли на Севастополь двумя колоннами, мешая встречным машинам, которые везли раненых из-под Севастополя. Вихорь считал танки и орудия, стараясь определить их систему и калибр. Зубов записывал его наблюдения. На дороге было очень шумно, и это позволяло разведчикам перебрасываться короткими фразами. В горах медленно серело, машины и орудия, идущие по дороге, вырисовывались все отчетливее. За поворотом показалась новая колонна танков. На серой броне головной машины был нарисован белый цветок. Такие же цветы были и на втором, и на третьем танках. Вихорь присмотрелся и тронул за плечо Зубова:

— Смотри, что нарисовали...

— Не понимаю тебя, — прошептал Зубов.

— Эдельвейс, цветок такой есть...

— Ну и что?

— Он в Альпах растет.

— Ты хочешь сказать: горно-стрелковая альпийская дивизия, да?

— Да! — нервно передернул плечами Вихорь и крепче прижался разгоряченной щекой к холодному камню.

Белый цветок эдельвейса мелькал у него перед глазами, качался и таял, нагло красуясь на всех танках, грузовиках и орудиях. Вихорь заметил его даже на пилотках фашистов: белая эмаль ярко поблескивала. Еще в школе, на уроках ботаники, Вихорь слышал об этом цветке, знал, что он растет высоко в горах и его трудно добыть. Чарующий, душистый, недосягаемый цветок

эдельвейса. Но сейчас цветок потемнел у него перед глазами, от него словно потянуло трупным ядом. Вихорю стало не по себе, он поднял с травы дубовый листок и принялся его жевать. Крепкий, горьковатый запах расходился во рту приятной прохладой.

А войска все шли и шли. Вихорь представил, как они проходят по всей оккупированной территории, топча молодые сады, плодородные виноградники, поджигая села и города, убивая людей. Моряк тяжело дышал, до крови кусая растрескавшиеся губы. Ровно в двенадцать движение на дороге прекратилось, и Вихорь немного успокоился.

— Точны же они, — сказал Зубов.

— Такая и смерть у них будет, точная... — прошептал Вихорь.

— Ты устал, верно, — Зубов ласково тронул его за плечо.

— Нет, я устану только в Берлине. Какой там у нас баланс? — спросил Вихорь, улегшись рядом с Зубовым.

— Горно-стрелковая альпийская дивизия «Эдельвейс», танковая бригада, полк румын...

Оба разведчика по роду своей службы знали все основные фашистские части, действовавшие на этом участке фронта, и они твердо знали, что эта горная часть не участвовала в боях за Перекоп.

— Готовят новое наступление, — заметил Зубов.

— Ясно, но когда и где именно? Вот что надо выяснить.

— Тяжеленько будет.

— Легких заданий нам не дают. Выяснять будем тут, на этой дороге, а потом в Бахчисарае, — сказал Вихорь, давая понять, что он снова приступает к наблюдению.

Движение по шоссе возобновилось, но теперь уже в сторону Бахчисарая. Немцы эвакуировали раненых. В окнах санитарных автобусов мелькали перевязанные окровавленными бинтами офицеры. Солдат везли на открытых грузовиках. Они сидели на дне кузовов, кутаясь в одеяла и плащи, желтые, измученные, болезненно морщились от холодного ветра, налетавшего с севера из степи. Вихорь заметил на грузовиках новое, уже забрызганное грязью клеймо. Значит, свежая дивизия, подброшенная к Севастополю на самолетах, вступила в дело. Теперь она, потрепанная и разбитая, возвращалась от Севастополя. Грузовики неистово гудели, обгоняя друг

друга. Но вдруг на повороте началась паника. Санитары стучали в кабины, выпрыгивали из грузовиков, разбегались по кюветам. В небе вспыхнули облачка зенитных разрывов, и скоро над ними проплыла наша эскадрилья морских бомбардировщиков. Они шли высоко и ровно, равнодушные к зенитному огню, под защитой истребителей. Видно было, что они идут совсем другим курсом, но фашисты всполошились, бросились с дороги в кусты.

— На нас бегут, — шарахнулся в сторону Зубов.

— Не добегут, — остановил его Вихорь и вынул гранаты.

XIV

Узнав о том, что жители Севастополя взяли шефство над военными частями, оборонявшими город, интендант Гаркуша встревожился. Он побаивался, что самые богатые шефы будут прикреплены к бригадам морской пехоты, выберут себе летчиков и танкистов, подружатся с зенитчиками кораблей. Так что на долю пехотных артиллеристов может не хватить шефов. А допустить такую несправедливость Гаркуша не мог, краснеть из-за этого перед интендантами других полков не хотел.

Вот почему, услышав о шефах, Гаркуша сразу же побежал к командиру полка Андрееву. Отдав командиру очередной утренний рапорт о состоянии интендантских дел, он начал горячо доказывать, что ему немедленно надо ехать в Севастополь, иначе они останутся без шефов.

Командир полка, склонясь над картой артиллерийских позиций, что-то записывал. Он оторвался от работы, принял рапорт и снова погрузился в свои дела. Он невнимательно слушал то, что говорил ему Гаркуша. У командира и так дел по горло, а Гаркуша неизвестно зачем так долго рассказывает что-то о шефах.

Но интендант не унимался.

Потеряв всякую надежду заинтересовать командира полка, он, наконец, воскликнул:

— Опозоримся на весь фронт! Всех шефов разберут, а нам достанется то, что с воза упало...

Услышав эти слова, Андреев вскочил:

— Что ты сказал? А ну, повтори!

— Я правду сказал. Разберут лучших шефов, а нам

достанутся остатки — то, что с воза упало... Надо спешить в Севастополь сейчас, немедленно, — объяснял раскрасневшийся Гаркуша.

— А ты подумал прежде, чем говорить такие слова? — командир полка побледнел.

— Не понимаю вас, — пожал плечами Гаркуша.

— Жаль. Очень жаль, что ты до сих пор так мало понимаешь. — Андреев прошелся вдоль землянки и остановился перед интендантом. Он рассматривал Гаркушу внимательным, пристальным взглядом, как бы вспоминая, где и когда он впервые встретился с ним. Вспоминал и не мог вспомнить.

— Что же я сказал плохого? — развел руками Гаркуша. — Надо захватить хороших шефов, под стать нам. Чтоб были такие же, как наш героический полк!

— Ты сказал об остатках, о том, что с воза упало... Как ты смеешь так говорить о севастопольцах...

— Разрешите, товарищ командир, я в смысле материальном сказал. Если, например, завод номерной, так там и шефы богатые, солидные, у них и база есть подходящая...

— А те, у кого нет такой базы? Домашние хозяйки с одной улицы... Больницы или, может, школы... Это, по-твоему, второй сорт? Что с воза упало?

— Нет, я не то хотел сказать. Но шефов всегда лучше иметь солидных, чтобы они были равны нам. Это дело чести нашего полка.

— Дело чести! Какие это чистые слова, а ты их в грязь затаптываешь. И до каких пор ты будешь смотреть на жизнь, как мелкий хозяйчик? Людей на категории делить! А знаешь ли, что с тобой могут сделать севастопольцы, когда услышат такое? — холодно спросил Андреев и, присев к столу, снова погрузился в свои расчеты.

В землянке стало тихо.

Потрескивали дрова в железной печурке, скрипел дощатый стол под локтями командира, едва слышно пел зуммер телефона. Связист, в начале разговора с уважением смотревший на Гаркушу, теперь отвернулся от него и шепотом передавал в телефонную трубку какие-то цифры и координаты. На его широкой спине, наискось, чернел след от карабина. Гаркуша почему-то подумал, что этот след так и останется на гимнастерке. Его не отстирать даже в бензине.

Гаркуша стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что ему делать. Хоть бы кто-нибудь зашел в землянку или позвал командира к телефону! Телефон не звонит, никто не стучит в дверь. Да, наконец, он, Гаркуша, не так уж и виноват. Он ведь только хотел сделать для своего полка как можно лучше. Может, он не так выразился, но желания его были честны и законны. Не может же он, опытный интендант, поставить на одну ногу артель газированных вод и мороженого с комбинатом шампанского и виноградных соков? Обе эти организации будут одинаково ревностно шефствовать, но польза от них будет разная. Неужели командир не понимает этого? Или не хочет понять? Почему он молчит?

Интендант больше не мог выдержать и спросил:

— Разрешите идти?

— А куда идти? Может, к шефам? — сказал Андреев, и в его карих глазах зажегся огонек.

— Не знаю, как мне теперь к шефам идти... Я же мог вам и не говорить о них. Это же в конце концов не входит в мои обязанности. Я хотел, чтобы лучше было. Все наши соседи, слева и справа, уже съездили, обо всем договорились, завели знакомства, а мы до сих пор ничего не сделали...

— А ты поезжай и сделай, — Андреев вышел из-за стола и пригласил Гаркушу сесть рядом с собой, на ящик от снарядов. Угостив его папиросой, продолжал:

— Хорошо, что все солдаты получили зимнюю одежду. За это тебе спасибо. Теперь проверишь еще раз, как завозят боеприпасы дивизионам, и поедешь к шефам Найдешь их, познакомишься, пригласишь делегацию к нам в гости.

— Я уж не знаю, как мне и ехать, после такого разговора, — робко сказал Гаркуша.

— А что надо знать? Поедешь в горком партии, зайдешь к товарищу Кулик. Есть там такая женщина, Елена Михайловна Кулик, одна из секретарей горкома, член Комитета Обороны Севастополя. — Поедешь к ней и все выяснишь. Только не перебирай — кто нам назначен, того и примем. И не спрашивай в горкоме, кто шефы, какая у них материальная база, что у них есть. Ясно?

— Ясно.

— Да не подумай ненароком заглянуть в их баланс или смету на культурно-массовую работу. Не смей на

склады ходить. Я знаю, под видом ознакомления с производством ты заглянешь на склад, — тихо засмеялся Андреев и прибавил: — и откуда она взялась у тебя, эта коммерция?

— Я был директором ресторана «Дунай». Мы в Измаиле шефствовали над одним полком. Богатых шефов тогда ценили, — оправдывался Гаркуша.

— Забудь свой ресторан.

Телефонист хихикнул в кулак и снова отвернулся к стене.

— Ну, счастливого пути, желаю найти хороших шефов, — сказал Андреев и пожал интенданту руку. —По дороге заедете в полк морской пехоты, захватите и их представителя. У них тоже шефов еще нет. Две машины по одному делу гонять не стоит. Теперь с бензином очень туго. Сегодня получен приказ забирать машины, которые без надобности ездят в Севастополь.

— Я порожняк не гоняю. Приказ будет выполнен.

Гаркуша вылетел из землянки.

Через два часа, проверив транспортировку снарядов, интендант садился в свою полуторатонку. На хорошо сшитой шинели поскрипывали новые желтые ремни, на груди поблескивали старательно начищенные пуговицы, и от всего Гаркуши несло крепким запахом духов «Кармен». Удовлетворенная улыбка сияла на его гладко выбритом и даже припудренном лице. Он щелкнул дверкой кабины, и машина тронулась, петляя между кустами горного дубняка и колючего шиповника.

Они проехали балку, миновали железнодорожный тунель и попали в расположение морской пехоты. Сюда явственнее доносился гром артиллерийской канонады.

Грохот войны катился волнами, то затихая на миг, то вновь вспыхивая, и Гаркуша различал в нем разрывы авиационных бомб. После неудачного наступления по всему фронту враг начал атаковать наши позиции на отдельных участках, нащупывал слабые стыки, уязвимые места в обороне Севастополя. Искали слабых мест у фашистов и наши войска, без устали проводя атаки и разведку боем на всем участке от Балаклавы до западного побережья Крыма. Но самое трудное было уже позади. Севастополь был спасен от первого большого наступления, и для солдат и матросов наступило относительное спокойствие, долгожданная передышка.

Гаркуша заметил это, как только шофер остановил машину в кустах и они вышли из кабины. По склону ползали матросы в маскировочных халатах, порой замирая под кустом или в воронке от снаряда. Над ними время от времени раздавался звонкий женский голос:

— Отставить!

— По вашему следу куст качается!

— Вас сразу увидит снайпер.

— Повторите все сначала!

Гаркуша присмотрелся и узнал среди матросов Марию Богучар. За четыре месяца пребывания на фронте она успела закончить снайперские курсы и теперь обучала группу морских пехотинцев снайперскому делу.

Бойцы внимательно слушали ее приказы. Иногда Мария подзывала их к себе, сама ложилась на землю и ползла среди сухих листьев и травы, так что ни одна веточка не вздрагивала там, где она проползала. Матросы смотрели на девушку, затаив дыхание, запоминая каждое ее движение. Потом она замирала под кустом, завернувшись в маскировочный халат, и бойцы не сразу могли угадать, где она лежит. Матросы были в восторге от ее умения маскироваться. Учение шло напряженным темпом, и Гаркуша на миг залюбовался им.

«Снайперов подготавливает. Молодец», — с удовлетворением подумал он и стал на виду, чтобы обратить на себя внимание. Но Мария, взглянув на него только раз, больше не поворачивала головы в его сторону. Гаркуша постоял еще немного и, вздохнув, тихо пошел к штабной землянке морской пехоты.

Полковник Зеленцов, теперь уже командир полка морской пехоты, не заставил долго ждать и тут же принял Гаркушу. Верно, ему позвонил Андреев, что интендант выехал к ним, чтобы забрать с собой к шефам их представителя. Яков Майборода был готов к отъезду.

— Товарищ командир, с нами просится Коля, — сказал Майборода.

— И очень просится?

— Очень.

— А почему?

— Видите ли, ему сегодня сшили новую матросскую форму. Надел ее и хочется ему поехать, — объяснил матрос.

Зеленцов посмотрел на морские часы, поблескивавшие никелем на земляной стене, повернулся к Гаркуше, словно спрашивал у него совета, как быть с мальчиком.

— Круглый сирота наш Коля. Мы его под Одессой усыновили и очень бережем. Так и смотрим, чтоб не попал в беду на передовой. Горяч очень...

— Разрешите ему, пусть поедет с нами, — сказал Гаркуша.

Зазвонил полевой телефон, и командир быстро взял трубку, верно, ждал этого звонка.

— Пятый слушает. Нет, говорите. Да. Приказ остается в силе. Усилить наблюдение в квадрате три. Ждите. Он обязательно придет. — И, уже положив трубку, повторил: — Он придет, Самойло Вихорь.

Потом задумчиво посмотрел на Гаркушу, словно хотел вспомнить, о чем он говорил с ним до звонка, и сказал:

— А мальчика возьмите с собой, я хочу, чтоб он нашел себе там товарища, ровесника. А у товарища, верно, есть мать. Может, согреет Колю материнская ласка... Это было бы хорошо, товарищ Майборода. Не забудьте...

— Есть, не забыть! — козырнул матрос.

Зеленцов поднялся из-за стола и проводил их до порога.

Он видел, как из окопчика выбежал Коля, настоящий маленький матрос, и бросился на шею к Майбороде. Потом они немного постояли, видно, споря, кому ехать в кабине, но желающих не нашлось, потому что все трое забрались в кузов и расселись на лавке. Машина покатила с горы и скрылась в тумане.

XV

Вихорь угадал, что фашисты, спасаясь от нашей авиации не побегут далеко от дороги. Так и произошло. Выскочив из машин, они сразу попадали на землю, не добежав до густого дубняка, где сидели разведчики. Враги боялись бежать в чужой и незнакомый лес.

Но тревога фашистов была преждевременна. Самолеты Черноморского флота прошли своим курсом, верно, направляясь к Симферополю, и немцы начали выползать из кюветов. На шоссе опять послышались пронзительные вопли и стоны, смешанные с громкой руганью. Санитары подсаживали в грузовики легко раненых, офицеры

ругали шоферов, бросивших свои машины. Но скоро все успокоились, машины двинулись к Бахчисараю. Основные части дивизии «Эдельвейс» прошли еще ночью, а остатки, должно быть, ожидали следующей ночи, боясь начинать марш среди бела дня. С фронта теперь возвращались только машины с ранеными да изредка проносились на мотоциклах посыльные или офицеры связи.

— В следующий раз надо брать с собою рацию, — сказал Вихорь.

— Тяжеленько будет с ней, — запротестовал Зубов.

— Почему тяжеленько? Мы радиста брать не будем, я сам умею. Вдвоем не тяжело. Один рацию понесет, другой запасные батареи...

— Разве что так, — согласился Зубов.

— Тогда мы сразу будем передавать все данные в штаб. А то пока вернемся — многое устареет, — объяснил Вихорь и стал прислушиваться к тому, что делалось за горой, под Севастополем.

Артиллерийская канонада начала стихать. Реже доносилась пулеметная стрельба, только еще урчали мины, которые падали с нашей стороны в расположение немецких позиций.

Над землей, заволакивая горизонт мутной пеленой, плыли низкие тучи. На горных вершинах уже белел снег, курилась легкая метель, и на белом фоне было ясно видно каждое дерево и каждый выступ скалы.

Вихорь плотнее закутался в маскировочный халат, прижался ближе к земле. В случае нужды он мог мгновенно сбросить халат и сразу обратился бы в обычного мирного крестьянина в кожаных постолах, ватных штанах и суконном пиджаке. На глаза была низко надвинута ушастая заячья шапка, из-под воротника выглядывал краешек полосатой рубахи. Под стать Вихорю был одет и Иван Зубов. Вылинявший от стирки лыжный костюм, стоптанные башмаки на резиновой подошве, потертая смушковая шапка, ловко сбитая набекрень. Оба разведчика в таком наряде были похожи на сезонных рабочих, отбывших свой срок на строительстве и возвращающихся из Крыма в украинские степи. Даже торба висела у каждого за спиной, под едой были припрятаны запасные диски для автоматов. Их принадлежность к регулярным частям Красной Армии выдавали только новенькие автоматы под маскировочными халатами да острые финские

ножи у пояса. Рукоятки у ножей были наборные из цветной пластмассы.

Просидев у шоссе всю ночь и добрую половину дня, они, наконец, могли немного передохнуть, не прекращая внимательного наблюдения за всем, что происходило на дороге. Но движение машин все уменьшалось, и разведчики заскучали.

— Я слышал, что в Севастополь прибыли английские офицеры. Говорят, они привезли какие-то акустические аппараты, чтобы с их помощью узнавать о появлении в море вражеских кораблей. Это здорово! — восторженно сказал Зубов.

— Сразу видно, что человек ты не флотский. У нас на флоте давно есть такие аппараты. Да и вообще получается, что англичане и американцы больше аппаратами воюют, чем войсками. Союзнички, называется!

— Нет, они пойдут на Гитлера войной, у нас же договор с ними есть. Они должны его выполнить, — возразил Зубов.

— Что договор, все они одного поля ягодки. Это факт!

— Гитлер бомбит Лондон и всю Англию. Английский народ не простит ему этого, — горячо произнес Зубов.

— Ты не путай английский народ с лордами. И американский народ не путай с миллионерами.

— А зачем же тогда английские офицеры к нам в Севастополь свои аппараты привезли? — спросил Зубов.

— За золото они что угодно тебе привезут. И хлеб, и одежду, и оружие.

Зубов отломил кусок хлеба, начал жевать корку. Вихорь разрезал финкой яблоко, протянул Зубову половину:

— На, Иван, ешь, и дискуссию на этом прекратим.

По шоссе снова промчался мотоцикл.

Вихорь с грустью посмотрел ему вслед и недовольно поморщился. Доев яблоко, он старательно вытер финку о полу маскировочного халата, попробовал пальцем лезвие.

— Давай вот что сделаем: собьем их мотоциклиста. У него могут быть топографические карты, дислокационные данные, приказы. Не возят же они под Севастополь личные письма... Я думаю, мы кое-что найдем в его планшете.

— Надо было давно это сделать, — с досадой заметил Зубов.

— Нельзя. Ты же видел, какое движение было на дороге. Поднялся бы шум — тут и ног не унесешь, — пояснил Вихорь.

Разведчики опять оглядели знакомую дорогу, на которой они теперь знали каждый камень и низинку. Им хорошо была видна колея, уклон или подъем, где мотоциклисты сбавляли скорость, разъезжаясь в узких ущельях. Разведчики внимательно изучали узкий и крутой поворот. Над обрывом белели четыре каменных столбика, соединенные железными перилами, и, приглядываясь к ним, Вихорь сказал:

— Вот тут, Иван, и ударим!

— Согласен! Лучшего места не найти,— ответил Зубов, и они переползли за каменный выступ, поближе к повороту. Густые заросли дубняка и жимолости скрывали их от постороннего глаза, серая гранитная глыба, торчащая из земли, защищала в случае обстрела. Из этой засады среди камней и лесной чащи было удобно отходить на случай, если их обнаружат и начнут преследовать. Глубокое ущелье с естественными пещерами и тайниками вело в настоящий горный лес, сквозь который они пробирались через линию фронта к этой бахчисарайской дороге.

Прикинув на глаз расстояние, представив себе крутую траекторию, по которой должен лететь на повороте мотоциклист, Вихорь решил:

— Ползи, Иван, вперед, на ту сторону. Сядешь за камнями и встречай. Я буду бить из этой засады. Как только он клюнет носом, вылетай на дорогу и сталкивай его в овраг, если он сам не свалится. Ясно?

— Ясно, — ответил Зубов и крепко сжал плечо Вихоря, как бы прощаясь с ним.

— Ну, что ты... к чему это? — вырвался Вихорь. — Что мы прощаемся, что ли? Тоже выдумал! Все будет в порядке! Только не прозевай момент, когда я полосну по нему из автомата. Сразу же выскакивай на шоссе, не задерживайся. Действуй, как молния.

Зубов пополз с горы. Он двигался так тихо, что даже кусты не закачались там, где он прополз, ни один камешек не скатился из-под его ног.

«Хорошо ходит. Такой мне и нужен!» — подумал Вихорь, беря на прицел крутой поворот дороги. Когда сектор обстрела был установлен, дистанция прицела обозна-

чена, мичман залег. Скоро к нему долетел птичий свист. Зубов уже был на своем месте и покачал веткой красного шиповника — знак, что все готово: он ждет мотоциклиста и автоматной очереди.

Шло время, по шоссе пролетали мотоциклы, но стрелять по ним Вихорь не мог. Из засады ему был хорошо виден большой отрезок дороги, протянувшейся далеко за поворотом. За каждым мотоциклом, словно нарочно, мчалась грузовая или легковая машина. Порой мотоцикл появлялся на дороге один, но как только он подъезжал к повороту, навстречу ему появлялась санитарная машина из-под Севастополя или еще какой-нибудь другой транспорт. Это раздражало обоих разведчиков, и они тихо ругались. Вихорь едва сдерживался, чтобы не полоснуть из автомата по всем машинам и мотоциклам, которые шли на Севастополь или возвращались оттуда.

Усталость брала свое, нервы были напряжены, в глазах поплыли серые круги. Вихорь часто протирал ладонью покрасневшие глаза, до боли сжав зубы. Фашисты ездили по его земле свободно, словно у себя дома. Теперь они рвались к Севастополю, видели в бинокль его прямые кварталы. С высоких Крымских гор врагу было видно море, поэтому наши корабли приходили в Севастополь только по ночам.

Тяжело было в Севастополе. Вихорь уже не радовался тому, что Мария приехала в Севастополь, тому что она не эвакуировалась на запад с университетом. Мичман все больше боялся за ее жизнь. Он шел в разведку, воевал с морской пехотой, не раз был на волосок от смерти, но об опасности, грозившей ему, никогда не думал. Но как только он попадал в трудное положение, он начинал волноваться о Марии, думать о том, что ей грозит, жива ли она, не ранена ли. Не лучше ли сделать так, чтобы она поехала в тыл и там заканчивала свою дипломную работу? Командование пойдет ей навстречу. Мария там будет в безопасности, и ему станет спокойнее. Но Вихорь хорошо знал, что Мария ни за что на свете не уедет из Севастополя, как не уехала из Одессы. Да и он ни за что не предложит ей этого.

Движение машин на шоссе постепенно замирало, но не прекращалось. Серый прохладный день клонился к вечеру, скоро должны были наступить внезапные сумерки, как всегда бывает на юге. Именно в этот час и

надо было ожидать запоздалого мотоциклиста. Может, он поспешит на фронт с каким-нибудь срочным распоряжением?

Эта мысль обрадовала Вихоря, он поднялся на одно колено и, свистнув по-птичьи, покачал веткой шиповника в сторону Зубова. Ему в ответ раздался тоже тихий, малозаметный среди лесных шумов свист. Разведчики поняли друг друга на расстоянии и продолжали ждать подходящей минуты. Самойло устроился поудобнее, лег на сухую траву, взял на прицел дорогу. Под левый локоть он аккуратно подложил загнутые полы маскировочного халата.

Прошли первые пять минут. Дорога была безлюдна. Прошло еще десять, еще пятнадцать минут, а дорога все еще была пустынна.

Наконец до уха Самойла донеслось неясное пение мотора и вслед за ним показался мотоциклист. Он мчался, низко припав к рулю, где был укреплен ручной пулемет. На рукаве у него Вихорь увидел белое пятно, догадался: эсэсовец.

Мотоцикл на полном ходу приближался к той воображаемой линии на шоссе, которую Вихорь держал на прицеле. Дорога была пустынна и холодно поблескивала в сером свете хмурого предвечерья.

Вихорь застыл в ожидании. В голове механически вспыхивали цифры, и он повторял: четыре, пять, шесть, семь, восемь... Числа росли молниеносно, нанизывались на огненную нитку, и Вихорь слышал, как вслед за ними тихо тикают на руке часы. Чувство времени не подводило его.

Мотоциклист приближался. И вдруг секундная стрелка начала спешить, словно кто-то нарочно подгонял ее. Вихорь знал, что ему только так кажется, и все равно продолжал шепотом считать, обозначая этим секунды. Еще одна или две секунды, и мотоциклист въедет, наконец, на свой последний рубеж. У мичмана заныла левая рука, под колено, откуда ни возьмись, попал острый камень и больно давил, в глаза дул пронизывающий ветер, которого до сих пор не замечал разведчик. Но все это было неважно, ведь мотоцикл уже в секторе обстрела. Это было, как хорошо запомнил Вихорь, на двенадцатой секунде.

Глухо ударила автоматная очередь.

Самойло рывком приподнялся на колени. По горам еще катилось эхо от выстрела, а эсэсовец уже упал грудью на руль. Пилотка слетела с головы, руки повисли вдоль переднего колеса, как будто мотоциклист внезапно заснул, положив голову на пулемет. Машина с разгона ударилась о каменный столб и полетела в ров. А может, это Зубов столкнул ее. Вихорь заметил на шоссе его фигуру, метнувшуюся вслед за машиной. Только маскировочный халат парусом раздувался на ветру. Казалось, что оба они — и мотоциклист и Зубов — летели с дороги вместе, опережая друг друга.

«Молодец!» — подумал Вихорь и взглянул на дорогу. Там попрежнему было пусто, хотя где-то за горой уже нарастал шум новых моторов, слышались гудки автомобильных сирен. Шоссе снова оживало. Оглянувшись вокруг и убедившись, что ничего не забыто, Вихорь мгновенно сполз на дно поросшего кустарником ущелья и быстро побежал к мотоциклисту.

Эсэсовец лежал навзничь, раскинув руки крестом. Все его карманы были уже вывернуты, нагрудные на френче распороты ножом. Возле него, с финкой в руке, хлопотал Иван Зубов, копаясь в багажнике.

— Ну, что там — есть? — спросил Вихорь.

— Есть! Ты правду говорил, — ответил Зубов, указывая рукой на куст.

Вихорь бросился туда и увидел на разостланном халате Зубова кожаный планшет мотоциклиста, пакет с сургучными печатями, какие-то письма, фотографии, железный крест и куцый шкодовский автомат.

Грохот на шоссе становился громче. Над головами разведчиков уже прошумели две машины, и Вихорь распорядился:

— Кончай, нам пора.

— Я не могу, это страшно, — отозвался из кустов Зубов.

— Что случилось? — бросился к нему Вихорь.

Бледный и растерянный, Зубов стоял на коленях перед убитым фашистом, что-то шепча побелевшими губами. В одной руке он держал шелковую детскую рубашечку, забрызганную кровью. Засохшие кровавые пятна покрывали всю грудь и рукава, но даже сквозь них ясно проступала украинская вышивка из колосьев и васильков. Другой рукой разведчик протягивал Вихорю окровавлен-

ную детскую юбочку с вышитым подолом. На подоле тоже колосья и васильки.

— Где взял? — строго спросил Вихорь.

— В мотоцикле...

Вихорь зажмурился и отвернулся.

— Спрячь, — сказал он решительно и начал заворачивать в маскировочный халат оружие и планшет... Завернув все, он шмыгнул в кусты, позвал за собой Зубова. Тот бежал за ним, прижимая к груди окровавленную детскую рубашечку, а глаза ему застилал тяжелый туман. Он непроглядной стеной закрывал кусты, ловкую фигуру Вихоря, которая то появлялась, то исчезала в густом кустарнике. Зубов нагнал мичмана только по ту сторону речки, в глубокой каменной пещере, густо заросшей колючим боярышником. Вихорь сидел на корточках, перебирал добытые у мотоциклиста документы.

— Хорошо. Это-то нам и надо, — бубнил он. — Тут и карты есть и какие-то приказы, видно. Кажется, что-то о наступлении на Севастополь. Дата наступления не обозначена. Передадут кодограммой. Да! Все ясно. Дивизия «Эдельвейс» будет ждать этого наступления во фронтовом резерве у передовой.

Вихорь сплюнул и тихо выругался.

— Не ругайся, и так тяжело на сердце, — Зубов протянул мичману детскую одежду. Рука его дрожала.

— Дочка у меня на Смоленщине. Она в такой рубашечке ходила... Жена повезла ее в гости, к деду, а тут война. Больше я ничего не знаю....

— Будет тебе... Мало ли похожих рубашек на свете? Давай я ее спрячу. Нам нельзя задерживаться. Проберемся на окраину Бахчисарая, а ночью — обратно к своим. Возьми себя в руки, — сказал Вихорь, и они надолго замолчали, крепко затягиваясь махоркой.

Тяжелая усталость сковала тело, но отсюда надо было уходить и пробираться к Бахчисараю.

Поздно ночью они очутились на окраине городка, среди разбитых бомбами домиков. В развалинах лежал древний ханский дворец, где стоял фонтан, описанный в поэме Пушкина, почернели от огня колонны.

— Когда-то здесь Пушкин ходил, — вздохнул Вихорь.— Помнишь его «Бахчисарайский фонтан»? Как там сказано:

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу, и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!

— Да, невесело на твоих берегах, Салгир. Видишь, Иван, что там делается? — и Вихорь показал Зубову на покрытую садами долину.

Там урчали грузовики, слышался гортанный немецкий говор, где-то тонко пела губная гармоника. За несколько часов, проведенных среди развалин, разведчики уточнили свои данные, узнали о расположении немецких частей, обозначили на карте, где и на каких улицах стоят вражеские штабы, склады, гаражи. Сделать это было нетрудно — в местах расположения немецких войск все время слышались громкие выкрики, гул моторов, ругань, оклики часовых.

Задание было выполнено, и они могли уже возвращаться в Севастополь, но Вихорь неожиданно заметил на столбе, который высился против их засады, длинное объявление. Это, верно, был какой-нибудь приказ немецкой комендатуры, и моряк решил прихватить его с собой. Оставив Зубова в яме, он подскочил к столбу. Тускло блеснула финка, которой он собирался срезать приклеенную к столбу бумажку. Но он прочел первое слово — и рука, державшая нож, замерла в воздухе.

Вихорь грудью приник к бумаге, с жадностью читал каждое слово. Большими четкими буквами было напечатано: «Доклад товарища Сталина на торжественном заседании в Москве 6 ноября 1941 года». Дальше шел текст, но в темноте его невозможно было прочесть.

Вихорь повернулся, чтобы идти к Зубову, но в ту же секунду ему скрутили руки, ударили под колено и, заткнув кляпом рот, потянули куда-то во двор. Ивана Зубова схватили еще раньше.

Нападающие делали свое дело молча.

Связали обоим руки, забрали оружие, завязали глаза. Потом, толкая в спину прикладами, вывели разведчиков на узкую каменистую тропинку.

Нападение было молниеносным, но Вихорь успел разглядеть нападавших. На них были немецкие мундиры с серебряными эсэсовскими значками на рукавах и воротниках. Эсэсовцы, конечно, приняли их за партизан,

устроив засаду на окраине Бахчисарая. Верно, фашисты поджидают еще партизан, и потому не подымают тревоги, молчат. Теперь Вихорю снова не миновать гестапо.

XVI

Машина, проскочив фронтовую зону, вдруг у самого Севастополя попала под артиллерийский обстрел. В том месте, где дорога расходилась — на Ялту и на Симферополь,— неожиданно появились регулировщики и замахали красными флажками. Коля хорошо знал, что это означает. Он зажмурил глаза и глубже втянул голову в плечи.

Интендант Гаркуша, прижав мальчика к себе, крикнул:

— Не бойся, проскочим!

Сердце у Коли сжалось, по спине пробежали холодные мурашки, и он закрыл голову руками. Машина рванулась, перескакивая через какие-то выбоины, а вокруг рвались тяжелые снаряды. Едкий запах мелинита, хорошо знакомый Коле еще по Одессе, неприятно щекотал в горле. Вокруг все гудело; отвратительный свист и разрывы снарядов заполняли все поле. Но прошло несколько минут, Гаркуша еще крепче обнял мальчика за плечи и крикнул:

— Проснись, матрос! Уже все, точка!

Коля открыл глаза, виновато улыбнулся:

— Я не испугался... Это я нагнулся, чтобы шапка не упала...

— Молодец! Люблю таких.— Гаркуша показал на поворот дороги, где поднимались столбы дыма и земли. Они только что миновали этот кусок.

— А шофер проскочил. Смелый, — похвалил мальчик.

— Мы каждый день по этой дороге ездим, и каждый день на ней так. Шофер наш тоже артиллерист и знает все законы артиллерии. Когда проскользнуть можно, а когда нужно и обождать, — объяснил Гаркуша и погладил Колю по плечу.

Мальчик посмотрел на него бездонными глазами, и в них загорелся искренний детский восторг, промелькнуло уважение к этому, казалось, сухому человеку в интендантской форме. Он ведь каждый день ездит по этой дороге огня и смерти. Ему не легче, чем матросам в окопах.

— А вам не страшно ездить так каждый день? — спросил Коля.

— Некогда, мальчик, о страхе думать. Мы снаряды возим, еду, обмундирование, раненых. Переходи к нам. У нас тебе хорошо будет, — ласково улыбнулся Гаркуша.

— Нет, я лучше с матросами останусь. Я их люблю, — сказал Коля и прижался плечом к Майбороде.

Майборода бросил гордый взгляд на интенданта, сбил набекрень ушанку.

Миновав крутые горы, машина въехала на Лабораторное шоссе, и пассажиры стали торжественными, строгими. Майборода присматривался к домикам на окраине Севастополя и не узнавал их. Некогда веселые и приветливые, они теперь стояли хмурые, забрызганные сажей и серой глиной под цвет каменных скал. Среди уцелевших жилищ виднелись груды развалин. Все окна закрыты ставнями, ворота на запорах, на улицах безлюдно. По обочинам дороги грустно покачивали оголенными ветвями старые деревья, не слышно было песен и звонкого детского смеха.

— А где же люди? — спросил Майборода.

— Кто на заводах, кто в домах, кто в убежищах.

Машина повернула к вокзалу, и Майборода умолк.

Перед ними лежали мертвые бухты, на большом рейде было пусто. Черноморский флот давно ушел на Кавказ и ютился там в тесных портах. Фашисты обстреливали теперь из дальнобойных орудий все севастопольские бухты и причалы, авиация бомбила порт, и держать флот в Севастополе стало невозможно. Майборода хорошо понимал это, но пустынный вид родного моря, на поверхности которого качались лишь несколько рыбачьих лодок, глубоко поразил матроса.

Город морской славы, в котором он побывал в день приезда из Одессы, стал неузнаваем. Об этом Майбороде на передовой не раз говорили матросы, вернувшиеся из Севастополя, но никакие рассказы не угнетали так, как увиденное воочию. В настороженной тишине, словно грозные часовые, высились в обнаженных парках и садах памятники адмиралам и флотоводцам, одиноко высилось здание Севастопольской Панорамы, лежал на Корабельной стороне неприступный и грозный Малахов курган. Возле железнодорожного вокзала, вдоль путей ходил седой стрелочник с медным рожком на поясе и что-то подбирал на путях между шпал. Ни вагонов, ни паровозов.

Матрос опустил голову, прикрыл ладонью глаза.

— Чего загрустил? Разве не знал об этом? — Гаркуша положил ему руку на плечо и огляделся вокруг.

— Лучше б я не ездил сюда с передовой, не видел всего этого, — стиснул кулаки Майборода.

— Злее будешь. Я каждый день на это смотрю, и мне тоже трудно, — сказал интендант.

Майборода вытянулся, насупил брови и замолчал.

Он ехал через весь город, обняв за плечи Колю, стараясь запомнить каждый разбитый дом, школу, больницу. Потом повернулся к морю и начал тихо рассказывать мальчику:

— Смотри, Коля, вон там наша «Гроза» стояла. А там дальше — эсминец «Стремительный», немного поодаль — лидеры «Харьков» и «Москва». Вот тут стоял крейсер «Червона Украина». Жаль, что ты маленький был и не видел, как они тут красовались...

— Еще увижу! Я теперь от флотских никуда не уйду. Это точно! Корабли вернутся в Севастополь, мне командир говорил. Он знает... — серьезно сказал Коля и заботливо снял белую ворсинку с матросской шинели.

— Кажется, мы приехали.

Машина остановилась перед серым приземистым домом без окон и крыши, исклеванном осколками бомб. Крышу, видно, снесло взрывной волной в один из налетов авиации.

Шофер поставил машину у обвалившейся стены, и все прошли во двор, потом спустились по каменным ступенькам в глубокий и сырой подвал. В бюро пропусков седая женщина проверила их документы, сказала:

— Проходите, Елена Михайловна ждет вас, — и посмотрела на Колю теплым материнским взглядом.

«Верно, и у нее когда-то такой сын был», — подумал Майборода и отдал женщине честь. Козырнул и Коля, звонко щелкнув каблуками. Женщина ласково улыбнулась, крикнула в открытую дверь:

— Оля! Это из подшефной части. Покажи, куда пройти...

Навстречу фронтовикам из темноты вышла девушка с русыми косами, в кирзовых сапогах и ватнике, с карабином через плечо. Она провела их по лестнице вниз, указала в длинном коридоре дверь, за которой их ждала Елена Михайловна Кулик.

Они остановились перед фанерной дверью, бросили взгляд друг на друга и, убедившись, что форма на них в порядке, перешагнули высокий каменный порог. Фронтовики думали, что попадут сначала в приемную, увидят там технического работника, который регулирует прием посетителей и помогает секретарю горкома партии, а попали прямо к секретарю, худощавой женщине с быстрыми блестящими глазами.

Она пошла им навстречу, прервав разговор с двумя пожилыми посетителями. Просто и непринужденно подала руку, а к Коле даже наклонилась, чтобы разглядеть его получше. Усадив фронтовиков на единственный диван, Елена Михайловна сказала, что скоро освободится, и продолжала прерванный разговор. Говорила она коротко, сжато, иногда касаясь рукой густой косы, венком уложенной на голове. В белой шелковой блузке с черным бархатным бантиком на груди, она казалась очень строгой. У стены стояла железная солдатская кровать, покрытая серым одеялом, в головах висел карабин. На табуретке у кровати два телефонных аппарата: полевой, в кожаном футляре, и городской, металлический.

— И дело не в том, — продолжала она, — сколько пассажиров перевезет за день трамвай. Дело в том, что он снова весело зазвенит на наших севастопольских улицах, его услышат женщины и дети. Это огромный моральный фактор. Ну, ладно, пустите сегодня на линию один вагон, а завтра второй. Счастливого пути! Я зайду к вам вечером.

Старый трамвайщик покачал головой, поднялся. Елена Михайловна, не прерывая разговора, взглянула на второго посетителя:

— Трамвай пойдет, а вы дадите людям муку, сахар, жиры. С хлебом перебои. Пекарни обстреливаются, их бомбят, пусть жители пекут хлеб дома. Достаньте разнарядку в торготделе, придерживайтесь ее с точностью до грамма. Не забудьте ни одного ребенка, ни одной вдовы, ни одной семьи фронтовика. Чтоб я не слышала на вас ни одной жалобы. Если вопросов у вас нет — тогда все.

В Севастополе снова начался артиллерийский обстрел, и Елена Михайловна тревожно посматривала на свои телефоны.

— Продукты будем раздавать по бомбоубежищам.

Женщины сами наладят контроль, — сказал кооператор, и посетители направились к двери.

— Переждите налет, — посоветовала Кулик.

— Некогда, Елена Михайловна, люди хлеба ждут, — и они вышли.

Грохот все нарастал и нарастал. Электрическая лампочка на столе горела неровно, часто мигала, чуть не гасла. Граненый стакан от сотрясения тонко позванивал о графин с водой.

Коле сразу стало грустно в этом подвале без окон и дверей, начинало клонить ко сну, и он то и дело протирал кулаком глаза. «И как только ей не страшно ночевать тут одной? Куда лучше на передовой, в просторном солдатском окопе. Там видно все: откуда стреляют, кого бомбят. Солнце светит над головой, воздух всегда свежий. Нет, ни за что бы я не жил тут», — подумал Коля.

— Мы вас давно ждем. Уже все шефы распределены, только одни ваши остались. Почему вы задержались? — спросила Елена Михайловна, и от ее слов всем вдруг стало уютно и тепло в этом подземелье.

— У нас, тетя, бои шли. Матросы по ночам не спали, — объяснил Коля.

— Знаю, у вас в полку все герои, — открыв ящик стола, она подала мальчику давно хранимую коробку шоколада. — Возьми, мальчуган, ешь на здоровье.

Коля стал смирно и отдал Елене Михайловне честь. Ему понравилось и то, что на коробке был нарисован Чапаев на коне, и то, что коробка дважды была перевязана матросской муаровой ленточкой.

— Наш артполк сдерживал немцев. Мы не могли думать о шефах, — откашлявшись, сказал Гаркуша.

— Севастопольцы знают о ваших артиллеристах, о вашем переходе через горы, агитаторы рассказывают севастопольцам о жизни во всех блиндажах. Вы будете дорогими гостями в каждом доме. Ну, что ж! Поедем к шефам, — сказала женщина, надевая меховой жакет.

На табурете зазвонил телефон, и Елена Михайловна схватила трубку, даже не надев второго рукава. Лицо ее сразу омрачилось, щеки окрасил нездоровый румянец. Она говорила тихо, коротко, отвернувшись к стене, чтобы не показать своего волнения.

— Складывайте печи в бомбоубежище номер пять. Цемент возьмите на Морзаводе. Что? Убитых? Убитых

хоронить без людных процессий. Почему? Начнется налет, артобстрел. Враг не посмотрит, что люди идут на кладбище. Понятно? Я буду у вас через полчаса.

Замолчала и, не кладя трубку, вызвала нужный номер. Телефонистка долго не соединяла. Яков Майборода исподлобья поглядывал на Гаркушу, но тот не поднимал головы, а только щелкал пальцем по медной пряжке портупеи.

Грохот бомбежки затих, и фронтовики услышали доносившийся сквозь фанерную дверь спокойный стук пишущей машинки, чей-то хриплый голос, вызывавший по телефону электростанцию. Из глубины коридора долетало далекое пение репродуктора. По радио передавали песню о гибели «Варяга», и она печально плыла под серыми каменными сводами. Верно, и Елена Михайловна заслушалась — она заговорила по телефону почти шепотом.

— Иван Антонович, они сейчас разбомбили пекарню. Там было много людей в очереди. Хлеба ждали. Есть жертвы. О траурных процессиях на кладбище я сказала. У меня представители двух полков, сейчас к шефам повезу. Хорошо, передам. В пекарне буду.

Внимательно оглядев комнату и убедившись, что все в ней на месте, Елена Михайловна вышла с гостями в коридор.

— Вас, товарищи, приветствует наш секретарь Иван Антонович. Он очень занят и извиняется, что не смог выйти к вам.

— Мы знаем его, — сказал Гаркуша.

— Он когда-то на крейсере «Червона Украина» с нашим комиссаром служил, — гордо произнес Майборода, весело взглянув на интенданта.

— Они, кажется, старые друзья, — подтвердила Елена Михайловна, положив руку Коле на плечо. Пока шофер заводил машину, она прищуренными глазами смотрела на Севастополь.

Над городом стоял удушливый дым, где-то отчаянно гудели сирены пожарных машин, и в районе Морзавода вздымалось высокое пламя. Но небо было уже чистым, ярко светило низкое по-зимнему солнце и даже немного пригревало, — на утоптанном снегу воробьи пили из луж воду. Коля не выдержал, схватил снежок и бросил в птичек. Елена Михайловна рассмеялась:

— Ох ты, матросик мой! Теперь ты знаешь, где я

живу, приезжай ко мне в гости. Вы разрешите ему? — спросила она Майбороду.

— Почему же нет! Пусть приезжает, когда тихо будет.

Елена Михайловна покачала головой.

— Тихо... Если б тихо!

— А мы думали, что вам тут легче, — сказал Майборода. — Фронт от вас далече, кино работает регулярно, свой ансамбль песни и пляски есть... А вот, смотри ты, пекарню разбомбили, хлеба не хватает... Похоронные процессии после каждого налета. И все на вашу голову.

— Не жалуемся. Нам все же легче, чем бойцам в окопах. Севастопольцы знают это, — заметила Кулик, садясь в кабину.

Машина остановилась возле аккуратного домика Громовых. Майборода чуть не подпрыгнул от радости, увидев знакомые ворота, сад, окна с белоснежными занавесками.

— Пожалуйте, товарищи, — сказала Елена Михайловна, — здесь живут ваши шефы. Правая половина Лабораторного шоссе, где стоит домик Громовых, взяла шефство над полком морской пехоты. Левая, противоположная, хочет шефствовать над артиллеристами. Люди сами заявили об этом.

Услышав шум у ворот, из калитки выбежала Варвара Громова. Она на ходу вытирала передником руки, видно, бросив стирку или мытье посуды. Вежливо поздоровавшись с Еленой Михайловной, она стала внимательно осматривать фронтовиков.

— Здравствуйте, мамаша! — приветствовал ее Майборода.

— Здоров будь, сынок,— важно ответила Варвара. — Скажите-ка, что это за матросы теперь пошли? В гости их не дождешься, в Севастополь не докличешься. Чай, как из Одессы вернулись, сорочки во дворе стирали, так всего наобещали. Ну, что там у вас? Все живы, здоровы? Что делает Мария, где Вихорь? Теперь я с вас глаз не спущу, раз под мою команду попали. Или, может, ты не согласен под мою команду?

— Согласен, мамаша. С превеликой радостью мы приняли это известие. У нас все живы, здоровы, просили кланяться вам, — сказал Майборода.

— Спасибо. Проходите в комнаты.

— Так вы уже давно знакомы? — удивилась Елена Михайловна. — Тогда мне здесь и делать нечего. Принимайте их, Варвара, а я товарища интенданта провожу на ту сторону.

— Вы идите, а с матросами я сама справлюсь.

На голос Варвары начали выглядывать из других домов женщины, дети. Прибежал запыхавшийся Игорь и с завистью посматривал из-за ворот на Колю, на его новую матросскую форму.

Как только Елена Михайловна с Гаркушей ушли на ту сторону улицы, женщины окружили Майбороду и Колю. Варвара знакомила фронтовиков с каждой соседкой отдельно, называла по имени. Смущаясь, Коля, следом за Майбородой, протягивал свою маленькую руку, и женщины брали ее легко, боясь крепко пожать. Подконец Коля познакомился с Игорем, и сразу позабыл о Майбороде, шефах и вообще обо всем. Когда Варвара пригласила всех в бомбоубежище, Майборода подмигнул Коле, чтобы тоже шел с ним, но Варвара остановила его:

— Ну зачем он тебе? Пусть побудет с Игорем. Он ведь, бедненький, в ваших окопах и землянках свету белого не видит. Пусть хоть поиграют, — сказала она решительно и крикнула Игорю: — Сынок, покажи ему кроликов, своди к голубям. Поиграйте вместе, а обедать я вас позову.

Когда женщины с Майбородой исчезли в каменной скале, Игорь взял Колю под руку и сказал:

— Хорошо, что ты не пошел с ними. Там неинтересно. Я тебе все расскажу, о чем они там будут говорить, что надумали. Вот тут, в нашем доме, да еще вон в тех двух устроят ночной санаторий. В нем будут отдыхать ваши солдаты и офицеры по очереди после боя. А вот там построят для вас баню и душ. Отец уже душ провел.

— Вот здорово! — захлопал в ладоши Коля.

— Ну, а в бомбоубежище — швейная мастерская, — продолжал Игорь. — Женщины будут шить вам белье, ватники, шапки, чинить одежду. Чтоб матрос всего этого сам не делал. Кроме того, вам к Новому году собирают подарки. Табак, папиросы, вино, одеколон, носовые платки, вышивают кисеты. Уже много собрали. Я тебе покажу, все это у нас дома лежит.

— Вот это шефы! — обрадовался Коля.

— А ты что думал?!

Мальчики уселись на крыльце, они не обо всем расспросили друг друга, и поэтому играть было еще рано, смотреть крольчатник и голубятню не хотелось. Игорь глянул на свое потертое пальтишко, на стоптанные башмаки, тихо спросил:

— А как там, на фронте?

— Фашистам мы здорово дали по зубам, и они уже не наступают. Теперь учимся, глубже в землю зарываемся.

— А у тебя автомат есть?

— Нет, у меня кавалерийский карабин. А правда, у нас скоро будет много танков, самолетов и катюш? Тогда мы фашистов так погоним, что земля загудит. Мир тогда наступит, и мы с тобой опять пойдем учиться. А ты учишься? — спросил Коля.

— Нет. У нас старшие классы еще не учатся. Я пока у коменданта служу. Добровольно, значит. Когда было тепло, рыбу для раненых ловили. Вот если бы меня на фронт взяли!

— Не возьмут, у тебя отец есть, и ты не сирота, — сказал Коля и открыл коробку шоколада. — Бери, ешь. Это мне Елена Михайловна подарила.

— Она добрая. У нее сын на фронте, а мужа убили под Москвой. Ей уже и похоронная пришла из военкомата. Теперь много убивают. А как у вас?

Коля отложил коробку в сторону, покачал головой:

— Много и у нас убили, когда наступление было. А теперь вот Вихоря нет. Как ушел в разведку под Бахчисарай, так и по сей день нет. Весь полк за него переживает, командир уже послал поиск по его следам. Нет, не слышно о Вихоре...

— Какой Вихорь?! Может тот, что на «Грозе» служил? — вскочил Игорь.

— Тот самый. Он очень смелый мичман и меня начал к разведке приучать.

— Я его знаю. Он у нас был, когда полк из Одессы приехал. И ваша Мария была.

Они замолчали.

Нетронутая коробка шоколада лежала перед ними, и ветер шелестел узорчатой бумагой, закрывавшей коробку по краям. Игорь не взял ни одной конфеты, а, завязав коробку муаровой ленточкой, отдал обратно Коле, сказав:

— Знаешь что, спрячь для Вихоря. Как только он придет, угостишь его, и Марию тоже.

— Вот хорошо придумал! — засмеялся Коля, пряча коробку в глубокий карман матросской шинели.

XVII

После долгого перерыва Колосок снова взялся за свой дневник. Открыв новую страницу, он записал:

«Мой журнал уже не вмещает всего, что происходит на фронте и в Севастополе. Даже наша ежедневная газета «Черноморец» не имеет возможности охватить всех событий, а куда уж мне... Я продолжаю записывать только то, что сам видел, или то, о чем мне рассказали участники описываемого события. Так будет лучше и правдивее.

Я рад, что первое боевое крещение получил в полку морской пехоты, где служат снайперы Мария Богучар, Яков Майборода, старшина Павел Грызлов и разведчик Самойло Вихорь. Они меня познакомили с артиллеристами соседнего полка, которыми командует Борис Андреев и где интендантом добродушный и не скупой хозяйственник Гаркуша. Теперь, где бы я ни был, я всегда думаю о них, стараюсь, хоть на минуту заехать к ним. Свидания с ними придают мне сил, даже в самые трудные минуты моряки остаются оптимистами. Все они связаны морской дружбой так, что водой не разольешь. Матросы тоскуют о товарищах, бросившихся с гранатами под танки. С теплой грустью они вспоминают родных, оставшихся в Одессе или в других оккупированных районах страны. Эта печаль так велика, что уже давно переросла в ненависть.

Недавно, возвращаясь с крепостных бастионов первой линии, я опять завернул к морякам. Добротные блиндажи в три наката, окопы и ходы сообщения полного профиля. Вокруг не увидишь лишних тропинок и следов. Одна едва заметная тропочка вьется в кустах, по ней ходят все. Это для маскировки от воздушных разведчиков, чтобы не засекли штаб и командные пункты. В землянках и блиндажах — бойцы называют их по-морскому кубриками — чисто и уютно, как на корабле. Хотя всех моряков давно переодели в пехотную форму, но матросской тельняшки никто так и не снял. Она неизменно

синеет у каждого на груди, когда он расстегивает пехотную гимнастерку. А делают они это так часто, что вы сразу можете узнать матроса, в какую бы форму его ни одели. Кое-кто даже пришил на хлястик пехотной серой шинели морские пуговицы с якорями.

Я приехал к ним вечером. В землянке Павла Грызлова собрались матросы. Грызлов вслух читал «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, а Яков Майборода и остальные внимательно слушали. Рядом с Грызловым сидел воспитанник полка Коля в новой матросской форме и то и дело вытягивал шилом фитилек самодельной лампы из гильзы зенитного снаряда. Почему они читали именно «Бахчисарайский фонтан», мне стало известно позднее, когда Майборода прервал чтение и заговорил о судьбе Самойлы Вихоря.

Вихорь пошел в глубокую разведку под Бахчисарай, взяв с собой молодого разведчика Ивана Зубова. Ходить в разведку мичману не впервой. Он часто выполнял сложные задания штаба — за линией фронта. Но на этот раз он пошел и не вернулся. За ним было послано две пары разведчиков. Но и они пока не вернулись. Это очень тревожило матросов, а особенно близких друзей Вихоря.

Павел Грызлов уже дочитывал поэму. Я присел рядом и тоже стал слушать. Грызлов читал громко, четко выговаривая каждое слово. В глазах моряков светилась далекая мечта, верно, каждый вспоминал свой родной край.

Где-то просвистел снаряд. Это вывело матросов из мечтательного настроения. Грызлов отодвинул книгу, внимательно посмотрел на меня. Майборода сказал: «А может, наш друг оператор слышал что о Вихоре? Он ведь бывает в штабах, ездит со своим аппаратом по всем полкам». Грызлов пригласил меня поближе к столу. «Мы вас очень просим, товарищ фотокорреспондент, вспомните, где вы были последние дни, что слышали среди штабистов, а особенно среди разведчиков о нашем Вихоре. Мы до сих пор ничего не знаем о нем».

Все матросы, сидевшие на земле, подались ко мне, повернули головы в мою сторону, а Коля так колупнул шилом фитиль, что лампа вспыхнула высоким пламенем и начала сильно коптить. На это никто не обратил внимания, все ждали, что я скажу утешительного. Но что я мог сказать, если сам только сейчас впервые услышал эту

историю? Мне тоже стало жаль Вихоря, смелого и веселого моряка, который был моим крестным отцом в первом бою под Перекопом. Впрочем, я нарочно наморщил лоб, как бы что-то припоминая, чтоб не огорчать их сразу. Я пообещал им, что сегодня же примусь за розыски. Все корреспонденты на ночь съезжаются в редакцию, и я расспрошу их. Они ведь из разных частей приезжают.

Яков Майборода посмотрел на меня с такой благодарностью, словно я оказал ему огромную услугу. Со всех сторон ко мне протянулись руки. Один протягивал коробку папирос, другой спички, третий дарил самодельный портсигар с зажигалкой. А в Севастополе с куревом туго, и спички найти трудно.

Я растерялся от такого гостеприимства, начал отказываться, да какой там. У них такой закон — боже упаси отказываться от матросского подарка. И слышать не хотят.

Снова они заговорили о Вихоре, придумывая различные варианты сложных положений, в которые мог попасть мичман. В самый разгар этой дискуссии в землянку вошла Мария Богучар, и все матросы замолчали. Грызлов в один миг раскрыл книгу и ткнул в нее большим пальцем, делая вид, что боится забыть строку, на которой он остановился.

Мария стояла на пороге, бледная, грустная, и внимательно присматривалась к матросам. Она, верно, догадалась, что мы говорили о Вихоре. Прошла к столу, посмотрела на раскрытую книгу, потом на Грызлова и тихо спросила: «Какие у вас новости? Я на рассвете иду со снайперами в засаду. Целый день мы ничего не узнаем...»

Майборода громко откашлялся, в глубине землянки кто-то вздохнул, но Грызлов строго взглянул на матросов, и они тотчас примолкли. «Мы ждем новых известий, — сказал он Марии. — Нам должны сейчас позвонить. Вот и фотограф обещал помочь».

Она тронула меня за плечо, прошептала: «Я очень прошу вас, узнайте все, что можно». В ее голосе была такая мольба, что я быстро вскочил с места, распрощался с матросами, чтобы поскорее попасть в редакцию. Всю дорогу я просил шофера поспешить, чтобы поспеть туда до захода солнца. Мы удачно проскочили зону артиллерийского обстрела и вылетели на Лабораторное

шоссе. Там было тихо и спокойно. Мне очень хотелось хоть на минутку остановиться возле домика Громовых, где прохаживались легко раненые матросы, но перед глазами у меня встал Вихорь, всплыло встревоженное лицо Марии. Я не смог остановиться у ворот Громовых.

В этот день мне сразу же не повезло.

На старом месте, в тихом переулке, я уже не застал нашей редакции. Там лежали кучи битого кирпича и курились развалины. Как выяснилось, с самого утра в этом квартале рвались снаряды дальнобойной немецкой артиллерии. Разбило два грузовика походной типографии, завалило бумажный склад. По приказу командования редакция перебазировалась за город, в район так называемой Максимовой дачи. Об этом нам сказал часовой, поджидавший всех, кто еще не знал о переезде редакции на новое место. Он рассказал, как удобнее проехать на Максимову дачу, и мы с Лабораторного шоссе повернули в сторону бывшего Французского кладбища времен первой обороны Севастополя. Интересно, что здесь совсем рядом было и Английское кладбище, а немного поодаль, на передовой, находилось еще и Итальянское. Я подумал, что сейчас такие кладбища устроят на Сапун-горе немецкие, итальянские, румынские и венгерские фашисты. Это, верно, и будет единственным памятником их бесславного пребывания под нашим Севастополем.

Редакция разместилась в густом саду, на территории завода виноградных соков, который изготовлял и сырье для шампанских вин. Под деревьями стояли наши грузовики, а в глубоком подвале уже расположилась редакция, устанавливали печатные машины. Для моей фотолаборатории завхоз отвел небольшую комнатку возле гаража. Но я недолго пробыл в лаборатории: меня назначили начальником караула, так что мне не удалось сразу же поговорить с корреспондентами о Вихоре.

Я принял дежурство, расставил часовых. В это время из подвала начали выкатывать бочки с вином, чтобы освободить место для наборного цеха. На каждую бочку седой старичок наклеивал ярлык с черепом и двумя скрещенными костями. Мне вменили в обязанность всю ночь охранять и эти бочки.

В тот же день вечером мне удалось расспросить кое-кого из корреспондентов. Один вернулся из Балаклавы,

другой — со станции Мекензиевы горы, третий — с передовой из-под села Камышлы. Выяснилось, что все они хорошо знали Вихоря, даже слышали о последней разведке под Бахчисараем, но больше ничего не знали. Мне стало горько от этих разговоров, и я вышел из подвала во двор проверять посты.

Ночь была темная и тревожная. Вокруг гремела канонада, в горах и на море она становилась еще громче. Я, пригнувшись, ходил под каменными стенами завода, посматривая в ту сторону, где стояли бочки с вином. Около полуночи гром боя начал затихать, и, возвращаясь в подвал, я услышал подозрительный шум. «Что за напасть!» — подумал я и, прячась за кусты, бросился к бочкам. Пригнулся и вижу: два матроса цедят в большой никелированный чайник вино. Чайник ярко блестит даже в темноте. Я подкрался к ним и неожиданно схватил одного за плечо, а сам дрожу, чтоб шума не наделать, а то будет горе и им, и мне. «Что вы делаете, разбойники... Оно ведь отравлено!» — шепчу одному в самое ухо. Вино сразу перестало шуметь, потому что тот, кто возился с чайником, выхватил шланг и заткнул бочку пробкой. «Тише, братишка, все в порядке. Мы уже удираем», — зашептал тот, кого я держал за плечо. Я присмотрелся к нему ближе — и чуть не обомлел. Это был Яков Майборода. Мгновенье мы стояли молчаливые и растерянные, не зная, что делать дальше. В глубине души я укорял себя за то, что так неожиданно набросился на матросов. Они смущенно переступали с ноги на ногу, виновато опустив головы. Майборода, искоса посмотрев на мой взведенный автомат, поставил чайник в кусты, тихо сказал: «Ты нас не арестовывай, мы ведь не для себя вино брали. Самойло Вихорь подал о себе весточку и на рассвете должен вернуться. Радиограмма от него пришла. Вот какое дело...»

Я опустил автомат и готов был броситься ему на шею, готов был пригласить их обоих в свою еще не устроенную лабораторию и там угостить в честь такой радостной новости, но караульная служба не разрешала мне сделать это. Я приказал им бежать отсюда как можно быстрее и никому не говорить, где они были. У меня стало так легко на сердце, будто я получил от матери долгожданное письмо. Нашелся Вихорь, живой и здоровый! Моряки пожали мне руки, и Майборода

сказал на прощанье: «Большое спасибо тебе, товарищ Колосок, что помог нам устроить хорошую встречу Вихорю. Приезжай к нам в гости». Я так растерялся, что не успел и расспросить их, каким образом Вихорь подал о себе весточку, что с ним вообще произошло и где он сейчас, о какой радиограмме говорил Майборода и как Вихорь мог прислать ее из вражеского тыла. И, наконец, как они сами попали сюда, как узнали о вине.

Матросы побежали на гору по каменной лестнице, а я громко расхохотался. Все удивлялись, спрашивали, что случилось, таким меня еще никогда не видели в редакции. А я смеялся так, что слезы выступили на глазах, и не мог рассказать корреспондентам об этой ночной истории с вином. Я не мог сдержаться и сразу сел за журнал, чтобы записать все по горячим следам.

После обеда ударил мороз, а к вечеру повалил густой снег. Даже странно, что сейчас на зеленых кипарисах и плюще лежат пушистые хлопья. Лежат, не тают, а зелень под ними не замерзает».

XVIII

Самойло Вихорь не мог уже держаться на ногах и начал медленно клониться к земле.

Он сразу догадался, что схватили его не фашисты, хотя и были они одеты в эсэсовскую форму. Когда его и Зубова повели в горы, Вихорь услышал за своей спиной тихую родную речь с волжским оканьем, потом крепкую ругань и понял, что они попали к партизанам. Немцы не смогли бы так чисто выговаривать русские слова.

Мичман запротестовал и тоже выругался, требуя, чтобы его и Зубова немедленно отпустили, иначе он будет жаловаться командиру партизанского соединения. Но это не помогло. Их скоро привели в горы, и тут сразу разлучили. Зубова куда-то увели, а Вихоря бросили в этот затхлый и глухой подвал, не развязав даже рук. Идиоты!

Но на сердце у Вихоря было спокойно. Он знал, что находится среди своих. Страшная усталость сковывала все тело. Очень хотелось спать и ни о чем больше не думать. Затекли скрученные в суставах руки, в голове стоял гул, глаза невольно закрывались. Вначале он боролся с усталостью, кусал растрескавшиеся губы, встря-

хивал головой, но это мало помогало. Голова становилась все тяжелее, и мичман погрузился в дремоту. Ровные и горячие волны плескались под ним, Вихорь покачивался на этих волнах, так же, как в море, когда устав плавать, он ложился на спину, чтобы отдохнуть, вдыхая всей грудью чистый морской ветер. Потом волны начали спадать, и Вихорь ясно увидел линию горизонта. Он внимательно вглядывался туда, где море сходилось с небом. Потом горизонт начал удаляться, заволакиваться серебристой кисеей, а волна гнала Вихоря все дальше от него, к неведомому берегу. Мичман даже слышал какие-то далекие голоса, звон якорных цепей в клюзах, медный перезвон вахтенных склянок на палубе. Все казалось ему необычным, как в далеком детстве, на берегах розовых лиманов под Одессой.

Потом голоса и шум береговых причалов стали громче, явственнее. Вихорь широко взмахнул руками и вынырнул. Перед глазами предстали яркие и живописные очертания Севастополя. На внутреннем рейде стояла вся эскадра, разукрашенная праздничными флажками. Среди кораблей, отражаясь в тихой воде, покачивался эсминец «Гроза». От этого у Вихоря сразу прибавилось сил, и он уже со всего размаху выбрасывал руки вперед, грудью рассекая чистую соленую воду.

Вихорь не плыл, а летел к родным берегам, он видел толпы людей на бульварах, яркие платья девушек между белыми колоннами Графской пристани, белоснежные паруса яхт на зеленой воде Южной бухты. Они уже совсем близко, эти бульвары и парки. Вихорь плывет к боновому заграждению, ясно различает металлические буи на якорях, закрывающие вход в бухты. Сейчас он схватится за один из буйков и, немного отдохнув, хорошо и спокойно рассмотрит свой Севастополь, в котором не был так давно, чуть не целую вечность.

Палящее южное солнце светит в спину, и Вихорь хорошо видит весь берег, ровные улицы Севастополя, белые домики, толпы матросов и девушек на бульварах. Неужели его заметили, и ему навстречу уже мчится сторожевой катер? Вымпел морского флота трепещет за кормой, а на стекле прожектора играет ослепительный луч солнца. На палубе катера Вихорь узнает Марию Богучар. Она что-то кричит ему, смеется. Белые полоски зубов поблескивают на солнце, за плечами, как вымпел,

развевается розовая косынка. Еще миг, и Мария подаст ему руку, втянет к себе на палубу катера.

«Осторожно!» — хочет крикнуть ей Вихорь, но в горле пересохло, не хватает дыхания, и он не может вымолвить ни слова. Солнце горит на стекле прожектора, больно режет глаза. Вихорь хочет вытащить руку из воды, чтобы прикрыть ладонью глаза, но рука стала тяжелой, словно ее свело судорогой. Ею даже нельзя пошевелить. Перед глазами плывут синие круги, над морем вдруг встает густой туман, закрывает солнце. Исчезает сторожевой катер, а с ним и Мария.

Вихорь чувствует в плече тупую боль, встряхивает головой и открывает глаза. Перед ним мерцает огонек карманного фонарика, и кто-то осторожно трогает его за плечо.

— Вставай! — гудит незнакомый голос.

Мичман удивленно озирается, стискивает зубы. Перед глазами вновь сырой подвал, солома, остро пахнет прелой землей. Руки Вихоря крепко связаны, и лежит он у стены на гнилой соломе. На поверхности бьют орудия, грохот докатывается сюда, словно далекий девятибалльный шторм.

Острое лезвие разрезает веревку, и руки мичмана падают вдоль тела. Он медленно разжимает пальцы, потом стискивает в кулак и опять разжимает.

Незнакомец прячет в карман складной ножик и ласково улыбается:

— Ты прости меня, мичман Вихорь, — тихо говорит он.

— Простить? — Вихорь замечает, что незнакомец смущен, чувствует себя виноватым. На нем потертый ватник, заячья шапка-ушанка, на ногах мягкие кожаные постолы. На шее висит автомат, на пуговице — электрический фонарик.

— Конечно, прости, — говорит незнакомец, легонько похлопывая Вихоря по плечу. — Это у нас первый случай такой. Больше, я думаю, не повторится...

— А кто ты такой? — Вихорь смерил его взглядом.

— Я — рыбак из Ялты. Ну, и заядлый охотник. Все тропинки в горах знаю. Только ночь была сегодня очень темная, вот я и дал маху. — Рыбак вздохнул и выпрямился.

— Рыбак, охотник, темная ночь... А при чем здесь я? — Вихорь недоуменно пожимает плечами.

— А при том, мичман, что мы заставили вас задержаться, потерять несколько лишних часов.

— Говори яснее, как там тебя... — решительно бросил Вихорь.

— Пятница, — с готовностью отвечает рыбак.

— Что все это значит, какая там пятница?

— Это я — Пятница. Фамилия у меня такая.

Пятница берет Вихоря под руку и ведет к двери.

— Пойдем скорее в штаб, там тебе партизаны все объяснят.

Они спускаются по крутой тропинке в глубокое подземелье. Пятница пропускает мичмана вперед, и они входят в каменную пещеру.

Из стен и потолка выступают большие каменные глыбы, покрытые мутными каплями воды. Тут жарко, даже немного душно. На бочке из-под бензина стоит ящик, на нем горит коптилка, сделанная из снарядной гильзы. В ее желтом свете Вихорь видит пожилого человека с седыми усами, в смушковой кубанке. На плечах у него поношенная кожаная куртка, подбитая мехом. Черная суконная гимнастерка с высоким воротником застегнута на все пуговицы. В углу склонился над телефоном связной, прижав к уху трубку. У стены на колоде сидят люди, вооруженные автоматами. По одежде они похожи на рыбаков. На одном высокие сапоги, на остальных валенки или постолы. Они в потертых ватниках, дождевиках, брезентовых плащах. На головах шапки-ушанки, матросские подшлемники. Люди молчат, с интересом разглядывая вошедшего Вихоря.

В углу Вихорь замечает Зубова. Его друг спокойно курит, растянув в улыбке рот до самых ушей.

— Садись, мичман Вихорь, и прости, что доставили тебе столько хлопот, — заговорил седой человек в кожаной куртке. — Но сегодня под Бахчисараем ты совершил промах, — и он поднялся, разгладив карандашом усы.

Вихорю подставили табуретку, и он тяжело опустился на нее.

— Я не думал, что разведчики морской пехоты так беспечны, даже когда задание выполнено и они отдыхают, — продолжал седой. — Скажи мне, ну зачем тебе понадобилось воззвание с речью товарища Сталина? Мы его расклеили в ту ночь по всему Бахчисараю. Расклеили и устроили засады, чтобы выловить изменников, которые

будут срывать листовки. Вот мои парни и привели тебя сюда.

Вихорь засопел.

— Мы хотели сделать как лучше. Я думал, что это приказ немецкой комендатуры, а когда разглядел — уже поздно было, схватили ваши молодцы.

— Разведчик, сынок, всегда и в каждом случае должен думать, что и как может обернуться против него.

В землянке стояла спокойная тишина. Казалось, она исходила от самого партизанского командира, который так просто и спокойно разговаривал с Вихорем. Партизаны внимательно слушали этот разговор, не перешептывались, тесно усевшись на колоде у стены.

Командир подошел к Вихорю, положил ему на грудь тонкие худые руки. Вихорь почему-то подумал, что такие руки бывают у служащих. Они хорошо орудуют арифмометром, чертят разные проекты. Вихорь заметил, что командир немного сутулился, голову держал низко, словно что-то читал.

— Ну что же, матрос, давай закурим, — сказал командир и протянул Вихорю пачку папирос.

Вихорь схватил папиросу и, даже не разминая ее, сунул в зубы. Командир поднес зажигалку и наблюдал, с какой жадностью Вихорь затянулся. Разогнав ладонью дым вокруг себя, мичман оглянулся на партизан, посмотрел на Зубова и сказал:

— Я должен доставить в штаб немецкие документы о дивизии «Эдельвейс», она уже пришла под Севастополь. Это надо сделать немедленно, сейчас.

— Хорошо. Мы по радио передадим твои данные. А где же документы?

Вихорь протянул пакет, завернутый в окровавленную детскую рубашечку. Командир осторожно взял его обеими руками.

— Ребенка фашист убил и одежду содрал... Страшное дело... — глухо произнес Вихорь и опустил голову.

— Мы каждый день такое видим, — ответил командир. — А ты возьми эту рубашку и покажи матросам в Севастополе. Пусть знают...

— Возьму.

— Сейчас твои данные зашифруют и передадут по радио. О том, что вы у нас, тоже сообщим в радиограмме. А теперь идите отдыхать. Через фронт пойдете

ночью. На день мы замираем, днем нас тут нет. Пятница проводит вас и все устроит,— распорядился командир.

Гостеприимно распахнув дверь, Пятница пропустил разведчиков вперед. Посвечивая фонариком, он вывел обоих узенькой извилистой тропочкой в горы.

Они остановились на вершине, покрытой дубовым и хвойным лесом. Непролазные чащи горного дубняка, колючего шиповника и еще какой-то дикой растительности плотной стеной окружали весь партизанский лагерь. Густой лес тянулся по горам, выходил к самому морю, а там, через Балаклаву и Байдарские ворота, к Ялте. Над горами уже вставал бледный рассвет, низко плыли тяжелые снеговые тучи. Холодный колючий ветер пронизывал до костей, свистел в крепкой дубовой листве, которая еще не опала.

— Слушай, Пятница, давай закурим, — сказал Вихорь.

— Тут нельзя. В пещере закурим, — улыбнулся Пятница. Он легко и быстро побежал с горы. За ним, прижимаясь к скале, свисавшей над черной пропастью, едва поспевали моряки. Ущелье было глубокое, и на дне его клокотал поток. Вихорь заглянул в пропасть, и у него закружилась голова. Они обошли гранитный выступ скалы с севера и вскоре очутились на юго-восточном откосе. Здесь было тихо, северный ветер не долетал сюда.

— Закурим потом, — остановился Пятница и тронул Вихоря за плечо. — Ты не сердись, что так случилось. Я не знал, кто вы такие, а расспрашивать было некогда. Давай лучше я тебе Севастополь покажу. Хочешь?

— Покажи, — живо откликнулся Вихорь.

Они пробежали еще несколько шагов над пропастью и остановились на ровной площадке, где прижался к скале незаметный шалаш. Даже вблизи его трудно было различить, он напоминал гранитный валун, покрытый снегом. При их появлении из шалаша выглянул бородатый человек в длинном кожухе и валенках. Он вопросительно посмотрел на Пятницу, смерил колючим взглядом его спутников.

— Это свои, папаша, из Севастополя. Разреши им из твоего маяка взглянуть на родной город. Мы их ночью немного припугнули, темно было, — объяснил Пятница.

— Заходите, ребята, — охотно согласился бородач.

В шалаше было уютно. Пол покрыт душистым горным сеном, дощатый топчан застелен пестрым ковриком. В снопиках, которыми был обшит шалаш, виднелась продолговатая амбразура. В ней стояла артиллерийская стереотруба и рядом — табуретка для наблюдателя. Бородач погладил шершавой ладонью трубу, сказал:

— Трофейная. Настоящий Цейс!

Вихорь прижался глазами к трубе и замер.

Синеватая предрассветная мгла уже прояснялась. Вихорь увидел знакомые очертания Севастополя. Перед ним, как на ладони, тускло поблескивали обе бухты. Ни лодочки, ни плота на мертвой воде. Над пустынными бухтами поднималась серая громада камуфлированных портовых сооружений, на холме виднелся купол Панорамы. Дальше, на Корабельной стороне, в районе железнодорожного вокзала бушевало зарево. Внизу, под горой, на которой стояли шалаш и стереотруба, огненной полосой извивалась линия фронта. Разбитая снарядами и развороченная бомбами, земля была на этой линии черна, словно перепахана гигантскими плугами. Фронт светился огненными вспышками, раскаленной подковой опоясывая весь Севастополь.

Вихорь оторвался от трубы, закрыл ладонью глаза.

— Не могу... Там, на фронте, не так видно, а тут — страшно. Все бухты пусты, кораблей нет...

— Закури, браток, тут можно, — отозвался Пятница и подал Вихорю бархатный, вышитый бисером кисет. Кисет доверху был набит сухими листьями желтого ароматного крымского дюбека. Вихорь свернул папиросу.

— Всю ночь бомбили Севастополь по кварталам, — пояснил бородач. — И без этих окуляров было видно.

— Не грусти, браток, — сказал Пятница. — Мы тебя завтра ночью переправим в Севастополь. Я тоже хочу туда идти, да командир не пускает. Говорит, что я знаю много тропинок в горах, все пещеры и охотничьи шалаши. Сам он у нас инженер. Порты и причалы строил. А я рыбак из Ялты...

Внизу, там, где проходил фронт, снова загрохотало, заскрежетало, и раскатистый гром даже против ветра долетел в горы, прокатился по ущелью между деревьями. Он все нарастал и крепчал. Солнце уже взошло, и снова началась война.

XIX

Дзот номер одиннадцать матросы построили совсем недавно. Его толстые стены еще пахли свежим цементом и известью, пол был широк и ровен. Низкие перекрытия в три наката из рельсов и дубовых бревен были хорошо уложены. Матросы посыпали пол душистым горным сеном, поставили в главную амбразуру станковый пулемет, разложили в погребке боезапас, бутылки с зажигательной смесью, гранаты, спрятали на полках еду. Жизнь в дзоте номер одиннадцать началась сразу, как только в него вошли шесть курсантов электромеханической школы и их командир, старшина второй статьи Сергей Раенко.

Комсомолец Калюжный постучал рукояткой кинжала по стене и прислушался, как глухо и гулко загудел дзот.

— Можешь не щупать, построено на совесть, — сказал Раенко.

— Теперь вижу, — пояснил Калюжный.

— Вот скептик, пока сам не потрогает — никому не поверит, — вмешался пулеметчик Григорий Доля.

— Так меня отец учил. Не мы его строили, а жить и воевать в нем нам придется. Стало быть, я должен все знать, — отозвался Калюжный.

— Узнаешь, когда первый снаряд ударит. Это будет лучшая проба, — Раенко подмигнул.

В углу зазвонил полевой телефон, и моряки замолчали. Раенко снял трубку:

— Одиннадцатый слушает! Спрашиваете, как добрались? Ничего, все живы, здоровы. Вот сейчас Калюжный пробовал — крепкий ли у нас дом. Что? Нет, остался доволен. Кубрик хороший, иллюминаторы высокие, во все стороны видно, на сто восемьдесят градусов. Собрание? Собрание будет ночью. Корреспондента? Можно. Хорошо. Будем следить. Кажется, этой ночью они еще не начнут. Соседей своих вижу и чувствую. Связь с ними уже наладил. Хорошо! Есть!

Раенко положил трубку, посмотрел на свою команду. Матросы стояли спокойные, казалось, равнодушные к телефонному разговору, но в глазах у каждого командир заметил острое любопытство.

— Комиссар привет всем передал, — сказал Раенко.

— Спасибо! Пусть не волнуется, — ответил Доля.

— Спрашивает, пили? Ели? Интересуется, у кого насморк, может, кто назад просится? — продолжал Раенко, и лукавые искорки светились в его глазах.

Калюжный не выдержал, тряхнул русым чубом.

— Не тяни, старшина. Комиссар не об этом говорил...

— Мы хорошо знаем комиссара. И он нас знает, не мог комиссар так говорить, — прибавил Доля.

Раенко широким взмахом руки обнял обоих матросов, легонько тряхнул за плечи. В эту минуту он напоминал шаловливого мальчишку с портовых причалов и совсем не был похож на грозного флотского старшину второй статьи. И матросы в этом объятии как будто снова почувствовали теплое пожатие руки комиссара, когда он в штабе прощался с ними, провожая в этот, еще не обстрелянный, одиннадцатый дзот. Вспомнили черноморцы и день, когда родные и друзья провожали их служить на флот. Слез не было. На вокзале громко пели баяны, гремел бубен всеми колокольчиками да звонкая песня летела над осенними полями. Им завидовали все, кто присутствовал при этом, и в глазах матерей светилась гордость за своих сыновей. И когда Сергей Раенко обнял своих матросов в дзоте, они вспомнили все, глаза их засияли, словно каждый ступил на порог родного дома.

— А я и не знал, что вы такие ревнивые,— засмеялся Раенко. — Хотел пошутить, а не вышло...

— Обживемся здесь, может, и выйдет, — сказал Калюжный.

— Первый бой выиграем, тогда и обживемся, — подхватил Доля.

— Это верно, — согласился Раенко. — Комиссар напомнил о новом наступлении фашистов. Оно уже нависло над Севастополем. Может, даже сегодня ночью начнется. Комиссар еще раз просил быть наготове. За нами Севастополь и море. Помните: все за одного, один за всех, — и все за Севастополь! Он еще раз повторил нам эти слова.

— Ясно, — нахмурил брови Калюжный.

— Ну, просил еще встретить нашу разведку. Может, она будет возвращаться мимо нас. Потом, корреспондент к нам вышел. Что ему тут надо? Рановато еще...

— А откуда корреспондент? — спросил Калюжный.

— Флотский.

— Пусть идет, с ним веселее будет. Он новости принесет, газеты свежие, — сказал Калюжный.

В углу тихо запел зуммер, и тотчас же вспыхнула электрическая лампочка от аккумулятора. Вахтенный матрос, стоявший в секрете у дзота, подал Раенко знак выйти наружу.

Глубокий ход сообщения начинался от самого дзота и шел зигзагами по всей высоте. Высота была пологая, и с того места, где стоял дзот, хорошо видна глубокая делина, поросшая кустарником. В кустах сосредоточивались фашистские танки и пехота. Оттуда моряки и ждали наступления. Ходы сообщения пролегали вдоль высоты, в обе стороны, к таким же дзотам, как одиннадцатый. Раенко хорошо видел их: дзот четырнадцатый — слева, тринадцатый — справа. Там сидели моряки, только сегодня на рассвете прибывшие в полк морской пехоты. Командир полка объяснил им всю сложность обстановки, создавшейся на фронте за последние дни. Враг подтянул к Севастополю новые дивизии, танковые и авиационные соединения, много штурмовой и дальнобойной артиллерии. Фашистское командование подготовило новое, значительно более мощное наступление и получило приказ Гитлера взять Севастополь штурмом в течение нескольких дней. Командир рассказал морякам всю правду, ничего не утаив. Им будет трудно, труднее, чем в дни первого наступления, но фашисты к Севастополю не пройдут, даже по трупам своих солдат.

Раенко еще раз оглянулся на притихшую долину, уже затянутую вечерней мглой, взглядом измерил свой сектор обстрела на этой долине, — невольно съежился и втянул голову в плечи. Может, еще сегодня ночью долина оживет от орудийных залпов, запылает морем смертоносного огня. Фашисты в бешеной злобе бросятся на дзот, на семерых моряков, у которых один станковый пулемет, винтовки и гранаты. Они могут, наконец, пойти в обход, зажать дзот с двух сторон в клещи. Пусть идут, пусть кидаются. Защитники дзота хорошо знают, зачем их поставили на этой пологой высоте. Севастополь будет бороться и жить!

Раенко расправил плечи и по окопу побежал к часовому.

— Что случилось? Тревога? — спросил он.

— Нет, все спокойно; вот корреспондент к нам прибыл, — сказал часовой.

— Где он?

— Здесь, — показал на выступ окопа часовой.

На каменистом дне на корточках сидел Колосок и добродушно улыбался. Его потертый реглан был весь в желтой глине, сапоги в грязи, штаны на коленях измазаны мелом. Увидев Раенко, он радостно вскочил и хотел было отрекомендоваться, но над головой просвистела вражеская пуля, потом вторая, третья, и Колосок опять присел.

— Осторожно, у них снайпер есть, — предостерег Раенко.

— Да я уже говорил ему, — пояснил часовой.

Колосок взялся было за планшет с документами, но его остановил Раенко.

— Я вас знаю, можно и без документов... Вы бывали у нас на Корабельной стороне. Пойдемте в наш дом, — пригласил он и пропустил Колоска вперед.

Матросы дали Колоску щетку и суконку, и он старательно начал чистить реглан, штаны, сапоги, объясняя при этом:

— Он как накрыл меня еще за поворотом, так всю дорогу и не дал оторваться от матушки-земли, не позволил головы поднять. Вот я и в глине весь. Верно, они уже пристреляли все подступы к вашему дзоту! Тяжеленько вам придется...

— А мы на легкое дело не ходим, — спокойно ответил Калюжный, продевая в пулемет новую ленту.

— У вас, кажется, сегодня комсомольское собрание? Вот я и пришел, — объяснил Колосок.

— Делегатское собрание, — поправил его Калюжный. — Только оно ночью будет, и фотография ваша может не получиться.

— У меня магний есть.

— Собрание будет в траншее.

— Тогда я запишу все. В газету можно и без фотографии.

— Ну, это дело другое. Только и записывать еще нечего будет. Это уже после боя можно записывать, — стоял на своем Калюжный.

Внизу, во вражеских окопах, послышались два взрыва, и моряки припали к амбразуре. Потом фашист-

ские окопы вспыхнули огоньками трассирующих пуль, заговорили автоматы и ручные пулеметы. Там поднялся какой-то переполох, суета и в этом гаме прозвучали разрывы гранат.

— Гранаты! У них в окопах гранаты рвутся, — радостно воскликнул Калюжный.

— Свои своих бьют, что ли? — спросил Колосок.

— Нет, там что-то другое, — сказал Калюжный.

— Это наши! — обрадовался Раенко и скомандовал: — Огонь! По левому флангу, где бьет их пулемет. Трассирующими показывай дорогу своим.

Застрочил станковый пулемет Калюжного. Вслед за ним открыл огонь пулемет из соседнего дзота. Заговорили наши минометы. Следы трассирующих пуль огненными бусами рассекали темноту, обозначали путь для неизвестных смельчаков, которые швыряли гранаты во вражеские окопы.

Зазвонил телефон.

— Одиннадцатый слушает! — закричал Раенко, стараясь перекричать пулемет. — Хорошо! Разве не слышите? Я уже прикрываю. Дозор выслать? Да! Иду! Понял! Одну красную ракету? Есть! — и уже положив трубку, скомандовал: — Доля, за мной!

Схватив гранаты и ракетницу, они выскользнули из дзота, исчезли в темноте глубоких ходов сообщения. Через миг Колосок увидел красный след ракеты, которая, рассекая небо, дугою медленно падала на отлогую высоту. Все произошло внезапно, и фронт сразу проснулся. Стрельба в фашистских окопах долго не стихала. Враг нервничал, злился, накрывая огнем тот клочок земли, где упала красная ракета.

В дзот вернулись Раенко и Доля. Осторожно ступая, они несли на шинели раненого Ивана Зубова. Следом за ними вошел бледный Самойло Вихорь. Разведчик был одет в немецкую форму. Зеленоватую его пилотку украшало пестрое перо какой-то птицы, на груди висели два немецких автомата.

— Воды ему... — тихо сказал Вихорь.

Матросы подошли к раненому.

Вбежал санинструктор, и в дзоте резко запахло лекарствами. Зубов лежал на душистом сене, широко открытыми глазами смотрел в потолок. Когда ему пере-

вязывали простреленную ногу, он не стонал, а только, кусая побелевшие губы, шептал:

— Я уже добежал до вашей горы... Это тут меня пуля догнала, уже возле вас. Вот беда... Споткнулся на родном пороге. Скажи, браток, а кость у меня в ноге цела? Скажи, не бойся... Мы спокойно прошли все их заставы, все три линии обороны, а возле колючей проволоки нарвались. Вихорь первый швырнул в них гранату. А потом и я бросил. Мы одни шли, без партизан. Ну, скажи, цела нога или перебита?

— Лежите спокойно, все будет хорошо, — сказал санинструктор.

— Ну, спасибо тебе, будь здоров, — Зубов закрыл от усталости глаза. В дзоте стало тихо, только в амбразуру врывался холодный ветер, свистел под потолком, доносил далекие выстрелы орудий, пулеметную трескотню и соленый запах моря. Зубову казалось, что море плещется совсем близко, где-то за стеной, навевая дремоту и тихий сон.

Вихорь укрыл его шинелью и повернулся к Колоску, который сидел в углу на ящике с гранатами вместе с Раенко, Калюжным и Долей. Колосок был в восторге от того, что встретил Вихоря, не сводил с него глаз и пытался рассказать все фронтовые и севастопольские новости сразу.

— А я тебя, оператор, и не признал сразу. Богатый будешь, — сказал Вихорь.

— Какое там богатство! — махнул рукой Колосок. — Мне дороже богатства то, что вы вернулись. На Военном Совете в Севастополе контр-адмирал Багров и генерал Ковалев читали ваши документы, те, что вы у фашистов отобрали. Там был приказ Гитлера о взятии Севастополя в четыре дня, с точным указанием, когда, на каком участке фронта они должны начать штурм. Этот приказ партизаны передали шифровкой по радио, с припиской, что его доставили вы вместе с Зубовым. Командующий очень хвалил. Это точно. Мне сам адъютант контр-адмирала Багрова рассказывал. Ну, и Мария будет рада за вас...

Вихорь насторожился.

— Мария, говоришь? А что она?

— Жива, здорова. В другой раз расскажу, — прищурил глаз Колосок. — А о новом наступлении на Севасто-

поль мы впервые от вас узнали. Потом это подтвердили разведчики других полков. Это точно.

Вихорь поднял голову, недоверчиво посмотрел на Колоска и матросов.

— Он говорит правду, — сказал Раенко. — Мы и есть те первые резервы, которые встретят фашистов на этой высоте. Мы прибыли в ваш полк, когда тебя уже не было здесь. Хоть наша высота и пологая, но матросский характер ты хорошо знаешь... Дзот у нас тоже крепкий. На семь матросов у нас шестьдесят тысяч патронов, сто пятьдесят гранат, двести бутылок с горючей смесью, станковый пулемет, ну и винтовка — у каждого. По-хозяйски все.

Вихорь встал.

— Нам пора трогаться. Спасибо за встречу, за выручку в бою, за все спасибо. Пусть санитар мне поможет.

— Добро! — сказал Раенко и протянул Вихорю руку.

— А ты, корреспондент, пойдешь с нами? — спросил Вихорь.

— Нет, я тут останусь, — гордо ответил Колосок.

— Ну, тогда заходи попозже, согласен?

— Согласен, обязательно забегу.

Вихорь с санинструктором осторожно подняли тяжело дышавшего Зубова и, пригибаясь, понесли его по траншеям в штаб полка.

Над горами лежала глухая зимняя ночь, о скалы бился холодный ветер, и где-то во мгле, у моря, курился дым Севастополя.

В ту ночь в глубокой землянке неподалеку от дзота номер одиннадцать состоялось собрание комсомольских делегатов. На повестке дня был один вопрос: «О наступательных боях». Колосок записал фамилии выступавших, а выступление Калюжного — полностью. Колосок вспомнил, как стрелял из пулемета Калюжный, и подумал, что, может, эта стрельба и спасла от смерти Вихоря и Ивана Зубова, когда они возвращались из разведки.

Потом собрание вынесло решение — клятву Родине. Колосок полностью записал ее в свой блокнот. В ней было сказано: 1. Не отступать назад ни на один шаг. 2. Ни при каких условиях не сдаваться в плен. 3. Драться с врагом по-черноморски, до последней капли крови. 4. Показывать пример бесстрашия, отваги, героизма

всему личному составу. 5. Наше решение — клятву поместить в боевых листках и сообщить по всем дзотам, окопам, огневым точкам. 6. Настоящее решение обязательно для всех комсомольцев.

Тут же это постановление переписали в боевые листки, а листки наклеили на фанеру и на рассвете под обстрелом понесли по всем окопам, дзотам, огневым точкам. Все матросы подписали клятву. Колосок сделал ряд снимков, сфотографировал также боевые листки с сотнями подписей. Кассеты с негативами стали для него в тот день самым драгоценным грузом. Теперь он думал только о том, как их целыми и невредимыми пронести с этих высот в Севастополь. Колосок приполз по ходам сообщения в дзот, когда уже шел обстрел всей высоты и сказал Раенко:

— Товарищ старшина, я уже все сделал и сейчас отправлюсь от вас в редакцию. Я очень прошу следить за мной, как я буду ползти; если со мной произойдет что-нибудь по дороге, вы заберите мои кассеты с пленкой. Они будут лежать здесь, в левом кармане кителя. Заберите и немедленно передайте в редакцию.

На глазах у Раенко он переложил пленку в металлических катушках в левый карман и распрощался.

XX

В семью Громовых вернулся из госпиталя муж Любы, Никита Серебров, командир батареи, остановившей фашистов под Севастополем. Он еще опирался на палку, но раны его уже зажили. Поднялась с постели Люба и вновь принялась за работу в школе, открытой в бомбоубежище. Несколько дней молодожены провели вместе, побывали даже как-то вечером в кино, помогали Варваре подготовиться к зиме, присматривали за Игорем, который совсем было отбился от рук. Иногда приходил домой с завода, где он теперь жил, старый Артем Громов. Завод начали перевозить в Инкерманские штольни.

Варвара получила письмо из Ленинграда. Сын писал, что жив, здоров. Варвара перечитывала и пересказывала это письмо соседям и знакомым, и о нем уже знали все обитатели бомбоубежища на Лабораторном шоссе. Читая письмо, мать всхлипывала, вспоминала второго сына. Из-под Тулы писем не было.

В двух своих комнатах да еще в нескольких других домах Варвара организовала санаторий для матросов, которые вернулись из госпиталя, но нуждались еще в покое и усиленном питании. Женщины приносили сюда свежее молоко, лук, чеснок, яблоки, капусту. Откуда все это бралось в осажденном Севастополе, знала только одна Варвара. Она даже сыну не всегда давала полакомиться, но раненому или больному матросу обязательно приносила что-нибудь — и другим женщинам показывала пример. Моряки любили Варвару и рассказывали о ней на фронте. Севастопольский горком партии стал приводить ее инициативу в пример всем женщинам. Каждый день в дом Громовых прибывали делегации с фронта и из разных районов города. Когда ее спрашивали, как она добилась всего этого, женщина спокойно отвечала:

— Я давно уже забыла, что такое наше, а что такое фронтовое. Теперь не может быть нашего и вашего. Теперь все их, все для них, — и высоко подняв руку, указывала туда, где гремела битва за Севастополь.

Когда на фронтах заходила речь о Севастополе, матросы часто расспрашивали о Варваре Громовой, что она за женщина, где ее дети, кто ее муж. Наконец фронтовики пригласили ее вместе с двумя соседками к себе в гости. Женщины приоделись, собрали воинам подарки. Полный ящик. А матросы провозгласили аврал по всем землянкам: чистили, мыли, подметали.

Женщин встретил сам Зеленцов. Он поздоровался со всеми за руку, пригласил в штабную землянку, велел подать фронтовой обед. На этот обед были приглашены командиры батальонов и самые заслуженные бойцы. Очень обрадовалась Варвара, увидев за столом Марию Богучар, Якова Майбороду и Павла Грызлова. Они сидели рядом, и Варвара тихо сказала Зеленцову:

— Я Марийку еще до войны знала, помню ее в тот день, когда война началась. Деточки мои родные, — и краешком платка она вытерла глаза, — присылайте их ко мне, товарищ командир, почаще, я присмотрю, обстираю, обошью.

— Хорошо, Варвара Ивановна, пришлем.

Гости ели флотский борщ с перцем, рагу из баранины, компот из сушеных фруктов. Потом гостей повели в батальон, в землянки-кубрики, провели даже по глубоким ходам сообщения на передний край. Силой, уве-

ренностью веяло от людей, которых Варвара видела на переднем крае. У женщины отлегло от сердца, и она сказала своим спутницам:

— Тут на фронте спокойнее, чем в Севастополе, не так страшно... Поглядите, какая силища стоит. Теперь мне и в Севастополе спокойнее будет жить. Пусть бросают бомбы, пусть бесятся враги на свою голову.

Женщины роздали матросам подарки. В каждом было приветственное письмо, адрес и просьба написать или заехать в гости.

Когда стали прощаться, Варвара спросила Майбороду:

— Сынок, а где этот кудрявый, вихрастый, Самойло? Что это его не видно у вас?

— Он, мамаша, далеко теперь, в разведке...

— И давно его нет?

— Скоро придет, у партизан задержался.

Варвара молча прошла к грузовику, стоявшему в кустах, и увидела Марию, срывавшую колючие ветки шиповника, усыпанные огненными плодами. Мария рвала их, дула на исколотые пальцы, собирала букет. «Верно, к себе в землянку поставит. Известно, девушка...» — подумала Варвара и окликнула Марию.

Девушка обернулась: лицо бледное, глаза запавшие, губы крепко сжаты. Варвара подошла к ней.

— Приезжай ко мне, Марийка. А о нем не грусти: он, твой Вихорь, не из такого пекла вырывался. Скоро придет...

Мария прижалась к ее плечу, поцеловала Варвару.

— Спасибо, приеду, — и побежала вниз, размахивая огненным колючим букетом.

А когда через несколько дней на Лабораторном шоссе появился Самойло Вихорь в новой форме, Варвара в первую минуту не могла и слова вымолвить. Выбежала к нему с передником на шее — как стояла у корыта с солдатским бельем, так и бросилась навстречу. Вихорь молодецки козырнул, отрапортовал:

— Прибыл, мамаша, в ваше распоряжение на поправку. Срок два дня.

— Голубь мой сизый! Матрос мой бесшабашный! Откуда ж ты взялся? — причитала Варвара.

— Кашу фашистам варил...

Варвара смерила его острым взглядом.

— И хорошо твоя каша уварилась?

— Хорошо. Только больно крута да солона, — засмеялся Вихорь.

— Молодец. Ну, пойдем в дом. Мы тебе постель чистую приготовим, рубашку выстираем. Ты ж и не спал там вдосталь, и не ел досыта, — сетовала Варвара.

— Да что вы, мамаша. Матросам на своей земле везде хорошо. Была бы голова на плечах да ноги в руках, — отшутился Вихорь.

Откуда-то прибежал Игорь, схватил мичмана за руки, потащил во двор.

— Дядя, а вам еще орден дали?

— Нет, еще не дали.

— А Коля сказал, что дали, — настаивал Игорь.

— Ого. Ты, вояка, уже и Колю нашего знаешь.

— Знаю, — хлопнул в ладоши Игорь и повис на руке Вихоря. — Вы только маме не говорите: я хочу к вам в полк идти. Вдвоем с Колей мы любое дело сделать можем. Даже в разведку пойдем. Я все тропиночки в горах знаю... А Коля вам шоколад подарил или нет? Он сказал мне, что подарит...

Вихорь ладонью зажал мальчику рот, подмигнул в сторону крыльца, где стояла Варвара.

Густой темнозеленый плющ вился по каменной стене, у высокого порога шумел багряной листвой дуб, ворковали белые голуби на крыше. На окне умывался лапкой дымчатый кот, по двору ходили пестрые куры и заметал хвостом землю кудлатый пес на цепи. Тут все было знакомо, как в детстве на материнском дворе в Одессе. Сквозь оголившиеся ветви сада Вихорь видел холодный блеск Южной бухты, белую колоннаду Графской пристани, и сердце моряка наполнилось тихой радостью. Он подставил ветру разгоряченное лицо и все вдыхал и вдыхал полной грудью соленый ветер, долетавший из морской дали. С улицы потянуло сладким дымком русской печи, остро запахло свежей едой, теплый запах свежевыпеченного хлеба защекотал ноздри. Где-то заплакал ребенок, и тотчас же послышалась тихая материнская колыбельная.

Все это вызывало воспоминания о тихих мирных днях.

Весна на родной земле виделась Вихорю часто, в самые трудные военные дни, мерещилась ему темными ночами в разведке, он мечтал о ней под Бахчисараем,

в засаде на шоссе, в горах среди партизан. Ради нее он был согласен идти на любую жертву. Но теперь она лежала скованная морозом войны, засыпанная снегами блокады, хотя жила и боролась, ожидая своей поры, чтобы вырваться из-под снега, зеленым шумом до краев наполнить сердца советских людей. Все они, советские люди, как и мичман Самойло Вихорь, несли в себе эту мечту о живительной весне, на фронте и в тылу боролись за ее приход.

Мичман представлял себе огонь этой советской весны, пылающий в домнах и мартенах Урала, на заводах в далекой тайге, он слышал ее дыхание в каменных штольнях Инкермана, под Севастополем. Этот огонь разгорался все сильнее, он был виден на всех материках, морях и океанах, он согревал человеческие сердца.

Вдруг на горе застучала зенитная батарея. Вихорь метнул злой взгляд в ясное небо и сжал кулаки. Просветлевшее лицо мигом омрачилось: он услышал, как оборвалась колыбельная, громко заплакал ребенок, увидел, как слетели с крыши испуганные голуби. Через дорогу к бомбоубежищу бежали матери с младенцами, спешили старики, дети. Вихорь смотрел на эту суету, горько покачивая головой.

Выбежала на крыльцо и Варвара, торопливо кутаясь в теплый платок.

— Что б ему, окаянному, ни дна ни покрышки. Гостя дорогого и то принять не дает. Пойдем, мичман, в скалу, там переждем, — обернулась она к Вихорю.

— Спасибо, мамаша, я лучше искупаюсь сейчас, а потом спать лягу. Две ночи глаз не смыкал. Так что вы одни идите в скалу, — спокойно сказал Вихорь.

— Идите, мама, идите, я сам покажу, где купаться, а где спать, — поспешно отозвался Игорь.

— Горе мне с вами, да и только, — махнула рукой Варвара и побрела через дорогу на соседний двор. Там, у скалы, толпились женщины и знаками подгоняли Громову. В небе уже слышался нудный, надоедливый гул бомбардировщиков, приближавшихся к Севастополю с моря. Над землей они боялись летать.

Осколки зенитных снарядов сыпались с неба, но Вихорь не замечал этого. «Черт с ними, хоть выкупаюсь как следует. Бомбежки, вечные воздушные тревоги на-

доели и на фронте. Выкупаюсь, а там будь что будет»,— думал он, подставляя разгоряченное тело под колючий душ. Рядом вертелся Игорь, подливал на раскаленные камни воду, нагонял пар, брызгал на мичмана из ведра и звонко смеялся. Скоро они вышли из бани, чистые и раскрасневшиеся, с крупными каплями пота на лбу.

— Красота, — сказал Вихорь.

— А ты еще позавтракай да ляг в постель, вот тогда и скажешь — красота... Все, кто приезжал к нам ночевать, не нахвалятся. Все говорят — красота, — болтал Игорь, бегая вокруг стола и подсовывая Вихорю картошку, лук, квашеную капусту.

— Настоящий курорт. Ялта, да и только, — хвалил еду Вихорь.

— Не знаю, я на курорте не был, — сказал Игорь.

— Ничего, побываешь и на курорте. Вот только войну закончим. Тогда все у нас будет, и ты, брат, увидишь много интересного... Учиться пойдешь, сможешь поехать в Москву... — задумчиво говорил Вихорь, удобнее укладываясь на мягкой широкой кровати.

— Спи уж, а я пойду в скалу, а то мать рассердится.

— Иди, да не задерживайся, — сказал Вихорь и закрыл глаза.

Он слышал, как осторожно, на цыпочках вышел мальчик, как затихла зенитная стрельба и в небе загудели наши истребители. С фронта долетел глухой гул артиллерийской канонады, он перекатывался по горам, как далекий гром. Под этот гул, с первого дня войны стоявший у него в ушах, Вихорь начал засыпать. Снова послышалась ему колыбельная песня, он видел яблоневый сад в розовом цвету, а над ним целые тучи пчел. В саду сладко пахло весной, так же, как тогда, когда он, впервые вошел в этот сад и встретил Марию и рядом с ней мичмана Шагайду. Вихорь заметался во сне и застонал. Варвара Громова, уже вернувшаяся из бомбоубежища, припала ухом к двери. «Верно, болит у него что-то»,— подумала она, но стон больше не повторялся. Вихорь крепко спал.

За яблоневым садом шумело ослепительное море, сизокрылые чайки шныряли над самой водой, белый парус надувался на свежем ветру, прилетавшем с высоких гор, где высились серый Чатырдаг и каменистый Ай-Петри. У подножья гор цвели кусты и деревья, трепетали крас-

ные маки и большие тюльпаны альпийских лугов. Взойдешь на такой луг, а трава и цветы — по пояс. Аромат такой, что дышать трудно. Раздуваются ноздри у Вихоря во сне, и, сонный, он вдыхает пьянящий аромат высоких Крымских гор.

Вдруг что-то трепещущее защекотало Вихорю лоб, словно бабочка опустилась на лицо и ползет по глазу, щекочет длинными усиками веки. Вихорь хочет отогнать бабочку и просыпается. Он протирает глаза и никак не может окончательно проснуться. Открыл глаза, наконец, и замер.

Около него сидит Мария. Она в светлом платье, на белой шее нитка янтаря. Тонкая рука гладит его по волосам.

— Хороший... вернулся.

— Мария! — вскакивает Вихорь и хочет обнять ее.

— Не надо... Там в кухне Варвара...

— Я искал тебя, Мария, звал...

— А я сама пришла, — шепчет Мария, и в ее глазах вспыхивает лукавый огонек.

— Что же ты меня сразу не разбудила?

— Пожалела. Ты так сладко спал. Что тебе снилось?

Вихорь растерянно трогает чуб и замечает, что на столике возле кровати стоит букет дикого шиповника с алыми плодами. Букета не было здесь, когда он ложился спать. Значит, Мария принесла шиповник с гор, ведь он растет в горах, что тянутся от Бахчисарая до Севастополя. Вихорь видел, как пылает он там алым пламенем.

Дверь из кухни тихо отворилась, и на пороге выросла Варвара. В ее глазах и радость и упрек. Она утирает губы краешком белого передника, укоризненно качает головой.

— Разбудила все-таки. Не могла подождать. Ой, и бессовестная же...

— Нет, мамаша, я сам проснулся. Я думал, что это еще сон, — говорит он и, обхватив ладонями вихрастую голову, трясет ею, словно хочет отогнать дремоту. Варвара подходит к Марии, ласково обнимает за плечи.

В спальню врывается заплаканный Игорь. Он, видно, быстро бежал, запыхался, всхлипывает, рукавом вытирая глаза. Пальтишко на нем расстегнуто, шапка набоку, в руке отцовский матросский пояс с якорем.

— Мама, связной с фронта прибыл, всех забирают от нас. Фашисты начали наступление. И вас обоих забирают в бой. Артиллеристы уже грузятся на машины... Мама, что же это такое?

— Пойдем, Самойло, — и Мария выбегает в кухню. Вихорь слышит, как шелестит ее платье, звенит пряжка портупеи, как вздыхает Варвара. Он вскакивает с кровати, в одно мгновение надевает форму, закидывает за плечо холодный автомат. Мария, уже в военном, стоит в дверях, ждет его. Взгляд у нее острый, лицо бледное, между бровями прямая глубокая морщинка.

XXI

Второе наступление на Севастополь, по приказу Гитлера, противник начал на рассвете семнадцатого декабря, рассчитывая за четыре дня овладеть главной базой Черноморского флота и тем завершить оккупацию всего Крыма. Еще в конце октября фашистское командование бросило на штурм Севастополя 54-й и 30-й армейские корпуса, в составе шести пехотных дивизий. Во время первого наступления на Севастополь, эти корпуса понесли большие потери в живой силе, в материальной части и перешли к позиционной войне, решив после длительной и упорной подготовки повторить наступление.

Весь опыт и первой мировой войны, и трехлетней войны на Западе фашисты вложили в организацию этого второго наступления на Севастополь.

Потрепанные, понесшие большие потери, 54-й и 30 й корпуса получили пополнение. В помощь им была подтянута еще одна пехотная дивизия и три альпийские горнострелковые бригады. Была подвезена тяжелая осадная артиллерия сверхмощных калибров, особые минометно-огнеметные батареи, тяжелые танки, вокруг Севастополя сосредоточились крупные соединения бомбардировочной и истребительной авиации. Как стало видно из захваченных вражеских документов, часть которых первыми добыли Вихорь и Зубов под Бахчисараем, вся подготовка велась с особой тщательностью, а само наступление было спланировано так, чтобы в течение четырех дней наверняка овладеть Севастополем. Приказы, таблицы, инструкции были расписаны в деталях. На направлении главного удара фашисты довели мощность артиллерийского огня

до пятидесяти шести орудий тяжелых калибров на один километр фронта, не считая артиллерии легких калибров и минометы. На место прорыва были нацелены тяжелые танки и самоходные орудия.

Семнадцатого декабря ровно в восемь часов утра фашисты открыли ураганный огонь по всей линии нашего фронта.

Весь горизонт затянуло дымом. Десятки пикирующих бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, ринулись на боевые порядки наших войск, на Севастополь. С наблюдательных пунктов отчетливо было видно, как под прикрытием огневого вала артиллерии и минометов вслед за танками медленно, понуро пригнувшись, шла фашистская пехота. Фашистские автоматчики, используя горно-лесистую местность, ночью проникли в тылы наших войск и, пытаясь создать видимость окружения, открыли бешеный огонь из автоматов.

Началась вторая битва за Севастополь.

Главный удар фашистское командование направило на линию Мекензиевы горы — высота Азиз-Оба. Этот участок фронта тянулся на десять километров. Отсюда фашисты хотели выйти к железнодорожному полустанку Мекензиевы горы, а затем прорваться на северную сторону, в Севастополь.

На подступах к этой линии стоял полк морской пехоты Зеленцова, артиллеристы майора Андреева и несколько дзотов на флангах, занятые новым пополнением. Эти дзоты, приданные морской пехоте, господствовали над ближними подступами, ведущими к виноградному совхозу имени Софьи Перовской и Мекензиевым горам. В двухстах метрах от села Камышлы стоял дзот номер одиннадцать, которым командовал старшина второй статьи Сергей Раенко.

Когда попутная машина артиллерийского полка привезла Марию Богучар и Вихоря к Мекензиевым высотам, полк морской пехоты уже отбивал вторую, невиданную по силе фашистскую атаку. С моря долетал пронзительный ветер, обжигал морозом пальцы, но матросы не чувствовали холода, — им было жарко. Как только на миг стихал грохот боя, слышалось громкое и раскатистое «ура-а-а», которое ветер гнал по широкой долине далеко в горы.

Санитарные машины круто сворачивали под гору.

Раненых выносили из пещеры на носилках, укладывали в кузовы на свежую солому, прикрывали одеялами. Легко раненых санитары просто подсаживали в машины, и они размещались между носилками и вдоль бортов.

Мария отвернулась, чтобы не видеть их глаз, исполненных боли, и потянула Вихоря в сторону. Они пробежали несколько шагов по узенькой тропинке и вынуждены были залечь. Тропинку уже обстреливали из миномета. Мины рвались по всей площади, и Мария видела, как падают, скошенные осколками, верхушки молодых дубков. Ей было не в новинку ползти под минометным обстрелом, и она ползла, стараясь попадать в те места, где уже разорвалась мина.

В это время над лесочком взмыл фашистский истребитель и ударил из двух пулеметов по скале, возле которой лежали раненые. Летчик ясно видел белую санитарную палатку, большой красный крест на ней. Он, верно, видел и ряды носилок с ранеными. Видел, проклятый, и ударил из двух пулеметов в самую гущу искалеченных бойцов, у которых не было уже ни винтовок, ни орудий, ни пистолетов. Он зашел еще раз и вторично обстрелял палатку. Мария услышала крик раненых, неистовую брань, увидела, как угрожая самолету, к небу поднялись забинтованные руки. У Марии похолодело в груди. Она рукой прикрыла глаза и застонала.

— Мария, что с тобой, родная? — склонился к ней Вихорь.

— Варвары! Даже раненых не щадят, — всхлипнула девушка.

— Что раненые?.. Они детей вешают... — и Вихорь ринулся вперед, прокладывая Марии путь в густом кустарнике.

Чем дальше, тем труднее становилось идти. Из-за леса по всей площади, прилегавшей к расположению полка морской пехоты, начался артиллерийский обстрел. Откуда-то застрочил вражеский пулемет, в кустах трещали автоматные очереди. Вихорю и Марии пришлось перепрыгивать из окопчика в окопчик, перебегать по траншеям запасной линии обороны, пока, наконец, они не попали в ходы сообщения, которые вели со всех участков фронта к командному пункту полка.

На полпути к командному пункту, разместившемуся в хорошо замаскированном железобетонном дзоте, они

столкнулись с Яковом Майбородой. Моряк бежал, пригнув голову, растрепанный и покрасневший, и, казалось, ничего не видел перед собой. Трофейный автомат болтался на шее, бил по груди, но он даже не придерживал его рукой.

— Стой, орел! — схватил его за плечо Вихорь и сам чуть не упал от столкновения.

— Матушка моя! Кого я вижу! — закричал Майборода, протирая покрасневшие веки.

— Что случилось, Яшенька? — подбежала к нему Мария и, положив руку ему на грудь, вскрикнула: — Как у него, бедняжки, сердце стучит. Что же это такое?

Майборода широко развел руками:

— Контр-адмирал Багров к нам прибыл! И генерал Ковалев. Сидят у Зеленцова в блиндаже над картой. Радио и телефоны их со всем фронтом связывают. В стереотрубу всю линию видно, ведь у нас здесь самая высшая точка. Мы — на направлении главного удара. Вот что случилось.

Бежали пригнувшись, ползли по земле на открытом месте, пересиживали между каменными валунами минометный обстрел и добрались, наконец, в расположение своего батальона.

— А ты зачем в штаб бегал? — спросил Вихорь, когда они были уже в главном окопе.

— Донесение носил. Двух связных убило, телефон замолчал, силы наши тают на глазах. Вот и бегал, — зло сверкнул глазами Майборода и прибавил: — Твои вон там, где домик лесника. По этой канаве ползи. А нам, Мария, в ту сторону! Пошли! Ни пуха ни пера...

Мария прошла несколько шагов и оглянулась. Вихорь стоял там, где они расстались, словно ждал, что она оглянется. Глаза их встретились. Вихорь сорвал с головы шапку и замахал ею высоко в воздухе.

Отбив атаку, солдаты и матросы вели редкий огонь из винтовок и автоматов. Они стреляли по долине, где, прячась за подбитыми танками, по временам пробегали вражеские пехотинцы. Мария заметила, что в наших окопах было уже маловато стрелков. Оружие и вещи убитых лежали в стороне, в земляных нишах, аккуратно сложенные на втоптанной в землю соломе.

Мария опустила голову и отвернулась, чтоб не видеть этих осиротевших вещей. Она спешила за Майборо-

дой на правый фланг, обходя одиноких стрелков, которые, припав к брустверу, вели редкий прицельный огонь. Среди бойцов было много снайперов. Каждый стоял у старательно проделанной в бруствере амбразуры, в которой лежала винтовка с оптическим прицелом. Снайперы стояли, широко расставив ноги, не отрывая глаз от прицелов, затаив дыхание, и Мария заметила, что матросы старательно обходили каждого из них, боясь задеть даже полой шинели. Время от времени звучал сухой выстрел, и часто вслед за ним, после минутной паузы, слышался удовлетворенный возглас соседа-пехотинца:

— Есть!

Майборода объяснил Марии, каким образом и на сколько квадратов разбит между снайперами этот небольшой участок фронта. Перед каждым стрелком приблизительно обозначенный сектор обстрела, по которому он ведет огонь. Если атака начинается в одном какомнибудь направлении, снайперы концентрируют свой огонь, бьют с флангов по наступающим. Майборода говорил тихо, неторопливо, так обстоятельно объяснял всю дислокацию снайперов на правом фланге батальона, словно Мария первый день была на фронте и не имела понятия о снайперской тактике в активном оборонительном бою.

Мария слушала не его, а металлический шелест пролетающих над окопами снарядов крепостной черноморской артиллерии, и расшнуровывала брезентовый чехол на оптическом прицеле. Наконец Майборода заметил, что Мария не слушает его, думает о чем-то другом, может, о своей винтовке, а может, о Вихоре. Кто их разгадает, этих девчат?

— Мария, — окликнул Майборода, — ты станешь на мое место. Тут удобный сектор обстрела, чистый.

— А ты где? — спросила Мария.

— Я по соседству, рядом с тобой буду. Мне нельзя далеко от тебя уходить, — хитро прищурился Майборода.

Мария подошла к земляной нише. Даже невооруженным глазом было хорошо видно всю долину и густой лес, террасами поднимавшийся в горы. Когда-то тихий, живописный лес теперь таил для Севастополя смертельную угрозу. В его ущельях и чащах уже снова урчали фашистские танки и самоходные орудия, строились для нового штурма свежие полки и дивизии. В долине, перед лесом, лежали разбитые и обгоревшие танки с черными

крестами. Мария заметила, что только немногие вражеские трупы лежали головами к нашим окопам. Не добежав до высоты, фашисты поворачивали назад, и тут их нагонял черноморский огонь. Но лежали они и под горою, у самых наших окопов, вцепившись мертвыми руками в дубовые корневища, каменные валуны, скорчившись в воронках от снарядов и бомб. Они были хорошо видны Марии, но перед глазами ее все время стояла белая палатка с красным крестом, ряды брезентовых носилок и санитарная машина с ранеными черноморцами, а надо всем этим фашистский самолет с черными крестами. В ушах еще стоял отчаянный крик раненых, холодное стрекотание авиационных пулеметов, завывание мотора на высокой ноте.

Она отвернулась, сказала:

— Это твое место, Яша. Я тут стоять не буду.

— Почему не будешь? — удивился Майборода.

— Пусть будет, как раньше. Ты дай мне бронебойных патронов. Полный патронташ дай, — и Мария присела на втоптанное в землю сено.

Майборода бросился к ящику. Он быстро набрал полный патронташ и подал Марии.

— Все бронебойные и зажигательные? — спросила она.

— Все, — не понимая, пожал плечами Майборода.

— Спасибо, — Мария туго подпоясалась патронташем.

Слева от моря снова заревели вражеские орудия. На этот раз артиллерийская подготовка фашистов была сильнее, чем утром и днем, всю нашу линию обороны, от речки Качи до Балаклавы, затянуло дымом и огнем. Снаряды рвались над окопами, в окопах, в глубине нашей обороны, засыпая осколками всю поверхность скалистой земли. С командного пункта по окопам был передан приказ: всем бойцам уйти в укрытие, наблюдателям усилить наблюдение. Наблюдатели были на всех участках. Одновременно заговорила вся наша артиллерия, включая и крепостные морские батареи. Мария вошла в узкую щель под двойным накатом из рельсов, прикрытым сверху толстым слоем камней и земли. Такие узкие убежища-блиндажи на несколько человек были сооружены в каждом окопе и тянулись по обе стороны окопов: к фронту и к тылу. В них матросы отсиживались во время

артиллерийской подготовки, ожидая после нее танковой и пехотной атаки.

Долго тянулось время. Мария слушала удары сердца, учащающиеся по мере приближения нового снаряда, ждала разрыва над самой головой, но свист внезапно затихал, и разрыв грохотал где-то в тылу или перед окопами. Секунды томительного ожидания превращались в часы, минуты казались вечностью. С потолка посыпался песок и мелкие камешки; сорвав с плеч ватник, Мария старательно закутала им винтовку, чтоб в ствол не попали песчинки. Свободной полой она прикрыла и патронташ. Без ватника в одной гимнастерке стало холодно. Мария крепче обхватила руками колени, чтобы хоть немного согреться.

Земля дрожала от разрывов, словно в ее недрах клокотала раскаленная лава. Мария чувствовала дрожь земли подошвами. Широко раскрытыми глазами она смотрела в тот угол, где сидел Яков Майборода с солдатами. Их спокойные позы отгоняли тревогу.

Солдаты склонились друг к другу на плечо, словно их свалил тяжелый сон. Веки у всех были сомкнуты и раскрывались только, когда снаряд разрывался совсем рядом и с потолка летели мелкие камни и комья земли. Дверь была крепкая, в две дубовые доски, изнутри подпертая бревном, но солдаты посматривали на нее, когда разрывался снаряд. Майборода сидел, спокойно рассматривая в маленькое зеркальце свое изрытое оспой лицо. Краешком вышитого платочка он вытирал покрасневшие веки, разглаживал выгоревшие на солнце брови, что-то бормотал себе под нос. Мария загляделась, как неизвестно для кого прихорашивается Майборода, и потеряла счет снарядам, которые рвались и бушевали смертельным огнем наверху, над их головами. Майборода заметил, что она смотрит на него. Сразу опустил зеркальце, спрятал платок.

— Давайте, ребята, закурим, а то скоро некогда будет, — весело предложил он.

— А верно. Закурим, — откликнулся Охрим Бандура.— Недолго он будет нас молотить, скоро снова в атаку кинется.

— Перекур перед атакой — первейшее дело для солдата. Но я думаю, что спокойно мы закурим только

тогда, когда Гитлера на тот свет загоним да войну закончим, — прибавил матрос со шрамом на лбу.

— И мир наступит, — дополнил Майборода.

— Конечно, наступит. Не ради войны же мы здесь стоим и головы подставляем под пули,— вздохнул Охрим Бандура.

Все одновременно вместе вынули кисеты, жестяные коробки, угощали друг друга куревом, каждый хвалил свою махорку. Самокрутки сворачивали длинные, толстые, загибая на кончике газету, чтобы не высыпался табак. Майборода чиркнул зажигалкой, поднес огонь Бандуре.

— Прошу, папаша, угощайтесь...

— Погоди, а как на это наша дочка посмотрит? — обернулся он к Марии.— Может, она дыма не выносит, так мы в окоп выйдем. Как ты, дочка? Не стесняйся, говори.

— Дайте и мне закурить, — неожиданно сказала Мария.

— Что я слышу? — Майборода приподнялся на колени.

Мария ласково улыбнулась ему:

— Может, и мне станет легче. Дайте...

Солдатские руки с кисетами потянулись к ней.

— Уберите свое зелье, — остановил солдат Охрим Бандура. — У меня ради такого случая есть кое-что получше,— расстегнув шинель, он достал из нагрудного кармана старательно завернутую в пергамент фабричную папиросу с длинным мундштуком и торжественно протянул ее Марии.

— Фабрика «Дукат», Москва. Бери на здоровье...

Дым от папиросы застрял у Марии в горле, на глазах выступили слезы, но она не бросала курить. Девушка медленно затягивалась, боясь закашляться, убеждала себя, что курить ей действительно приятно и необходимо, хотя ей давно уже хотелось затоптать сапогом негаснущий огонек. Только долгожданная команда с наблюдательного пункта вывела ее из трудного положения.

По всем окопам и блиндажам в стихающем громе канонады раздалось:

— Всем наверх! К бою!

Дверь распахнулась настежь, солдаты хлынули из блиндажа. Они бежали в окопы к амбразурам, перепрыгивая через кучи камня и земли, которыми было

завалено все вокруг. Навстречу им санитары уже несли раненых, связисты тянули свои провода. В небе над Севастополем густо рвались зенитные снаряды.

Мария выглянула из окопа и, чтобы не закричать, до крови закусила губу. Прямо на их батальон, заходя с двух сторон и стреляя на ходу, мчались вражеские танки с черными крестами на броне. Вслед за танками, прячась за их грузные тела, неслись фашистские автоматчики. Они бежали, что-то крича, стреляя на ходу из автоматов. Наша противотанковая артиллерия открыла огонь. Потом вступила в бой полковая артиллерия. Вспыхнул головной танк, закружился на одном месте еще один. Но остальные проскочили сквозь огненную завесу и на полном ходу ринулись вперед, к пологой высоте, по которой проходила наша линия обороны.

Мария оглянулась и увидела матросов, заряжавших большие противотанковые пушки. Снайперы били в гущу немецких автоматчиков. В наших окопах было спокойно. Бойцы стояли напряженные и строгие, ожидая минуты, когда танки подойдут совсем близко и надо будет броситься на автоматчиков и отсечь их от машин. А немцы все шли и шли нескончаемой лавиной.

Так продолжалось минуту или две. Внезапно в небе послышался гул моторов, и над полем боя поплыла целая армада вражеских бомбардировщиков. Они налетели с моря и, очутившись над линией наших окопов, стали сбрасывать бомбы; по их следу вставали огненные столбы, поднимались клубы черного дыма и пыли.

Мария отшатнулась от бруствера, отбежала к заваленному ходу сообщения и повернулась лицом к самолетам. Ей казалось, что они шли прямо на нее, словно она была их единственной целью. Девушка присела в окопчике, крепко опершись спиной о холодную стену. Локоть левой руки прирос к колену, приклад она прижала к плечу.

Лицо Марии было бледно, голова закинута кверху, навстречу самолетам. Перед глазами вновь на миг затрепетал белый флаг с красным крестом, окровавленные бинты на головах раненых, в ушах прозвучал отчаянный крик.

Прищурив левый глаз, Мария ловила в оптический прицел самолет с черными крестами. Что будет, то будет. Скорость пули намного больше скорости самолета, но

самолет — цель подвижная. Надо бить по ней с опережением.

Затаив дыхание, она следила за самолетом.

Грянул выстрел, и Марии показалось, будто вокруг нее все сразу замерло. Она уже не слышала, как навстречу фашистским танкам выскочили из окопов матросы с гранатами в руках, не видела, как из-за горы полоснули огнем «катюши». Мария видела только, как от ее маленькой пули вспыхнул фашистский самолет, как черная траурная лента дыма обвилась вокруг него, окутывала все плотнее, пока он не рухнул на землю у всех на глазах. Мария снова упала на колено, поджидая другой самолет, но в небе уже появились наши истребители, и вражеская эскадрилья начала быстро набирать высоту.

— Ура! — кричал Майборода. Он бежал к Марии, спотыкаясь на выбоинах, и все кричал: — Мы все видели. Видели! Значит, можно из винтовки. Всем снайперам можно. Ура!..

А в долине, по ту сторону огня и дыма, поднятого «катюшами», в атаку поднимался уже второй эшелон тяжелых фашистских танков. За танками упрямо бежали новые автоматчики. Мария огляделась: на склоне высоты лежало много матросов с вытянутыми вперед руками. Ветер расчесывал им кудри, солнце заглядывало в холодные глаза.

XXII

Когда упал сбитый Марией пикировщик, фотокорреспондент Колосок сидел недалеко в окопчике. Его сразу охватил профессиональный азарт, и он, позабыв о смерти, бушевавшей вокруг, бросился к горящему самолету, на ходу приседая и прилаживая аппарат. Он сделал несколько снимков, но ближе подползти к самолету не смог, — в нем начали рваться боеприпасы. Колосок повернул обратно к своему окопчику, думая о том, кто же сбил самолет. Он хорошо видел, что во время налета зенитки не стреляли, наших истребителей в небе не было, значит, он или сам загорелся, или его сбили пехотинцы. Это в Севастополе произошло впервые, и Колосок решил дождаться окончания боя, чтобы найти героя, совершившего этот подвиг. «Так всегда бывает,— думал Колосок, — ищешь одно, а найдешь другое, еще ярче».

У него было задание пробраться в дзот номер одиннадцать, но по дороге он увидел, как был сбит самолет. Это задержало корреспондента, и теперь он уже не мог ни пройти, ни проползти к дзоту. На позиции морской пехоты обрушился новый штурм, и все подступы к передовой жестоко обстреливались. Колосок уже не мог идти ни вперед ни назад. Сидеть же на одном месте в окопчике тоже было страшно, угнетало чувство одиночества среди огня и смерти. Колосок съежился, прижался к земле, грудью закрыл свои фотоаппараты. Время от времени он посматривал на небо, прислушивался к тому, что происходит на передовой. Вдруг он услышал тяжелое сопенье над головой и крутую солдатскую ругань, вырвавшуюся из охрипшего горла.

Колосок оглянулся. Прямо над ним, свесив в окоп голову, лежал усатый матрос с автоматом на шее. Широкий лоб его был небрежно забинтован, сквозь марлю проступала свежая кровь. Охрим, тяжело дыша, облизал языком пересохшие губы.

— Прыгай ко мне, — сказал Колосок.

— Некогда, — ответил Бандура и обернулся в сторону фронта.

— Куда же ты, раненый? — удивился Колосок.

— Я в штаб донесение несу. А голова у меня цела. Ее осколком поцарапало, но череп не пробило, — спокойно объяснил Охрим.

Колосок вскочил, поправил свои фотоаппараты на груди. Ему стало стыдно перед раненым солдатом, спешившим сквозь этот ад к своему штабу, в то время как он, Колосок, сидел в окопчике, не решаясь высунуть голову. Бандура смерил его острым проницательным взглядом, расправил усы, спросил:

— А ты, сынок, из газеты нашей будешь? Я знаю тебя.

— Из редакции газеты, — поправил Колосок.

— Молодец! — похвалил Охрим. — Только лучше присматривайся и пиши все, как было.

— Я фотограф, — робко проговорил Колосок.

— И это хорошо. Фотография — документ, ее не подправишь, — неожиданно сказал Охрим, и это так понравилось Колоску, что он выскочил из окопчика, прижался к земле, рядом с матросом.

— Ну, я пошел. Жаль, что ты заснять не успел, как

наша Мария самолет сбила. Одна, из винтовки, — Охрим вздохнул и пополз, широко загребая руками, отталкиваясь коленями. Он весь распластался на земле, словно прирос к ней, но полз быстро, оглядываясь через плечо, как настоящий пластун.

— Подождите! И я с вами хочу, — закричал Колосок. — Вы о какой Марии говорили? Я снял этот самолет, когда он горел на земле, — и Колосок, закинув за спину оба аппарата, пополз за усатым бойцом.

Ползти было трудно и неудобно, но Колосок был рад, что впереди продвигается бывалый солдат, невольно обучая его пластунскому мастерству. Колосок восторженно смотрел на его гибкое тело, на стоптанные солдатские сапоги с короткими голенищами. У сапог были новые подметки, и Колосок заметил, что между деревянными гвоздиками в подметках поблескивали и медные. Так не чинят сапог в мастерских. Видно, солдат сам подбивал себе подметки.

Над головой зашелестела мина, и Бандура замер, закрыв голову руками. То же сделал и Колосок. Мина разорвалась совсем близко, в воздухе просвистели осколки, и Охрим снова рванулся вперед, оглянувшись через плечо на корреспондента. Потом он замахал рукой, упал на дно какого-то окопа и закричал, подзывая к себе Колоска. В окопе было безопаснее, чем в открытом поле. Охрим сказал:

— Марийка Богучар — это наш снайпер. Разве ты ее не знаешь?

— Знаю! Неужели она сбила?

— Она. Я сам видел. Тут и в донесении о ней написано, — матрос показал рукой на грудь, где было спрятано донесение, и прибавил: — Ты скажешь о ней в редакции, а я побегу... А может, и ты со мной?

— Нет, мне надо в одиннадцатый дзот.

— Ну, тогда беги по этому ходу сообщения, вон до той хатки лесника. Видишь, где тополь стоит... Будь здоров! — и Бандура побежал, прижав кулаки к груди. Только замелькали новые подметки, усыпанные рядками медных и деревянных гвоздиков.

По ходам сообщения, а там, где они были завалены, ползя по-пластунски, Колосок, наконец, добрался до домика лесника. Тут было относительно тихо, хотя перестрелка не прекращалась, снаряды и мины рвались по

всей линии окопов. Колосок оглянулся в ту сторону, где Мария Богучар сбила самолет, и понял, что главный удар танков, артиллерии и пехоты фашисты направили сейчас именно туда. Огненные столбы, тучи густого дыма вставали в районе, прикрывавшем главную дорогу на Севастополь. Дорога проходила по узкой долине, и если фашистам удастся овладеть высотой на правом фланге, Севастополь окажется под серьезной угрозой.

Об этом хорошо знали все, кто сидел в окопах возле домика лесника, сетуя на свое безделье. Трудно было матросам мириться с таким положением, ожидать боя, когда соседи их, захлебываясь в крови, отбивали уже третью танковую атаку. Но приказ был строг: всем оставаться на своих местах, держать оборону на своем участке. Матросы подчинялись, хотя не до конца понимали тактику командования.

Колосок, как только вошел в главный блиндаж, сразу заметил угнетенное настроение матросов. Ему навстречу поднялся Самойло Вихорь.

— Ну, скажи мне хоть ты, до каких пор мы тут сидеть будем? Что там в штабе думают? Люди кровью исходят, с ног валятся, а мы загораем... Треть наших бойцов смело можно послать к ним на подмогу. Я первый пойду. И все пойдут, только бы сигнал подали... Разве сам не видишь, что там делается?

— Там трудно... Там наша Мария самолет из винтовки сбила. Пикировщик, — гордо произнес Колосок.

Вихорь насупил брови, вплотную подошел к Колоску:

— Не загибай, парень. Самолет — из винтовки. Помни, где ты находишься... Нечего травить.

— Честное слово — сбила. Я даже сфотографировал, как он горел на земле. О ее подвиге уже донесение в штаб пошло, чтобы все снайперы знали об этом. Завтра в газете будет, — уверял Колосок.

Вихорь потер ладонью лоб, словно хотел что-то вспомнить, потом сказал:

— Значит, и подавно, им нужна помощь...

В это время на лестнице раздались поспешные шаги, дверь открылась, и на пороге вырос моряк в распахнутом черном ватнике.

— К бою! — крикнул он, потрясая автоматом.

Матросы рванулись со своих мест, их словно ветром выдуло из блиндажей. Сжимая в руках автоматы и кара-

бины, подправляя на ходу железные диски и патронташи, висевшие на поясах, они вслед за Вихорем мчались по ходам сообщения к своим окопчикам и амбразурам. Всем казалось странным, что фашисты начали наступление на этом участке без традиционной артиллерийской подготовки. Их артиллерия стреляла, как и раньше, размеренно, не торопясь. Матросы еще с утра привыкли к такой стрельбе и даже немного успокоились. А фашистский план был прост: усыпить бдительность матросов, чтобы внезапно ударить на них с фланга.

Колосок не вытерпел и побежал вслед за Вихорем, к облупившемуся домику лесника, туда, где проходили окопы первой линии. Прислонившись к коренастому стволу тополя, он выглянул из окопчика и увидел широкую, поросшую кустарником долину, по ней извивались вражеские окопы и блиндажи. Отсюда фашисты начали стремительную атаку, пытаясь с хода захватить высоту, занятую моряками. Силы были неравны.

Из наших окопов дружно заговорили станковые и ручные пулеметы, с открытых позиций повели огонь противотанковые орудия, матросы аккуратно разложили возле себя гранаты, ожидая приказа вступить в бой. Вспыхнул первый бронетранспортер, подбитый нашими артиллеристами, за ним второй. Вражеская пехота бросилась врассыпную по долине, залегла, и только теперь фашистская артиллерия открыла массированный огонь, и на поле боя стало черно от дыма, пыли и рыжего пламени. Артиллерийская подготовка продолжалась недолго, но принесла много бед. Когда стрельба затихла и начали рассеиваться клубы дыма и пыли, Колосок увидел взорванные блиндажи, заваленные окопы и ходы сообщения, убитых матросов, услышал стоны раненых.

Как только закончился артналет, вражеская пехота поднялась с земли и бросилась в атаку. Навстречу ей полетели гранаты, еще сильнее застрочили пулеметы и автоматы. Колосок увидел рядом с собой Вихоря. Он был страшен. Закладывая новый диск в автомат, он все смотрел вверх, то ли на тополь, то ли на крышу дома лесника, и покрикивал:

— Павлуша! Держись, друг! Я тут...

— Вижу! — кричал ему кто-то сверху.

Колосок поднял голову и увидел на крыше домика Павла Грызлова. Он грудью прижался к крыше, упер-

шись ногами в перекладины, с которых была сорвана черепица. Ручной пулемет стоял у трубы, и у Грызлова был хороший, почти круговой сектор обстрела. Не оглядываясь, он что-то прокричал Вихорю, а потом удобнее облокотился на доску и застрочил.

Первая группа фашистских автоматчиков, прорвавшаяся к высоте, залегла у ее подножья. Тогда Грызлов перенес огонь на другую группу, которая под прикрытием своих минометов, прячась среди кустов и камней, подползала к высоте. Длинной очередью Грызлов ударил в самую гущу наступающих, и добрый десяток фашистов больше не поднялся с земли. Пулеметчик все чаще и чаще менял диски, которые ему подавал с чердака второй номер. Но Павла уже заметили из долины, и на домик лесника одна за другой полетели красные ракеты. Они вспыхивали над крышей, и Колосок видел, как их холодные искры падали Грызлову на бушлат. По домику открыли огонь минометы, но Грызлов стрелял. Ловко и быстро переползая по крыше, он устанавливал свой пулемет то по одну, то по другую сторону трубы.

Из серого облака неожиданно вынырнули бомбардировщики, противный свист бомб разнесся над окопами. На Колоска посыпалась черепица, мелкие камни и битый кирпич.

Павел Грызлов взмахнул руками, словно хотел ухватиться за трубу, но не удержался. Он падал быстро, сбивая отяжелевшим телом черепицу. Вихорь и Колосок не успели подхватить его. Когда они подбежали, Грызлов уже потерял сознание. Грудь его была залита кровью, но длинные светлые ресницы еще трепетали. Он пошевелил запекшимися губами, верно, хотел что-то сказать, но так и не сказав, умер. В небе проплыла эскадрилья морских бомбардировщиков с красными звездами на крыльях.

Вихорь поднял с земли бескозырку и, накрыв ею лицо Грызлова, бросился к домику лесника. По лестнице, стоявшей у стены, он быстро вскарабкался на крышу и припал к пулемету. Шквальный огонь снова обрушился на долину, где в воронках от бомб и за валунами залегли фашисты. Они лежали у самой высоты, но пулеметный огонь приковал их к земле.

Колосок с санитаром перенесли тело Грызлова из окопа в овраг — туда, где рос шиповник, и положили

рядом с телами других матросов. Вечер уже опускался над горами, бой на этом участке начал затихать. Он гремел на крайнем, левом фланге, там, где стоял одиннадцатый дзот, к которому должен был пробраться Колосок. На сердце у Колоска было горько, в глазах стояли слезы, но он полз по горе, забирая немного в сторону от передовой, в надежде найти артиллеристов и уточнить обстановку. В дубняке он попал на узенькую тропочку, поднялся и изо всех сил побежал по ней, сам не зная, куда она приведет его. Дубовые ветки хлестали по груди, Колосок защищался от них, выставляя вперед локти. Под ноги все время попадались комья и вывороченные из земли корни, приходилось не бежать, а подпрыгивать. Вокруг вспыхивали осветительные ракеты, пролетали очереди трассирующих пуль, но как только они гасли, густая темень окутывала все, и Колосок останавливался, прислушиваясь, как стучит сердце от такого непривычного бега. В темноте он потерял чувство времени и уже побаивался, что поступил неверно, пойдя по этой дорожке. Ему казалось, что он бежит слишком долго. Вдруг тихий, но грозный оклик остановил его:

— Стой! Куда тебя несет?

Перед ним, словно из-под земли, вырос автоматчик, загородив дорогу.

— Я из редакции. Мне в одиннадцатый дзот нужно,— объяснил Колосок.

— В одиннадцатый, говоришь? — переспросил автоматчик.

— В одиннадцатый.

Автоматчик от злости сплюнул, притопнул ногой.

— Видали такого? — сказал он сам себе. — Ему в одиннадцатый дзот надо, а он прямо, без пересадки, к фашистам прет. Вот голова!

— Что ты сказал? Я — к фашистам? — вскипел Колосок.

— А то куда ж? Там теперь фашисты кругом сидят. Наши отступили, и об одиннадцатом дзоте мы ничего не знаем, как он там и что, — сказал автоматчик.

— Ох ты, горюшко! — Колосок схватился за голову. Автоматчик указал ему другую тропинку, и корреспондент побежал.

Эта тропинка привела его к наблюдательному пункту артиллерийского полка. Бой уже затих. В землянке у те-

лефона сидел Каюмов, за столиком что-то писал интендант Гаркуша. Оба они радостно приветствовали Колоска, надеясь услышать от него все последние штабные, редакционные и севастопольские новости.

— Каюм, — сказал Колосок, — я с самого утра на передовой и ничего не знаю о Севастополе. Ты вот присядь и не волнуйся. Сегодня у меня на глазах погиб твой друг, Павел Грызлов. Там очень трудно было.

Каюмов вздрогнул, снял фуражку и опустил голову на грудь. Так он простоял с минуту, потом прижался головой к земляной стене и тихо, беззвучно заплакал. Его острые плечи едва заметно подергивались, левая, контуженная рука дрожала.

Гаркуша показал рукой на табуретку, и Колосок молча опустился на нее. После передовой Колоску показалось здесь тихо и спокойно; оглушительный ураган боя долетал сюда как отзвук далекого шторма. Колосок склонился на край стола, шепотом спросил:

— А где ваш Андреев?

— Зачем он тебе? — оторвался от бумаг Гаркуша.

— Мне надо пробраться в одиннадцатый дзот.

— Нельзя. К ним три связных ходили, и никто не вернулся. Они отрезаны...— Гаркуша опять углубился в свои бумаги.

Колосок вздохнул.

— Тут и наш Андреев не поможет. Он сейчас на огневых позициях. Пехота отступила к нам под самые колеса. Такого еще не было под Севастополем,— прошептал Колоску на ухо Гаркуша, перелистывая бумаги.

Колосок заглянул в бумаги. В них были сведены в таблицы все нужные калибры снарядов, номера дополнительных зарядов.

— А вот в редакцию могу тебя отправить. Мы сейчас снаряды возим, — Гаркуша ткнул карандашом в таблицу.

Колосок молчал, его равнодушный взгляд блуждал по бумагам, пока не наткнулся на длинный список артиллеристов, погибших сегодня в бою. Гаркуша по нескольку раз сверял каждую фамилию и медленно вычеркивал ее из полкового формуляра. Колосок закрыл глаза и опустил голову на стол.

В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в землянку влетел Андреев.

— Орлы! Чего носы повесили? Сидите себе тут и ничего не знаете! Разгром немцев под Москвой! Слышите — разгром! Тысячи пленных, тьма-тьмущая трофеев...

XXIII

«Сегодня у меня радость. Наша газета напечатала рассказ Марии Богучар о том, как она сбила самолет. К рассказу приложен мой снимок пылающего на земле фашистского бомбардировщика. Фотография вышла хорошая, и мне в приказе по редакции вынесена благодарность.

Вообще же на нашем фронте под Севастополем чем дальше, тем становится тяжелее. Но моральный дух матросов и солдат непоколебим. Разгром фашистских армий под Москвой и Ростовом прокатился по Крымским горам, словно первый весенний гром. Защитники Севастополя в своих окопах и блиндажах стоят насмерть.

Примером неслыханного героизма стал бессмертный подвиг защитников одиннадцатого дзота, которым командовал старшина второй статьи Сергей Раенко. Сразу после того, как они вместе со всеми матросами подписали клятву Родине, началось фашистское наступление, и матросы приняли жестокий и неравный бой. Я дважды пытался проникнуть к ним в дзот, но мне не удалось. О героической борьбе защитников дзота я узнал от раненого пулеметчика Григория Доли, которого командир послал на командный пункт просить подкрепления.

Семнадцатого декабря тысяча девятьсот сорок первого года в пять часов утра фашистские полчища сплошной лавиной обрушились на наши огневые позиции. В горах уже лежал первый снег, с утра ударили заморозки, и в долинах клубился серый холодный туман. В дзоте номер одиннадцать все моряки были наготове. Командир дзота Сергей Раенко внимательно всматривался в узкую амбразуру. Рядом, припав к станковому пулемету, стоял Погорелов. Возле него находился второй номер пулеметного расчета, Григорий Доля. Он держал пулеметные ленты, набитые патронами. В предрассветной мгле показались первые ряды фашистов. Увидев их, Раенко сказал:

— Ну, друзья мои, нас семь человек, ребята на подбор, все комсомольцы. Работа у нас будет горячая. Клятву, данную Родине, мы сдержим!

Он обнял и горячо поцеловал Погорелова, затем всех остальных матросов.

Из долины, где притаилось село Камышлы, показались фашистские танки. Вначале их было пять, потом выползло еще пять. Вслед за ними заурчали моторы еще десяти. Двадцать машин развернутым фронтом шли на узкий участок наших позиций, туда, где стоял одиннадцатый дзот.

— Ого, да тут их и не счесть! — сказал Доля.

Сергей Раенко подал команду:

— Подпустить на сто метров!

— Есть подпустить на сто метров! — повторил Погорелов и припал к пулеметному прицелу. Он хорошо видел ту воображаемую линию в долине, от которой их отделяло сто метров. К этой линии уже приближались густые ряды фашистской пехоты. Гитлеровцы ползли, прижимаясь к земле, вели шквальный огонь из автоматов и что-то кричали, должно быть изрядно выпив. Когда они подползли ближе, Раенко приказал:

— Огонь по врагам! Смерть гадам!

Станковый пулемет захлестнул фашистов смертельным огнем. Ряды противника дрогнули, многие из шедших впереди замертво упали на мерзлую землю, задние залегли. Дул пронизывающий, колючий норд-ост. Пулемет Погорелова не смолкал. Остальные матросы вели прицельный огонь из винтовок. Уже совсем рассвело, сквозь густые облака иногда проглядывало солнце, и матросы хорошо видели, что происходило в долине.

Но вскоре солнце заволоклось дымом, поднимавшимся отовсюду, где рвались снаряды и мины.

Несколько раз фашистская пехота поднималась в атаку и бросалась на штурм высоты, но пулеметный огонь одиннадцатого дзота вновь и вновь косил ее, заставлял отползать. Григорий Доля не мог припомнить никаких особых подробностей, а только сказал, что они сменяли друг друга у пулемета и стреляли по очереди.

Да разве запомнишь какие-нибудь подробности в таком горячем бою?

Первым погиб самый молодой из защитников дзота Василий Мудрик.

Из наших окопов было видно, что почти окруженный одиннадцатый дзот отбивается от превосходящих в несколько раз сил врага одним пулеметом, гранатами

и бутылками с зажигательной смесью. Как ни трудно было в тот день на этом участке фронта, командование послало восемь моряков на помощь героям. Из них к дзоту удалось добраться только троим, остальные погибли по дороге. В дзот пришли коммунисты Корж, Король и заместитель политрука Михаил Потапенко. Они принесли два ручных пулемета.

Через несколько часов осколком бомбы был смертельно ранен Король.

В полдень вражеская пуля ранила Сергея Раенко в голову. Его перевязали, и старшина снова стал к пулемету. Вражеская мина разорвалась у самой амбразуры. Едким дымом заволокло весь дзот, и матросы долго не видели, что делается в долине. Осколком мины Раенко был вторично ранен в голову. Он упал, даже не застонав.

Умирая, он сказал друзьям:

— Бейтесь стойко. Клятву помните...

Это были его последние слова.

Командиром дзота стал Михаил Потапенко. Тело Сергея Раенко положили у стены, накрыли матросским бушлатом.

Противник продолжал обстреливать дзот. Перед амбразурой разорвался артиллерийский снаряд. Осколками были ранены Погорелов и Калюжный, но они продолжали отбиваться от наседающего врага. Фашистская пехота, под прикрытием огня своей артиллерии, весь день рвалась на высоту, и весь день ее останавливал сокрушительный огонь одиннадцатого дзота. Целый день матросы не ели и не пили. Им некогда было взяться за еду, прикоснуться пересохшими губами к воде.

Связь дзота с командным пунктом пулеметной роты была перерезана. Всю открытую местность, все подступы к дзоту фашисты засыпали градом пуль, мин, снарядов. Пробраться к матросам стало невозможно. Это хорошо знали как на командном пункте пулеметной роты, так и в дзоте, уже истекающем кровью, но не прекращающем огня.

Пехота противника больше не наступала, но тысячи трассирующих пуль устремлялись к дзоту, ракеты освещали его. С командного пункта я ясно видел, что дзот еще живет и отбивается, но пройти к нему уже никак не мог. Григорий Доля рассказал, что в эту ночь они не

сомкнули глаз, у них была одна цель: не пропустить фашистов на высоту.

На рассвете следующего дня противник снова двинулся в наступление. За тучами порохового дыма, который стлался по всей долине, герои матросы скорее угадывали, чем видели фашистскую пехоту, но всякий раз отбивали атаки. Силы были неравны. Фашисты вскоре овладели соседними дзотами и начали обходить одиннадцатый. Они поняли, что этот дзот им в лоб не взять.

Из пулемета стрелял Григорий Доля, а если фашисты подползали с боков и с тыла, Калюжный и Четвертаков выскакивали наверх и забрасывали их гранатами.

Кольцо вражеского окружения сжималось вокруг неприступного островка. Его не могли взять ни вражеская пехота, ни танки, ни артиллерия. Тогда фашисты послали авиацию. Бомбардировщики вынырнули из облака и, не разворачиваясь, пошли прямо на дзот. Десять бомб упали поблизости, засыпали укрепление землей, камнями, осколками. Казалось, что после этого налета уничтожены последние защитники дзота. Но как только фашистские автоматчики вновь бросились на высоту, их встретил уничтожающий огонь уже двух пулеметов: станкового и ручного. Григорий Доля рассказал, что на подступах к дзоту валялось больше сотни фашистских трупов. А когда наши отбили дзот, похоронная команда собрала в этом месте уже до двухсот трупов вражеских солдат и офицеров.

После налета авиации бой вокруг дзота разгорелся с новой силой. В разгар этого боя был убит Погорелов и ранен Григорий Доля. Тогда Потапенко приказал Доле пробираться на командный пункт пулеметной роты и просить подкрепления. С огромным трудом дополз раненый моряк до КП и рассказал о тяжелом положении матросов.

Теперь из пулемета стрелял Четвертаков, а ленты набивал Калюжный. Погибших положили у входа, накрыли лица бескозырками. Вражеским снарядом разорвало пулемет, Четвертаков и Калюжный погибли смертью героев.

Смеркалось, а бой все не стихал. Вечером вышли все патроны, и матросы отбивались от фашистов гранатами. Потом кончились и гранаты. Последними погибли черноморцы Потапенко, Корж и Радченко. Горстка героев за-

валила вражескими трупами все подступы к легендарному дзоту.

Утром следующего дня наша часть стремительной атакой сбросила фашистов обратно в долину. В разбитый дзот ворвались моряки, и все мы, обнажив головы, стояли молча.

Я оглянулся вокруг и запомнил все, что в этот момент было в дзоте. Возле разбитой амбразуры — искромсанный щит станкового пулемета, разбитый пулеметный ствол и целая гора расстрелянных гильз. У стены лежали мертвые герои.

Кровавые руки фашистов, видно, еще не коснулись их тел: герои лежали, чуть припорошенные землей, осыпавшейся с потолка. Их ноги по самые колени были засыпаны стреляными гильзами. Вокруг не было ни одного патрона. В земляной нише лежала нетронутая буханка хлеба, неоткрытые банки консервов, связка копченой кефали да еще какой-то пакет с едой, перевязанный веревочкой. В дзоте стоял едкий запах порохового дыма, пахло кровью и землей.

Героев хоронили под грозный салют победоносного боя, который гремел уже там, в долине, где морская пехота добивала фашистских автоматчиков, с хода ворвавшись в немецкие окопы второй линии. Контрнаступление защитников Севастополя в этот день началось на всем участке фронта, там, где фашистские полчища вклинились в нашу оборону и захватили эту важную для Севастополя высоту.

В противогазе Алексея Калюжного нашли записку. Тяжело раненный, он писал ее кровью. Буквы в ней косые, строчки неровные. Я не мог спокойно читать. Сердце у меня стучало. Я заплакал. Потом сфотографировал записку. Теперь о ней знают все.

«Я, сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце, — писал матрос. — Истреблял гадов, пока в груди моей билось сердце Я умираю, но знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный».

Мне бы очень хотелось, чтобы эти слова были высечены на гранитном памятнике героям одиннадцатого

дзота. Я верю, что такой памятник обязательно будет поставлен на этой высоте, близ села Камышлы.

А пока я вижу из окна, как горит Севастополь, а над Мекензиевыми горами встает зарево от снарядов дальнобойной артиллерии...

Только что пришла еще одна тяжелая весть. Фашистские танки и моторизованная пехота с автоматчиками прорвались на Мекензиевы горы и захватили железнодорожную станцию, предпоследнюю перед Севастополем. Оттуда хорошо виден город и вся Северная бухта. Теперь фашистам до нас рукой подать. Друзья мои, если бы вы знали, как трудно мне в эту минуту».

XXIV

Воспитанника морской пехоты Колю по приказу Зеленцова на время фашистского наступления отправили в тыл. Он прибыл в Севастополь на подножке санитарного автобуса и соскочил на Лабораторном шоссе. Автобус покатил дальше, а Коля остался у дороги, насупленный и злой. И зачем только он попался на глаза командиру? Сидел бы себе в блиндаже с разведчиками, набивал бы им пулеметные ленты, автоматные диски, учился бы вести прицельный огонь из карабина. У него есть кое-какой опыт стрельбы, он уже научился задерживать дыхание, когда надо нажать на спусковой крючок. Вскоре он раздобыл бы и снайперскую винтовку. Там матросам очень трудно, и Коля хотя немного помог бы им. А что он будет делать здесь? Неужели командир не хотел этого понять? Жаль, что Коле не удалось спрятаться от Зеленцова. Генерал Ковалев, вероятно, не поступил бы так. Да что поделаешь! Теперь уже поздно. На фронт, в окопы, пока там идет фашистское наступление и матросы отбивают жестокие атаки, дорога Коле закрыта.

Мальчик вздохнул, снял с плеч вещевой мешок и присел на старую колоду, лежавшую у каменной ограды. От одноэтажных домиков, тонувших в садах по обе стороны Лабораторного шоссе, на мальчика повеяло дремой. Окошечки в домиках плотно закрыты, во дворах пусто. Ни звука, ни голоса людского. Первый снежок замел дорожки, засыпал густой зеленый плющ, вившийся по стенам домов. Мальчику стало грустно от этой тишины. В памяти возникла далекая, родная Одесса. Что сейчас

делается там — на Приморском бульваре, в порту, у причалов? Как выглядит улица, на которой он жил? Убраны ли развалины родного дома? Или лежат грудой обгоревшего кирпича, и ветер шелестит листами порванных книжек и тетрадей, по которым когда-то учился Коля. Заросли бурьяном руины родного дома и две могилки, где похоронены отец и мать...

Задумавшись, Коля опускает голову на грудь и не замечает, как у него за спиной открывается калитка и из нее выходит девочка.

— Здравствуй, матросик, — приветливо говорит она.

Мальчик вскакивает и удивленно смотрит на нее.

Девочка закутана до самых подмышек в шерстяной материнский платок, стоптанные башмаки надеты на босу ногу. Она грызет сухарь, а к ней на грудь все время прыгает черная кошка. Ручонки у девочки посинели от холода, она шмыгает носом, но приветливо улыбается.

— Здравствуй, матросик, — повторяет она.

— Здравствуй. А ты чья будешь? — спрашивает Коля.

— Я — Катя. Мы все Рябовы. Разве ты не слышал про нас?

— Нет, не слышал.

— А я тебя знаю. Ты уж раз приходил к Игорю, и он показывал тебе своих голубей. Игорь говорил, что ты фронтовик. Это правда?

— Правда, — смущенно отвечает Коля.

— Вот здорово! Я еще не видела таких маленьких фронтовиков. А когда вы фашистов от нас прогоните? — неожиданно спрашивает Катя.

— Прогоним. Дай только время, — серьезно отвечает мальчик и закидывает за плечи вещевой мешок.

— Может, ты есть хочешь, так я накормлю тебя. У меня картошка печеная есть и сухари. Могу тебе и чаю согреть. Только сахару нет.

— Спасибо, я не голоден, — Коля браво надвигает на лоб бескозырку и хочет идти.

— Куда ж ты? Побудь у нас немножко... Скоро мама придет, — останавливает его Катя.

— А где твоя мама?

— Она на заводе, мины и гранаты для вас делает. Разве ты не слышал? Про нее в газете писали. Она недавно пошла на завод работать, а то все дома хозяйни-

чала. Много женщин на завод пошло. Мы уже внесли на танковую колонну два колечка, часы и портсигар папин. Все из чистого золота. Теперь все дают на танки. Наш папа тоже фронтовик, под Москвой воюет... Пойдем, я тебе его карточку покажу... Он танкист. А я в третий класс хожу, в бомбоубежище. Потом делаю уроки и варю маме еду. Картошку пеку, чай грею, могу и суп сварить. Мама по две смены работает...

Коля слушал девочку, и ему казалось, что тихое Лабораторное шоссе внезапно проснулось, зашумело во весь голос и в каждом дворе зародилась жизнь. Словно вновь пооткрывались окошечки в белых домиках, задымили трубы на черепичных крышах, и из каждой печи запахло вкусной едой.

А тихая улица действительно начала оживать.

Она проснулась у Привокзальной площади. Там показалась стройная маршевая рота морской пехоты. Матросы шли, печатая шаг, и их крепкая поступь гулко разносилась по всей улице. Моряки несли на плечах разобранные станковые пулеметы, минометные стволы и плиты, длинные противотанковые ружья. У многих матросов на груди висе́ли новенькие автоматы. Коля стал смирно перед колонной, взяв под козырек. Командир колонны увидел мальчика и ответил на его приветствие. Все Лабораторное шоссе высыпало из своих двориков. Женщины, дети и старики. Женщины стояли молча, дети бежали вслед за колонной, протягивали матросам папиросы, яблоки, вышитые шелком кисеты с табаком и еще какие-то подарки, приготовленные заранее. Такой уж обычай выработался на Лабораторном шоссе — каждую маршевую колонну, уходившую на фронт, провожать с подарками, которые собирали в каждом доме.

Севастопольцы стояли у ворот до тех пор, пока колонна не скрылась за горою. Тогда улица вновь опустела, дети разбежались по дворам, женщины вернулись к своей работе. В каждом доме шили для фронта ватники, теплые шапки, рукавицы, белье, стирали матросам гимнастерки.

Прошла колонна, и Коля снова почувствовал себя одиноким на этой улице. А тут еще и Катя не отстает.

— Теперь ты настоящий фронтовик, — восторженно прошептала она.

— А ты разве не верила?

— Верила, да не совсем.

— Почему?

— Ну, так...

— А теперь веришь?

— Верю, ведь тебе их командир честь отдал, когда они проходили. Теперь уже совсем верю, — засмеялась Катя.

— Девчонка! Что с тебя взять? — пожал плечами Коля и распрощался с Катей.

— Приходи к нам, когда мама вернется, — крикнула ему вслед девочка.

— Хорошо, фронтовичка, зайду, — он помахал ей рукой и направился к домику, где жила семья Громовых.

Перед знакомой калиткой мальчик остановился, туже затянул пояс, поправил бескозырку, отмерил над бровями два пальца и, осмотрев себя со всех сторон, дернул за проволочку. За каменной стеной зазвенел веселый колокольчик, залаяла собака, и на крыльце сразу же послышались быстрые шаги.

Калитку открыла Варвара. Рукава засучены до локтей, из-под белой косынки выбились седые волосы. Руки красные, от них валит пар.

Увидела Колю и всплеснула руками.

— Сыночек мой дорогой! Откуда ты взялся?

— Командир прислал. Но так и знайте, я не хотел уходить оттуда.

— Почему? — удивилась Варвара. — Разве война — детское дело?

— Меня насильно заставили идти к вам в тыл. А сам бы я ни за что на свете не пошел... Мне просто приказали.

— И хорошо сделали, что приказали.

Варвара повела мальчика в дом. Открывая дверь в кухню, она еще с порога крикнула:

— Старик, а я гостя привела... Угадай, кого?

— Зови— увидим, — пробубнил из другой комнаты Артем Громов.

В кухне было уютно и тепло. На высоком табурете стояла оцинкованная бадья, и в ней громоздилась целая гора солдатского белья. В дубовой кадке лежали полосатые матросские тельняшки, гимнастерки и еще какая-то одежда темного цвета, замоченная в мутной мыльной воде. На диванчике аккуратная горка чистого выглажен-

ного белья. Руки у Варвары по локоть были красные, а ладони белые, с синеватым оттенком. Пальцы сморщились от воды, мыла и едкого щелока. На плите кипел высокий бак с бельем.

У окна напротив печки стоял кухонный стол, застланный зеленой клеенкой, на нем Громовы обедали в будни. Коля заметил на столе эмалированную миску и в ней размоченные черные сухари. В другой миске лежала печеная картошка в мундире, несколько очищенных луковиц, головка чесноку и две воблы. Это, верно, и был дневной рацион всей семьи старого моряка. И еще мальчик заметил коптилку из медной гильзы от зенитного снаряда, она стояла на окне между зелеными пышными кактусами.

В кухню вошел старый Громов и подал Коле руку.

— Здравствуй, матрос! Что же утешительного ты привез нам оттуда?

— Мало утешительного. Одиннадцатый дзот погиб, и фашисты прорвались на высоту, — угрюмо ответил Коля.

— Но их остановил двадцать пятый дзот. Ты знаешь, где он находится? — спросил Артем.

Коля не ответил. Он пристально вглядывался в старика, сравнивая его с тем Артемом Громовым, которого видел в первый свой приезд на Лабораторное шоссе. Этот Артем был другим, замкнутым и заметно постаревшим. Остриженная под машинку голова поблескивала серебристой щетиной, на шее яснее проступили синеватые старческие жилы. Под поседевшими, но еще густыми бровями светились глубоко запавшие проницательные глаза. Измазанные машинным маслом ватные штаны были заправлены в резиновые сапоги, теплый джемпер плотно облегал широкую грудь.

Артем шершавой ладонью погладил мальчика по голове и пригласил садиться, пододвинул к столу табурет.

— Его к нам в тыл командир прислал. Чтоб ненароком с ним там какой беды не стряслось. Дитя ведь еще, — сказала Варвара.

— Меня насильно в тыл отправили, по приказу, — объяснил Коля.

Артем просиял.

— Молодец! Нашего, значит, матросского роду. Но приказу всегда надо подчиняться. Значит, будешь у нас жить. Только смотри мне, Игоря нашего сдерживай. Со-

всем от рук отбился. Смотри за ним, — строго произнес Громов.

— Мы вместе теперь будем. Не бойтесь за нас,— сказал Коля.

Варвара поставила перед ними две тарелки, расписанные золотыми веночками, подала вилки и ножи. Позолота на тарелках и блестящие вилки и ножи резко подчеркивали скудность военного пайка. Черные сухари, печеная картошка, лук, одна вобла на двоих и по две ложки масла, которое Варвара налила в блюдца. Потом был подан душистый чай, заваренный липовым цветом, и несколько пайковых конфет. Позже Коля узнал, что часть своего продовольственного пайка Громовы, как и все севастопольцы, отдавали в фонд детских садов и больниц.

— Я буду кормиться в своих тылах, тут наши «аховцы» стоят, — сказал Коля.

— Нет, ты у нас будешь, раз тебя командир прислал, — возразил Громов. — Скоро с Кавказа придут пароходы, привезут продовольствие. Не печалься об этом... Сейчас некогда нам, надо боеприпасы и оружие с Кавказа возить. Ты же сам хорошо знаешь.

Артем надел ватник, повязал шею теплым шарфом и вышел в другую комнату. Там он начал выдвигать ящики стола, открывал и закрывал шкаф, тихо мурлыча песню о том, как погиб когда-то крейсер «Варяг». Потом он вернулся в кухню и развернул на столе белый платок.

Коля посмотрел на стол и невольно зажмурился. Блеск золота и переливы драгоценных камешков множеством огоньков заиграли на столе. Массивный портсигар горел, вспыхивая рубином. Рядом с ним лежали два перстня, украшенные яркими камешками. Три серебряные чарки, покрытые позолотой. Все это лежало на платке. Были там ложки, вилки, ножи и еще какие-то мелочи, собранные на протяжении многих лет.

Варвара молча смотрела на эти семейные реликвии: ведь с ними было связано такое множество воспоминаний молодости. Артем Громов перебирал золотые вещицы почерневшими пальцами, которые уже нельзя отмыть, брал на ладонь, словно взвешивая каждую вещь, определяя ей цену.

Наконец Артем очнулся.

— Значит, так и сделай, Варвара. Отнесешь все это

в банк, пусть при тебе взвесят и выпишут квитанции. Просмотри, чтоб в квитанции было сказано, сколько будет весить все, что ты сдашь. А потом подойдешь к пятому окну и отдашь облигации. Тут их тысяч на тридцать будет, облигаций. Тоже пусть запишут на оборону страны. Может, из всего целый танк выйдет, а может, и два танка... Там разберутся и найдут, куда все пустить.

— Хорошо, отнесу, — тихо сказала Варвара, завязывая платок.

Артем натянул картуз, подошел к жене, поцеловал ее в высокий морщинистый лоб.

— Ну, на этом будь здорова, Варвара, береги себя, за детьми присматривай, чтоб все было в порядке, чтоб все здоровы остались. Через неделю приду...

— Хорошо. Все сделаю, как ты говоришь,— еще тише сказала Варвара, провожая мужа за порог.

Звякнул колокольчик на крыльце, ласково заскулил пес, увидав хозяина, хлопнула калитка — и вновь все стихло в маленьком дворике Громовых. Варвара вернулась в дом и стала к своей бадье. Она управлялась со стиркой ловко и быстро, часто посматривая на Колю, сидевшего у окна.

— Теперь все сдают на оборону, наша улица начала первая. Я не могла раньше отнести в банк. Артема не было дома. Он теперь и днюет и ночует на заводе. Домой приходит раз в неделю. Вымоется, переоденется и опять на завод... У нас это золото зря лежало...

Она вытерла руки, отодвинула бадью к стене и начала одеваться, наказывая Коле:

— Выварка пусть кипит, будешь помешивать в ней палкой. Если они опять налетят — беги в убежище через дорогу, в доме сидеть не смей. Дверь запирать не надо. У нас никто не запирает. Воров нет. Может, зайдет кто из женщин, скажи, что я в банк пошла, скоро вернусь...

— Есть, так сказать! — вскочил с табуретки Коля.

— Прибежит Игорь, ты с ним серьезно поговори. Он, шелапут, все на фронт рвется. Объясни ему строго, что тебя с фронта сам командир в тыл отправил. Расскажи, что сейчас на фронте делается, чтоб не рвался туда... Весь день возле коменданта вертится, в ястребках, посыльным, значит. Домой прибегает только, как проголодается. Я ему картошку оставила, рыбу, сухарей. Держи его в строгости, не отпускай от себя.

— Хорошо, будет исполнено.

Варвара завернула узелок с золотом в газету, спрятала в брезентовый чехол от противогаза, повесила его на плечо. Как только за нею захлопнулась калитка, Коля почувствовал, что и дом, и дворик, и сад — все осиротело. Монотонно раскачивался на стене маятник, отстукивая секунды. Печально шумели деревья за окном, простирая в небо почерневшие ветви. Забился в будку пес и, верно, заснул. Даже печка, на которой кипело белье, начала гаснуть, и уже не так весело потрескивало в трубе.

Коля подбросил в печь угля, помешал скалкой белье в выварке, постоял немного посреди кухни и пошел в комнату. Там в два ряда, как в гостинице, стояли старательно застеленные чистым бельем железные кровати. Мальчик вошел в другую комнату, и там кровати. Прошел в третью, и там кровати. Это и был дом отдыха для фронтовиков. Стеклянная дверь третьей комнаты вела на широкую веранду, с которой был виден запорошенный снегом сад. В саду стояли покрашенные голубой краской ульи, и Коле почему-то захотелось посмотреть на пчел. Правда ли, что они спят зимой, залепив воском каждую щелочку в улье, чтобы не проникал холод? Нет, верно, неправда, ведь им же оставляют мед на зиму, и они его едят. А все-таки интересно было бы посмотреть, что сейчас делают пчелы.

На крыльце послышались чьи-то шаги, и Коля мигом очутился в кухне, поймав себя на том, что плохо поступил, шагая по чужим комнатам. Он едва успел опуститься на табуретку, как в кухню влетел запыхавшийся Игорь.

— Здорово, Коля! — закричал он и схватил товарища в объятья.— Вот молодец, ты надолго к нам? А мама где?

— В банк ушла, золото сдавать, — ответил Коля и начал рассказывать, как и почему он попал в тыл, пожаловался на Зеленцова, который так строго с ним обошелся, и намекнул, что все равно долго здесь не усидит, а пойдет в окопы, к своей морской пехоте. Это же позор, сидеть тут в уюте и тепле, когда там, на фронте, идут такие жестокие бои за Севастополь. Коле даже стыдно будет пройти по Лабораторному шоссе, на люди показаться. Какой из него фронтовик, если в такое трудное время он отсиживается в тылу?

— А знаешь, что я думаю? — неожиданно спросил Игорь.

— Что?

— Давай вместе пойдем на фронт.

— Как это, пойдем?

— Ну, убежим, а нашим записку оставим...

— Нет, бежать нельзя, раз меня по приказу сюда отправили. За это могут совсем списать с полка,— вздохнул Коля.

— А мы по закону убежим, — решительно сказал Игорь.

— Как, по закону?

— Вот слушай. Отсядем от окна,— тихо сказал Игорь, и они, закрыв дверь в коридор, сели на кушетку и прижались друг к другу.

— Прежде всего, — начал Игорь, — раз ты прибыл с фронта в Севастополь, ты немедленно должен зарегистрироваться у военного коменданта. Это я тебе устрою в один миг. Значит, ты уже будешь военный резерв и тебя каждую минуту могут направить в другую часть, где тебе будет работа по силам. Но мы на это дело не пойдем, а то тебя пошлют, а я опять один останусь. Нам надо вместе на фронт.

— Это было бы здорово, вдвоем, — с восторгом подхватил Коля.

— Так оно и будет. Слушай дальше, — продолжал Игорь.— У меня есть знакомые артиллеристы. Им нужны подносчики мин и снарядов. Они, правда, стоят не на самой передовой, но близко от нее. Да это не имеет никакого значения. Снаряды и бомбы повсюду одинаково падают. Мы достанем двух осликов, за это я уже сам возьмусь, и будем возить на них мины и снаряды. Мы придем к капитану артиллеристов, и он нас сразу заберет, как только услышит об осликах. Никакая машина на эти горы не пройдет, а ослики раз-два — и там. Согласен?

— Я согласен, но ведь мне твоя мама велела... — почесал в затылке Коля.

— Ничего, она же золото в банк понесла, а там очередь. Теперь все сдают. Пока мама вернется, я все устрою. Ну, побежали!

— Ты поешь! Там есть картошка, сухари...

— Да ну, обойдется, — махнул рукой Игорь, но все-таки схватил сухарь, две картофелины, и мальчики выбежали на улицу.

Над городом быстро опускался зимний вечер. Под его покровом на фронт спешили грузовики со снарядами, в конной упряжке везли легкие орудия, тягачи тянули тяжелые гаубицы. С фронта шли санитарные машины — крытые грузовики с красными крестами на брезенте и бортах. Чтоб не встретить по дороге Варвару, мальчики перебежали на противоположную сторону Лабораторного шоссе и вскоре уже взбирались вверх по горе к центру города.

Севастополь лежал на каменистых холмах, затемненный и мертвый. В бухтах, глубоко врезавшихся в сушу, было пустынно. В синеватой мгле ярко белели колонны Графской пристани, высился из воды памятник затопленным кораблям времен адмирала Нахимова. Посреди пустой площади на гранитном пьедестале стоял памятник Ленину. Мальчики пошли медленнее, остановились возле памятника.

На Мекензиевых горах, через Сапун-гору и до самой Балаклавы пламенело огненное зарево фронта. Отблески этого зарева четко обрисовывали силуэт Ленина с простертой вперед рукой.

— Посмотри, Коля, на памятник, как красиво. Ленин на море указывает, — сказал Игорь.

— На флот наш прямо, — задумчиво произнес Коля.

— Бежим скорее! Нам за фронт ничего не будет, — и они побежали дальше, через площадь. Перед ними лежало бескрайнее море, покрытое белыми бурунами. Верно, где-то в глубине его начинался шторм и катил свои валы к каменистым берегам. Ребятам осталось пройти полквартала до комендатуры. Игорь знает там все входы и выходы и всецело ручается за успех дела. Вот только завернуть за этот дом с башней, которая так красиво выделяется на фоне потемневшего моря.

В высоких окнах темно, у мраморной лестницы нет даже часовых, хотя Коля видит большую вывеску над дверями. Что написано на вывеске, в темноте трудно прочесть.

— Это Морская библиотека. Ее сам Лазарев, а потом Нахимов собирали. Тут все карты морей и океанов, все книги о флоте, о войнах. Нигде нет такой второй.

— Отсюда, верно, уже все вывезли, в окнах темно, часовых не видно, — говорит Коля.

— Не знаю, может и вывезли.

Из-за грохота, долетающего с фронта и со стороны моря, ребята не сразу замечают, как гудят над городом вражеские бомбардировщики, как где-то на окраинах воют сирены. Они поняли, что начался налет, только когда первые бомбы упали на площадь перед памятником Ленину. В небе скрестились десятки прожекторных лучей, а разноцветные трассы зенитных снарядов и пуль огненным пунктиром прошили все небо. В сиянии этих огней Севастополь вырос из тьмы и как бы еще ниже пригнулся к каменистым холмам. А бомбы падают одна за другой, целыми сериями. Самолеты, видно, идут волнами, кружатся именно здесь над площадью, где стоит памятник Ленину. Мальчикам хорошо видно все из ниши подвального окна, в которую они спрятались.

Вокруг над их головами вспыхивает ослепительный свет. Вся площадь загорается вспышками огней, словно по ней разлили и подожгли бензин. Крыши двух домов уже пылают, а как же здание Морской библиотеки?

— Он зажигательные сбрасывает, давай спасать библиотеку! — кричит Коля и выскакивает из цементной ниши. За ним выпрыгивает Игорь, и они стремглав бросаются к железной лестнице, наглухо привинченной к стене и ведущей на крышу Морской библиотеки. Лестница крутая, ступеньки скользкие, а взбираться надо быстро, не теряя ни секунды.

Первым на крышу вскакивает Коля и, протянув руку втягивает к себе Игоря. Они бегут, пригнувшись, вдоль карниза, огороженного железной решеткой. Это хорошо. Решетка не даст свалиться с крыши.

— Сбрасывай на землю! Они не взрываются, не бойся! — кричит запыхавшийся Коля и бросается к первой зажигательной бомбе, которая уже вспыхнула ослепительным пламенем около водостока. Изо всей силы он бьет по ней сапогом, и она, шипя, летит с крыши на землю. Мальчик не чувствует, как болит нога, которой он ударил по бомбе. Он видит, как Игорь, размахнувшись, сбрасывает на землю вторую бомбу. Над ними все гудят и гудят самолеты. Но мальчики перебегают по гремящему железу, стерегут дорогой им дом. Вот они находят ящики с песком, длинные железные клещи и

багры. Их, верно, специально приготовили, чтобы сбрасывать и тушить зажигательные бомбы. Но почему на крыше нет часовых? Может, они стоят на других домах, где еще опаснее?

Коле и Игорю некогда раздумывать. Зажигательные бомбы все еще падают, мальчики мечутся по крыше и швыряют бомбы вниз. Одежда на них обгорела, обувь дымится, на руках вскочили волдыри. Так проходит добрых полчаса, наконец, снизу до них доносятся чьи-то охрипшие голоса. Заглянув через решетку, мальчики видят, как вокруг дома бегают люди и тушат песком сброшенные с крыши бомбы.

Налет прекращается, прожекторы гаснут, и на Севастополь опускается глубокая тьма. Только на Корабельной стороне да за Херсонесом все сильнее разгораются два гигантских пожара.

Снизу кто-то громко кричит:

— Эй! Кто там наверху? Давай сюда! Быстро!..

Мальчики спускаются по лестнице на землю. Их окружает военный патруль, и старший патруля хмуро бросает:

— Это вы?

— Мы, — робко отвечает Коля.

— А там больше никого нет? — строго спрашивает матрос, показывая на крышу библиотеки.

— Нет. Мы вдвоем там были, — объясняет Игорь.

— За мной! — командует матрос и ведет их к машине. Двое часовых идут по сторонам.

Машина мчится по каким-то закоулкам, перескакивает через ямы и рытвины. Под колесами дребезжат сорванные бомбами провода, тарахтят вывернутые из мостовой камни, мокрый снег залетает в кабину. Наконец машина останавливается на высоком холме у моря. Ребят ведут по каким-то катакомбам глубоко под землю. Распахиваются одна за другой тяжелые стальные двери, и мальчики попадают в ярко освещенную комнату с каменными стенами. Из-за стола поднимается молодой офицер и, взглянув на мальчиков, спрашивает матроса:

— Они?

— Так точно, — говорит матрос.

— Веди, — говорит офицер, и матрос ведет их в боковую комнату.

Возле большой карты стоит контр-адмирал Багров,

рядом с ним генерал Ковалев. Услышав стук открываемой двери, они поворачиваются и удивленно рассматривают обоих мальчиков. Потом контр-адмирал подходит к Коле, берет его за подбородок и ласково говорит:

— А-а, матрос наш! Молодец! А этот кто будет?

— Товарищ мой, Громов Игорь, — отвечает Коля.

— Громов? Сын старого Артема с Морзавода? — спрашивает Багров.

— Да,— вытягивается Игорь.

— Значит, вдвоем спасали библиотеку? А вы знаете, что все ценное из нее вывезено? Но все равно, вы поступили правильно.

Мальчики переступают с ноги на ногу, громко сопят.

— Как это произошло? — спрашивает контр-адмирал.

Коротко и сжато Коля доложил обо всем, только об осликах ничего не сказал. Он заметил, как умоляюще смотрит на него Игорь, глазами просит, чтобы не говорил об осликах. Контр-адмирал поблагодарил мальчиков и, вызвав адъютанта, приказал:

— Заполнить наградные листы. На обоих.

Мальчики удивленно оглянулись, как бы ища у себя за спиной двух настоящих бойцов, на которых сейчас должны быть заполнены наградные листы. Но в кабинете таких бойцов не было.

XXV

«Редактор приказал мне снять двух мальчиков, которые спасли от пожара историческое здание Морской библиотеки. Я вначале обиделся: ведь такое поручение мог выполнить любой корреспондент местной гражданской газеты, выходящей в Севастополе. Но приказ есть приказ, и я побежал его выполнять.

В горкоме партии Елена Михайловна Кулик дала мне адрес юных героев и посоветовала зайти в редакцию городской газеты, там уже, вероятно, есть их фотография, и мне не придется бегать за мальчишками по всему Севастополю. В редакции, услышав мою просьбу, только руками развели. Они сами второй день ищут ребят и не могут найти. Мы с редактором условились держать связь. Тот, кто первый сфотографирует их, немедленно должен передать карточку другому. Так мы делали часто. Я побежал на Лабораторное шоссе, в семью Громовых. Хо-

зяйка дома, старая Варвара, принимала раненых из госпиталя и расселяла их в своем и в соседних домах. Услышав, чего я хочу, она так и набросилась на меня. Какого черта мы бегаем к ней со своими аппаратами?! Растревожили детей, подговорили бежать из родного дома, а теперь растравляем ее материнское сердце. Она сама уже дважды жаловалась коменданту, но что он может сделать? Варвара уже все глаза выплакала, а сейчас ей некогда, надо принимать раненых, присматривать, чтобы скорее поправлялись. И тут она с нескрываемой злостью сообщила мне, что мальчики убежали на фронт, забрав у соседа двух осликов. Только записку оставили, чтоб она не волновалась и не сердилась на них. Показать записку она отказалась, только махнула рукой в сторону Мекензиевых гор и сказала, чтоб я искал мальчиков там. Наказала передать обоим, что всыплет им березовой каши. Она еще не знала, что мальчики представлены к награде за то, что спасли здание Морской библиотеки...

В полку морской пехоты, куда я добрался с большими трудностями, мальчиков не было. Тут шли горячие, кровопролитные бои. В этих боях был ранен в руку Самойло Вихорь, я встретил его на перевязочном пункте. Пуля прошла сквозь мякоть руки, повыше локтя. Произошло это так.

Батальон морской пехоты, в котором служил Вихорь, попал в окружение и вел ожесточенный бой с автоматчиками. Под прикрытием танков и артиллерии фашистские автоматчики сосредоточились в двух котлованах. Недалеко от наших засел фашистский корректировщик и ракетами направлял огонь своей артиллерии на батальон моряков. Началась атака, снаряды уже рвались в самой гуще морской пехоты. Тогда Вихорь получил приказ: уничтожить вражеского корректировщика. Он выскочил из окопа и, прячась среди кустов, пополз в сторону, где сидел фашист. Оттуда все время взлетали зеленые и красные ракеты. У Вихоря был пистолет и финский нож. Он полз незаметно и, как гром с ясного неба, обрушился на голову ракетчика, ударив его финским ножом в затылок. Тот даже не вскрикнул. Вихорь забрал ракетницу, большой запас ракет и пополз к своему батальону. По дороге его ранило. В батальоне был один артиллерист, он попробовал корректировать ракетами огонь фашистской артиллерии. И снаряды начали рваться в котлова-

нах, где сосредоточивались для атаки фашисты. Теперь они дубасили своих. До нас из котлованов долетали отчаянные вопли. Воспользовавшись моментом, командир приказал батальону броситься в атаку и с боем вырваться из окружения. Подробностей боя я не знаю, Вихоря я мельком видел на перевязочном пункте, и он ничего не успел мне рассказать. Я направился в артиллерийский полк, которым командует Андреев. Его адъютант Каюмов сказал мне, что видел двух каких-то мальцев с осликами на левом фланге в кустах, где стоит минометная рота.

Я побежал к минометчикам и действительно нашел там обоих мальчиков. Они возили на крутую гору мины, по два ящика на каждом ослике. Но я не смог снять их вместе. Когда один поднимался в гору — другой спускался в долину. Они работали своеобразным конвейером, освободив от этого тяжелого труда многих бойцов. Я передал им обещание матери и спросил, что заставило их убежать из дома на фронт. «Дядя, если б вы знали, как здесь тяжело в эти дни, вы давно бросили бы свои фотоаппараты и сами пошли бы к нам на фронт». Я промолчал. Что я мог им ответить?

...Характерно, что теперь не только матросы, но все, даже те, кто никогда на флоте не служил, гордо называют себя черноморцами. Все они с уважением относятся к кораблям Черноморского флота, которые помогают нам и всегда приходят в Севастополь, когда там трудно.

Я был в порту, когда линейный корабль «Севастополь» и эсминец «Стремительный» и другие корабли уходили из Севастополя.

Провожать корабли пришло много севастопольцев. Среди них — Самойло Вихорь, Мария Богучар, Варвара Громова, а с нею и мои юные герои, Игорь и Коля. Варвара уже не ругала мальчиков за то, что они сбежали на фронт. Она относилась к ним снисходительно и, как я заметил, гордилась ими. По окончании второго наступления оба мальчика с разрешения контр-адмирала перешли со своими осликами в полк морской пехоты и были там связными при штабе.

У семьи Громовых много друзей. Фронтовикам Громовы много помогают своим шефством, а с флотскими у них старые связи.

С тех пор прошло много времени. Корабли приходят к нам реже. Теперь еще труднее стало пробиваться к Севастополю. В море бродят вражеские подводные лодки, всюду на дне лежат магнитные и плавают простые мины. На всех морских дорогах наши корабли подстерегает смертельная опасность. Над морем без устали патрулирует фашистская авиация, а на суше все еще царит относительное спокойствие. Враг предпринимает атаки местного значения на отдельных участках фронта, но начинать новое наступление после декабрьского поражения боится. Наши войска безостановочно ведут большие фортификационные работы, не дают покоя противнику ни днем ни ночью, устраивая отдельные вылазки и атаки. Мария Богучар обучает все новых и новых снайперов, сама ходит с ними в засаду. Она получила диплом снайпера и даже разрешила мне сфотографировать его. Фотография была напечатана в нашей газете.

Такие дипломы получили еще несколько снайперов. По редакции прошел слух, что Богучар скоро наградят боевым орденом. Верно, так и будет. Я очень хотел бы этого.

Семья Громовых тоже с нетерпением ждет этого награждения. Варвара говорит, что награда эта будет большим праздником для всех севастопольских женщин и особенно для живущих под горой на Лабораторном шоссе.

Подумать только, какое большое дело делает Варвара со своими соседками! Вот, например, из-за недостатка овощей и фруктов, из-за перебоев с подвозом продовольствия в армии началась цынга. Варвара услышала об этом и призвала всех женщин собирать шиповник и коренья. Весь фронт пьет отвар из их шиповника. Потом Варвара стала инициатором выращивания ранних овощей. Она засеяла ранним луком и чесноком свободный клочок земли на Лабораторном шоссе. Ее примеру последовали все севастопольские женщины. Сейчас в парках и скверах выросли целые огороды. В госпитали и на фронт из Севастополя каждый день вывозят свежий лук, чеснок, редиску, салат. Почин Варвары перекинулся на фронт. В нескольких батальонах морской пехоты я видел грядки с ранними овощами. Они растут прямо за окопами, их посеяли и выращивают батальонные и ротные повара. У одного нашего повара начали было редеть грядки с луком, верно, кто-то повадился таскать лук по

ночам. Повар огородил грядки проволокой и сделал всюду надписи «Заминировано». Теперь никто не осмеливается без него наведываться к грядкам. Повар сам выдает каждому бойцу по две луковицы в день. Лук и чеснок бойцы получают во всех подразделениях. Цынга постепенно исчезает. Лекарство и свежие овощи скоро совсем задушат ее.

По горам уже бродит теплая, душистая весна, мне даже не верится, что Севастополь в осаде. Море чистое и ясное до самого горизонта, и на сердце горько от того, что этой весной на целебные крымские курорты не приедут шахтер, колхозник и больной учитель, не зазвенят веселые пионерские голоса в «Артеке». Золотой южный берег Крыма фашисты опутали колючей проволокой, начинили минами. Бомбы падают ежедневно. Воздушную тревогу объявляет теперь не гудок Морского завода, а зенитные орудия.

Фронт подошел к самому Севастополю».

XXVI

В море вторую неделю бушевал шторм. Высокие волны, покрытые на гребнях седыми бурунами, напоминали черные горы со снежными вершинами. Штормовые волны без устали налетали друг на друга, разбивались с оглушительным громом и снова вырастали до самого горизонта, еще более высокие и грозные. Над поседевшей водой, каждое мгновенье менявшей окраску, висело холодное свинцовое небо. Казалось, буря взбаламутила море до самого дна, вывернув снизу на поверхность глубинные водяные пласты, в которые испокон века не проникало солнце.

Штормовые волны стонут и ревут, с силой ударяя о борта боевых кораблей, перекатываются через палубу, сбивают с ног матросов. Корабли покрываются льдом, становятся тяжелее, теряют скорость. А терять скорость нельзя. Матросы в обледеневших бушлатах бегают по палубе, скалывают лед. У раскаленных топок обливаются потом котельные машинисты, не допуская, чтобы дым поднялся над трубами кораблей. Ходить в море без дыма на установленной скорости — таков теперь закон. Ведь дым сразу демаскирует корабли и привлекает к ним вражеские торпедоносцы и бомбардировщики.

Впереди идет краса Черноморского флота — линейный корабль «Севастополь», за ним в кильватер эскадренный миноносец «Стремительный». Иногда палубы исчезают в штормовом вихре, но у пулеметов и зенитных орудий матросы стоят свою вахту. Никакая качка не оторвет их от поста.

Хотя Черноморский флот и перебазировался из Севастополя в кавказские порты, но каждый матрос и офицер всеми мыслями и чувствами сейчас там, на Мекензиевых высотах, на Сапун-горе, под Балаклавой, где высится старая Генуэзская башня. Все они болезненно переживают смерть героев Севастополя, ждут писем от друзей, воюющих в частях морской пехоты. Об их подвигах каждый день приходят на Кавказ все новые и новые вести. Все, что сегодня произошло в Севастополе, — завтра уже знают на кораблях.

Трудно героическим защитникам Севастополя. Фашистские части прорвались на железнодорожную станцию Мекензиевы горы. Вчера был найден первый немецкий автоматчик, убитый у шлагбаума, стоящего в Инкерманской долине. Одного автоматчика убили, трех захватили в плен. Они шли без шинелей, в одних мундирах, и были голодны. На допросе пленные заявили, что по приказу командующего фон Манштейна их заставили снять шинели и не дали есть перед наступлением. Наступающим немецким частям было обещано новое обмундирование и пышный банкет в Севастополе. Так зачем же им надевать старые шинели и есть перед наступлением? После победы весь Севастополь будет отдан им на три дня в полное распоряжение. Грабьте, пейте, гуляйте.

Это было вчера. А что произошло в Севастополе сегодня, на кораблях еще не знали. На кораблях находилось много бойцов, в трюмах было полно оружия, боеприпасов. В восьмибалльный шторм, когда свинцовые тучи низко нависали над водой, фашистская авиация не патрулировала над морем. Немцы думали, что корабли не подойдут в такой шторм к Севастополю.

Вечерело. Мичман Шагайда, сменившись с вахты, не спустился вниз. Он стоял на палубе, прислушиваясь к завыванию ветра. Отдыхать не хотелось. Одна мысль о том, что скоро на горизонте появится Севастополь, отгоняла сон.

Матросы, замерзшие на пронизывающем ветру, неусыпно стояли вахту, охраняя свой корабль. От них веяло

спокойствием, и это спокойствие передавалось Шагайде; одинокий и незаметный в темноте, он стоял, прижавшись спиной к холодной броне. Давняя профессиональная привычка помогала ему свободно ориентироваться на море, определять место, в котором находились корабли, подсчитывать расстояние, оставшееся до Севастополя. Там шли ожесточенные бои, фронт истекал кровью, гибли товарищи, друзья. Но Севастополь держался, он дрался за каждый клочок земли, за каждый дом, за каждый камень на подступах к городу.

Там воевала Мария, рядом с ней Самойло Вихорь и Яков Майборода. Павел Грызлов погиб, об этом мичману писала Мария в последнем письме. Но живы ли остальные? Ведь письмо он получил неделю назад. Шагайда прикоснулся рукой к груди, почувствовал, как во внутреннем кармане кителя легонько зашелестели листки письма. Он вздохнул полной грудью, прищурил отяжелевшие веки, плотнее прижался к обмерзшей броне.

Шагайда участвовал в тяжелых морских боях, но в Севастополь его корабль не попадал. О Марии он читал, видел ее фотографию во флотской газете, слышал о работе снайперов под Севастополем. Работа снайпера с тех пор казалась ему самой благородной и почетнейшей профессией, конечно, после морской.

Первое письмо из Севастополя пришло неожиданно. Мария писала мичману, что живет попрежнему, обучает матросов и пехотинцев снайперскому делу, рассказывала о Самойле Вихоре, о Павле Грызлове и Якове Майбороде. Все, кто остался в живых после гибели «Грозы», стали отличными воинами на суше, ими гордится весь полк морской пехоты. Мария вспоминала Одессу, тот вечер в университете, на котором Шагайда пел романс «Повий, витре, на Вкраину», спрашивала, как он живет и воюет, грустила о родных. Что он слышал об Одессе, о катакомбах, нет ли вестей от ее подруг, уехавших с университетом на восток? Если он что-нибудь знает, пусть немедленно напишет ей. На прощанье Мария писала, что они часто вспоминают его добрым словом и просят прислать им его последние фотокарточки. Шагайда так растрогался, что послал Марии целых три снимка.

Гудит разволновавшееся море, вздымается сплошной стеной волн. А Мария даже не знает, что корабли идут

в Севастополь. Сильнее бьется сердце у Шагайды, предчувствуя близкую встречу. Он поворачивается, подставляя ветру обожженное морозом лицо. Вдруг совсем рядом кто-то радостно кричит:

— Севастополь!

Шагайда всматривается.

Прямо перед ним, справа от носовой части эсминца, мерцает на горизонте огненное зарево. Его бледный отблеск уже упал на взведенные стволы орудий, выхватил из темноты мачту, лег на палубу. Чем ближе подходили корабли, тем ярче разгоралось пламя, дрожавшее над городом. На палубу высыпали все свободные от вахты матросы.

Упали брезентовые чехлы с зенитных орудий и пулеметов, уже готовых к бою. В трюмах и кубриках, готовясь к высадке, зашевелилась пехота. В темноте показались высокие берега, по ним, шипя, взбирались волны, но тотчас же разбивались о каменные скалы и, сердито урча, возвращались в море.

Вот и первая бухта. Над боновым заграждением вспыхивают две зеленые ракеты — условный знак, что путь свободен, и линкор «Севастополь», а за ним эсминец «Стремительный» входят на внутренний рейд, словно в глубокую долину, окруженную со всех сторон высокими горами. И все видят будто умелой рукой графика вычерченные на огненном фоне четкие контуры севастопольской Панорамы, обнаженные деревья, Малахов курган.

Шагайда сбегает по трапу на севастопольские камни и останавливается. В бухте низкая волна, шторм сюда не долетает, но окружающий гул еще сильнее, чем в море.

Комендант порта и представители командования принимают новое пополнение, прибывшее на кораблях. Артиллерийские разведчики привезли таблицы для стрельбы по закрытым целям. На линкоре уже подымаются тяжелые стволы орудий главного калибра. Севастопольцы давно не слышали их залпов. Линкор стрелял больше в море. К кораблям подвозят первые партии раненых для эвакуации на Кавказ.

Медленно светлеет на востоке узкая полоска неба, но ее не сразу заметишь над освещенным пожаром городом. Шагайда подбегает к капитану третьего ранга Платону Богучару и просит разрешения отбыть на час по

личным делам. Капитан как-то странно улыбается, потом обеими руками обнимает широкие плечи мичмана.

— Дорогой мой! Вы же ничего не знаете. Сегодня ночью, когда мы в шторм шли сюда, в Керчи и Феодосии успешно высадился наш морской десант. Освобождены Керчь и Феодосия. Наши ведут успешное наступление на всем Керченском полуострове. Теперь я уже могу сказать вам об этом, получены официальные сообщения. Подождите немного, и мы вместе пойдем ко мне, на старую квартиру. Это ведь рядом, два шага, погостим у старика Громова... Туда и Мария наша придет. Я уже передал ей. Потерпите немного.

Шагайда вздрогнул и едва сдержался, чтобы не обнять капитана на глазах у всех матросов. Десант в Керчи? Так вот куда готовилась идти еще вчера вся их эскадра! Значит, теперь свежие силы ударят фашистам в спину, в Севастополе сразу станет легче, Мария сегодня придет к Громовым, и там он, наконец, встретится с ней.

Мичман оглядывается вокруг, протирает покрасневшие от бессонницы глаза, словно хочет убедиться, верно ли, что он снова в Севастополе, не сон ли это? Нет, не сон, только почему исчезло на горизонте зарево? Нет, зарево не погасло, это всходило солнце. Красное и большое, оно остановилось низко над горами и осветило серый дым, стелющийся над окопами, руины города, тихие бухты. Пока оно взошло, дивизия, прибывшая на кораблях, уже добралась до Мекензиевых гор, чтобы сменить в окопах уставших бойцов частей Приморской армии. И тут же прозвучал первый оглушительный залп с линейного корабля. Стреляла артиллерия главного калибра. В ближайших домах ходуном заходили стены, распахнулись двери. Севастопольцы, выбегая из бомбоубежищ, испуганно озирались по сторонам, потому что давно не слышали ничего подобного. Им показалось, что немцы вошли в Севастополь. И вдруг они увидели в порту линкор. По хорошо знакомым очертаниям люди сразу узнавали его.

К порту бежали дети, женщины, за ними старики черноморцы. Шагайда видел в бинокль, как со всех улиц и кварталов, террасами поднимавшихся над портом, люди махали красными и белыми платками, приветствуя своего любимца, его команду. С фронта возвращались эскадрильи наших самолетов и, проходя над линкором,

помахивали крыльями, благодаря за меткие попадания, которые им удалось наблюдать на фронте, возвращаясь с боевого задания.

Весть о прибытии линкора и о десанте на Керченском полуострове в мгновенье ока облетела весь фронт и город, заронив в сердца людей радость. Фашистские полки и дивизии, окружившие Севастополь, уже засуетились, перебросили часть своих сил на Керчь и Феодосию. Героические защитники Севастополя на некоторых участках фронта перешли в наступление и продвинулись на три-четыре километра.

В продуктовых магазинах досрочно выдавали сахар, жиры, муку и крупу. В школах и детских садах раздавали детям пакетики с новогодними подарками. На грузовиках, мчавшихся с фронта за снарядами, покачивались зелененькие елочки. Это был подарок фронтовиков детям Севастополя. Приближался новогодний вечер.

Шагайда быстро шагал по Лабораторному шоссе и почти не слушал, что говорил ему шедший рядом Платон Богучар. Как встретит его Мария после долгой разлуки? А вот и знакомый дом с густым плющом, зеленеющим даже на морозе.

В первую минуту Шагайда даже не успел рассмотреть, что делается в кухне Громовых, он видел только Марию. Девушку и снайперов отпустили встретить Новый год — ведь их сегодня сменило новое пополнение. Мария бросилась к брату, обняла. В кухне наступила тишина. Шагайда впился взглядом в девушку, боясь двинуться с места, ожидая, чтоб она первая заметила его.

— Ну, что с тобой, сестренка... Ну будет тебе, — шептал Платон, нежно гладя Марию по голове.

Она медленно развела руки, но щекой все еще прижималась к груди брата. И вдруг увидела Петра. Девушка вздрогнула, но, сразу же овладев собой, радостно крикнула в другую комнату.

— Самойло, ой, посмотри, кто к нам приехал. Скорей иди сюда! Тут Шагайда наш! Петруша!..

В дверях появился Вихорь. Он был бледен и грустен, левая рука висела на широкой перевязи. Лицо заметно осунулось, глаза глубоко запали. Шагайда шагнул к нему, но остановился на полдороге. Между ними встала Мария.

— Мария... Здравствуй, — тихо проговорил Шагайда.

Она протянула ему руку, крепко пожала. Шагайда

задержал ее руку в своей, пристально глядя в глаза. Он только теперь заметил, что Мария в хромовых сапогах и стриженая.

— Вон какая ты стала, — сказал он наконец.

— Какая? — Мария кокетливо пожала плечами.

— Возмужала и на парня немного похожа, — пошутил Шагайда.

— Ты хочешь сказать, что огрубела на фронте?

— Нет, что ты... А, впрочем, может и так, — тихо ответил Петр.

Подошел Вихорь, и моряки дважды сдержанно, по-братски поцеловались. Потом к прибывшим подбежала Варвара, засуетилась вокруг, причитая и вздыхая возле каждого.

— А я уже хотела на корабли бежать и освобождать вас. Такой день у нас сегодня, а вас все нет да нет. Приплывают раз в год, и то никак не дождешься в гости. Ну, раздевайтесь и скорее к столу, пока он, проклятый, не прилетел...

— Сегодня, верно, не прилетит, мамаша, — сказал Вихорь.

Вдруг Варвара хитро подмигнула Платону, крикнула:

— Дети мои, а ну, покажитесь-ка!

В кухню вбежали Игорь и Коля, вытянулись у двери. Оба в военной форме, одинаково подстрижены, — словом, два брата. У каждого на груди поблескивала медаль «За отвагу». Варвара вытерла передником губы, погладила обоих по голове:

— Хороши дети, только я до сих пор не знаю, кто кого сманил на фронт. Не признаются. Если б не эти медали, я бы их розгами за побег отхлестала, да вот медали боевые не позволяют... Они их прежде заслужили, а потом уже на фронт удрали. Горе с ними, да и все...

— Ну, будет вам, мама. Приглашайте людей к столу, — перебила Люба.

Когда усаживались за стол, Шагайда, улучив минуту, шепнул Марии:

— Я так ждал этой встречи, Мария... ты себе не представляешь.

— Не надо сейчас. Потом... Я обо всем тебе напишу. Нам было так трудно... — тихо и растерянно сказала Мария и, взяв Шагайду под руку, повела к столу. Она

села между Вихорем и Шагайдой, накладывала обоим на тарелки еду, подавала хлеб и все спрашивала Вихоря, не болит ли у него рука. Варвара угощала гостей и огорчалась, что нет хозяина, — он на заводе, в штольнях.

На столе была квашеная капуста, свежий хлеб, картошка, рыба и по два ломтика мяса на каждого гостя. В углу стояла маленькая нарядная елочка. Желтые огоньки свечей переливались, украшая небогатый стол, скромный ужин. Гостям налили по рюмке крепкого вина, и Варвара сказала:

— Дети мои родные! Давайте поднимем эту первую рюмку за воинов, сражающихся на фронтах, за то, чтоб поскорее кончилась эта проклятая война.

Все встали, высоко подняв рюмки.

XXVII

Небольшое зеркальце в позолоченной рамке весело поблескивало на стене, украшая фронтовую землянку. Его раздобыл где-то Яков Майборода и подарил Марии, чтобы она и другие девушки не забывали о своей молодости.

— Пусть этот «ампир» веселит вашу землянку,— сказал моряк и сразу же убежал, боясь, что от его подарка откажутся. Зеркало так и осталось в землянке, чистое, светлое. Вставая и ложась, девушки всегда толпились перед ним, мечтали о будущем, молча грустили над новыми морщинками, которые пролегли на лбу. Не раз и Мария, стоя перед зеркалом, разговаривала сама с собой. Девушка всегда девушка, особенно если ей только двадцать. Она и жарко улыбнется, и капризно поведет бровью, не скроет от зеркала и нежданных слез. Вот почему все девушки были от души благодарны Майбороде за такой подарок. Матрос чувствовал это и гордился своим поступком.

Мария, надев берет, сняла зеркало со стены, поставила на пол. Так было удобнее осмотреть себя с головы до ног. Тем более, что до сих пор она никогда так не одевалась, уходя в снайперскую засаду. Синий лыжный костюм плотно схвачен в талии матросским поясом. На поясе кожаные подсумки с патронами. Ноги в легких шерстяных носках и лосевых тапочках. Маскировочная плащ-палатка спускается чуть ли не до пят. В новой

одежде Мария чувствует себя свободно, легко и, посматривая в зеркало, улыбается. Когда-то, еще девочкой, она читала сказки о бедуинах. Теперь она сама походила на бедуина. Ей бы только еще коня арабской породы, белую чалму на голову — и сказочный бедуин готов. Девушка еще раз глянула в зеркало, потом легко и неслышно прошлась по землянке. Приготовления были закончены. Мария повесила зеркало на стену, взяла свою снайперскую винтовку. Ощутив холод металла, девушка сразу стала серьезной, нахмурила черные тонкие брови.

У выхода из землянки Марию охватила какая-то неуловимая тревога, сильнее забилось сердце. Не то, чтобы боязно, а как-то необычно было идти в бой ночью, — ведь это был ее первый ночной выход. Правда, Мария долго готовилась к нему, упорно тренировалась с отобранными ею снайперами, но все-таки новизна такого рискованного и необычного похода немного беспокоила ее.

В темноте трудно попасть в цель, трудно наблюдать результаты работы. А теперь под Севастополем не такое время, когда можно утомлять по ночам снайперов, чтобы они потом, днем, клевали носом. Ей никто не простит, если из ее затеи ничего не выйдет. Ночные тренировки и так уже отражались на дневной работе лучших снайперов. Зеленцов до сих пор терпел все это, но что он скажет после первой пробной ночи, девушка не знала.

Ночные тренировки снайперов начались недавно и проходили с успехом. Расчет Марии был прост. Когда весной Военный Совет армии поставил перед каждым бойцом задачу убить одного фашиста, снайперы утроили свои обязательства. Мария Богучар предложила перевести работу снайперов на две смены — дневную и ночную. Командир согласился и приказал ей первой попробовать.

Долину, где проходил железнодорожный туннель, объявили запретной зоной, огородили колючей проволокой. Под каменной стеной туннеля выкопали окопчик полного профиля, водрузили камышовый навес и установили световые мишени. Камышовый навес — для того, чтобы вражеские самолеты не замечали блеска электрической сигнализации. Огоньки то мерцали, то вспыхивали в ночной темноте. На бруствер окопа выставлялись не совсем обычные мишени. В деревянную рамку была

вложена вощеная бумага, к ней приставлена электрическая лампочка в трубчатом чехле. Свет падал снизу и освещал бумаги. Это и была мишень. Наблюдатели сидели сбоку, в глубоком окопе, и по условленному сигналу зажигали и тушили электрические огоньки в мишенях. Всю эту сложную систему электросигнализации по указанию Марии быстро освоили Игорь и Коля, ставшие полновластными хозяевами полигона. В глубоком окопе, где они сидели, находился телефон, который связывал их с огневой позицией снайперов, стоял самодельный пульт, с помощью которого они зажигали и тушили огни в мишенях. Снайпер лежал вначале за сто, потом за сто пятьдесят, а потом и за двести-триста метров от цели. Выставляли сразу три-четыре мишени. Коля звонил на огневую позицию и сообщал, что у них все готово. Мария приказывала мальчикам спрятаться на дно окопа и включать огонь в мишенях не подряд, а по их усмотрению. Огоньки вспыхивали на долю секунды и гасли. Снайпер в этот миг запоминал направление и бил по мишени, когда она была уже затемнена. После каждого выстрела Игорь бежал к мишени и, осмотрев ее, докладывал Коле результаты, а тот передавал Марии по телефону. Потом, когда снайперы натренировались, результаты подсчитывались уже сразу после четырех выстрелов. Первую ночь Мария сама сидела с мальчиками в окопе, а на следующую они уже работали одни. Несколько раз к ним приходил командир и оставался доволен ночными тренировками. Результаты были блестящие. Каждый снайпер из четырех выстрелов двумя-тремя попадал в мишень.

Тихо прикрыв за собой дверь, Мария остановилась на дощатых ступеньках. В горах стояла настороженная тишина, временами нарушаемая короткой пулеметной очередью, взрывом гранаты, случайным выстрелом. В этой тишине Мария ясно чувствовала, как за долиной шумит море, перебирая пенистой волной звонкую гальку.

Сбоку, между кустами, послышался тихий голос Майбороды. Мария прислушалась. Матрос, видно, отвечал снайперам на вопросы.

— Всякое новое дело требует опыта, — говорил Майборода. — У нас с вами такого опыта еще нет, но мы его приобретем. Это факт. Ночью, конечно, трудно и неудобно работать, но мы привыкнем. Звук и огонек будут

нашей целью. Блеснул огонек — значит фашист сидит. Бей туда и прислушивайся — вскрикнул или мертвым свалился. Кроме этого, они любят пускать всю ночь ракеты. Наш разведчик Самойло Вихорь говорит, что он видит их при свете ракет лучше, чем днем. Ракета тоже большое дело для нас...

Услышав имя Вихоря, Мария коснулась рукой разгоряченного лба. К горлу подкатил теплый клубок. После того как Петр Шагайда отплыл из Севастополя, Вихорь стал равнодушен и даже холоден к Марии. Он старательно избегал встреч с нею, обходил другой дорогой, если видел издали, а однажды даже не зашел к Громовым, узнав от Варвары, что у них сидит Мария. Поговорив с Варварой, сел в кабину грузовика и покатил куда-то дальше, к центру города. Мария сначала злилась на него за такое мальчишество, хотела хорошенько пробрать при первой встрече, но он вскоре снова ушел в разведку куда-то в Ялту, и девушка места себе не находила, ожидая его возвращения. В эти тревожные дни Мария ходила сама не своя, избегала всех, а оставаясь одна, тихо вздыхала и все посматривала туда, где высился серый Чатырдаг. Утреннее солнце заливало его вершину ослепительными лучами. Вершина была каменистая и пустынная.

Но вчера разведчики вернулись. Мария утром заходила к ним в землянку, как бы по делу, но никого не застала: их ночью вызвали в штаб армии. Землянка разведчиков стоит вон там, под горой, дверь ее закрыта, вокруг никого.

Мария решительно встряхивает головой, перепрыгивает через четыре крутые ступеньки и оказывается на полянке, перед Майбородой. Увидав ее, снайперы вскакивают с дубовой колоды, молча приветствуют. Майборода подмигивает им и говорит:

— Ну, вот и все. Моя наука кончилась.

— Почему же? Продолжай, — протестует Мария и присаживается на колоду.

— Нет, товарищ сержант, уже поздно. Пора на работу собираться, — и Майборода опускается на траву рядом со снайперами. Они довольно покашливают, потирают руки.

В кустах что-то шелестит, и на полянку к снайперам выбегают Игорь и Коля. Они несут моток кабеля, фанер-

ные щитки, два аккумулятора и ещё какие-то приспособления, выпирающие из противогазных сумок. Лица их строги, сосредоточены, в глазах блестит нескрываемая радость.

Коля, как старший, становится смирно, рапортует Марии:

— Товарищ сержант. Для работы на снайперском полигоне все готово. У нас есть сорок запасных щитков, новый кабель, световая сигнализация в исправности. Можно начинать. Для наблюдателей отрыты окопы полного профиля.

— Спасибо за службу, — говорит Мария, — но я должна сегодня огорчить вас, мальчики.

— Почему? — не выдерживает Игорь.

Мария берет его за подбородок и долго смотрит в чистые детские глаза; даже в темноте в них дрожат две яркие звездочки. Марии кажется, что такие глаза были у ее покойного брата Славки. Теперь мальчиков двое, Игорь и Коля, и оба ей как родные братья. Сберечь хоть этих двух, если уже не смогла уберечь Славку.

— Сегодня мы не будем тренироваться на полигоне,— говорит Мария.

Из рук Коли валится моток кабеля, фанерные щитки падают в густую траву. Мальчики растерянно переглядываются, им непонятно, почему Мария так внезапно и незаслуженно отвергает их помощь. Они же все ночи проводили с ней на полигоне, сами все готовили для снайперов, никому об этом не рассказывали, держали всю подготовку в великой тайне, как этого требовала от них Мария. И вдруг такая неблагодарность! Неужели командир запретил им принимать участие в ночных тренировках снайперов? Не может этого быть... Мария сама просила их помочь, — командир знал об этом и разрешил. А сейчас она разговаривает с ними холодно и строго. Значит, они уже не нужны ей больше? Мальчики печально посмотрели на Марию и безнадежно опустили головы.

— Мы идем на фронт и там попробуем свои силы, а вы, ребята, отдыхайте...— сказала Мария и ласково потрепала мальчиков по головам.

— Мы не дети... Зачем вы так говорите? — блеснул глазами Коля.

— Я пошутила, не сердитесь, — улыбнулась Мария и пожала им руки, прощаясь, как со взрослыми.

Она еще раз оглянулась на землянку Вихоря и, не увидав возле нее людей, двинулась в горы. Впереди шел Майборода, ловко, упруго приседая под густыми ветвями, нависавшими над тропинкой. За ним двигалась Мария, придерживая свободной рукой длинные полы плащ-палатки. По ее следам шагали остальные три снайпера. Все они ступали легко, стараясь не нарушать тишину.

— Курево и спички есть? — спросила Мария.

— Все в землянке осталось. Сам проверил,— ответил Майборода.

За спиной Марии кто-то со вздохом тихо проговорил:

— Знаем, товарищ сержант, о спичках. Потерпим ночь без курева, не беда. Зато фрицам дадим прикурить.

Дальше шли молча по знакомой до мельчайших подробностей тропинке. В небе мерцали крупные южные звезды, их зеленоватый свет словно просачивался сквозь густые горные леса, струился над затуманенными долинами, играл в тихом море. Там, над Севастополем, гудели вражеские бомбардировщики, гремели зенитные орудия, а тут, в горах, царила настороженная, зловещая тишина. Но это только так казалось.

На всех холмах копошились саперы, устанавливали железобетонные колпаки, прокладывали новые запасные траншеи. Подрывники тянули фугасные заряды, противотанковые и противопехотные мины. Повара раздавали горячую пищу, и над окопами плыл запах вкусного борща. Артиллеристы подвозили снаряды, штабелями складывали их в подземные погреба. Связные ползли в густой траве, присыпая землей запасные кабели.

После провала декабрьского наступления фашистское командование усиленно и поспешно готовило новый решительный штурм Севастополя. С Керченского полуострова к Севастополю подошла новая дивизия. На Симферопольский аэродром уже второй день прибывали части воздушной эскадры, в Бельбекской долине скапливался танковый корпус. По всей линии фронта немцы по ночам строили новые блиндажи, устанавливали дзоты и доты, старались создать видимость, что собираются сидеть тут долго, вести позиционную войну и тем самым замаскировать подготовку к новому наступлению на Севастополь.

Но замысел врага уже разгадан, теперь надо сорвать его.

Майборода заходит в блиндаж командира роты, а снайперы залегают в высокой траве, за кустами горного дубняка. На траве поблескивает теплая роса. Мария рукой стряхивает росу с чехла, предостерегающе говорит снайперам:

— Не кладите винтовки в траву, роса выпала...

— Знаем.

— Роса съест туманы в долине, — говорит Мария.

— Это нам на руку, — отзывается снайпер.

Где-то в землянке тихо поет гармонь, и ее нежный голос плывет над горами, будит в сердце теплые воспоминания.

Из землянки показался Майборода.

— Все в порядке, — говорит он. — Только что при мне звонил командир батальона, спрашивал, пришли ли мы, и приказал всем дозорам охранять нас всю ночь. Ну, конечно, передал всем привет, пожелал удачи.

Молчаливый связной провожает их, и они, пригнувшись, выползают за передний край в свои старые, заросшие дубняком, окопчики, где когда-то сидели целыми днями, от рассвета до сумерек. Ночь темная, хоть глаз выколи. В немецких окопах слышен чуть приглушенный шум, кто-то хохочет, где-то слева тренькает губная гармоника. Видно, там ужинают.

Вскоре над окопами вспыхнули две ракеты, освещая весь передний край. Мария узнает знакомый камень на холме, за которым днем сидели немецкие корректировщики, сожженный дуб у фашистской землянки и ясно видит крутую тропинку, ведущую к вражескому блиндажу. Дальше, налево, тянутся две дороги, стоит обгоревший танк с черными крестами, но это уже не ее сектор. Теперь в нем хозяйничает Яков Майборода со снайперами. После ракетных вспышек становится еще темнее, и девушке долго приходится привыкать, пока она вновь начинает различать серые контуры фашистских позиций. Нудно и долго тянется время, усталостью заволакивает глаза. Мария трет веки кулаком, кусает губы, старается глубоко и часто дышать, чтобы прогнать дремоту.

Вдруг сон как рукой сняло, дрожь пронизала все тело. Один немец, кажется, не выдержал и попытался прикурить. За каменной глыбой, где днем сидят корректиров-

щики, что-то треснуло, посыпались искры и вспыхнула на миг зажигалка. Мария поймала этот блеск в оптический прицел, спокойно и уверенно нажала спуск. Грянул выстрел, и девушка услышала отчаянный вопль. Потом поднялась суета, послышался картавящий говор, и Мария послала еще две пули. Снова послышался крик, а за ним стон. В это время, как и было условлено, с нашей стороны вспыхнула ракета, осветив землю вокруг каменной глыбы.

В оптический прицел Мария увидела убитого фашиста. От камня шел пологий спуск, убитый лежал головой прямо к нашим окопам. Остальные разбежались. Сердце у Марии зашлось от радости, она плотнее прижалась к земле, счастливая и разгоряченная боем. Сбоку, возле разбитого танка, застрочил немецкий пулемет, и его вспышки часто-часто замерцали в темноте.

Тогда в бой вступил Майборода. Тремя выстрелами он ответил на огневые вспышки, целясь в центр и по обеим сторонам пулеметного гнезда. Пулемет сразу умолк. По звуку было слышно, что пулемет ручной, без стального щитка, и снайперские пули легко нашли свою цель даже среди ночи. Потом Мария услышала знакомые снайперские выстрелы, донесшиеся из-за спины Майбороды. Значит, и остальные снайперы заметили что-то в темноте. Итак, можно охотиться на фашистов даже ночью, надо только привыкнуть.

Во вражеских окопах засуетились. Еще не бывало, чтобы черноморцы убивали наповал среди темной ночи. Что произошло? Переполох начался на всем участке, где сидели снайперы. Противник открыл по нашим окопам беспорядочный, но густой минометный огонь. Мины рвались на линии окопов и за ними, осыпая осколками даже снайперов. Мария скатилась в окопчик и скорчилась на самом дне. Мины отвратительно свистели, на голову девушки падали дубовые листья, срубленные осколками ветки, летела трава с комьями земли, и она плащом прикрыла свою винтовку. Вместе с травинкой к ней на колени упал зеленый светлячок. Мария взяла его на ладонь и долго смотрела, как он весь светится и сияет, словно драгоценный камень в перстне.

Мария попыталась вылезти из окопчика, но минометный обстрел не прекращался. Огонь открыла и наша минометная батарея, за нею вступили легкие орудия, —

верно, прикрывая проход разведки во вражеский тыл. Мария продолжала сидеть в своем окопчике, все еще держа на ладони лесного светлячка, который, почувствовав тепло, сиял своим волшебным огнем.

XXVIII

Наконец долгая и утомительная ночь прошла. Вихорь и Зубов свернули свои карты, объяснительные записки и, вручив их начальнику армейской разведки, вышли из штолен, где размещался штаб. Штольни находились на окраине Севастополя, в гранитных скалах, вросших в землю у самого берега моря. Оба разведчика, вернувшись из вражеского тыла, долго пробыли в штабе, давали объяснения, рассказывали обо всем, что видели, установили и засекли в немецком тылу. Этот поход, как всегда, был труден и опасен. Перейдя линию фронта, они сразу заметили крупное передвижение вражеских частей. Под Бахчисараем разведчики перехватили немецкого офицера связи и нашли у него секретную карту, на которой были обозначены расположения новых огневых позиций немецкой дальнобойной артиллерии. Возле одного аэродрома им посчастливилось захватить приказы, из которых стало известно, что 8-й воздушный корпус Рихтгофена прибыл в Крым и расположился вокруг Симферополя. Наткнувшись среди ночи на вражеские землянки возле пустого аэродрома, разведчики залегли во рву и принялись наблюдать. Из одной землянки все время доносились пьяные голоса, обрывки песен. В соседней землянке было тихо и, должно быть, пусто. Часовой бродил надо рвом и, дойдя до куста шиповника, сворачивал на летное поле, обходя землянки со стороны аэродрома. Когда он в третий раз свернул на летное поле, Вихорь приказал Зубову прикрывать его, а сам пополз в землянку. Она действительно была пуста. Дощатый стол, на нем свеча, две кровати у стен — и все. Вихорь бросился к одной кровати — пусто, к другой... Вот под подушкой что-то есть! Походная сумка с документами. Он схватил ее и опрометью вылетел во двор. Часовой все еще насвистывал на противоположной стороне поля, и Вихорь мигом очутился во рву. Темная крымская ночь лежала над степью, и разведчики исчезли в ней так же внезапно, как и появились. Потом они про-

брались в горы и разыскали знакомый партизанский отряд. Партизаны пополнили их сведения, а старый знакомый, Пятница, набил их кисеты душистым дюбеком и провел через Ай-Петри в Ялтинскую долину. Там они весь день наблюдали за продвижением немецких машин. В бинокль Вихорь ясно видел Ялту, разрушенное здание телеграфа, колючую проволоку над морем, мертвые улицы и почерневшие корпуса санаториев, виселицу в порту, на которой раскачивались тела повешенных. Разведчики распрощались с Пятницей и, перейдя Ялтинское шоссе, очутились в горах. Там они пробрались к Генуэзской башне под Балаклавой. Их карта пополнилась новыми обозначениями вражеских позиций в этом районе. На следующую ночь они вышли к своим.

Разведчикам даже не дали отдохнуть, разрешили только переодеться и сразу повезли в штаб армии, где они и доложили начальнику армейской разведки о всем виденном и слышанном. Добытые ими сведения были очень ценны, и поэтому майор долго беседовал с ними, уточняя каждую деталь, нанося на свою карту все обозначения, его помощники готовили командующему переводы всех немецких приказов и циркуляров, захваченных у врага. Из штолен разведчики вышли, когда уже взошло солнце.

— Ну, кажется, все. Точка. Больше я ничего не знаю, ничего не видел, — тряхнув русым чубом, сказал Вихорь.

— А о повешенных в Ялте? — спросил Зубов.

— Написал и о повешенных... Трое в порту... Верно, матросы, — вздохнул Вихорь, и они двинулись вдоль морского берега.

Море, тихое и спокойное, поблескивало на солнце, словно шелк, расшитый сверкающим серебром. Легонькие волны, зеленоватые и прозрачные, плескались о белые камни и пели свои вековечные тихие песни. На острых гребнях не видно белой пены, она превращалась в нежное кружево на прибрежной гальке, которая звонко шелестела от морского прибоя. И галька, и каменистые берега, и все вокруг отдавало крепким запахом морской соли. Вихорь вдыхал эти ароматы полной грудью, и от этого исчезала тяжелая усталость, уже не клонило ко сну. Иван Зубов, слушая песню моря, вспоминал недавнюю мирную жизнь, о которой он долгими ночами мечтал в своих окопах и во вражеском тылу.

Севастополь лежал перед разведчиками белый, пронизанный солнцем. И обоим разведчикам показалось, что войны уже нет, что она прекратилась, пока они сидели в подземелье. Над ними снова веял мирный весенний ветерок; ласково пело море, далекие крымские горы сверкали всеми красками южной весны. Казалось нелепым, невероятным, что в такой же солнечный ласковый день гестаповцы схватили в Бахчисарае знатную звеньевую, мастера высоких урожаев винограда Ганну Бакланову. Ее выдал какой-то предатель, и гестаповцы мучали ее, требуя, чтобы она отдала им свой орден Ленина. Об этом разведчикам рассказали партизаны,— они поздно узнали об ее аресте и не смогли выручить Бакланову. Теперь знатную звеньевую перевезли в Симферополь, и дальнейшая ее судьба неизвестна. Партизаны знали, что ордена своего Ганна гестаповцам не отдала, закопала его где-то на огороде. Вихорь помнил Бакланову, она приезжала на «Грозу» с подарками от колхоза. Смуглая, румяная, с острыми умными глазами, она своей красотой обворожила не одного матроса. Вспомнил о ней Вихорь, идя вдоль морского берега, и тихо проговорил:

— А мы, Иван, не все сказали майору...

— Неужели что-нибудь забыли?

— Забыли.

— Что именно?

— О нашей знатной звеньевой Ганне Баклановой, — нахмурил брови Вихорь. — Какая это девушка, если б ты только знал... Второй такой не было в Крыму...

— В штабе о ней уже знают. Партизаны сообщили,— уверил Зубов.

Мирное настроение сразу рассеялось; теперь в глаза бросались не море и солнце, а разбомбленные дома, окна, забитые фанерой и заткнутые подушками. Повеяло томительным запахом свежего пожарища; возле домов хлопотали дворники, подметали сажу и уголь, засыпали битым кирпичом глубокие воронки от бомб.

— Знаешь что? — сказал Вихорь.

— Ну? — спросил Зубов.

— Давай зайдем в Панораму. Скоро, верно, наступление начнется, и у нас больше не будет такой возможности...

— Пошли, — согласился Зубов, и они узкими пере-

улочками, обходя почтамт, поднялись на высокую гору в тенистый парк.

Все аллеи старательно подметены, присыпаны песком, на клумбах пылают всеми цветами радуги яркие южные цветы. Земля у корней молодых деревьев еще не высохла после дождя, тонкая струйка бьет из маленького фонтана, весело поют птицы. Среди молодых кипарисов белеет мраморный обелиск с надписью, что здесь в 1854 году воевал Лев Толстой. Лежат позеленевшие от времени старинные ядерные пушки годов первой обороны. Разведчики обошли весь парк и не нашли в нем ни одной зенитки, ни одного наблюдательного пункта или какого-либо другого военного объекта. Это был единственный уголок в Севастополе, где не чувствовалась война.

— Странно, — сказал Зубов, — такая чудесная позиция для артиллерии, а гуляет без толку. Неужели об этом не знает командующий?

— Знает и не допустит, чтобы здесь находились позиции, — гордо ответил Вихорь.

— Почему? — удивился Зубов.

— А потому, что здесь Панорама, памятник культуры... Пусть видят, знают немцы, что мы бережем это сокровище искусства и поэтому не создали здесь ни одного военного объекта. Может, поэтому и они не тронули Панораму,— прибавил Вихорь.

— Для фашистов законы не писаны,— сердито возразил Зубов. — Надо ее снять, картину, и вывезти, — от фашистов всего можно ожидать.

— Нельзя вывезти. Очень старое полотно, рассыплется. Посылали радиограмму в Москву, запрашивали Художественную академию. Художники говорят, нельзя трогать Панораму. Неужели он осмелится сбросить на нее бомбу? — развел руками Вихорь.

— Не знаю, но вывезти ее надо, — решительно произнес Зубов.

По крутым ступенькам разведчики поднялись в здание Панорамы и остановились в раздумье. Кровавое зарево стояло над Севастополем, в густом дыму лежали развалины, на редуте за фашинами умирал матрос, батареи вели огонь. Артиллерия била по врагу со всех сторон, но на место мертвых вставали живые. Возле рядового

стоял адмирал, помогая ему заряжать пушку. Женщина поила водой матроса, другая перевязывала раненого. Вихорь пристально вглядывался в разгоряченные боем лица матросов и пехотинцев, оценивал каждое движение, позу и всякий раз вновь ощущал в каждом из них огромную силу воли, стремление к победе, железное мужество, запечатленное художником на века. Мичман не видел на картине испуганных глаз, искаженных страхом лиц, притаившихся фигур трусов. Матросы и солдаты делали свою работу смело и честно, забывая о смерти и тяжелых ранах. Вихорь, как лунатик, шагал по балкону, не спуская глаз с Панорамы. Сколько бы он ни бывал здесь, всякий раз видел все по-новому.

— Эх, если б им хоть десяток автоматов в ту пору,— вздыхает Зубов.

— Пойдем, — тихо говорит Вихорь, и они молча выходят в залитый солнцем парк.

— Ты говоришь, десяток автоматов, — нарушает молчание Вихорь и останавливается. — Зачем им автоматы? Им надо было царя умного, такого хотя бы, как Петр Первый. А еще нужен был им порох. Я читал документы и кое-что знаю. Когда не стало в Севастополе пороху и между солдатами началась заварушка, сам адмирал Нахимов пришел успокаивать их. Он уверял, что царь-батюшка пришлет порох. Тогда один матрос не выдержал и смело сказал Нахимову: «Не пришлет царь пороха, не ждите». Нахимов удивился и спросил матроса: «А почему ты, братец, думаешь, что не пришлет?» Солдат не испугался и ответил адмиралу так: «Господин адмирал, вот вам святой крест, что царь не пришлет пороха. Вы спрашиваете — почему? А вот почему. Во-первых, он пороха не выдумал, во-вторых, — он его не нюхал, а в-третьих,— он его боится». Матросы рассмеялись, и Нахимов не знал, что им сказать... Он, я думаю, сам был доволен таким ответом. Ты, Иван, только вдумайся в эти солдатские слова, пойми их смысл. Это не выдумка. Этот документ найден в архивах того времени и лежит в одном из наших музеев. А как солдаты любили Нахимова! В другом документе сказано, что матросы даже дали Нахимову прозвище. Они между собой называли адмирала «Нахименко Бесшабашный».

— Где ж ты все это раскопал? — удивился Зубов.

— Ого! Дай только войну закончить, я поведу тебя

в Морской музей, и ты узнаешь, кто такие русские матросы, как они жили, за что боролись. Может, и ты после этого пойдешь к нам на флот служить,— весело сказал Вихорь.

Крутой тропинкой они сбежали к Лабораторному шоссе и очутились у дома Громовых.

— Соколики мои перелетные! — всплеснула руками Варвара, увидав разведчиков. — Все летаете из огня да в полымя, а дом и позабыли... Тут о вас целый розыск с фронта ведется. Да все у меня спрашивают: знают в полку, что матрос, как свободен, к Варваре отдыхать идет.

— Что случилось, мамаша? — удивился Вихорь.

— Ордена вам будут вручать. И Марии нашей дадут. Это для меня такая радость, такая радость! Но вы подождите. Я вам тоже подарок припасла, — Варвара метнулась в сад и вскоре выбежала, неся в руках пучки свежей редиски, лука, салата.

— Ого-го-го! Да тут на целую роту! Зачем так много, мы не голодны, — отмахнулся Вихорь.

— Пучок редиски на двоих, несколько луковиц — и все, — сказал Зубов. — Мы пойдем, раз в полку ждут.

Варвара недовольно пожала плечами, сунула им по два пучка свежих овощей, завернутых в газету. Они выбежали со двора, остановили попутную машину и помчались на Инкерман. На скалах рвались немецкие снаряды, и шофер вынужден был свернуть в глубокое ущелье.

Разведчики стояли в кузове во весь рост, опершись локтями на кабину, и им хорошо было видно все, что происходило вокруг. Направо, у каменных складов, длинными рядами стояли грузовики, принимая снаряды и продовольствие для фронта. Налево, на широких гранитных уступах, сушилось госпитальное белье, трепетали на ветру выстиранные бинты, размахивали рукавами детские рубашки. Под ними шныряли юркие машины с красными крестами. Правда, теперь красные кресты были бесполезны, враг не считался с ними и сразу открывал огонь, но санитары и шоферы всякий раз подкрашивали красные кресты на бортах и перекрытиях, освежали их, словно бросая этим вызов взбесившемуся врагу.

Дорога в ущелье круто спускалась вниз, — шофер выключил мотор, и разведчики ясно услышали артиллерийский грохот, долетавший сюда с фронта. Война вновь

гремела на Мекензиевых высотах, перекатываясь по долине к Итальянскому кладбищу. Солнце словно остановилось в безоблачном небе, протыкая острыми лучами серые камни, растрескавшуюся рыжеватую землю, запыленные сады. На голых холмах увядали под солнцем сочные весенние травы, никли яркие горные цветы и только высокий бурьян да низенькая полынь ще росли и шумели под ветром.

Машина скатилась к самой подошве Инкерманских скал, в заболоченную долину Черной речки; оттуда повеяло влажной прохладой, потянуло соленым запахом моря. Впереди ярко зазеленела молодая трава. Речка извивалась среди густых камышей, пересекала долину и струилась мимо хмурых стен инкерманского монастыря, выдолбленного в скале. У моста машину остановил часовой, взмахнув красным флажком. Шофер зло закричал на часового и выругался. Он ездил по этой дороге на фронт день и ночь, но его ни разу не задерживали. Неужели часовой не узнал его? Нет, узнал и приказывает высадить двух разведчиков.

— Я не каждого встречного подбираю. Пора тебе это запомнить, — бросил шофер.

— Это твоя обязанность, но этих высади сейчас же. Дальше они не поедут, — равнодушно сказал часовой.

— А ты знаешь, кто они такие? — не унимался шофер.

— Знаю, — спокойно ответил часовой, — слезайте, друзья, и не задерживайте движение. Приказ мне о вас пришел... Слезайте!

Разведчики нехотя выпрыгнули из машины, готовые спорить с часовым, но из придорожной землянки вдруг выбежали Игорь и Коля. Они бросились к Вихорю, преградили ему путь к часовому.

— Не надо, дядя, он не виноват, — закричал Коля.— Я вас еще издали узнал и сказал ему.

— Нас послали за вами, — объяснил Игорь.

— Кто послал?

— Василий Иванович, командир наш. Мы вас проводим к нему. Это совсем близко. Там уже все наши собрались и вас ждут. Пойдемте!

Вихорь хитро подмигивает шоферу, машет на прощанье рукой и сворачивает на узенькую тропинку, которая вьется вверх над Черной речкой.

— Там и наша Мария, — таинственно шепчет Коля.

— Мария? — словно сквозь сон переспрашивает Вихорь, и ему кажется, что синие горы уплывают куда-то вдаль. Вся обида за новогодний вечер, казалось, уплыла вместе с этими синими горами. Он хватает Колю в объятья и, прижав к груди, покачивает в разные стороны, приговаривая: — Ой, матросик мой! Я тебе самый лучший бинокль подарю... А почему ты сразу не сказал мне об этом?

— Я не хотел при людях говорить.

— Молодец, юнга, молодец! — Вихорь быстро шагает по траве, не чуя земли под ногами.

XXIX

Артиллеристы Бориса Андреева, так же как и морские пехотинцы Зеленцова, оставались на прежних позициях. В долину Черной речки прибыли только полковые представители. Все расселись на траве у подножья высокой горы, среди густых кустов жимолости. Матросы отдельно, артиллеристы — своей компанией, снайперы — в стороне, на зеленом лужку. Настроение у всех приподнятое, праздничное. Старательно выбритые лица, до блеска начищенные пуговицы и сапоги подчеркивали торжественность дня.

На ровной поляне стоял фанерный столик, накрытый тяжелой скатертью красного бархата, ее густые кисти спадали до самой земли. Перед столиком в зеленой траве хорошо была видна выложенная галькой ровная белая линия, которая резким пунктиром пересекала весь луг. По краям этой линии стояли в дубовых кадках две пальмы, неизвестно откуда привезенные сюда. Верно, они были взяты вместе с бархатной скатертью в каком-нибудь санатории либо у жителей Корабельной стороны или Лабораторного шоссе. Праздничная скатерть и пальмы еще больше подчеркивали необычайность происходящего.

Из кустов вышел худой и длинноногий Андреев, за ним показался Зеленцов. Андреев ступал ровно и легко, позванивая шпорами, сиявшими на скрипучих новых сапогах. В трех шагах от них шел загорелый и молчаливый Каюмов. Командиры прошли к столику, осмотрели зеленую площадку и, тихо переговариваясь, отдали последние распоряжения Каюмову. Тот слушал молча, изредка

вскидывая руку к козырьку, стройный и подтянутый. Потом командиры повернули к кустам, где стояла большая крытая машина с шелковыми занавесками на окнах.

Над лугом стоял аромат нагретых солнцем трав, слышались тихие голоса матросов и солдат, по временам раздавался негромкий смех, острая шутка. В кружке, где сидела Мария, все молчали.

После того как она впервые вышла со своими снайперами на ночную охоту, ее почин был подхвачен всем фронтом. Ночи в Крыму стояли лунные, ясные, и снайперам хорошо были видны цели. Они контролировали все тропинки и дороги, горы и кусты по ту сторону вражеских окопов. Пленные рассказывали, что немецкое командование отдало специальный приказ, в котором предупреждало офицеров и солдат быть осторожными даже ночью, потому что в Севастополе появились специально подготовленные ночные снайперы, закончившие какую-то необычную школу. Они стреляют почти без промаха. Это была высшая похвала для Марии, и она не скрывала своей радости. Теперь севастопольские снайперы работали посменно круглые сутки, не давая немцам поднять головы. Солдаты и матросы слышали работу своих снайперов и в дождь, и в бурю, и когда над горами стояла непроглядная воробьиная ночь, и даже когда туман застилал все вокруг. По автомобилям били бронебойными, зажигательными пулями, и моторы горели в ночи, как факелы. Фашисты разбегались от пылающих машин, но их нагоняли меткие пули снайперов.

О ценном почине Марии Богучар напечатали в газетах. Потом на слете снайперов она поделилась своим опытом ночной работы. Ее рассказ был издан отдельной листовкой и распространен по частям Севастопольского гарнизона. Эту листовку носил при себе каждый снайпер, ее можно было увидеть во многих землянках и блиндажах. Теперь Марию узнавали незнакомые ей бойцы, здоровались с ней, снайперы приглашали ее в гости. Она получала множество писем с приветами и поздравлениями.

Яков Майборода гордо заявлял всем, что он ученик Марии Богучар, что он ходил вместе с ней в первую ночную засаду и убил в темноте двух фашистов. С тех пор ему безразлично, когда стрелять, днем или ночью, но стреляет он больше по ночам. Пусть уж молодые снай-

перы работают среди бела дня, ведь все-таки ночная стрельба — высший класс снайперского дела. Рассказывая всем о Марии, он теперь называл ее только по имени и отчеству, говорил, что у нее высшее образование, что она окончила университет в Одессе, только не успела, из-за войны, получить диплом. Вот какая она, их снайпер и будущий историк, Мария Богучар! Поищите такую девушку в другом полку! Смелая, выдержанная, хоть сейчас назначай командиром. А красива как!

Матросы сидят на лужайке, смотрят, как Мария плетет венок. По дороге сюда девушка сорвала в горах цветок мака; увидев это, матросы бросились наперебой собирать цветы. Выбирали лучшие, самые яркие: колокольчики синие, лапчатую ромашку, красный мак, деревей, пахучую душицу, складывали все в букеты, а тут, в ущелье, как только Мария опустилась на траву, поднесли ей букеты и засыпали ими девушку до самых колен. Мария покраснела от такого трогательного внимания и тихонько начала складывать цветок к цветку, вплетая в венок свои мысли.

Яков Майборода, прищурив глаза, тихо, без слов, завел песню. Ему подтянул баском Охрим Бандура, за ним вступило еще несколько голосов. Мария тоже не выдержала, подхватила грудным контральто, и песня поплыла над высокой зеленой травой.

Тихо, тихо Дунай воду несет,
Еще тише дева косу плетет...

В соседнем кружке артиллеристы услышали песню, примолкли, начали прислушиваться, вспоминая хорошие, мирные дни. Выскочил из крытой машины интендант Гаркуша, за ним адъютант Каюмов, — остановились у дверцы.

Мужские голоса пели тихо, и среди них ласково звенел и переливался голос Марии. Мелодия рождалась среди душистых цветов, из которых в руках Марии вырастала цветистая гирлянда весны. Песня перекрывала своим могучим голосом грохот войны, долетавший сюда с Мекензиевых гор, будила у солдат воспоминания о далеких мирных днях, веяла теплыми ветрами из родной степи.

— Ох, мамонька моя! — вздохнул Гаркуша. — Они там поют, словно война уже кончилась...

— Якши, капитан, — отозвался Каюмов. — Я степь свою вижу. Орел летит в небе, отара идет полем, колокольчик поет в отаре... Играет дудка чабана... Мой Казахстан!

— А мне, Каюм, Дунай привиделся, — вздохнул Гаркуша, и ему стало жаль, что песня уже допета и голос Марии затих, произнеся последние слова.

— Якши, Дунай. Белые яхты плывут, чайка плачет, рыбак поет, — мечтательно произносит Каюмов, и они оба нехотя возвращаются к машине. И вот на зеленой поляне снова тихо, медленно стихает гомон среди артиллеристов, покашливают матросы, берясь за курево. Мария доплетает густой венок.

Охрим Бандура пододвинулся к Марии, взял в руки букет, покачал головой:

— Была у меня, ребята, однажды большая неприятность с такими вот цветами.

— Расскажи, папаша, — весело подмигнул Майборода.

Мария стряхивает с колен оборванные стебли цветов. Все подвигаются к Охриму.

— Было это дело до войны. Работал я, если вы помните, полеводом в колхозе, на Полтавщине. Работал неплохо, в Москве на выставке большую серебряную медаль получил. Работа полевода известно какая — землю береги от бурьянов, агротехники придерживайся, проводи правильный севооборот, а главное, не давай спуску трактористам и бригадирам. Трактористы не всегда придерживаются при вспашке нужной глубины, бригадиры часто отказываются сеять культуры, с которыми возни побольше, норовят те культуры сеять, где обработки да мороки меньше. Но так было в начале моей работы. Потом этого не наблюдалось.

Наше село, надо сказать, очень живописное. Стоит на берегу чистой Ворсклы, все густыми садами и тополями укрыто. А девушки и парни — все как на картинке. Один одного лучше. Я думаю, «Наталка-Полтавка», что в театрах показывают, как раз о нашем селе сочинена. Вот как разобьем фашизм и закончим войну, прошу всех в гости в наш колхоз имени Сталина. Село мое называется Качановка, сразу за Полтавой, а хата моя в самом центре, возле клуба. Зеленые оконца и два тополя

у ворот. Спросите, где живет полевод Охрим Бандура,— вам каждый малец укажет...

— Приедем, папаша, обязательно, ждите нас! — восклицает Майборода.

— Приедем! — гудят матросы.

— Вот спасибо вам, сыночки. Встретим вас, как самых дорогих гостей. Не сомневайтесь... Так вот, — продолжает Охрим рассказ, — жила в нашем селе девушка, тоже Марией звалась, как и наша дочка, — он показал глазами на Марию Богучар и лукаво улыбнулся.— Губы, как мальвы, брови — ласточкины крылья, а щеки так и горят. Поищи такую — не найдешь. Если б тебя, дочка, поставить с ней рядом, так не сказали бы — кто из вас лучше...

— Что вы! — покраснела Мария.

— Молчите, Мария Остаповна, папаша правду говорит. Наша Одесса в таком деле достойна конкурировать с Полтавой, — вставил Яков Майборода.

— Правильно! Одесса и Николаев — две столицы невест для всего флота, — прибавил кто-то из матросов.

— А ты, сынок, так не говори, — обиженно произнес Бандура. — Приедешь к нам, в Полтаву, посмотришь, тогда и скажешь, где будет столица ваших невест... Разведка в наше время — великое дело. Так что не перебивайте меня больше. Начали, значит, вокруг нашей Марии парни увиваться, — девушка была уже на выданьи. А парни у нас — орлы. На вас похожи...

— Цену матросам набиваете, — засмеялась Мария.

— Нет, дочка, в мире нет цены таким орлам, как матросы. Запомни это,— гордо покрутил усы Бандура и продолжал: — Расцветает наша Мария, как калина, вьются вокруг нее парни, но вижу я, что она повода им не дает, а все посматривает на одного, на самого молодого моего бригадира, Миколу. Только увидит его, сразу звонким смехом зальется, чтоб он услышал, или песней голос ему подает. А он какой-то робкий, застенчивый. Мария — звеньевая на свекле, а он бригадир по пшенице. И вот перед самой войной, по весне, встречает она меня в поле. Веселая такая, пышная, прижимает к груди большой букет полевых цветов. «Дядя Охрим, я хочу вас попросить об одном деле», — говорит. — «Проси, для тебя все сделаю»,— отвечаю ей.— «Вы сегодня увидите вашего бригадира, Миколу?» — спрашивает.— «Увижу. А что тебе?» —

Опустила она глаза, застеснялась немного и тихо так: «Передайте ему этот букет... На память обо мне», — бросила мне душистую охапку, а сама побежала догонять свое звено. Обрадовался я, старый дурень, что послужу молодым, выведу их любовь из тупика, сел на велосипед — и айда в село. Нашел Миколу во дворе — он умывался и чистился, чтоб идти в кино, в клуб. Я сразу же и вручил ему букет. Если б вы только видели, как он, горемычный, обрадовался. Прижимает эти цветы к груди, не знает, где меня усадить, чем угостить, и все шепчет, повторяет имя звеньевой. Букет не очень пышный, известное дело — полевой. А ему, вижу, цветы эти кажутся лучшими в мире.

Матросы тихо вздыхают, поглядывая на Марию, а она, опустив глаза, перебирает на коленях цветы, доплетает венок.

— Взял я в тот вечер свою старуху под руку, и пошли мы в кино, — продолжает Бандура, хитро посматривая на матросов. — В саду музыка играет, танцы кругом — душа радуется. И наш Микола тут ходит. Высматривает свою Марию. А вот и она со своим звеном. Взялись за руки девчата, пол-улицы заняли. Идут и поют песню про любовь. Вижу, Микола к ним подходит, а за ним и я спешу. Подошел Микола, девушки притихли, а он приближается к Марии. Поклонился ей слегка, кашлянул и подал руку. «Спасибо тебе, Мария, за цветы. От всего сердца спасибо», — говорит. Мария как захохочет на весь сад, как захлопает в ладоши. «Себя благодари, Микола, а не меня. Это я на твоем поле бурьян собрала, чисто у тебя на поле, нечего сказать. Как тебе только не стыдно сидеть в таком бурьяне? А еще бригадир называешься...» Девушки хохочут, даже визжат, а Микола от позора айда в кусты. И тут я, старый дурак, все понял. За этот бурьян мы ведь Миколу на правление вызывали, в стенной газете о нем писали, а он все свое: не хочет выпалывать бурьян, ждет, пока пшеница сама его заглушит.

Матросы расхохотались, а Мария, подбросив свой венок, поймала его.

— Ну, а дальше что было? — не выдержал Майборода.

— Потом все пришло в порядок. Микола выполол весь бурьян, помирился с Марией, и за неделю до войны

свадьбу сыграли. Вот какие наши полтавчане, — закончил Охрим и, немного помолчав, добавил: — Где он теперь, мой Микола? На каком фронте, в каких войсках бьет Гитлера? Что с его Марией стало? Что вообще в моей Качановке над Ворсклой делается? Не слышал ничего, не знаю... Одно только знаю — не встала моя Качановка перед фашистами на колени, а поднялась на бой и крепко даст по зубам Гитлеру...

— Наши идут! — крикнул Майборода.

К ним через поляну шли Самойло Вихорь и Зубов, а по бокам весело подпрыгивали оба юнги — одессит Коля и севастополец Игорь Громов. Перед ними приседал и суетился Колосок, фотографируя разведчиков на ходу.

Мария увидела Вихоря. Поправила волосы, выбившиеся из-под берета. Одернула гимнастерку. Венок она положила за спину, стряхнула с юбки цветы.

— Привет свободным туристам! — выбежал вперед Майборода и начал пожимать разведчикам руки.

— Приветствуем курортников, — отшутился Вихорь.

— Одну минуточку... Давайте я всех вместе, — засуетился Колосок, расставляя матросов для снимка. Бойцы вскочили, стали расправлять пояса, причесывать вихры.

В суете, поднятой Колоском, Вихорь подошел к Марии и, здороваясь, обеими руками сжал ее руку.

— Здравствуй... Целую вечность тебя не видел.

— Вернее — не хотел видеть, — улыбнулась она.

— Что ты говоришь, Мария?

— Не кричи так громко...

Пропела боцманская дудка, призывая бойцов строиться. Они побежали на зеленую площадку, равняясь на белую линию, выложенную из морских камешков. Первыми с правого фланга стали артиллеристы Андреева, за ними — флотские снайперы во главе с Марией Богучар, потом разведчики и пехотинцы.

Самойло Вихорь покосился вправо и увидел строгий профиль Марии. Она стояла третьей от него, рядом с коренастым Бандурой, и Вихорю показалось, что он слышит ее спокойное дыхание.

Из кустарника, в котором стояла крытая машина, вышел Борис Андреев с полковым знаменем в руках. Рядом с ним шли помощник начальника штаба и Каюмов. Не-

много в стороне шагал Зеленцов. Развернутое знамя из тяжелого красного бархата, вышитое золотом, тихо шелестело, бойцы невольно повернули к нему головы, без команды выровнялись по правому флангу. Знамя качнулось над строем и замерло возле Андреева, упершись древком в землю.

У края площадки остановились две легковые машины, и из них вышли представители командования Севастопольского гарнизона: контр-адмирал Багров, генерал Ковалев, офицеры наградного отдела. Борис Андреев, отдав знамя Каюмову, пошел им навстречу, коротко и четко отрапортовал. Контр-адмирал поздравил строй. Ему ответили раскатистым троекратным «ура». Офицеры из наградного отдела поставили на стол стальной ящик с орденами, вынули из него орденские свидетельства, знаки, приказы о награждении. Золото и эмаль орденов ослепительно заиграли на солнце. Генерал Ковалев, обведя взглядом строй, узнал Марию Богучар, Вихоря, Майбороду, усатого Бандуру, и чуть заметная теплая улыбка мелькнула на его тонких, крепко сжатых губах. Контр-адмирал Багров, увидев среди разведчиков Вихоря, подумал: «Жив будешь, моряк, скоро тебе и палубу новую дадим. Соскучился, верно, по палубе». Он с удовольствием осмотрел с головы до ног своего разведчика и остался доволен. Потом перевел взгляд на Охрима Бандуру, на его заскорузлые, красные, налитые силой руки. «Соскучился по колхозной земле. Такие руки пшеницу выращивать привыкли. Не для войны они», — подумал Багров, и брови его низко опустились.

Офицер из наградного отдела читал:

— «От имени и по поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, за доблесть и мужество, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, награждаются орденом Ленина...»

Офицер передохнул, сделал паузу. Ровный строй бойцов затаил дыхание, ожидая, что он скажет дальше, кого первым назовет в списке. Зашелестело на ветру полковое знамя, плеснуло море в бухте, где-то в кустах закуковала кукушка.

Матросы ждали, и офицер прочитал:

— «Сержант Богучар, Мария Остаповна».

Офицер произнес эти слова не спеша, громко и раздельно, но они долетели до Марии, тихие и неясные, словно с высокой горы. Она даже подалась вперед, чтобы услышать их еще раз, но офицер молчал.

— Иди, дочка, чего стоишь, — тронул Марию локтем Бандура, и она вышла из строя, четко срезая повороты, остановилась перед строем. Во рту сразу пересохло, губы горели, но она не решалась провести по ним языком.

— Поздравляю вас, — сказал контр-адмирал и пожал Марии руку. Потом протянул ей орден и приказ Военного Совета, тихо проговорив: — Будь счастлива, дочка, и крепче бей фашистов.

— Служу Советскому Союзу! — громко сказала Мария.

Ей хотелось обнять контр-адмирала, поцеловать его, как отца, в шершавую, опаленную солнцем и солеными ветрами щеку, но офицер уже читал другую фамилию, и Мария, сбиваясь с шага, прошла на свое место в строю. По дороге она уловила в глазах матросов и артиллеристов выражение искренней радости и привета; товарищи молчаливо поздравляли ее с высокой наградой.

Мария снова стояла в строю, и все окружающее плыло перед ее глазами, окутанное прозрачным туманом. Она то и дело разжимала опущенную вдоль тела руку, смотрела на орден, на дорогой образ Ленина, сиявший на золотом фоне. После нее к столу подходили другие награжденные, каждого приветствовал контр-адмирал, и Мария не успела оглянуться, как к столу стали вызывать артиллеристов. Им вручал награды генерал Ковалев, а Багров стоял в стороне, посматривая то на часы, то в чистое небо, где плавали облачка от разрывов зенитных снарядов. Вернулся в строй Яков Майборода с орденом Красной Звезды, за ним усатый Бандура с медалью «За отвагу», прошел Самойло Вихорь с орденом Красного Знамени. Глаза его светились, и, проходя мимо, он обжег Марию взглядом.

Когда индивидуальные награды были вручены, офицер прочитал приказ о присвоении гвардейского звания и награждении орденом Красного Знамени артиллеристов полка под командованием Андреева. Первый гвардейский полк в Севастополе. Матросы и пехотинцы, услышав приказ, выпрямились и повернули головы на левый фланг, где развевалось полковое знамя артиллери-

стов. Знамя качнулось над их головами и высоко в воздухе поплыло над рядами бойцов.

Генерал Ковалев вручил Андрееву полковой орден и гвардейскую грамоту.

Андреев опустился на одно колено и поцеловал край знамени. Потом, не поднимаясь, он стал прикреплять орден к древку. Тяжелое знамя медленно покачивалось на ветру, касаясь зеленой травы густыми золотистыми кистями.

В это время произошло неожиданное.

Высоко в небе, над самой полянкой, где вручали ордена, взорвался вражеский снаряд. Он сухо треснул, и на месте его разрыва осталось облако черного дыма. Дым этот был далеко виден, он не рассеивался, а висел над головами бойцов, словно злобное привидение. Все подняли головы к небу и замерли, ожидая приказа. Багров взглянул на часы и что-то шепнул на ухо генералу Ковалеву. Генерал в знак согласия утвердительно кивнул головой. Матросы заметили, как тревожная тень пробежала по лицу контр-адмирала, и по рядам прокатился неясный шум.

Генерал Ковалев приказал всем рассредоточиться и спрятаться в укрытия; бойцы разбежались по щелям. Андреев передал знамя с орденом Каюмову и побежал в густые кусты, где стояла его крытая машина с шелковыми занавесками на окнах. К ней заранее были подтянуты провода ото всех дивизионов полка. В машине лежали точные карты расположения артиллерийских позиций фашистов, засеченные инструментальной разведкой Андреева. Здесь же были все данные для стрельбы по этим целям. Андреев передал по телефонам всем батареям одно слово «огонь!» — и наши орудия ударили по фашистам внезапно и дружно, наполняя долину и горы громким эхом. Полк Андреева начал шквальный огневой налет. Орудия ревели все сильнее, казалось, от этого грохота таял в небе и рассеивался немецкий воздушный репер. Его черные клочья сносило к морю, и они покачивались в небе, обтрепанные и порыжевшие.

Из укрытий выползали бойцы. Каюмов вынес знамя, и оно снова зареяло над строем. Ему навстречу вышел Андреев. Он взял у Каюмова древко и пронес знамя перед строем, под гром своей канонады. Впереди шел Колосок, щелкая своими аппаратами, всякий раз огляды-

ваясь назад, чтоб не споткнуться и не упасть на ровной земле перед всем строем.

Митинга не было. Торжественных речей не произносили. Церемония вручения орденов окончилась быстро. Ровное поле опустело, с него убрали стол и обе пальмы, только морские камешки белели в зеленой траве.

Матросы начали расходиться по своим блиндажам. Награжденным дали отпуск на всю ночь, чтоб отдохнули и отметили свое награждение, если не будет неожиданной атаки на фронте. Ночные снайперы пойдут сегодня в засаду без Марии и Майбороды, а Самойло Вихорь будет отдыхать после разведки.

Мария идет по крутой тропинке на высокую гору, и ей приятно чувствовать на своем локте крепкую, сильную руку Вихоря. Пахнет хвоей и чебрецом, тают тихие голоса матросов, которые пошли напрямик к блиндажам. Над головою играют и дрожат большие южные звезды. Идти в гору трудно и неудобно, но Мария не чувствует усталости. Дорога становится все ровнее, резче дует свежий ветер с моря, на вершине горы он уже свистит в ушах, охлаждая разгоряченное лицо.

— Как ты думаешь, после войны мы поселимся в Севастополе? Я хочу, чтобы наш дом выходил окнами на море. Он будет стоять на высокой горе, в густом саду, — тихо говорит Вихорь.

— Ой, нет, что ты, Самойло. Нам в Одессу надо, там родные, — отстраняет его руку Мария и останавливается.

— А мы их перевезем в Севастополь...

— Не знаю, как они там, бедные, что с ними, — тихо шепчет Мария.

— Тебе холодно, — замечает Вихорь и, сняв с себя бушлат, набрасывает его девушке на плечи.

Бушлат еще хранит тепло Вихоря, и Марии приятно ощущать своими плечами это тепло.

— Садись на траву, а то тебя далеко видно с этой горы. Еще снайпер какой-нибудь зацепит, — тихо смеется она, легко опускаясь на согретую солнцем землю.

— Когда ты рядом со мною, снайпер не заденет...

— Ты не шути. О тебе уже и так говорят, что всегда на рожон лезешь, в самое пекло, когда можно без этого обойтись, — строго говорит Мария. — Впутаешься сгоряча в историю, вот будет тебе и дом на горе, и окна на море... Берегись.

— Такая у меня профессия.

— А ты помнишь, что Лев Толстой говорил о героизме? Герой тот, кто всегда боится того, чего надо бояться.

— Помню. А трус боится и того, чего бояться не следует. Толстой, я думаю, правду сказал. Это единственный граф, Мария, которого я уважаю.

Вихорь, кладет голову ей на колени, и Мария нежно треплет его волосы.

Над Севастополем снова поднимаются высокие стрелы прожекторов, в небе рвутся зенитные снаряды, а внизу, под горой, идет будничная фронтовая работа. Ударил короткой очередью автомат, захлебнулся станковый пулемет, где-то разорвалась граната, за ней вторая, третья — и снова тихо. В тишине слышатся одинокие выстрелы, и Мария радостно улыбается: ночные снайперы уже вышли на работу. Где-то поет гармонь, и ей подтягивает баситый голос:

Скромненький синий платочек
Падал, опущенный с плеч...
Ты говорила, что не забудешь...

— Это затишье на фронте перед бурей, — шепчет Мария.

— Конечно. Я повидал кое-что...— отвечает Вихорь.— Скоро он снова рванется на Севастополь. Много техники и войск подтянул сюда.

Они молчат.

Ночь плывет над горами и морем, звезды меркнут перед рассветом.

Вихорь прижимает маленькую горячую ладонь к своим губам. Ладонь сладко пахнет горной зеленью, и мичман ощущает, как в ней пульсирует кровь.

Но Мария вдруг вздрагивает, вскакивает на ноги. Оглушительный грохот обваливается с неба на Севастополь, клокочет в бухте. Вражеские бомбардировщики прорвались к городу с моря и уже плывут в свете прожекторов целыми десятками, сбрасывая на город смертоносный груз. Над Севастополем встает густой высокий дым, бушует пламя, и уже не слышно зенитной стрельбы, а бомбардировщики все заходят и заходят с моря, сплошной тучей разворачиваются в небе, сжимая Севастополь в узком смертельном кольце.

— Началось... — шепчет Мария.

— Да. Началось. — Вихорь хватает ее на руки и, прижав к груди, бежит с горы вниз, туда, где проснулся фронт, зашевелились все окопы и блиндажи.

— Пусти, сумасшедший. У тебя ж рука... Рука ранена, — вырывается Мария.

— Какая там к черту рука... Зажила рука,— горячо шепчет он, крепче прижимая к себе девушку.

XXX

Старый токарь Морского завода Артем Громов стоял у края причала Северной бухты и, высоко подняв правую руку, подавал однообразные знаки крановщику. Ажурная стрела крана привычно склонялась над палубой грузового судна, плыла к каменной стене и, подхватив новый ящик, быстро опускала его в глубокое чрево трюма. И каждый раз Артем Громов, взмахивая рукой, громко кричал крановому машинисту:

— Майна!

— Вира!

Машинист не всегда слышал эти крики, не всегда даже различал в темноте взмах руки Артема. Он по привычке угадывал, принайтован ли груз на крюк крана, подведены ли под его дно стальные тросы, и тогда уже нажимал на рычаги. Только когда над горизонтом вспыхивало зарево, машинист ясно видел старого токаря.

На горе за Инкерманскими штольнями снова начались жестокие бои, освещая пламенем все вершины и пустые севастопольские причалы. А тут, под высокой скалой, отбрасывавшей на воду густую, длинную тень, было темно. Черная тень скалы скрывала грузовое судно, высокую стрелу крана и сгорбленные фигуры людей, пробегавших мимо сложенных в штабели грузов. Люди на миг появлялись у причала и снова возвращались в штольню.

— Майна! Майна, чтоб тебе подавиться! — кричал Артем Громов, грозя кулаком Мекензиевым горам.

На этих горах, лежавших против штольни, так гремело и стонало, что старый токарь уже и сам не слышал своего голоса. Ему казалось, что он сидит в гигантском корабельном котле, по которому без перерыва стучат тысячи тяжелых молотов. «Правда, что котельщики глохнут в котлах... А как же артиллеристы возле своих орудий? Разве они не глохнут в таком громе?» — подумал

он, продолжая махать рукой крановщику. Всякий раз, как высокая стрела крана проплывала у него над головой, унося в трюм какую-нибудь заводскую машину или ее деталь, Артем съеживался, вздыхал, словно у него из рук забирали любимую вещь.

Основные цехи Морского завода, вместе со специалистами и высококвалифицированными рабочими, еще зимой и весной были эвакуированы на Кавказ. Но немало рабочих и часть машин еще оставались в Севастополе, обслуживали корабли, прибывавшие сюда, выполняли срочные фронтовые заказы. Завод был переведен под землю, в Инкерманские штольни, куда вместе с другими рабочими перешел жить и Артем Громов. Его складная солдатская кровать стояла у станка, где он работал. Теперь из штолен забирали последние станки, оставляя кое-какую мелочь для ремонта полевых орудий, пулеметов и легкого оружия.

Это грузился последний пароход, после его отплытия Морской завод прекратит работу в Севастополе. Вместе с этим оборудованием поедут и его хозяева, побратимы Артема. Поедут на Кавказ, где уже давно работают все главные цехи их нового завода. Хорошо, что Артем отпросился в горкоме партии и остается в Севастополе. Под его кроватью в штольне уже стоит походный сундучок с инструментами для ремонта оружия в полевых условиях. Теперь не придется возить оружие с фронта на завод. Ремонтировать будут на передовой. Вот только до рассвета надо сбегать домой и приказать Варваре, чтоб забирала Любу, Игоря и отплывала на Кавказ.

Таков приказ командования — эвакуировать всех женщин с детьми. Правда, уговорить Варвару будет очень трудно, но уж он постарается. Прикажет — и баста. Все семьи рабочих Морского завода эвакуируются. Зачем же Варваре с Игорем оставаться? Нечего им тут делать. Будет приказ — Артем тоже отправится вслед за ними на Кавказ. А пока такого приказа нет, он остается здесь.

— Вира! Вира-а-а! — кричит Артем, найтуя предпоследний ящик. Дальше уже идут только станины. Их даже не обили досками, а прямо опустили к причалу, чтобы кран грузил их не в трюмы, а на палубу.

Все ближе подступает к Севастополю враг, спешит по горам своих трупов. Но советские воины стоят насмерть, без приказа командования — ни шагу назад. Артем

словно угадывает их разгоряченное дыхание, слышит далекое раскатистое «ура», долетающее с горы в долину. Значит, матросы идут в атаку, закрывают прорыв своей грудью.

Хоть бы ночь протянулась подольше. Только бы корабль со станками и машинами вышел в море затемно. Только бы Артему еще до рассвета двинуться на фронт со своим сундучком!

— Громов, твое пакуют, — дергает его за плечо какой-то человек, и Артем словно пробуждается.

— Мое? Хорошо, что сказал, спасибо, — и бежит к штольне, но на полпути останавливается и кричит: — Ты повируй за меня, я скоро вернусь.

— Хорошо, иди, — говорит рабочий.

Артем входит в штольню и сразу щурится от ослепительного света. Два ряда электрических ламп спускаются с потолка и ярко освещают все уголки подземелья. У каменных стен — пустые фундаменты с высокими оголенными болтами, на которых еще вчера стояли большие красивые станки. Станки когда-то прибыли из Ленинграда, Москвы, Киева, Харькова. Все отечественные, изготовленные на советских заводах руками советских рабочих.

С гордостью думает об этом Артем, шагая по широким пролетам подземных цехов к своему рабочему месту.

Слесари-ремонтники уже демонтировали его станок, уложили детали в ящики. Артем подходит к слесарям, и они расступаются.

— Где моторная группа?

— На дне лежит.

— Упаковали хорошо?

— Упаковка заводская, не волнуйтесь.

Артем склоняется к ящикам, проверяет, как лежит моторная группа его станка, центральный винт, ходовые станины, и, не найдя брака в работе слесарей, удовлетворенно разглаживает усы. Все хорошо. Так бы и он запаковал. Слесари забивают ящики, окантовывают их железными полосами, и Громов надписывает на ящиках свои инициалы, чтоб на Кавказе не спутали его станок с каким-либо другим. Так спокойнее; такую же отметину он делает и на станине своего станка, уже снятой с фундамента.

— Присматривайте за ним в дороге и там, на месте, когда будете разгружать. Да отрегулируйте получше.

— Знаем. Не первый раз...

— Инженер чтоб был при монтаже, — приказывает Артем, но они уже не слышат его, укладывают ящики на автокар.

Артем отворачивается, равнодушным взглядом блуждает по пустой пещере. Его кровать одиноко стоит у стены. Подушка, набитая морской травой, пестрое одеяло, сшитое Варварой, полотенце со следами пальцев на концах. Старый токарь шмыгает носом, тихо вздыхает, но до его ушей доносятся другие звуки: скрежет железа, свист ножовки, тихий шум большого конвейера, на котором собирают мины. Он поворачивается лицом в ту сторону и видит длинный пролет нового цеха, в котором трудятся сотни рабочих — женщины, девушки, старики. Быстрые ловкие движения, сосредоточенные, бледные лица. Нет, его завод не умер. Он живет полнокровной жизнью, — у него родился сын. Из одного завода теперь стало два. Один на Кавказе, другой здесь.

Лицо Артема Громова светлеет, глубокие морщины разглаживаются, и он твердым шагом идет за автокаром, увозящим его станок. Артем не прощается с машиной, на которой изготовил тысячи деталей для черноморских кораблей, не грустит, что она покинула завод. Так надо, таков приказ командования.

Ящики с его станком ложатся на причал, и Артем снова машет рукой машинисту парового крана до тех пор, пока последний груз не опускается на палубу. По шаткому трапу на корабль взбегают рабочие. Они несут с собой узелки и корзины, постель, деревянные сундучки — весь свой нехитрый скарб, бывший в штольнях.

Корабль отчаливает. Отчаливает тихо, медленно, без огней и дыма, держась в густой тени, упавшей на бухту. Артем Громов сбрасывает картуз и долго стоит на причале, молчаливый и задумчивый, склонив голову. Он видит, как от скал, тянущихся к самому морю, отделяются эскадренные миноносцы, тральщики, торпедные катера, прокладывая трудный курс груженному заводским имуществом судну и другим транспортам, которые выходят из Севастополя в эту ночь. Старик долго стоит, провожая взглядом караван. Вот его уже не видно; корабли прошли, вырвались на морской простор.

На Малаховом кургане бьют батареи, над землей вспыхивают длинные снопы желтого пламени. Из Херсонеса стреляет морская артиллерия, и ее тяжелые снаряды с металлическим шелестом пролетают над головой Артема. В той стороне, где в Севастополе находится единственный аэродром, уже рвутся вражеские снаряды. Один за другим поднимаются в воздух яснозвездные истребители и штурмовики, кружатся над своим аэродромом, уходят в сторону фронта.

Уже светлеет. Артем ловит себя на том, что слишком долго стоит на горе, бесцельно глядя перед собой. Он срывается с места и, пригнувшись, бежит между реденькими кустами, туда, где дремлет тихое Лабораторное шоссе.

Среди других домов он узнает свой, со светлыми ставнями. Тихий сад с голубыми ульями, резную веранду с цветными витражами. Все тут — дело его и Варвариных рук. Жаль будет Варваре расставаться со всем этим. Но может произойти и другое. Люба не захочет оставить своего мужа, Никиту Сереброва, который уже выписался из госпиталя и снова командует батареей, и будет совершенно права. Детей у них еще нет. Зачем ей эвакуироваться на Кавказ, если и здесь нужны сильные, здоровые руки? Разве только со школьниками ее пошлют. Какие уж теперь занятия в школе?! Артем взвешивает весь свой будущий разговор с семьей, обдумывает все «за» и «против», которые обязательно выдвинет Варваре, и долго рассматривает свой дом. Окна закрыты ставнями, ворота заперты. Артем набивает трубку и, выбив огонь, долго раскуривает ее. Сизый дымок вьется над его головой, приятно щекочет ноздри, успокаивает встревоженное быстрой ходьбой сердце. Эге! Оказывается, Варвара не спит. Вон она ходит по дворику и развешивает выстиранные рубахи. Широко взмахивает обеими руками, расправляя белье, и бросает его на веревку. С ума сошла старуха. Тут такое делается, а она вздумала рубашки стирать... Артем надвигает фуражку на лоб и быстро сбегает с горы к себе во двор.

Варвара не замечает его, он останавливается у крыльца, громко кашляет. Она оглядывается, опустив руки, забинтованные по самые запястья. Быстро прячет их за спину и растерянно спрашивает:

— А ты зачем пришел? На заводе что случилось?

— Нет завода, Варенька. Отплыл на Кавказ, — и, потоптавшись на месте, прибавляет: — И все семьи рабочих тоже. Собирайся и ты. Так приказало командование. Слышишь? Приказало!

— Ты за тем и пришел?

Артем молчит, попыхивая трубкой.

— Если для этого — так можешь идти назад. Ко мне уже приходили. Я из Севастополя не уеду. Ты видишь это белье из госпиталя или нет? Я едва кровь отстирала. Его матросы ждут, а в доме еще целый воз такого же замочен. Сегодня еще привезут. Вся улица стирает и латает его, а ты — на Кавказ! Смех меня разбирает, Артем. Ты хоть никому не рассказывай об эвакуации, герой из каменных штолен.

— Варенька, а что у тебя руки забинтованы? А ну, покажи, — строго говорит Артем.

— Руки? Это от стирки. Щелок разъедает, мыло, вода соленая... Я на ночь завязываю их, чтоб к утру отдохнули, а то трескается кожа. Сколько рубашек за день отожмешь...

Из дому выбегает Люба, неся полный таз выполосканного белья.

— Здравствуйте, папа! Ну, как ваши дела? — спрашивает она.

— А твои? — Артем улыбается в прокуренные усы.

— Мои плохо. Детей из школы сегодня на Кавказ эвакуировала, а сама осталась. Работу ищу... Может, у вас найдется, а нет, — буду с мамой рубахи матросам стирать... Может, есть хотите, я приготовлю?

— Спасибо, я уже завтракал, — говорит Артем и присаживается на ступеньки крыльца, вынимает огниво и кремень. Он нарочно долго высекает огонь, чтоб выиграть время и собраться с мыслями.

— Ты бы лучше Игоря там на фронте нашел, когда к ним пойдешь, — говорит Варвара.

— А ты откуда знаешь, что я на фронт пойду?

— Знаю, — улыбается она. — Мы будем рвы копать, строить в городе оборону, а ты на фронт пойдешь оружие ремонтировать. Уж я знаю, если говорю... А Люба в санитарки хочет. Вот мое последнее слово, старый, а ты поступай, как хочешь... Только, чтоб я больше не слышала от тебя об этой эвакуации.

— Я тут не виноват, — оправдывается Артем.

— Приказ для тех, у кого дети маленькие. А у нас? Один на Балтике под водой ходит, другой Москву обороняет... Хотела хоть Игоря при себе удержать, — и тот за братьями пошел...

Развесив белье, Варвара села рядом с мужем, положила на колени забинтованные руки. Склонившись к Артему, она тихо, чтоб не слышала Люба, сказала:

— Только ты попроси командование, чтоб Игорь у тебя на глазах был. Молодой еще, бесшабашный... А об эвакуации ему даже не заикайся... Стыда не оберется мальчик, у него же медаль. Первая медаль на нашей улице... Может, отдохнешь немного, Артем?

— Трудно вам тут? — спросил он.

— Было трудно, когда целую неделю рубашки фронтовикам под бомбами стирали. А теперь на фронте труднее. Он туда всю силу бросил.

— Там его сила и лопнет. Не пойдет на другие наши фронты. Мы ее крепко приковали к Севастополю. На мертвый якорь приковали. Сколько новых дивизий и авиации должно было идти на восток, на Москву, а Гитлер вынужден перебросить их в Крым... — проговорил Громов, положив теплую руку на плечо жене.

Кто-то постучал в калитку, и Люба побежала открывать.

— Пожалуйста, проходите, — послышался из-за кустов ее приветливый голос. Артем и Варвара поднялись навстречу.

— Доброе утро! — закричал Колосок, поправляя на плечах ремни от фотоаппаратов. Артему он козырнул по-военному, Варваре слегка поклонился. На нем был потертый морской китель, сильно выцветший на солнце, но начищенные пуговицы ярко горели. Подмышкой фотокорреспондент держал свернутую маскировочную плащ-накидку. Лицо его исхудало, вытянулось, усталые глаза лихорадочно блестели. На ботинках — следы глины и пыли. — Я на одну минуточку. Привет принес от вашего Игоря, ну и снимки новые. Простите, что так рано. Другого времени нет. Я прямо с фронта к вам, — засуетился Колосок, расстегивая разбухшую от бумаг полевую сумку.

— Э, нет, так не выйдет, — взяла его под руку Варвара.— Пойдемте в дом. Мы гостей посреди двора не принимаем. Такой уж обычай...

В комнате пахло свежевыстиранным бельем. Оно было аккуратно сложено на диване, на кровати, лежало на всех стульях и табуретках. Варвара по привычке краем передника смахнула с чистого стола невидимые хлебные крошки, пригласила гостя садиться, сама уселась напротив, встревоженная, молчаливая, готовая слушать.

На краю стола мигала коптилка из медной гильзы, ее забыли потушить. Колосок достал из полевой сумки толстый дневник в зеленой полотняной обложке, положил его посредине стола, серьезно посмотрел на Громовых, сидевших вокруг него. В комнате однотонно постукивал маятник стенных часов, и от далеких взрывов, долетевших с фронта, глухо звенели оконные стекла.

— Жарко там? — нарушил молчание Артем, показав рукой в сторону фронта.

— Очень, — вздохнул Колосок.

Варвара метнула на мужа острый взгляд, и он закашлялся, притих.

— Ну, говорите же! Как он там, наш Игорь? — нетерпеливо спросила она.

— Ваш Игорь не скучает... Жив, здоров. Вчера одного фашиста в плен взял.

— Вы серьезно? — встрепенулась Варвара.

— А чего мне шутить? Игорь теперь патроны матросам носит, водой снабжает. Вы не представляете, что значит вода для солдата в такую жару. Они вдвоем с Колей этим делом заняты. Работают посменно. Зеленцов держит их возле себя и в горячие дела не пускает. Так и матросам приказал.

— Вы о фашисте расскажите, — не удержалась Варвара.

— Я сам этого не видел, мне командир рассказал. Вчера, когда морская пехота выбила немцев и заняла свои старые позиции, Игорь полз из окопов в штаб полка. Вечерело, бой начал затихать.

— Под вечер, говорите? — переспросила Варвара.

— Ага, под вечер. Игорь полз осторожно, озирался во все стороны, присматривался ко всему, так его приучили. В руках у него был автомат и граната на поясе. Полз тихо, словно кошка к мыши. Вдруг видит — в ямке под кустом немец лежит.

— Немец! — чуть не вскрикнула Варвара.

— Помолчи, старая! — прикрикнул Артем.

— Да, немец, — повторил Колосок. — Лежит себе под маскировочным халатом и автомат перезаряжает. Они часто с вечера заползают к нам в тыл, а ночью устраивают панику, пугают окружением. Игорь подполз к нему и начал выжидать. И когда тот вынул обойму из автомата, Игорь ему своим автоматом прямо в грудь: — Руки вверх! Раскинул немец руки, поднял вверх. Игорь обезоружил его, жестами показал, чтоб полз впереди, а сам пополз сзади, подталкивая фашиста автоматом. Ну, так и дополз с ним до самого штаба. Веселый такой, радостный, два автомата в руках.

— Горюшко мое! Да ведь он по-немецки ни слова не знает, — говорит Варвара.

— Почему не знает? Знает. Матросы научили. Ахтунг, шнель, цурюк, руки вверх, стой, ну и так далее. Он все главные слова уже выучил.

— Сынок мой, а я и не знала, что ты такой, — мечтательно прошептала Варвара.

— А я знал и всегда говорил тебе, что он героем будет, — и, всхлипнув, Артем принялся раскуривать потухшую трубку.

— Просто чудно! — всплеснула руками Люба.

Варвара бросилась было к буфету, хотела на радостях угостить Колоска, но он решительно воспротивился, сославшись на то, что уже позавтракал с матросами, а кроме того, должен сейчас же бежать в редакцию и передать фотографии новых героев, а то газета может задержаться.

— А во что он одет, скажите, пожалуйста, — спросила Варвара.

— Рубаха, конечно, летняя — пехотинская, но штаны матросские, — пояснил Колосок. — Ему сейчас все по росту пригнали. Там же Мария Богучар, и Вихорь, и Майборода. Ну, и сам командир за ним присматривает...

Колосок листал исписанные странички дневника, туда были вклеены какие-то вырезки из газет, фотографии, схемы, где-то даже мелькнули стихи. В журнале лежало бесчисленное количество карточек, и корреспондент долго искал среди них Игоря.

— Вот он! — наконец воскликнул Колосок. — Возьмите и берегите на память. Тут все ваши знакомые. Вот

Мария, Вихорь, Майборода, а этот усатый, рядом с Игорем, бригадир колхоза на Полтавщине, Охрим Бандура, комичный дядька.

Он подал фотографию Варваре, ее с двух сторон обступили Артем и Люба. На Варвару, залихватски вскинув голову, как живой, смотрел ее младший сын. Пилотка сбита на левый глаз, стриженые волосы торчат ежиком. Руку положил на плечо своему Коле. А за ними и рядом с ними — морская гвардия, да все с орденами и медалями.

— Ну, спасибо за такую радость. Не знаю, как и благодарить вас, — кланяется Колоску взволнованная Варвара, заглядывая в его журнал, где лежит много других фотографий. «Может, он найдет там еще одну карточку ее сына? Нет, видно, уж не найдет». Колосок закрыл свою толстую книгу, хлопнул ладонью по зеленой обложке.

— Заходи к нам, сынок, не обходи наш дом, — сказал Артем, пожимая корреспонденту руку.

— А Игорю передайте, чтоб приехал. Я ему голову вымою, рубашку чистую дам, коржиков напеку,— приговаривала Варвара, — пусть вместе с Колей приезжает. Очень прошу вас....

— Хорошо, передам, — сказал Колосок, продвигаясь к двери.

На сердце у него стало легче — он исполнил поручение Зеленцова — порадовал семью старого рабочего.

На улице тревожно зазвонили в медную гильзу, висевшую возле бомбоубежища. Варвара сказала:

— Нас зовут. Верно, что-то случилось. Пошли!

Они вышли на Лабораторное шоссе. Солнце уже поднялось, и его отражение тихо покачивалось в Южной бухте. С фронта мчались санитарные машины, им навстречу летели грузовики, доверху груженные снарядами. На радиаторе каждого грузовика виднелась широкая красная полоса — знак того, что шофер везет снаряды, и ему всюду должны давать дорогу.

Колосок прыгнул на подножку санитарной машины. Громовы перебежали улицу и исчезли во дворе, где было бомбоубежище. Когда они там появились, соседка в морском кителе, которая звонила в гильзу, тихо сказала Варваре:

— Заходите. К нам приехала Елена Михайловна Ку-

лик из горкома партии... Есть важное постановление. Вся улица должна быть здесь.

Варвара кутается в теплый шерстяной платок, прижимает к груди фотографию сына.

XXXI

Потерпев поражение в разговоре об эвакуации, Артем Громов еще больше насупился. Варвара решительно отказалась уезжать из Севастополя. Она не одумалась даже после выступления Елены Михайловны Кулик в бомбоубежище. Елена Михайловна коротко и ясно рассказала женщинам всю суровую и горькую правду, обрисовала истинное положение, создавшееся в Севастополе после прорыва немцев к Северной бухте. Женщины знали, что Кулик всегда говорила им правду.

Эвакуация женщин, стариков и детей все еще проходила довольно вяло. Севастопольцы находили тысячи различных причин, чтобы не уезжать из города. А те, кто уезжал, поднимали в порту такой плач, словно их увозили бог знает куда.

Оканчивая свое экстренное сообщение, Елена Михайловна тоже заговорила об эвакуации. Женщины молча и внимательно ее слушали, опустив глаза в землю.

Артем Громов глухо откашлялся, пытливо посмотрел на жену. Что-то скажет Елене Михайловне она, фронтовая хозяйка с Лабораторного шоссе? Промолчать не должна, не такой у нее характер.

Варвара вытерла краешком платка губы, сказала:

— Это верно, Елена Михайловна, что детей и стариков надо вывозить из Севастополя. Я сама за это агитирую. Но мы все при деле. Вот посмотрите, как наши бабуси шьют и латают для фронта. Может, надо в другие бомбоубежища пойти, уговорить матерей с малыми детьми, стариков, — так мы охотно пойдем. Пойдем и уговорим. Но нас пока оставьте в покое. Морская пехота Зеленцова не может обойтись без нашей работы. Вот нарочно позвоните им по телефону и узнайте, что они вам скажут. Да что мне, темной, вас, образованную, учить? Вы и сами все хорошо знаете...

— Знаю, но кое-кому из вас надо приготовиться к отъезду. Каждая женщина свободно может справиться за

двоих, так же, как на заводе делают, — спокойно сказала Елена Кулик, показав на Артема Громова.

Артем весело, но незаметно для других, подмигнул Варваре, и она прочитала в его взгляде: «А я что тебе говорил? Не послушала меня, теперь ее должна послушать!..»

— Хорошо, Елена Михайловна, будем готовиться, — тихо сказала Варвара, чтобы закончить этот неприятный разговор. Но при этом она так зло взглянула на своего Артема, что он даже съежился...

— Вот и хорошо. Предупредите всех соседей. Скоро опять прибудет эскадра, и вы будьте готовы.

— Да им давно уже пора быть готовыми к отплытию,— не выдержал Артем.— Я не раз говорил об этом, но они и слушать не хотели... Да и как они могли меня послушать, когда моя уважаемая Варвара, их командир, все время сама была против этого? Они за своим командиром в огонь и воду пойдут...

— Это хорошо, когда за командиром идут, — тепло улыбнулась Елена Михайловна и стала прощаться.

Варвара отвела Артема в сторону, зло прошептала:

— А ты зачем до сих пор здесь? Иди своей дорогой... Сами знаем, что нам делать. Иди уж, иди, герой... Да смотри, голову под пули не подставляй. Я скоро приду и проверю, что ты там делаешь без своего завода!..

— Приходи, Варенька, будем очень рады. Я только сейчас Елену Михайловну провожу, а потом пойду своей дорогой,— ласково сказал Артем и, сняв фуражку, поклонился женщинам, стоявшим в бомбоубежище.

— Проводи, Артем. А то у нас теперь одному ходить нельзя, — смягчилась Варвара.

— Знаю. Он уже обстреливает все улицы. По двое и по трое теперь ходят. Если с одним беда случится — другой помогает.

Потянуло прохладой, где-то в порту громко скрежетала якорная цепь. С моря надвигалась высокая плотная туча, она обложила весь горизонт, предвещая грозу. Над городом и бухтами лежала настороженная тишина. Севастопольцы трудились у своих станков в подвалах и штольнях, врачи оперировали раненых, повара везли на фронт еду, женщины и дети носили воду, пекари пекли хлеб, рыбаки возвращались с ночного улова. Всякий, чья

работа была связана с передвижением по городу, пытался закончить ее ночью, чтобы днем, когда идет обстрел и бомбежка, не показываться на улицах.

Артем, идя рядом с Еленой Михайловной, прислушивался, не свистит ли где снаряд. Когда начнется обстрел, он отстанет от Елены Кулик на добрый десяток шагов, и так будет сопровождать ее до горкома партии.

Но сейчас над Севастополем было еще тихо, и они шли рядом. Шагали медленно, оглядываясь по сторонам. Он заметил, что глаза у Елены Михайловны закрываются от усталости и она все время встряхивает головой, чтобы отогнать сон. «Замоталась, бедная,— подумал Артем. — Ей тоже здорово достается. О хлебе заботься, о воде, об электричестве, присматривай за продовольственными магазинами. Главная забота о хлебе! Голодновато стало в Севастополе. Триста граммов хлеба на душу и больше ничего...»

Вспомнив о хлебе, Артем чуть не пошатнулся и схватился за рукав Елены Михайловны. Она удивленно взглянула на него, замедлила шаг.

— А знаете, почему они не хотят эвакуироваться? — неожиданно спросил Артем.

— Почему? — Елена Михайловна подняла на него сонные глаза.

— Потому, что агитация наша неправильная! — решительно выпалил Артем.

— Как это — неправильная?

— Сейчас объясню, — сказал Артем и заметил, как глаза у Елены Михайловны широко открылись, а сон и усталость словно рукой сняло. Она даже помолодела.

— Значит, так, — продолжал он,— приходит в бомбоубежище ваш агитатор и начинает бабусям и матерям все обстоятельно рассказывать о фронте. И уж так рассказывает, что у них дух захватывает. Действительно, есть от чего, — рассказывает о том, как сражаются наши бойцы, наши моряки, о том, как трудно сейчас на фронте, о том, как бросаются матросы под танки, как стоят насмерть, не пропуская врага к городу. Передают женщинам благодарность от бойцов за их заботу, за помощь.

— Но ведь все это так и есть! — перебила Кулик.

— Конечно, — продолжал Артем, — но после этого приходит другой агитатор и предлагает им эвакуироваться из Севастополя. Говорит, что время сейчас труд-

ное, всякое может случиться, так зачем же рисковать жизнью. Вот и выходит, что один агитатор агитирует за то, чтобы оставались в Севастополе, а второй — за то, чтоб уезжали. А разве женщины севастопольские поедут, если они знают, как нужна фронту их помощь? Ведь они мины делают, и оружие чинят, и белье стирают, и за ранеными ухаживают.

— Ну так что же вы предлагаете дальше?

— Теперь предложу, а раньше не додумал. Вот иду с вами и вспоминаю о тех трехстах граммах хлеба, что нам дают на день, и кажется мне, что агитаторам надо сменить свои тезисы. Пусть о героизме нашего фронта и тыла все остается, как было. А об эвакуации надо по-другому. Я, например, говорил бы так: дорогие женщины, в Севастополе очень трудно с хлебом. А вам и детям вашим выдают такую же норму, как рабочим. Вы помогаете фронту, за это спасибо вам большое. Но помогать фронту можно и на Кавказе, и всюду. Тогда в Севастополе ваш хлеб пойдет рабочим и солдатам на фронт. А теперь норму хлеба в Севастополе должны уменьшать. Из-за того, что вы не эвакуируетесь, страдают рабочие, страдают те, кто трудится на оборону. Если в Севастополе будет меньше населения, рабочие смогут получать по восемьсот граммов хлеба, жиры, мясо, больше сахару и других продуктов. Пусть, Елена Михайловна, агитатор запомнит одно. Если он скажет севастопольцу: «Уезжай, иначе тебе будет плохо» — значит, пустит слова на ветер. А если скажет: «Своим отъездом ты облегчишь положение Севастополя и его защитников»,— значит, попадет прямо в цель. Вот что пришло мне в голову, когда я подумал о хлебе...

Елена Михайловна схватила Артема за руку и долго смотрела снизу вверх, ему в глаза. Старый токарь был намного выше ее ростом, она едва доставала ему до плеча.

— Зайдемте к нам, — предложила Кулик. — Вы повторите свои мысли...

— Не могу, Елена Михайловна, у меня дела на заводе стоят. Вот я проводил вас до самого КП. Так и моей Варваре передайте и будьте здоровы.

Артем пожал ей руку и исчез за углом разбитого дома. Он взглянул на море и увидел черную грозовую тучу, надвигавшуюся на Севастополь. Дождя, влаги

давно просила растрескавшаяся на солнце, иссеченная бомбами и снарядами земля. Вдруг с севера налетел сильный резкий ветер, изо всей силы ударил в грудь грозовой туче, — она закачалась, начала рассыпаться по всему небу. А ветер налетал на нее сильнее, громко свистел на каменистых холмах, поднимал пыль с пожарищ, катил в море. Пыль отдавала горелым деревом, жженым железом и раскаленным камнем. Суховей из степи столкнулся с грозовой тучей над морем и остановил ее.

Артем глубже надвинул фуражку на глаза и пошел медленно и упрямо навстречу сильному ветру, так, словно хотел задержать его, не допустить до тучи. Начался обстрел города, и Артем спустился в глубокую траншею.

«Хорошо, что Елена Михайловна в блиндаже. Хорошо, что все люди работают в скалах, — подумал он. — Но долго ли Елена Михайловна усидит в скале? Когда будет нужно, она так же, как электромонтеры и телефонисты, как пожарники и санитары, побежит на свою линию. Туда, где будет труднее. Неугомонная. Какую силу всколыхнула партия...»

Артем смотрел на густую тучу, которая завихрилась и ливнем обрушилась не на город, а на море. У входа в Северную бухту он узнал свою пловучую батарею, она смутно виднелась среди косых потоков дождя. Батарея стреляла. Артем на Морском заводе сваривал ее корпус, ковал к ней якоря, наваривал броню на артиллерийские башни. Весь коллектив Морзавода делал эту батарею, спускал ее на воду, и Артему кажется, что она вечно живет в море, заперев бухту на крепкий замок. Потом он узнаёт черный дымок паровоза возле туннеля. Это бронепоезд «Железняков», который с первых дней обороны не дает покоя фашистам. Его сделали севастопольские железнодорожники. Вот на холме виднеются разбитые корпуса завода «Молот». Но завод живет, он ушел под землю и там работает. До войны это была обычная артель промысловой кооперации, которая изготовляла ведра, чайники, кастрюли, электрические плитки. А посмотрите-ка теперь на нее! Артель «Молот» стала заводом оружия и боеприпасов. А вон за теми тополями маячат корпуса «Мехстройзавода». Он тоже работает под землей и ежедневно поставляет на фронт все новые и новые запасы оружия, боеприпасов, военного снаряжения. Куда ни глянь в Севастополе — каждая самая маленькая

артель или мастерская вырабатывает что-нибудь для фронта. И все они равняются на его, Артема, Морской завод.

А вначале было трудно. Рабочие ушли на фронт, частью эвакуировались. Пришлось обучать женщин. Артем даже не вспоминает о женщинах — врачах, шоферах, электриках, пожарных, санитарках. С этими было легче. А вот с теми, которые сами пришли от печи к станку, — пришлось тяжеленько. Теперь это уже начало забываться. Они крепко приросли к своим станкам в штольнях, словно родились мастерами. Краснеть за них старым кадровикам не приходится. По две смены, бывает, работают в цехе, а с ног не валятся. Артем никогда не думал, что они будут так работать. А «бабуси», которыми заправляет Варвара, — как они день и ночь трудятся для фронта, хотя смерть на каждом шагу заглядывает им в глаза. И никто не хочет эвакуироваться. Интересно Артему знать, как они поведут себя, услышав новую агитацию. Может, так и не согласятся на отъезд, придумают еще причину?

Артем еще раз оглядывается на Севастополь и, запыхавшийся, вбегает под высокие каменные своды заводских цехов. Вбегает и не узнает своего пролета. Вдоль обеих стен, где стояли станки, лежат длинные стеллажи, а между ними — прессы, тиски и еще какие-то аппараты. Ого! Пока он был в Севастополе, тут вырос целый конвейер, родившись от тех, что стоят в соседней штольне.

Сосредоточенные и молчаливые женщины и девушки нарезают корпуса «лимонок», пускают их по конвейеру дальше, за каменную стену, где каждую гранату начиняют взрывчатым веществом. Матросы на фронте очень хвалят эти «лимонки» и требуют их все больше и больше. У правой стены полным ходом идет сборка минометов и огнеметов. Рядом, в готовых к отправке сосновых ящиках, лежат старательно упакованные мины, виднеются смазанные стволы минометов и огнеметов. Готовую продукцию транспортируют специальные тележки на дутых резиновых шинах. Тут уж, Артем, не покуришь трубочку, как раньше.

Женщины и девушки работают осторожно, но быстро, прислушиваясь, как грохочет от взрывов каменный потолок у них над головами. Артем задумчиво смотрит в дальние пролеты других цехов, видит у станков сосре-

доточенных рабочих и работниц, слышит скрежет железа. На него веет родным запахом Морского завода, хотя станки еще ночью увезли из Севастополя.

Раздается сигнал, смена закончила работу. К конвейеру подходит новая смена. Работницы отходят в дальний угол штольни и устраиваются там на дощатых нарах. Артем подходит к ним и женщины с едой в руках окружают его. У каждой работницы триста граммов хлеба, вобла, несколько конфет и кружка кипятка. Вот и весь паек. Те, у которых есть свежий лук или редиска, охотно делятся с подругами.

Анна Рябова, соседка Варвары, робко спросила:

— Что в Севастополе, Артем?

Громов лихо подкрутил ус:

— Порядок, бабоньки. Он себе бомбит, обстреливает, а наша работа под землей идет своим чередом. Госпитали, мастерские, заводы, маленькие и большие, детские сады — все в скалах. Можете быть спокойны за Севастополь.

Глаза у женщин повеселели, Артем стоял, спокойный и уверенный, как и надлежит старому кораблестроителю. Чисто выбритый, подтянутый, пуговицы на кителе начищены, белый воротник выглядывает тоненьким кантиком. Только трубки в зубах нет.

— А все-таки как они там живут? — спросила белокурая девушка, потягивая кипяток из эмалированной кружки.

— Расскажите, Артем, — подхватила вторая.

Громов медленно откашлялся, обвел женщин внимательным взглядом, словно соображая, с чего бы начать:

— Живут по-старому. Все для фронта, как и мы, работают и живут. Только вот беда, бабоньки, закончился в Севастополе уголь. А что такое уголь для нас? Уголь — как сказал товарищ Ленин — это хлеб нашей промышленности. Хлеб! И вот не стало угля. Это значит, что может погаснуть электричество, могут стать заводы и мастерские, замереть все наши станки... Вручную станок не покрутишь, паровой молот мехами не пустишь, и корабельную броню без электричества не сошьешь. Вот как тяжко нам в эти дни...

Женщины с испугом взглянули на электрическую лампочку, которая словно нарочно начала в эту минуту мигать и гаснуть. Она и раньше так мигала, но никто не

обращал на это внимания. Кто-то вздохнул. Услышав вздох, Артем сказал:

— Не надо так, девчата, этим не поможешь. На складах нашлось много угольной пыли. Но она, хоть тресни, не горит в топках. И так ее засыпают в топку, и этак, а она не горит. Ломают головы инженеры, машинисты, железнодорожники, никто не знает, как заставить угольную пыль гореть в топках. А нам надо, чтоб горела, другого выхода нет. Пробовали в брикеты ее прессовать, не горит. Так и пришла бы смерть нашим машинам без угля. Да два старика из депо — один мой кум, а другой сват — сварили такой брикет в асфальтовом чугуне, так его спрессовали, что он воспламенился и горит.

— Горит?! — вскрикнула Анна Рябова.

— Горит, — спокойно сказал Артем.

— Что вы говорите? — хлопнула в ладоши белокурая девушка.

— То, что слышите. Да еще как горит. На славу. Машинисты не нахвалятся. И вот пошло теперь брикетирование по методу моих свояков по всему Севастополю. Теперь нашим машинам смерть не страшна. У них хлеб есть. Вот он!

Артем Громов вынул из кармана сверточек, старательно развернул платок и вытащил из него рыжеватый брикет.

Работницы столпились возле Громова, рассматривают дорогой брусочек, замечают, как он поблескивает искорками антрацита на электрическом свету.

— Берите его, не бойтесь, не крошится, не ломается, а пылает — даже топка стонет. Вот что сумели у нас сделать! — гордо говорит Артем.

XXXII

«Теперь я окончательно понял, что наше командование точно знало о силе и времени третьего наступления фашистов на Севастополь.

Началось оно в пять часов утра, в это время я был в редакции, и у меня в лаборатории от страшного сотрясения вылетели все стекла, воздушной волной вырвало дверь. Тонные бомбы падали далеко от редакции, но воздушные волны долетели и до нас. Позже наша газета опубликовала точные данные о войсках, брошенных вра-

гом в наступление, и я записываю сюда все, чтобы люди знали, против кого пришлось стоять черноморцам: 14 пехотных дивизий, больше четырехсот танков, 900 самолетов. Об артиллерии я уже не говорю. О ней один пленный немецкий офицер сказал: «Сухопутные войска выступили с такой артиллерией, которая по своей численности и силе превосходила все примененное ранее в немецкой армии». Но эта сила не сразу двинулась на нас.

Первую неделю немцы бросали на Севастополь только авиацию. С пяти утра до девяти часов вечера вражеская авиация волнами по 120—150 самолетов беспрерывно бомбила город. Бывали дни, когда они сбрасывали на севастопольские кварталы до тридцати тысяч зажигательных бомб. У меня есть фотография пылающего Севастополя. Я думаю, что огненное зарево от пожаров было видно по всему Черному морю, а может, даже на Кавказе. На город и передовую, кроме зажигательных, сыпались еще и тысячи бомб крупного калибра. Потом артиллерия обстреляла город и фронт тяжелыми снарядами.

Немцы думали, что после такой подготовки ни в Севастополе, ни на передовых позициях не осталось ни единой живой души, способной оказать сопротивление. Их танки и пехота двинулись в наступление. Каково же было удивление врага, — потом об этом рассказали пленные,— когда после такой авиационной и артиллерийской подготовки земля и камни снова ожили. Заговорила наша артиллерия, в воздухе повисла наша авиация. Застрочили пулеметы, автоматы, проснулись все окопы и блиндажи, дзоты и доты. Запылали на подступах к нашим окопам первые немецкие танки, навстречу пехоте поднялась, как ее назвали немцы, «черная туча» морской пехоты. В Севастополе потушили пожары, город продолжал жить в глубоких скалах, под землей. В ту же ночь в Севастополь прибыл крейсер и два эсминца. Они привезли свежее пополнение, боеприпасы, сухари, медикаменты. Корабли послали на фронт своих корректировщиков с рациями и вели огонь из всех орудий главного калибра, все время маневрируя, чтобы их не задела вражеская авиация.

В газете напечатаны фотографии новых героев севастопольской обороны. Я сейчас просматриваю их, вклеиваю в этот дневник. Вот Нина Онилова — воспитанница детского дома, потом работница трикотажной фабрики

в Одессе, теперь пулеметчица Чапаевской дивизии. Она уничтожила огнем своего пулемета сотни фашистов. Девушка была ранена в Одессе, но поправилась и снова вернулась в свою дивизию, воевавшую под Севастополем. Бойцы называют Нину Онилову «наша Анка». Когда ее награждали орденом Красного Знамени, она сказала очень короткую речь: «Я не умею произносить речи, но с фашистскими собаками я хорошо умею «разговаривать» языком своего пулемета».

Главный старшина Ной Адамия подготовил семьдесят снайперов и творит теперь чудеса. Ной Адамия стал вожаком снайперского движения, за последнюю неделю он уничтожил не меньше двухсот гитлеровцев.

Вот штамповщица Инкерманского завода Анастасия Чаус. Она потеряла руку, но, вернувшись из госпиталя, снова пошла на завод и делает мины. Ей было очень трудно, но фронт требовал все больше и больше мин, и однорукая Анастасия Чаус дает теперь на своем станке 250 процентов нормы. Лицо у нее сосредоточенное, строгое, глаза запали от бессонницы. Орден Красной Звезды поблескивает на черном жакете. Когда она появляется на севастопольских улицах, ее горячо приветствуют и старые, и молодые.

В начале фашистского наступления я случайно снял красноармейца стрелковой дивизии Девитярова. Вчера он повторил бессмертный подвиг пяти черноморцев. Когда его окружили фашисты, он не сдался в плен, а продолжал косить их из своего автомата, пока не иссякли все патроны. На него пошел фашистский танк. Девитяров обвязался гранатами и бросился под танк. Наши разведчики слышали, как он крикнул: «Не выдержит фашистская сталь! Меня не испугаете!..» Кудрявый, широкоплечий, кулаки, как молот. Сегодня его портрет напечатали в нашей газете, а мне все не верится, что он погиб...

Каждый день рождаются все новые и новые герои, и я не успеваю всех фотографировать.

Как-то ночью я проезжал мимо Малахова кургана. Там стоит морская батарея. Раньше она находилась на боевом корабле, но корабль разбомбили, когда он был в Южной бухте. Корабль затонул, но матросы успели снять с палубы все орудия и привезли их на Малахов курган. Погибший корабль живет в своих орудиях и эки-

паже на историческом кургане, возле памятника адмиралу Корнилову. Я проходил мимо этого памятника. Стояла тихая лунная ночь. Тихая в том смысле, что батарея не стреляла, ожидая, пока остынут стволы. Я прочитал на памятнике предсмертные слова Корнилова: «Отстаивайте же Севастополь!» Прочел и задумался над ним. В эту минуту я услышал песню. Надо сказать, что за время обороны Севастополя было сложено много песен, и все они пелись на один мотив старинной матросской песни «Раскинулось море широко». Но эта песня, услышанная мною на Малаховом кургане, не была похожа на все остальные. Она была о Малаховом кургане. Ее, очевидно, недавно сложили матросы.

Когда-нибудь поэты напишут много песен о матросах-черноморцах и Севастополе, я уверен, что так будет, но эта, услышанная ночью на Малаховом кургане, запала мне в сердце.

Я внимательно читаю газеты и вижу, что о Севастополе все чаще и чаще вспоминают английские и американские телеграфные агентства. Мне радостно, что слава о героическом Севастополе разнеслась по всему миру.

Лондон и Нью-Йорк заговорили о Севастополе. Интересно, что они о нас пишут? Для этого я вырезал из газет кое-какие сообщения и вклеил их в дневник. Все эти сообщения попали в наши газеты через Телеграфное агентство Советского Союза и среди них есть интересные. Вот, например, такие:

«Лондон, 17 июня (ТАСС). Героическая оборона Севастополя вызывает восхищение в Англии. Агентство Рейтер указывает, что можно лишь преклоняться перед невиданной стойкостью и хладнокровием советских войск, обороняющих Севастополь, и жителей города. Несмотря на то, что немцы обрушивают на город и на позиции его защитников дождь бомб и снарядов, нет никаких признаков ослабления духа моряков и красноармейцев».

«Стокгольм, 17 июня (ТАСС). Гитлеровская печать вынуждена признать, что германские армии натолкнулись под Севастополем на невиданный героический отпор. Газета «Берлинер берзенцейтунг» пишет, что «так тяжело германским войскам никогда не приходилось». Газета жалуется на губительный огонь советской артиллерии, на умелые действия советских пулеметчиков».

Военный корреспондент газеты «Гамбургер фремден-

блатт» пишет, что Севастополь оказался самой неприступной крепостью мира и что германские солдаты никогда не наталкивались на оборону такой силы.

Я бы очень хотел, чтобы в Севастополь приехали английские и американские корреспонденты, чтоб они прошли по улицам города, поговорили с женщинами, рабочими, детьми. Потом поехали бы на фронт, повидались бы со снайпером Ноем Адамия, пулеметчицей Ниной Ониловой. Не повредит им заглянуть и в бомбоубежища, где севастопольцы стирают и латают фронтовикам белье, учат детей работать у станков. Зайти на Лабораторное шоссе, в семью Артема Громова, к его жене Варваре, расспросить о ее младшем сыне, Игоре, взявшем в плен немца. Варвара показала бы им свои забинтованные руки, разъеденные щелоком и соленой водой, она бы многое рассказала им...»

XXXIII

Командир эскадренного миноносца «Стремительный» еще раз посмотрел в сторону Малахова кургана и подал руку мичману Шагайде.

— Счастливого пути!

— Спасибо. Вы услышите нас сразу, — сказал Шагайда, пожимая Богучару руку.

Они стояли на ходовом мостике эсминца, в Южной бухте. Густая роса, выпавшая вечером, тускло поблескивала на палубе корабля, на взведенных к бою стволах орудий. Вдали простирался Корабельный спуск, флотские казармы и старая матросская слободка, лежавшая по ту сторону бухты.

Где-то за каменистыми холмами все время возникали широкие лезвия прожекторов, рассекали небо холодными лучами, белым туманом ложились на морскую даль. Лучи прожекторов скрещивались в небе и, поймав вражеский самолет, вели его, ослепляя светом, на разрывы зенитных снарядов. Вражеский самолет казался маленьким, серым и всякий раз напоминал Шагайде обыкновенную моль, летающую вечером по комнате. Ему так и хотелось ударить моль на лету и старательно вымыть после этого руку. Подумав об этом, мичман невольно вздрогнул, поежился, словно прикоснулся к чему-то скользкому и холодному.

Шагайда на миг закрыл глаза, и перед ним возникло тихое море, залитое солнцем до самого горизонта. Корабли разрезали его зеркальную гладь, спеша в Севастополь. Они шли в кильватер, взбивая высокую волну. Над трубами эсминцев дрожал горячий воздух, но дыма не было видно. Трюмные машинисты, обливаясь потом, по очереди выбегали на палубу и смотрели на трубы, дышавшие напряженно, но ровно. От самого Кавказа до Севастополя над эскадрой ни разу не закурился предательский дымок. Трюмные машинисты торжествовали. Длинные тела кораблей, окрашенные под цвет морской воды, сливались с морем, и их трудно было заметить издали. Если б не белый бурун, выраставший по следу корабля, его не всегда можно было заметить и с воздуха. Но буруны, кипевшие за винтами, матросы скрыть не могли. Верно, это и навело на эскадру вражеских воздушных разведчиков, шнырявших над морем в ожидании кораблей, которые обязательно должны были прийти с Кавказа в осажденный Севастополь.

Шагайда потер ладонью закрытые глаза, чтобы прогнать ослепительный блеск солнца. Несколько часов назад мичман чуть не ослеп от этого блеска,— немецкие бомбардировщики заходили на эсминец от солнца. В первую минуту Шагайда пожалел, что у него нет при себе черных очков. Когда же самолеты стали сбрасывать бомбы, он сразу забыл об очках. Бомбы упали по правому борту, захлестнув палубу потоками воды. Горячие осколки ударили по стальной обшивке корабля, в нескольких местах пробили брезент ходового мостика. Возле зениток уже бегал корабельный врач с санитаром. У зенитчиков, которые не отходили от орудий, сквозь бинты проступала кровь. Эскадренный миноносец маневрировал, круто меняя курс, но бомбардировщики и не думали оставлять его в покое. Те, что отбомбились, летели на свои аэродромы и вновь возвращались с новым грузом бомб. Бой не стихал ни на минуту. Шагайда видел, как трудно было зенитчикам смотреть на солнце, ища в его ослепительном диске вражеские самолеты. Мичман не выдержал, подбежал к артиллеристам и закричал: «Бейте по солнцу!» С этого времени, как только самолеты заходили на эсминец от солнца, зенитчики били в горячий солнечный диск, который, казалось, занимал уже полнеба. Вот это солнце до сих пор и печет огнем

веки, слепит среди ночи, даже когда мичман закрывает глаза.

Бой морской эскадры с самолетами продолжался до тех пор, пока вдали не показались знакомые очертания Севастополя. Корабли, окутанные дымовой завесой, пришвартовались к причалам в разных бухтах, и началась разгрузка.

— Я жду вас, мичман Шагайда, — повторил Богучар, выводя мичмана из задумчивости.

— Я сообщу, как только прибуду на место, — отозвался Шагайда.

— Радисты готовы?

— Да, готовы.

— Артиллерист с вами?

— Я здесь, — хриплым голосом откликнулся Каюмов, расправляя гимнастерку вокруг пояса.

— Добро. Вы быстро доберетесь туда, — Богучар посмотрел на Малахов курган.

— Это очень близко. До нас теперь рукой подать, — тихо сказал Каюмов, и в голосе его послышалась глубокая, затаенная грусть.

При вспышках артиллерийских залпов, время от времени освещавших Севастополь, отчетливо виднелась Корабельная сторона, во флотских казармах черными провалами зияли окна без стекол, торчали ребра оголенных крыш на домиках. По ту сторону бухты над водой громоздилось плетево искривленного железа и тавровых балок. По улице, пригнувшись, пробегали пожарники в блестящих касках, шли санитары, покачивая брезентовые носилки, какая-то девочка остановилась, поставила ведра на землю и долго махала худыми длинными ручонками. Потом в сторону Малахова кургана пробежала группа моряков с автоматами на шее. Матросы выскочили из темноты неожиданно, словно выросли из-под земли, и, не оглядываясь, побежали с горы мимо пожарищ и руин старой матросской слободки. Прямые широкие улицы Корабельной стороны, пустые маленькие площади и скверы дремали, покрытые ранней росой. Над притихшим городом высился шумный Малахов курган. Его густые деревья и кусты давно вырублены или снесены осколками снарядов и бомб. О каменное тело кургана разбивались огневые волны вражеской артиллерии, осыпали его градом горячих осколков и пуль. По высокому

гребню перебегали из блиндажа в блиндаж матросы и артиллеристы. В долине курились походные кухни, Шагайда даже разглядел в бинокль возле одной из них повара в белом переднике и берете, весело орудовавшего длинным черпаком. Тылы Малахова кургана растянулись по всей Корабельной стороне. А сам он высился над Севастополем как грозная и неприступная скала, ни днем ни ночью не зная покоя и тишины. Длинные языки пламени вылетали из его орудий, словно подавали знак всему фронту, что Малахов курган живет, борется, и враг никогда не вползет на его вершину.

— Счастливого пути, мичман. И больше не заглядывайтесь на солнце. Надо беречь глаза. — Богучар положил ему руку на плечо.

— Некогда будет, — улыбнулся Шагайда. — Счастливой стоянки в бухте.

— Возвращайтесь точно к отходу.

— Есть, — взяв под руку Каюмова, Шагайда сбежал с мостика. Захватив двух корабельных радистов, они нырнули в толпу пехотинцев, спешивших на берег, и смешались с ними, направляясь к трапу.

Пехотинцы несли на плечах минометные плиты и стволы, станковые и ручные пулеметы, ящики с минами и патронами, гранаты, длинные противотанковые ружья. У каждого через плечо висела скатанная шинель, на ней тихо позвякивал котелок и лопатка в чехле. У некоторых были при себе кирки и мотки крепкой веревки. «Словно альпинисты», — подумал Шагайда.

Пехотинцы шли быстро, не спотыкаясь, словно давно уже плавали на корабле и знали на нем каждый выступ и люк. От бойцов несло запахом махорки и новых ремней. В толпе солдат слышался приглушенный кашель, сдержанное дыхание, тихие голоса:

— А где Малахов курган, папаша? — спрашивает молодой голос.

— Вон там, где блестит... На что он тебе?

— Вот если б нас туда.

— Не пошлют. Там матросы... Иди быстрей, не оглядывайся.

В другой толпе новые голоса:

— Товарищ старшина, воды надо набрать...

— Там наберем,— откликается старшина.

— В бою без воды нельзя. А тут, говорят, вода хорошая...

— Раз море переплыли — дело будет.

— Разговорчики! — кричит старшина, и голоса стихают.

Солдаты сбегают по трапу на каменный причал, по привычке отряхиваются, словно после пыльной дороги, и прыгают в трехтонные грузовики, которые один за другим отъезжают от развалин какого-то пакгауза. Грузовики с хода берут разгон и мчатся на Лабораторное шоссе. Возле причалов о гранитный парапет пирса плещется море, и на земле мерцают огненные вспышки. Черная ночь стонет от грохота, оглушает пехотинцев, брызжет вспышками ракет. Вода в бухте пахнет иодом, смолой, рыбой и еще чем-то острым и удушливым. Свежий ветер с моря сюда не долетает.

Каюмов выводит моряков эсминца из толпы и оглядывается на Шагайду:

— Якши, мичман... Раз-два, и мы дома. Наш командир очень обрадуется. Нам было очень трудно, мы даже взорвали три своих орудия. Очень было трудно.

Каюмов прыгает в глубокий окоп, тянущийся вдоль тротуаров, и зовет моряков:

— Дальше пойдем по ходам сообщения. Враг теперь обстреливает все дороги. Там только машинам можно... Давайте, давайте, мичман, а то патруль нас заметит и будет стрелять.

Шагайда и радисты прыгают в окоп и бегут за Каюмовым по узким извилистым щелям, обтирая плечами серый глинистый грунт, из которого выступают глыбы белого ракушечника. Ход сообщения заворачивает куда-то вверх, зигзагами петляет среди кустов, расширяется там, где в него вливаются новые окопы. Мичман выглядывает из окопа и видит, что Лабораторное шоссе, по которому до сих пор мчатся грузовики с пехотой, лежит далеко внизу, и он даже при свете артиллерийских вспышек и ракет не может разглядеть, где находится домик Артема Громова. Отсюда все дома кажутся одинаковыми. Маленькие, в густых садах. Где-то там бывала Мария... Где она теперь, что делает в эту минуту? Неужели он не встретит ее? Ведь это так близко, почти рядом, а она, может, и не знает, что эскадра снова пришла в Севастополь. Нет, наверное, знает, ведь торпедные катера ставили дымовую

завесу на море, когда было еще светло, и ее хорошо видели с фронта.

— Скорее, мичман, — тянет его за рукав Каюмов, и они идут вверх.

— Скажи, дружище, а кто ваши соседи? — неожиданно спрашивает Шагайда.

— Соседи? — удивляется Каюмов. — Соседи хорошие у нас. Слева чапаевцы, справа — морская пехота Зеленцова, за спиной Севастополь. Не обижаемся на соседей.

Они опять идут молча, уступая дорогу легко раненым, которые по ходам сообщения возвращаются с передовой. Раненые держатся друг за друга, словно боятся потеряться в темноте, но все-таки идут одни, без санитаров. На них белеют свежие марлевые повязки.

— Ну, как там? — спрашивает мичман одного из раненых.

— Поди да понюхай, — грубо бросает матрос, не поднимая головы.

— Прошка, не дури людям голову! — кричит на него сосед, который уже разглядел на Шагайде мичманскую форму и отдал здоровой рукой честь. — Не обращайте на него внимания, товарищ мичман. Он всю дорогу ругается, ведь командир насильно отправил его в госпиталь. А как же ему воевать, если рука прострелена и осколок в плече? Вы с кораблей?..

— С кораблей.

— Ну, вот видишь, Прошка. А ты ругаться хотел, — говорит сосед матросу.

Матрос поднимает голову, смотрит на Шагайду:

— Простите, товарищ мичман. Они неправильно меня в тыл. На фронте сейчас дело будет, а меня в тыл. Все равно сбегу. У меня одна рука здоровая. Дайте закурить...

Шагайда подает ему пачку папирос и бежит дальше, вслед за Каюмовым, потому что раненые уже останавливаются возле него, окружают тесным кольцом и непременно начнут расспрашивать о флоте, о том, что происходит на Кавказе, о том, как в этот раз корабли прошли в Севастополь.

— Простите, товарищи, у меня времени нет, — на ходу бросает им Шагайда и слышит, как вслед ему кто-то говорит:

— Корректировщики, видать. Рация с ними...

— Дадут фашистам прикурить, — весело откликается матрос, и голоса раненых стихают за поворотом.

Каюмов ступает легко, перепрыгивает через каменные выступы на дне окопа; видно, он не раз ходил здесь, и ему хорошо знакома эта тропинка. Он не останавливается, даже не оглядывается на моряков, а просто машет им рукой, чтобы не медлили.

— Уже скоро, братишки. Давайте быстрее, — говорит он, блеснув в темноте белыми зубами.

— Слушай, Каюм, — окликает его Шагайда. — А кого ты знаешь в морской пехоте?

— Кого я знаю? — протяжно переспрашивает Каюмов и отвечает: — Вы не так спросили, мичман. Вы меня спросите, кого я там не знаю?

— А все-таки? — настаивает мичман.

— Ну, старого Бандуру из Полтавы знаю.

— А еще?

— Двух юнг, Игоря и Колю, знаю.

— Дальше.

— Полковника Зеленцова.

— Нет, не то, — говорит Шагайда.

— Ну, тогда спрашивайте по родам войск. Там все корабельные профессии есть. Котельные машинисты, электрики, минеры, мичмана. В каждой роте даже боцман имеется. Там флотский порядок.

— А снайперов знаешь? — спрашивает Шагайда.

— Ого. Снайперы у моряков — первый класс. Яков Майборода, Мария Богучар.

— Знаешь Марию? — мичман нагоняет Каюмова.

— Как же не знать такую девушку? Знаем, — гордо отвечает Каюмов и спешит вперед.

— Ну, как она? Давно ее видел?

— Вечером видел. Жива, здорова, можете о ней не беспокоиться.

— Спасибо тебе, — говорит Шагайда.

— Матросы берегут Марию, рядом с ней Вихорь. Знаете такого?

— Знаю. А что он, Вихорь?

— Ничего. Разведчик первой руки. Огонь и порох.

Они взбегают на вершину горы, и перед ними открывается весь фронт. Он раскаленной подковой лежит вокруг Севастополя на горах и в долине, закопавшись в землю и камень. Подкова фронта раскалена добела, и

кажется, что по ней непрерывно бьют тяжелыми молотами богатыри-кузнецы.

Но вот тонко свистнула первая пуля, и за воротник Шагайды посыпался холодный песок. Потом пули запели чаще, сухо затрещали о камни. Каюмов, а за ним мичман и матросы, бежали, пригнувшись, едва не касаясь коленями земли. Они бежали долго, прислушиваясь к грохоту над головой, до тех пор, пока не очутились на широком участке, где заканчивались ходы сообщения.

— Все. Мы дома, — весело сказал Каюмов и снял пилотку.

— Ух, ну и жара тут, — Шагайда вытер вспотевший лоб.

— Еще не жара. Потом будет жара,— откликнулся Каюмов и пригласил всех в первую попавшуюся землянку переждать обстрел.

В землянке ярко горели две электрические лампочки, стоял небольшой токарный станок и слесарный стол с тисками и целым набором аккуратно разложенных инструментов. На козлах и стеллажах лежали минометные стволы, орудийные замки, пулеметные кожухи и еще какие-то детали различных видов оружия. Над станком склонился человек в штатском. Он не заметил вошедших.

Каюмов кашлянул в кулак, объяснил гостям:

— Это наша оружейная мастерская. Правда, хороша?

— Настоящий арсенал, — похвалил Шагайда.

Человек в штатском оглянулся, строго посмотрел на прибывших сквозь очки в железной оправе.

— А это наш оружейный мастер... — начал было Каюмов.

— Знаю. Артем Громов! — воскликнул Шагайда и бросился к старому токарю, крепко сжав его в объятьях.

Они трижды поцеловались, и Артем неторопливо спросил:

— Прибыли, значит, корабли? Я так и знал, что прибудут...

В землянке стало тихо. И в тишине все услышали, как глухо стонет земля. Фронт еще не проснулся для нового боя, но артиллерийский грохот не стихал. Он проникал даже под землю, во все землянки и блиндажи. Все стояли, молча прислушивались и видели, как равномерно покачиваются над головой две электрические лампочки.

— Пришли и огонька вам принесли,— сказал, наконец, Каюмов.

— Это хорошо. Огонь нам очень нужен,— обрадовался старик. — Я сразу узнаю этот огонь, как только заговорит наша корабельная артиллерия... давно не слышал И старая моя Варвара обрадуется.

Дверь распахнулась, и в землянку вбежал запыхавшийся Игорь, неся на плече ствол ротного миномета. Даже не оглянувшись на присутствующих, он быстро подошел к Громову.

— Папа, сделайте, чтоб к рассвету был готов. Тут небольшой ремонт, а матросам без него нельзя. Я помогу вам, если надо. На рассвете фашист снова на нашу высоту полезет. А нам нельзя сдавать эту высоту, вы же сами знаете.

— Знаю. Клади на стол, — Артем оглянулся на матросов. — Вы уж простите, и поговорить некогда. Такая у меня работа. Обычно сами матросы несут чинить, а тут сына прислали. Значит, очень срочно... Надо к рассвету сделать. Так что простите, ребятки, я начну.

Он склонился над столом, загремел инструментами и, казалось, забыл, что в мастерской есть посторонние люди.

Шагайда поманил пальцем Игоря, и они вышли из землянки. За ними двинулись Каюмов и радисты.

— А ты узнаешь меня? — спросил мичман Игоря.

— Почему же не узнать? Узнал. Вы мичман со «Стремительного», Петр Шагайда, и были у нас на Новый год. Вас часто вспоминают Мария Богучар и Вихорь Самойло.

— Вспоминают?

— А как же! Я ей сегодня скажу, что вы тут, у нас...

Шагайда промолчал.

— А может, не надо говорить? — спросил Игорь.

— Скажи, если хочешь... Я тут недолго пробуду.

— Жаль. Нам очень нужны такие, как вы. Вон Вихорь тоже мичман, а какие дела делает... Теперь вся наша семья на фронте. Отец в мастерской, сестра моя, Люба, санитарка, я в полку морской пехоты. А мама дома на перевязочном пункте. У нас дома теперь походный лазарет...

— Пошли. Налет кончился, — вмешался Каюмов. — Командир нас ждет. Я сам поведу вас на наблюдательный пункт. А теперь двинемся в нашу штабную землянку.

XXXIV

В полночь, когда по обе стороны фронта воцарилась относительная тишина, Василий Иванович Зеленцов начал обходить ключевые позиции своего полка. В эти часы немецкие полки и дивизии, измученные и обескровленные беспрерывными атаками, отходили на запасные рубежи, оставляя позади себя заслоны артиллерии и автоматчиков. Наши разведчики говорили: «Фашисты отползли зализывать раны». Ночью приводили себя в порядок и наши войска. В батальоны и роты доставляли боеприпасы, горячую еду, табак, сухари, свежие газеты. Морская пехота тоже отдыхала. «Одним глазом спят, а другой даже не дремлет», — говорили разведчики.

Командир полка Зеленцов невольно улыбнулся, вспоминая меткие словечки разведчиков; перед его глазами возник худой и нахмуренный Вихорь, которому, кажется, и принадлежали эти слова. Почерневший на солнце, пропахший пороховым дымом и по́том, Самойло больше молчал, прислушиваясь, о чем говорят другие. Но каждая его реплика, брошенная невзначай, вызывала оживление среди матросов, надолго запоминалась. Раньше он часто бывал замкнут и задумчив, даже грустен. Когда к нему обращались, он отвечал не сразу, а встряхнув волосами, неожиданно спрашивал: «А?», «Что?» Как-то Зеленцов спросил Ивана Зубова, таков ли Вихорь в разведке. Зубов объяснил: нет, не такой, но такое с ним и там случается. Редко, правда, но случается... Да ничего. Скоро он поправится.

И действительно, вскоре после того как ротная партийная организация единогласно приняла Вихоря в партию, он сразу ожил. Куда девалась его грусть и задумчивость? Их словно морской волной смыло.

Несколько дней спустя начальник политотдела вручил разведчикам партийные билеты. Зеленцов заметил, как у всегда сдержанного Вихоря задрожали на ресницах слезы, когда назвали его фамилию. Начальник политотдела уже вручал билеты другим коммунистам, а командир видел, как Вихорь, спрятав свой билет в нагрудный карман кителя, то и дело прикасался к карману, словно слушал биение сердца.

В этот день началось третье наступление немцев на Севастополь. Ночью Вихорь пошел в разведку. С ним

опять отправился Зубов и еще трое бойцов. Несколько дней разведчики не возвращались в полк. А на фронте жестокие бои длились по целым суткам. Силы были неравны, но морская пехота сидела глубоко в каменных траншеях, дотах, дзотах, и всякий раз, когда после очередной артиллерийской подготовки враг бросался на штурм, каждый метр земли, занимаемой матросами, встречал врага завесой огня. Блиндаж Зеленцова находился в центре полковых позиций, на небольшом возвышении, и командиру не нужны были частые донесения. Зеленцов каждую минуту ясно видел всю картину и крепко держал в своих руках все управление боем.

В перерывах, когда вражеский штурм захлебывался, Зеленцов пил из термоса крепкий чай, не отрывая глаз от стереотрубы, установленной в блиндаже. Он вспоминал Вихоря, до сих пор бродившего где-то далеко за линией фронта. И как же он обрадовался, когда ему сообщили, что Вихорь с Зубовым вернулись, да не одни, а приволокли с собой немецкого офицера со штабными документами. Все в штабе морской пехоты позабыли об усталости.

Через несколько минут разведчики прибыли на командный пункт. Первым в блиндаж вошел Зубов, за ним — немецкий офицер, следом — Вихорь и еще два разведчика. Они закрыли тяжелую дверь и остановились у порога.

— Где третий? — спросил Зеленцов.

Бойцы склонили головы, и командир все понял.

Вихорь опустил руки по швам, нервно шевеля длинными пальцами, измазанными засохшей грязью и сбитыми в суставах. Зубов переминался с ноги на ногу. Двое остальных чуть не падали от усталости и крепко прижимались спинами к двери.

Зеленцов пожал каждому руку. Потом взглянул на немецкого офицера и чуть не расхохотался. Немец был в одном маскировочном халате. Он щурил глаза от электрического света и безуспешно пытался закутаться. Маскировочный халат не запахивался на животе и открывал всю его грузную фигуру на длинных ногах, по самые колени забрызганных грязью. Одна щека пленного была старательно выбрита, другая поросла рыжей щетиной.

— Что это значит? — спросил командир.

— Нам было приказано привести крупного «языка». Вот мы и привели.

— Но почему он в таком виде?..

— В каком? — удивился Зубов.

— Ну... Аполлон, что ли, — улыбнулся Зеленцов.

— Действительно, Аполлон, — согласился Зубов и подмигнул Вихорю, чтобы тот докладывал.

Вихорь сделал шаг вперед:

— Мы его прямо из бани вытащили, товарищ командир. Даже побриться не успел. Вы уж простите, что одет не по форме. Я эту баньку давно держал на примете. Она за Бельбеком, одна на все село, значит, и мыться там должны высшие чины. А где же им еще мыться? Вот мы и засели возле нее, а стоит она у самого леса.

— Шуму наделали? — спросил Зеленцов.

— Нет, шуму не было. Мы тихо, часовых ножами, а его в лес. Вот и все, товарищ полковник. А это его личные и штабные документы, которые были в планшете, — Вихорь вынул из-под полы своего плаща кожаный планшет и подал Зеленцову.

Пленный, увидев свой планшет, замигал светлыми ресницами, быстро заговорил на ломаном русском языке:

— Ви ист комантир морска пехота Зеленцоф? Комантир шорна туча?.. — В его голосе слышался испуг.

Разведчики удивленно переглянулись.

Зеленцов прошелся по блиндажу, остановился у края дощатого стола:

— Откуда вы знаете, что я Зеленцов?

— Я снайт! Мой расветка все главне комантир Севастополь снайт. Некотори фотографии главни комантир иест мой штаб, — услужливо забормотал немец. — Фамилий, сваний, тольшность есть всех комантир.

Документы немецкого офицера лежали в планшете на столе. Зеленцов еще не брал их в руки. В тишине слышалось громкое дыхание разведчиков, сдержанный кашель Вихоря, отрывистое посапывание Зубова. На дощатых нарах проснулся Коля и замер от удивления, рассматривая голого немца и знакомых разведчиков. Он протирал кулаками глаза, улыбался Вихорю, все еще не веря, что перед ним действительность, а не сон.

Зеленцов вынул из походного ящика черную папку. Быстро нашел в ней нужную фотографию, протянул пленному и заговорил по-немецки:

— Полковник фон Шеллер, прошу засвидетельствовать свою персону на этой фотографии. Карточка сделана этой зимой под Москвой, откуда вы бежали без задних ног. Могу прибавить: вы родились и жили в Мюнхене, закончили академию генерального штаба в Берлине. За Москву вам не дали железного креста, а даже понизили в звании. Теперь, в мае этого года, вы прибыли под Севастополь зарабатывать чин генерала и новый крест. Ваша дивизия стоит против моего полка. Теперь это не секрет, господин полковник.

Зеленцов прошел к столу и достал из папки еще несколько снимков. Он по одному подавал их фон Шеллеру, всякий раз давая пояснения.

— Узнавайте дальше, полковник. Это командиры ваших полков: Штольц из Дрездена, фон Блюмен из Берлина. А это начальник вашей разведки Краузе, пьяница и картежник, окончивший шпионскую школу в Бонне. Вы с ним всегда не ладили, но его к вам приставило гестапо.

Фон Шеллер брал фотографии, узнавал подчиненных ему командиров. Он даже зажмурился, посмотрев на карточку ненавистного гестаповца, шпионившего за каждым его шагом, — бездарь и холуй Краузе, который сейчас, верно, спокойно спит на пуховиках после хорошей порции коньяка. Фон Шеллер никак не мог понять, каким образом фотографии его подчиненных попали в руки этого коренастого, спокойного русского офицера, командира полка черной матросской тучи, который принес так много бед и потерь его прославленной дивизии.

Это фатально, это волшебство! Ничего подобного полковник не встречал ни в Бельгии, ни во Франции, ни в Польше. И вдруг тут, под Севастополем, где ему уже улыбалась настоящая военная слава, — такое неслыханное падение, такой позор для всего райха и его разведки. Если такие данные о его дивизии хранятся в обычном полку, так что же тогда есть у них в дивизиях, армиях, фронтах и, наконец, в Генеральном Штабе в Москве? Страшно даже подумать... Фон Шеллер поглядывает из-под насупленных густых бровей на Зеленцова, аккуратно складывающего фотографии в папку.

— Все! — тихо говорит Зеленцов. — Теперь вы, надеюсь, расскажете обо всем, что будет нас интересовать.

— Я! Я! — согласно кивает головой полковник.

Разведчики широко раскрытыми глазами смотрят на Зеленцова, словно видят его впервые. Вихорь сдерживает едва заметную улыбку, Зубов гладит горячей ладонью холодный ствол своего автомата, веселые искорки прыгают у него в глазах.

Командир видит на лицах разведчиков радость, но ни одним жестом не дает понять, что заметил ее. Он приказывает Зубову немедленно отвезти пленного в штаб, в Севастополь. Машина готова. На ней поедут и все разведчики.

— Жаль, что ночь сейчас! — вздыхает Вихорь.

— Почему? — спрашивает Зеленцов.

— А мы б его в этой форме еще раз перед всем полком провели. Пусть матросы повеселятся, — смеется Вихорь.

— Разве уже водили?

— Было немного, когда по окопам к вам вели, — объясняет Зубов,— там такой хохот подняли; все, кто спал, проснулись...

— Ведите к машине и ни секунды задержки. Ясно? — строго говорит Зеленцов и склоняется над картой, развернутой на столе. Он слышит, как за дверью топают разведчики, различает голос Вихоря. Мичман с грустью говорит:

— Эх, жаль, оператора нашего, Колоска, нет. Он бы нам на память этого фона зафиксировал. Без всякой формы, таким, как есть.

— Да! Это бы здорово, — гудит чей-то бас, и голоса разведчиков затихают. Урчит мотор, и Зеленцов слышит, как машина выезжает на дорогу.

Густая ночь лежит над горами. По обе стороны фронта неспокойно спят солдаты, уставшие от тяжелых боев. Василий Иванович Зеленцов тихо пробирается в темноте по правому флангу своего полка. Картина недавней встречи с полковником фон Шеллером ярко всплывает у него перед глазами, Зеленцов улыбается и тихонько мурлычет какой-то мотив. Рядом шагает Коля, которого в эту ночь разлучили с Игорем. Командир пропускает мальчика вперед, тихо говорит:

— Ну, матрос, веди. Посмотрим, как ты ночью ориентируешься без компаса.

— Куда прикажете вести? — спрашивает мальчик.

— На край света, в Полтаву, — шутит Зеленцов.

— Знаю. Это к усатому Бандуре, — говорит Коля и, в темноте нащупав ногами тропочку, бежит по дну балки. Зеленцов едва поспевает за ним. Мальчик часто спотыкается, перепрыгивает воронки, предупреждая Зеленцова об опасности. Наконец они выходят к крайнему дзоту, в котором сидит со своими матросами Охрим Бандура.

— Стой! Кто идет? — поднимается с земли черная фигура.

— Первый номер идет, разве не видишь? — гордо говорит Коля, и часовой пропускает их в глубокий окоп.

В дзоте душно и сыро. В амбразурах стоят два станковых пулемета и противотанковое ружье. Возле них дежурят матросы. На чугунной плите кипит медный чайник, в котелке мокнут сухари. Увидав Зеленцова, Бандура вскакивает, хочет рапортовать, но командир останавливает его:

— Сидите, не надо. Я на минуту забежал к вам, по дороге.

— Большое спасибо, товарищ командир. К нам только ночью и можно. Садитесь, чайку попьем, — Бандура в один миг поправляет гимнастерку, крепче затягивает ремень. Матросы не отходят от своих амбразур.

— Как живете? Может, чего-нибудь не хватает? — спрашивает Зеленцов.

— Бойцов маловато, а так — все у нас есть, не жалуемся.

— Бойцов вам подбавим. Завтра тут жарко будет.

— Знаю, товарищ командир. Мы готовы, — и Бандура отходит в угол, приподнимает плащ-палатку, под которой лежат целые штабели патронов, гранат, железные ящики с пулеметными лентами.

— Ого! Целый склад! — восклицает Коля.

— Иначе нельзя, — отвечает Бандура командиру полка, не обращая внимания на мальчика. — Вихорь назвал нас «Полтава» и «край света», но мы не обижаемся. Может, это и верно, стоим мы на крайнем фланге, как говорят — наша хата с краю, но мы все хорошо видим и знаем. Можете положиться на нас...

— Я вам снайперов придаю на завтра,— говорит Зеленцов.

— Спасибо. Нам бы автоматчиков немного, — вздыхает Бандура.

— Будет нужда — подбросим. Рота автоматчиков в резерве. Где будет слабо, туда их и пошлют.

— Так выпьем чайку, товарищ командир? У нас заварка из шиповника, витамин «С».

— Спасибо. Хотите, я пришлю вам грузинского чая?

— Как не хотеть! — улыбается Бандура.

Зеленцов садится на патронный ящик рядом с моряком и кладет ему руку на плечо.

— Охрим Панасович, завтра они опять рванутся на эту высоту. Вам снова будет трудно. Каждому придется стоять за двоих. Немец может бросить на вас авиацию, засыплет бомбами и снарядами. Но ваша, как вы ее называете, Полтава, не должна умолкнуть. Я верю в это, Охрим Панасович, и прошу выстоять.

Низко остриженная голова Бандуры поблескивала серебристой щетиной, в глубоких морщинах залегла тяжелая усталость. Он посмотрел командиру в глаза.

— Мы клятву дали друг другу, товарищ командир. Выстоим. Как же может быть иначе?

Вахтенный матрос разливал чай, вынимал из котелка размокшие сухари.

В углу зазуммерил телефон. Бандура взял трубку:

— Полтава слушает... что ты сказал? Первый номер? У меня. Сейчас,— и обернулся к Зеленцову: — Вас просят.

Командир взял трубку, и матросы оглянулись на него, сторвавшись от своих амбразур. Зеленцов несколько минут молча слушал, потом ответил двумя словами:

— Сейчас буду.

Бандура с тревогой посмотрел на Зеленцова.

— Контр-адмирал вызывает, — объяснил Зеленцов. — Счастливого боя вам, товарищи.

Зеленцов подходил к каждому, пожимал руку. Матросы стояли смирно, высоко подняв головы. Каждый по-своему прощался с командиром:

— Котельный машинист Астахов будет стоять насмерть.

— Первый номер пулеметного расчета Багиров не пустит их на эту высоту.

— Матрос Бабич ждет их танков. Пусть идут.

— Рядовой Кулагин сдержит свою клятву, товарищ командир!

Последним прощался Охрим Бандура.

— Не пройдут. Так и передайте контр-адмиралу, — сказал он, провожая Зеленцова до двери.

В дверях они остановились. Навстречу шли Мария Богучар, Яков Майборода и еще три снайпера.

— Вот вам и пополнение, — сказал Бандуре Зеленцов. — Позиции для них подготовлены?

— Есть окопчики, траншея глубокая, ну и камни всюду...

— Это нам и нужно, — тихо откликнулась Мария, вытирая ладонью вспотевший лоб.

— Устали? — спросил Зеленцов.

— Есть немного,— попыталась она улыбнуться.

— Устройте снайперов. Пусть поспят до рассвета, — распорядился Зеленцов и вышел из блиндажа.

По дороге он еще раз оглянулся на высоту, где стоял дзот Охрима Бандуры. Высокое зарево стояло над Севастополем, и его отблески озаряли горбатый силуэт высоты, густые кусты, каменные валуны, черные линии ходов сообщения. Среди этих нагромождений прятался дзот, но Зеленцов уже не мог различить его.

Контр-адмирал Багров, стоя у стола, рассматривал карту Крыма. Рядом склонился над картой начальник штаба полка.

— Присаживайтесь, — сказал контр-адмирал Зеленцову. — Мы сейчас закончим.

На лице Багрова сквозь загар проступала болезненная желтизна, под глазами ясно очерчивались синеватые мешки — признак болезни сердца. Зеленцов вспомнил, что под Одессой у контр-адмирала этих мешков и желтизны на лице не было. Тогда даже седины в волосах было меньше.

Багров провел карандашом по карте:

— Шоссейную дорогу перекроет корабельная артиллерия. Тут немцы не пройдут. Но резервы они будут подбрасывать по железной дороге. Этот железнодорожный мост очень нам мешает. Его надо уничтожить любой ценой. Я думаю, что операцию может выполнить ваш Вихорь. Он больше не ходил в тыл?

— Ходил, — поднялся Зеленцов.

— Хорошо. Я вызвал его, — Багров встал и свернул карту. — Переход Вихоря и разведчиков через линию фронта прикроет артиллерия Андреева.

— А фронт они пересекут в районе дзота, который

называют у нас «Полтава». Там удобный рельеф местности. Глубокий овраг и лес. Они уже там проходили, когда немецкого полковника приволокли, — добавил Зеленцов.

— Да, полковник рассказал, что его дивизия спешила на Волгу, но в Синельникове ее неожиданно повернули на Севастополь. Держит, крепко держит врага Севастополь, — улыбнулся Багров.

В блиндаж вошел часовой.

— Мичман Вихорь прибыл, — доложил он.

— Просите, — приказал контр-адмирал.

XXXV

Когда все карты были сверены, а условные сигналы уточнены, Андреев пригласил гостей поужинать.

— Мы не голодны, — отказывался Шагайда. — А это нас задержит. Нам еще столько идти.

— Успеете. Идти недалеко. Да, кстати, запомните. горячей еды вам никто туда не принесет. До глубокой ночи ни одна живая душа не сможет проползти к вам. Так что запасайтесь заранее, — советовал Андреев.

Каюмов расстелил белую скатерть, подал вилки и ножи, нарезал хлеб, положил на блюдце разломанный на дольки чеснок. Гаркуша подал на стол шпроты, квашеную капусту, полную тарелку тонко нарезанного сала со шкуркой. Потом принес два котелка круто сваренной гречневой каши и бутылку янтарного армянского коньяка. Отойдя в сторону, он хитро посматривал на Андреева, радуясь, что моряки хвалят его угощение.

— Нам пора? — заволновался мичман.

— Посидите еще пять минут, — посмотрел на часы Андреев. — Кстати, давайте точно сверим часы. Это важно.

— Почему именно пять минут? — спросил Шагайда.

— Я хочу, чтоб вы услышали голос моего первого дивизиона. Он раздастся через пять минут. Сегодня Самойло Вихорь с разведчиками идут на очень ответственное задание, и мы будем прикрывать их. Выйдем. Сейчас они начнут.

Все вышли из блиндажа.

Ночь была душная, тихая. В воздухе пахло дубовым листом и луговыми травами, с моря дул легкий ветерок.

Грянул первый залп — отблеск пламени осветил высокую гору, на которой стоял блиндаж. Затем второй залп покатился по горам далеким эхом.

Шагайде казалось, что артобстрел продолжается очень долго. Немецкие артиллеристы тоже начали отвечать, посылая на огневые позиции первого дивизиона ураган снарядов. Видно, долго и с трудом пробивались Вихорь с товарищами через линию фронта. Наконец артиллерийская дуэль утихла, и Андреев с облегчением вздохнул.

— Ну, кажется, прошли. Теперь и вы трогайтесь. Счастливый путь!

Моряки с Каюмовым скрылись в темноте. Они быстро прошли балку, где были расположены тылы передовых позиций морской пехоты, и взобрались на высоту, где стоял дзот Охрима Бандуры. Дважды их останавливали в темноте часовые, и Каюмов так тихо говорил им пароль, а они так тихо отвечали, что Шагайда едва слышал. Пароль был нежный, мало подходил к суровой фронтовой обстановке, и Шагайда даже удивился, когда разобрал слово «ласточка». Ответа он не расслышал. Корректировщики миновали боевое охранение и стали ползком пробираться по нейтральной полосе между нашими и вражескими окопами. Сухая каменистая земля была ископана снарядами и минами. На ней, казалось, не осталось живого места, где бы росли трава и цветы. Касаясь руками почвы, Шагайда думал: «Здесь, верно, больше железа и камней, чем самой земли». Он полз вслед за Каюмовым, слыша за собой тяжелое дыхание обоих флотских радистов.

Неожиданно Каюмов остановился. Перед ним, на фоне чистого неба, выросла голова в каске, послышался тихий, раздраженный басок:

— Стой! Кого тут еще носит?

— Я — «ласточка»,— нежно произнес, словно пропел, Каюмов: — А ты кто будешь?

— Я — «мак»,— послышалось в ответ.

Шагайда и радисты подползли ближе, прижались к земле. Выяснилось, что рядом — снайперы. Сердце сразу заколотилось, мичман облизал пересохшие губы.

— А среди вас Марии Богучар, случайно, нет?

Тот, кто остановил их, приподнялся на колени.

— Кто спрашивает? — строго спросил он.

— Мичман Шагайда.

Рядом что-то зашелестело, тонко звякнуло железо. Легкая женская рука упала на плечо мичмана, словно ища опоры.

— Петруша! — чуть не крикнула Мария, выскочив из своего окопчика.

— Мария! Я знал, что так будет... Я верил в это, — горячо шептал он, схватив ее руку.

— Мы видели, как ваш эсминец входил в бухту. Я знала, что ты приедешь к нам. Только не думала встретить тебя здесь.

— Ты одна тут? — не зная зачем, спросил Шагайда.

Мария промолчала. За нее отозвался строгий басок:

— Почему одна? Тут матрос с эсминца «Гроза» — Яков Майборода и другие снайперы. Прошу любить и жаловать.

— Яшенька! — Шагайда схватил матроса за руку.

— Он самый. Привет «Стремительному» и всем кавказским берегам. Каким курсом идете?

— Норд-вест: корректировать огонь кораблей.

— Красота! — Майборода потянул за собой на дно окопа Каюмова и обоих радистов. В окопе послышался их сдержанный шепот.

— Почему ты не писала мне? — спросил Шагайда.

— А что было писать? — задумчиво ответила Мария.

— Нам надо встретиться после боя. Хорошо? Я пробуду у вас целые сутки. Нам обязательно надо обо всем поговорить, — шептал Шагайда, не выпуская ее руки.

Рука у нее была жесткая, шершавая, с коротко остриженными ногтями. Шагайда чувствовал, что она то вздрагивала, то сжималась в кулачок. Мичман пытался разглядеть в темноте лицо Марии.

— Почему же ты молчишь?

— Хорошо, встретимся. Но я не знаю, что может произойти за один день... Самойло только что ушел. Снова туда, к ним в пасть... Что с ним будет?.. Иди уж, Петруша, тебе пора, — Мария высвободила руку.

— Да, мне пора.

— Только не сердись, мы обязательно встретимся после боя. Береги себя. Там опасно... Я знаю этот разрушенный дзот, где сидят артиллерийские корректировщики. Он клином торчит. Возьми у меня гранаты.

— У меня есть.

— Еще возьми, не помешают, — настаивала Мария, и, наклонившись в окопчик, подала ему четыре гранаты и запалы, обернутые в вощеную бумагу. — Я очень рада, Петр, что ты опять рядом с нами.

— Спасибо, — мичман позвал из окопа Каюмова и радистов.

Мария говорила правду о наблюдательном пункте, который действительно напоминал клин. Он стоял на высоте, полого спускавшейся в долину, где были расположены немецкие окопы. Они обступали высоту с флангов, подымались дальше по холмам, и получалось, что корректировочный пункт был словно окружен с трех сторон фашистами. Он высовывался далеко вперед за наши окопы, его соединяла с ними лишь узкая полоска «ничьей земли», которую враг простреливал вдоль и поперек. Все это Шагайда понял, осмотрев высоту, на которой были расположены развалины бывшего дзота. Корректировщики установили там рацию. В предрассветной мгле, окутывавшей горы, Каюмов и Шагайда нашли нужный участок передовой, сверили свои карты с местностью, уточнили все квадраты, засекли во вражеском тылу дороги и подступы к ним. В аппарате тонко затрещало, засвистел ветер, и радист заговорил:

— Я «кубрик»! Я «кубрик»! Москва! Ты слышишь меня, Москва?

Шагайда огляделся вокруг и увидел следы недавнего боя. Неподалеку лежала присыпанная землей разорванная матросская тельняшка, вся в крови. Рядом — пробитая пулями каска, расплющенная коробка немецкого противогаза, кинжал, пилотка с орлом, клочья зеленоватого шинельного сукна. Ветер доносил из долины тошнотворный трупный запах, и Шагайда заметил на северном склоне высоты трупы немецких солдат, которые за ночь не успели убрать похоронные команды. Он зажмурился и отвернулся.

— Есть Москва! — радостно сказал радист и передал Шагайде микрофон.

Мичман накрыл его бушлатом, тихо доложил:

— Добрался благополучно. Жду. Мои координаты: третий квадрат, ноль пять плюс три. Запишите.

Откуда-то издалека, как из морской пучины, послышался в ответ знакомый голос Платона Богучара:

— Слышу вас хорошо. Я готов и жду. Привет!

— Будьте все время на волне, — сказал Шагайда, передавая микрофон радисту.

Медленно и незаметно потухали звезды, по небу все шире разливался утренний свет. Шагайда внимательно всматривался в мглистую даль, в которой вырастали суровые очертания гор, светлели дороги, курчавились густые сады, белели дома и ограды, выложенные из легкого камня. Мичман старательно изучал извилистую линию передовой. Оттуда, из-за гор и кустов, надо было ожидать наступления. Но оно началось иначе.

Из района Балаклавы заговорила немецкая артиллерия, покрыв густой стеной огня и дыма весь правый фланг нашей обороны. Потом вступили в бой орудия со станции Мекензиевы горы, обрушив всю силу своего огня на наш левый фланг. Шагайде хорошо были видны вспышки орудийных залпов. Одновременно остальные артиллерийские полки открыли огонь по центральной части севастопольских позиций. Наши окопы молчали, словно все солдаты там вымерли. Молчала и наша артиллерия. Ни одного разрыва не заметил Шагайда во вражеском тылу. Немецкие снаряды рвались рядом с клином, на котором засели корректировщики.

Шагайда злобно повел глазами, закричал Каюмову:

— Почему твой Андреев не стреляет? Почему молчит наша артиллерия?

Каюмов печально покачал головой.

— Молчит? Снарядов у нас мало, вот и молчим...

— До каких же пор так будет? — опять закричал Шагайда.

— Недолго. Вот только немцы в наступление пойдут, — Каюмов не отрывал глаз от большого бинокля. Он боялся прозевать момент, когда вражеские танки, автоматчики и пехота двинутся в наступление. Откуда оно сегодня начнется и где будет направление главного удара? Ждал этой минуты и Шагайда, злясь, что не имеет права дать корабельной артиллерии координаты вражеских батарей. Не такое у него задание.

Еще не стихла артиллерийская подготовка, как в небе появились эскадрильи вражеских бомбардировщиков и истребителей. Они заходили с моря, появлялись из-за гор, сбрасывали свой смертоносный груз на Севастополь, на бухты, где стояли корабли, бомбили передовые пози-

ции по всему фронту. Густые облачка разрывов усеяли небо. Наконец заговорили наши зенитки. Один самолет упал в море. Задымил и пошел к земле второй. Потом в небе раскрылось несколько белых парашютов, и навстречу им побежали наши автоматчики. Что происходило дальше, Шагайда не видел, — авиационные бомбы засвистели у него над головой. Он только закричал радистам:

— Аппараты! —и, сорвав с плеч бушлат, накрыл им буссоль. Матросы своими телами закрыли рацию и батареи питания. Каюмов дернул Шагайду за ногу, и они упали на землю. Над высотой раздались оглушительные взрывы.

— Ничего, ничего, — шептал мичману Каюмов. — Это не в нас. Он так весь фронт под одну гребенку стрижет. Он еще не знает, что мы здесь.

Теперь бомбы рвались дальше, там, где стоял дзот Охрима Бандуры, где залегла со снайперами Мария. Мичман оглянулся в ту сторону, на высоту, тонувшую в огне и дыму, сердце его болезненно сжалось.

— Идут! — тронул его за плечо Каюмов.

В окуляре стереотрубы Шагайда увидел колонну немецких танков, которые развернутым фронтом выскочили из-за густого сада и на предельной скорости рванулись в наступление. За танками бежали автоматчики в зеленоватых мундирах.

Наши окопы ожили. Глухо ударили противотанковые ружья, застрочили станковые пулеметы, заговорили минометные батареи. Наши еще только пристреливались, а Шагайда уже передавал координаты на эсминец:

— Квадрат номер три, танки. Прицел плюс два.

— Плюс два! — кричал радист в микрофон.

— Ясно,— послышалось издалека. В воздухе возник все нарастающий характерный гул, и первые снаряды разорвались в самой гуще танков. Три машины загорелись. Второй залп отсек от танков пехоту, и тогда Шагайда передал по радио, чтоб накрывали всю площадь.

— Так держать! — весело крикнул он в микрофон.

В танковых колоннах поднялся переполох. Машины стали круто поворачивать назад, но их настигал губительный огонь. Танки пылали. Пехота бросалась к уцелевшим машинам, не зная, где укрыться в чистом поле,

а эсминец бил и бил изо всех орудий, всякий раз меняя прицел по указаниям Шагайды.

— Ай, хорошо! Ай, порядок! — радостно вскрикивал Каюмов, пританцовывая у бруствера с биноклем в руках.

Потрепанная немецкая пехота залегла. Но на центральной дороге, идущей из Бахчисарая, появилась новая, еще более мощная колонна танков и бронетранспортеров с пехотой на броне.

Шагайда передал новые координаты, и корабельная артиллерия перенесла свой огонь в район шоссе. На дороге выросла высокая огненная стена разрывов.

Перекрыть в этом месте шоссе и подступы к нему — такова была задача, полученная от командующего корабельной артиллерии. Шагайда выполнял ее, не глядя на то, что происходило у него на правом фланге. Он, правда, заметил, что потрепанная первая колонна пришла в себя и вновь ринулась в наступление.

Два танка и один бронетранспортер с пехотой прорвались через линию наших окопов и мчались по склону высоты, прячась за камнями и густым кустарником. В окопах кипел рукопашный бой. Вражеские автоматчики, подползавшие к дзоту Охрима Бандуры, наткнулись на снайперскую засаду, залегли между камнями и начали скапливать силы для решительного удара по этому опорному пункту правого фланга. Таким образом, клин, на котором сидели корректировщики, постепенно очутился в немецком тылу. Его обходили фашисты, окружая дзот Охрима Бандуры. Дзот вел беспрерывный огонь из пулеметов и противотанкового ружья. Из окопчика рядом с дзотом били снайперы, бойцы бросали ручные гранаты. Но фашисты подползали все ближе и ближе, один их танк уже стрелял прямой наводкой по амбразурам. Положение корректировщиков стало критическим. Хотя немецкие автоматчики еще не заметили их, но угроза окружения и неминуемой атаки нависла над ними.

Шагайда посмотрел на округлившиеся строгие глаза Каюмова, прочитал в них тот же мучительный вопрос: что делать? Каюмов в ответ показал ему на связки гранат, лежавшие на дне окопчика. Свободный радист уже вставлял в них запалы. Потом Каюмов снял с плеча свой автомат и погладил его влажный ствол. Вот и все, что им оставалось делать в этом тяжелом положении.

— А корабли как? — показал на рацию Шагайда.

— Вы один справитесь,— ответил Каюмов.— А мы втроем займем круговую оборону.

— Согласен,— Шагайда надел радионаушники и взял у радиста микрофон. Теперь он простым глазом, без стереотрубы, ясно видел, что делается на шоссе. Танки все шли и шли. В двух местах они прорвались сквозь заградительный огонь корабельной артиллерии. По ним стреляли из окопов.

На высоте возле дзота послышалось громкое «ура». Матросы выскочили из своих окопчиков и редкой цепью бросились с фланга на немецких автоматчиков, сидевших за каменными валунами. Глухие разрывы гранат докатились к артиллеристам. Вражеские автоматчики, такие смелые на расстоянии, убрались с горы, как только дело дошло до рукопашного боя. Многие из них навек улеглись за камнями, и их позиции захватили матросы. Но на высоту уже мчались новые танки, а бронетранспортеры выгружали свежую пехоту и автоматчиков.

Каюмов подполз к Шагайде, силой оторвал его от рации, показал на дальние подступы их правого фланга. Там лежало Ялтинское шоссе. На нем кипел лютый бой. Танки с черными крестами колонна за колонной рвались по шоссе к Севастополю. Била полковая и дальнобойная немецкая артиллерия, прорывались свежие полки пехоты. Над полем боя все время висели вражеские бомбардировщики и истребители. Нетрудно было понять, что это и есть направление главного удара. Этим ударом, предпринятым через Сапун-гору, фашистское командование старалось рассечь фронт надвое и ворваться в Севастополь, оставив наши войска у себя в тылу, на позициях вокруг города. Шагайда сразу понял обстановку. Теперь ему стало ясно, почему немцы так упрямо рвутся мимо его клина, на высоту к дзоту Охрима Бандуры. Если на Ялтинском шоссе было направление главного удара, то здесь, у высоты, проходил фланг этого удара. Не успел он подумать об этом, как над высотой снова появилась вражеская авиация, противно завыли в пике моторы, засвистели бомбы. Корректировщики прижались к земле, снова закрыли собой аппаратуру. Их засыпало землей и мелкими камнями, обдавало раскаленным жаром взрывных волн, дыхание перехватывало. Каюмов чихал от газов и громко ругался.

— Вот мы лежим здесь, и враг может окружить нас, как кроликов,— злился Шагайда.

— Не окружит. Когда бомбят — все лежат: и они, и мы. Только снайперы не лежат, по самолетам бьют. Вон Мария один сбила,— гордо произнес Каюмов.

— А ты видел — это она его сбила? — спросил Шагайда.

— Конечно, она,— уверенно ответил Каюмов и закричал: — Ой, братцы! Конец!

Все вскочили. Шагайда оглянулся на гору и замер. Засыпанный землей дзот молчал. К нему ползли немецкие автоматчики, из засады появился тяжелый танк, пригнувшись бежала пехота.

В наушниках послышался отдаленный писк. Шагайду вызывал эсминец.

— «Кубрик» слушает,— ответил Шагайда.

— Дайте мне Ялтинское шоссе. Вы видите его? — требовал корабль.

— Ясно вижу,— ответил Шагайда.

— Немедленно покажите мне его. Там направление главного удара. Я жду.

В одно мгновенье Шагайда обозначил на планшете данные для стрельбы в районе Ялтинского шоссе, там, где прорывались немецкие танки и пехота, и тотчас передал данные на эсминец. Через несколько минут новые столбы разрывов вспыхнули в центре немецкой танковой колонны. Потом они выросли впереди нее. Шагайда подал команду «Так держать», и вся мощь корабельной артиллерии ударила в гущу врага.

А бой вокруг клина разгорался с новой силой. С обеих сторон на высоту лезла вражеская пехота, били пулеметы и минометы. Верно, враги разглядели ослепительный блеск бинокля. Каюмов и радисты вели огонь из автоматов, отбивались от наседавшего врага гранатами, перебегая с одного места на другое.

Один из радистов взмахнул руками и тяжело опустился на дно окопчика, стукнувшись головой о землю. Над ним склонился Каюмов, коснулся ладонью полосатой тельняшки, сквозь которую проступала кровь. Шагайда начал переносить огонь эсминца все ближе и ближе к своей высоте, уже окруженной танками и пехотой. Вот они уже совсем близко

Шагайда видит в бинокль автоматчиков, они бегут,

прячась за танками, ведя непрерывный огонь. А на высоте бой, кажется, идет уже в окопах. Шагайда не может понять, жив ли дзот Охрима Бандуры или погиб. Стекла бинокля застилает густой дым, и мичману уже ничего не видно. Припав к микрофону, он кричит изо всех сил:

— Я «кубрик»! Я «кубрик»! Огонь — плюс три!

— Это ошибка! Вы с ума сошли! — откликается сердитый голос Платона Богучара.

— Нет! Огонь на меня!

— Уточните! — кричит командир корабля.

— Третий квадрат, прицел пять плюс три!..

Шагайда ждет мгновенье, прислушиваясь к далекому дыханию родимого корабля. Аппарат свистит на тонкой ноте, завывает вьюгой, и мичману кажется, что он слышит тяжелую поступь своих артиллеристов. Это они забегали около корабельных орудий.

Перед Шагайдой проплывает Южный Буг в густых садах. Вербы купают свои ветви в его стремительном течении. Среди верб стоит новый родительский дом, и слышно, как весело постукивают молотки во дворе МТС. Шагайда босиком пробегает мимо вереницы новых тракторов, прибывших в село, и вырывается в степь. Вот он уже идет по степи с шахтерской лампочкой в руке. Над ним загораются красные звезды на копрах, Донбасс шумит сотнями заводов, поет всеми гудками. Дым стелется из заводских труб. Из расплавленного металла брызжут искры. Шагайда берет за руку старушку мать и ведет ее по всем цехам и шахтам. «Сыночек,— спрашивает мать,— и ты своими руками все это сделал?» Шагайда смеется: «Не один я, мама, а все рабочие. И не только руками, а и машинами». Мать целует Шагайду в лоб и опять исчезает в тихих вербах над Бугом, где урчат тракторы.

Потом перед Шагайдой встает вся необъятная советская земля, ее моря и океаны, а на них корабли. Балтика, Тихий океан, суровый Север, Черное море — и отовсюду ему хорошо видна Москва, седые ели у Мавзолея Ленина...

Он даже оглядывается, но все вокруг окутано пороховым дымом. И снова он видит мать и Марию, они стоят теперь на палубе эсминца «Стремительный» и приветливо машут руками. Родные, дорогие, незабываемые. Крепко стой, мичман Шагайда, за их честь, за счастье

всей советской земли. Стой и не сгибайся в беде. Согнешься ты, не выстоишь — враг ударит им в сердце.

Шагайда высоко поднимает руку и с силой рассекает воздух, словно командир на батарее, подавая команду «Огонь!»

Первый залп точно ложится на склоны высоты, но Шагайда уже ничего не слышит. Какую-то долю секунды он старается уловить, что происходит между первым и вторым залпом, и кричит в микрофон:

— Прощайте, товарищи! За Родину! Вперед! — Страшный удар поражает его в грудь, микрофон вылетает из рук, глаза заволакивает мутный горячий туман.

XXXVI

Еще вчера учительница севастопольской школы, а сегодня санинструктор полка морской пехоты, Люба Громова приползла в дзот Охрима Бандуры сразу, как только узнала, что там есть раненые. После того как в Севастополе закрыли все школы, а детей эвакуировали на Кавказ, Люба ушла на фронт. Она прибыла в полк Зеленцова вместе со своим отцом в самый разгар боя. В полку они застали Игоря, который уже прижился среди матросов и стал завзятым фронтовиком. Люба хотела обнять брата, приласкать его, но он вырвался из ее рук и даже не взял коржиков, которые передала мать. «Отдай их раненым. У меня сухари флотские есть»,— сурово сказал Игорь и выхватил из рук отца железный сундучок со слесарным инструментом.

Это было под вечер, а утром Люба вместе с санитарами направилась в роты и батальоны за ранеными. Было трудно и страшно, но она старалась быстрее привыкнуть, запомнить все тропочки и окопы, все ходы сообщения, ведущие из долины на гору. Любе достался правый фланг, который обороняли дзот Охрима Бандуры и автоматчики.

Люба то бежала, то ползла под бомбежкой. Очень хотелось пить, но она берегла для раненых две фляги с водой и не прикасалась к ним. Странно было, что никто не попадался ей навстречу. Даже легко раненые не возвращались с фронта. Почему они сами не идут на перевязочный пункт? Не может быть, чтоб там были только

тяжело раненые! Полк отбил уже третью атаку, а раненых не видно, не идут оттуда.

В долине было черно от дыма, густой стеной заволакивавшего все вокруг. В дыму тонули высокие Крымские горы, покрытые лесом. Сквозь разрывы доносилось далекое раскатистое «ура» с Ялтинского шоссе.

Люба оглядывалась на Севастополь, туда, где находилась батарея ее мужа. Там тоже поднимался кудлатый дым, высоко в небе колыхались рыжие пороховые тучи. В грохоте боя Люба не слышала выстрелов батареи, но по рыжим облакам догадывалась, что батарея Никиты тоже ведет огонь.

Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, Люба добралась, наконец, до дзота Охрима Бандуры и открыла тяжелую дверь.

В дзоте было черно от копоти, клубился сизый дым, словно там очень накурили. В этом дыму Люба с трудом разглядела происходящее. Охрим Бандура стоял у станкового пулемета и вел огонь короткими очередями. Потом он передал пулемет матросу Бабичу, а сам бросился к другому, до сих пор молчавшему. Ко второй амбразуре прижался Кулагин и время от времени строчил по долине короткими очередями. Котельный машинист Астахов стрелял из противотанкового ружья. Патроны ему подавал раненый Юрченко, он сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Кровь просачивалась сквозь полотенце, которым было перевязано его плечо, капала с бинта, плотно обхватившего голову. Астахов не оглядывался на матроса, а только протягивал руку, и раненый, морщась от боли, клал в нее очередной патрон. Пятый боец, Багиров, лежал у стены, накрытый одеялом до подбородка, и тяжело стонал. Стены дзота содрогались, гудели, с потолка сыпался щебень и песок. Бойцы работали молча и сосредоточенно.

В углу, у двери, поджав ноги по-татарски, сидел Артем Громов и спокойно паял простреленный в нескольких местах кожух станкового пулемета. Он орудовал одним паяльником, другой лежал на горячих углях, в железной печурке. Верно, от этого в дзоте и стоял такой дым.

— Папа! — вскрикнула Люба, бросившись к отцу.

Громов поднял на нее покрасневшие глаза, ласково улыбнулся и тихо сказал:

— Умница, дочка! Спасибо, что пришла.

Оглянулся Охрим Бандура, прекратил стрельбу.

— Дочка милосердная твоя, что ли? — крикнул он Громову.

— Ага!

Бандура показал Любе на раненого, лежавшего под одеялом.

— Помоги ему, дочка. Герой.

Люба присела рядом с Багировым, откинула одеяло. Раненый открыл глаза, простонал:

— Воды...

Люба приподняла его голову, прижала к горячим губам флягу. Раненый пил жадно, даже в горле у него клокотало.

— Люба! — крикнул Артем. — Побереги воду... Пулеметы без воды,— и хотя его никто не слушал, он продолжал выкрикивать, что их бочка давно опустела, ведь ею весь день пользовались пехотинцы соседней роты, что этой водой жил целый пулеметный взвод, что, наконец, вода чуть ли не решает теперь судьбу их дзота. Но Люба не слышала его.

Она бинтовала Багирову простреленную грудь, заложив в рану стерильный тампон.

Охрим Бандура несколько раз оглядывался, видел, как Багиров вначале шевельнул ногой, потом согнул колено и снова вытянул ногу. Бандура подмигнул Громову, крикнул:

— А дочка у тебя молодец...

Артем поднялся во весь рост:

— Принимай! Пулемет готов.

Они залили в кожух пулемета воду из Любиной фляги, установили его в нише перед пустой амбразурой. Бандура щелкнул замком и дал короткую очередь. Потом передал пулемет матросу Бабичу, а сам опять стал к своему у центральной амбразуры.

Немцы подползли совсем близко, их пули ударяли в стальные щиты станковых пулеметов. Амбразуры заволокло пылью и дымом.

Когда дым рассеялся, Охрим Бандура увидел, что из-за горы показалась еще одна колонна немецких танков с пехотой на броне. Танки мчались со стороны Ялтинского шоссе, прямо на выступ, где сидели флотские корректировщики, и на дзот Охрима Бандуры. Перед амбразурой что-то противно засвистело, завыло, выросли огнен-

ные столбы фугасных разрывов. На высоту налетела вражеская авиация. Под ее прикрытием танки и пехота беспрепятственно мчались к цели.

Немцы, окружавшие дзот, прекратили атаки и залегли. Охрим Бандура приказал и своим прекратить огонь. В это время у него перед глазами что-то ослепительно блеснуло, над головой загрохотало. Охрим упал на колени, правой рукой зацепившись за корпус своего пулемета.

Когда Бандура открыл глаза, над ним светился кусочек голубого неба. В дзоте по полу гулял солнечный луч. Бомба попала в правую стену, от сотрясения стена накренилась, край потолка обвалился, землей и камнями засыпало чугунную печку, пустую бочку и железный сундучок Артема с инструментами. Дверь в дзот была распахнута, вход снаружи преграждали какие-то балки, обвалившаяся стена окопа, моток колючей проволоки, но возле амбразур попрежнему стояли матросы, словно ничего не случилось, внимательно вглядывались в долину. Раненный в грудь Багиров полулежал, прислонившись к стене. Люба бинтовала плечо пулеметчику Юрченко. Патроны и гранаты лежали в углу, прикрытые плащ-палаткой. Охрим хозяйским глазом окинул дзот, сказал:

— Ничего, детки! Хату нам разбило немного, но мы живы. Выстоим! Становись, Артем, вторым номером ко мне. Сейчас они опять начнут.

— Вот отброшу землю от порога и стану к тебе,— ответил Артем, схватил лопатку и начал прогребать ход сообщения.

— Огонь! — скомандовал Бандура. Он увидел, как немецкие автоматчики спрыгивали с бронетранспортеров, взбирались по склонам на высоту. Они были совсем близко.

Вдруг перед танками выросла огненная стена разрывов. По звуку выстрелов Бандура догадался — стреляли с кораблей. Потом залпы грянули ближе, обрушились на пехоту, заволокли огнем и дымом клин, на котором сидели флотские корректировщики. Фашисты откатились от дзота. Запылали танки и бронетранспортеры. Но в этом же дыму горячего боя потонула и высота Петра Шагайды.

Бандура закрыл глаза ладонью, тихо застонал:

— Что они сделали? Огонь кораблей вызвали на себя. Вечная память. Вечная им слава...

Тут же послышался все нарастающий гул; он катился из нашего тыла, врывался в открытую дверь дзота, все громче звучал над горами. Еще мгновенье, и гул этот превратился в могучее «ура». В амбразуру Охриму было видно, как с горы в долину шли в атаку первые роты новой дивизии, прибывшей ночью в Севастополь. Где она была до сих пор, эта дивизия, в каких блиндажах и окопах? Бандура не знал этого. Теперь она точно выросла из-под земли. Сильная, хорошо вооруженная, со своей артиллерией, бронемашинами, минометами. Первые подразделения уже спустились в долину и вели бой во вражеских траншеях.

Охрим вытер пот со лба.

— Наши в наступление пошли! Новая дивизия! Резервная... Слышите?

— Я знал, что так будет,— тихо откликнулся раненый Багиров.

— Матросы! Родные, дорогие мои! Вы слышите?..

В дверях что-то щелкнуло, и все оглянулись.

Там стоял, припав на одно колено, фотокорреспондент Колосок с аппаратом в руках. Бандура сурово взглянул на него:

— Вы что тут делаете?

— Я?.. Ничего... Я уже все сделал... Три снимка, и хватит... У вас чудесно падает свет с потолка, как в настоящем ателье. Сейчас я запишу ваши фамилии, — весело говорил Колосок, закрывая свои аппараты.

— А карточку нам дашь? Чтоб каждому отдельно,— смягчился Бандура.

— В газете будет карточка. Следите за газетами.

В дзот по завалу вкатился матрос Бабич:

— Товарищ командир, нам приказано разыскать флотских корректировщиков на клину.

«Ах ты, горе мое...» — пронеслось в голове у Бандуры, и он подал команду Артему и Любе бежать за ним на высоту, где сидели корректировщики. Все трое выползли из дзота и бросились по склону на искалеченную снарядами вершину.

Первые залпы с кораблей легли точно по самому краю высоты и так перекопали землю, что сейчас на ней трудно было распознать окопчик и траншеи корректировщиков. Бандура заметил среди этого хаоса только упру-

гий прут антенны, который торчал из земли, тихо покачиваясь, и побежал к нему.

Рядом с антенной, вытянув вперед руку, лежал моряк в синем кителе. Он был засыпан землей до пояса, но еще шевелил пальцами.

— Живой! — радостно вскрикнул Бандура и, увидав на рукаве золотые нашивки, прибавил: — Мичман!

Моряк, видно, сам пытался выкарабкаться из-под земли, но обессилел от этой борьбы и потерял сознание. Пока Бандура и Артем отгребали землю с его ног, Люба поднесла к его носу вату, смоченную нашатырем. Мичман тихо вздохнул, но глаз не открыл. Когда ему освободили ноги и повернули лицом кверху, он тихо застонал. Правая рука и грудь были в крови, осколок снаряда разорвал мышцы. Люба промыла раны и старательно забинтовала, впрыснула противостолбнячную сыворотку. Раненый посмотрел на нее мутными глазами, едва слышно прошептал:

— Мария...

— Вам больно? — склонилась к нему Люба, вытирая мокрой марлей осыпанное землей лицо.

Он не ответил, только застонал.

Люба всплеснула руками.

— Папа! Это же мичман Шагайда!

Но старый Артем не обернулся на ее зов. Они с Бандурой стояли, сняв фуражки, склонив седые головы над истерзанными телами Каюмова и двух матросов, которые лежали на дне глубокой воронки. Артем Громов держал в руках бескозырку, на ней золотилось знакомое ему слово «Стремительный».

Бой откатился далеко от высоты. Резервная часть под прикрытием корабельной артиллерии, огонь которой корректировали уже другие разведчики, вырвалась на Ялтинское шоссе. Красное солнце медленно садилось за горы, утопая в мутной мгле, колыхавшейся над фронтом.

Петра Шагайду несли на шинели. Широко раскрытыми глазами он смотрел в небо. Снайперы в это время меняли свои позиции, и Мария увидела мичмана. Она подбежала к нему и замерла. Яков Майборода стоял у нее за спиной, боялся, чтоб она не упала.

— Петруша, как же это?.. — шептала Мария.

Шагайда молчал, не узнавая девушку.

— Мария... Он не пустил их...— тихо сказал Охрим.

Носилки понесли дальше, под гору, и Мария побежала следом, бросив Майбороде:

— Будь за старшего! Я нагоню вас.

Вечером дзот «Полтава» опустел. Его гарнизон, пополненный свежими силами, переходил на новый рубеж. По дороге Бандура и его матросы услышали хриплые голоса немецких репродукторов, громко заговорившие по всему фронту. Интересно, что соврут они сегодня?

— Солдаты и матросы Севастополя! — кричал диктор.— Уже не дни, а часы ваши сочтены. Вас ждет смерть в море. Спасайте свою жизнь, сдавайтесь в плен. Немецкое командование гарантирует каждому из вас жизнь, хорошую пищу, а потом свободу.

В ответ на это по всему фронту поднялась стрельба, свист, хохот. Диктор опять заговорил:

— Внимание! Внимание! Сейчас по радио выступит знатная колхозница Крыма, награжденная орденом Ленина, Ганна Бакланова. Вы все ее знаете. Она скажет вам всю правду. У микрофона знатная колхозница Крыма — Ганна Бакланова. Слушайте ее рассказ.

В репродукторах зашелестела бумага, послышался приглушенный кашель, и усталый голос Ганны Баклановой прозвучал в горах:

— Родные мои! Не верьте! Да здравствует партия!

Голос оборвался. Репродукторы захрипели, послышался сухой пистолетный выстрел. Женский крик разнесся далеко, казалось, его услышали в Севастополе.

Охрим Бандура до боли в пальцах сжал кулаки и опустил на грудь тяжелую голову.

XXXVII

— Ну, браточки, мне кажется, фашисты уже выдохлись, не отпраздновали они и нынешнего юбилея. Еще солнце не зашло, а они уже кофе просят у своих каптеров,— деловито заметил Бандура, кладя на полку большой морской бинокль.

Котельный машинист Астахов, не отрываясь от противотанкового ружья, спросил:

— А откуда вы знаете, что они кофе просят?

— Вижу,— твердо произнес Бандура.— Вон там, за холмом, возле подбитого танка, где наша позиция была, дымит их кухня. Дымит и черный кофе варит. Охотники

они до кофе, чтоб им расплавленной смолы понапиваться. Если хочешь, возьми мои двойные окна и посмотри.

Астахов прижал к глазам морской бинокль Бандуры и равнодушно начал рассматривать вражеский передний край.

Там, на холмике, еще совсем недавно стоял их дзот, и они, выбиваясь из сил, не пускали немцев к Севастополю. Сколько атак пришлось им отбить на том холме, сколько раз смерть заглядывала им в глаза, но они выстояли.

На рассвете матросы Охрима Бандуры снова начали жестокий бой, но уже в другом месте, в районе Ялтинского шоссе, где стоял их новый дзот, а теперь чернеет подбитый немецкий танк и дымит походная вражеская кухня. Этот танк подбил Астахов, чуть не заплатив за него головой. Танк появился неожиданно, когда уже стемнело, и помчался прямо на дзот. Патроны к противотанковому ружью у Астахова все вышли, а новых еще не поднесли. Астахов вылетел из дзота и швырнул под гусеницы танка последнюю противотанковую гранату. Швырнул и сам упал за каменный выступ. В первую минуту он ничего не видел и не слышал, так его оглушило взрывом. Когда он пришел в сознание, то увидел пылающий танк. Его доконал бутылкой с бензином Охрим Бандура. Подбитый танк так и остался возле их дзота, закрывая его с левого фланга своим бронированным телом. Бандура ни за что не оставил бы дзот, если б фашисты не прорвались ему в тыл, атаковав Сапун-гору. А когда это случилось, оборона дзота потеряла смысл, и по приказу командования Бандура отступил со своими черноморцами на новый рубеж, который был чуть ли не последним на пути к Севастополю и лежал уже почти на окраинах города.

Внешне спокойный Астахов еще раз взглянул на подбитый танк, на серый дымок походной кухни и тихо, чтоб не услышал Охрим, выругался. Он знал, что командир не любит ругани.

Астахов откладывает бинокль в сторону, устало откидывает волосы.

— Папаша,— говорит он Охриму,— а вы верно угадали, что фашисты выдохлись на сегодня. Только что-то

рановато. Еще и солнце не зашло, а они приумолкли. Хороший у вас, папаша, нюх...

Охрим прищурился и объяснил:

— А тут и угадывать нечего. Я давно это заметил. Как только покажется и задымит на горизонте их походная кухня, — жди перерыва в бою. А особенно поближе к вечеру. Надо только дымок от кухни заметить, и все тогда разгадаешь. Они поесть любят и очень точны в этом.

На передовой и впрямь становится тише, но матросы попрежнему стоят у своих амбразур. Они слышат, как завывают, урчат автомобильные моторы, взбираясь на крутую гору. Воют сирены санитарных машин, громко заливается звонок пожарной команды. А на фронте стрельба с обеих сторон стихает. Бандура прислушивается к тому, как рождается тишина, как шумит в засохшей траве горячий ветер, играет мелкой галькой море и где-то в небе стонет коршун. Старые люди говорят, что это он не стонет, а канючит, просит дождя, поэтому и прозвали его в народе каня, канючка. Охрим подходит к амбразуре и смотрит на поле боя.

Перед дзотом на склонах лежат трупы гитлеровцев. Все они без курток, в нижних рубахах, пожелтевших от пота, рукава засучены по локти. Раненых нет. Все убиты. Охрим хочет их посчитать, но скоро сбивается со счета, задумывается.

«Не все они, верно, и фашистами были. И по рукам видно, что были среди них и хлеборобы, и шахтеры, и рабочие. Труд знали, а может, и горе. Зачем же послушались бесноватого Гитлера? Зачем полезли к нам? Послушались полоумного — и вот что получили. Почему же вы, дурни, в плен не сдались? Сколько вас тут лежит? Двадцать, сорок, полсотни... Нет, всех не сочтешь. Доигрались. Теперь пусть вас похоронная команда считает. Противно даже смотреть. Верно, до сотни наберется. А нас в дзоте шестеро, я — седьмой. Нас никто не проклянет, мы на своей земле»,— думает Охрим и подает матросам команду:

— Рядовой Кулагин, ведите наблюдение. Всем остальным — перекур.

Матросы покидают свои посты, садятся рядом с Охримом. В амбразуры заглядывает кровавый закат. Его отблески ложатся на разгоряченные стволы пулеметов,

играют зайчиками на кучках гильз. Гильз много, они устилают весь пол и неприятно звенят, когда по ним ступаешь. Бандура косится злым глазом на замусоренный пол, и матросы, мгновенно поняв его, отгребают гильзы в угол.

— Теперь порядок,— удовлетворенно говорит Охрим, раскрывая вышитый кисет.— Угощайтесь...— Он свертывает первую самокрутку, протягивает Кулагину, стоящему на страже у одной из амбразур:

— Кури, сынок. На другом посту курить запрещено, а на таком можно. Они все равно кофе пьют.

Синий дымок вьется над головами матросов. Охрим осматривает свой гарнизон и удовлетворенно подкручивает усы. Из его старой гвардии остались здоровыми только двое — котельный машинист Астахов и рядовой Кулагин. Раненый сигнальщик Бабич стоит на посту в окопе. Хоть рана у него не опасная, но трудной работы ему уже не поручишь. В госпиталь он идти не хочет, а пошлешь силой,— все равно убежит. А эти трое, новички — вторую неделю у Охрима, но уже обстрелянные, бывалые солдаты. Тищенко из Харькова, Абдурахман из Средней Азии, Снечкус из Литвы. Надо просить Зеленцова, чтоб их представили к награде. Заслужили!

— Папаша! — окликает его Астахов.— Вы о каком-то юбилее начали говорить и не договорили. Доскажите.

— Простое дело,— вздыхает Бандура.— В каждом месяце есть двадцать второе число. Немцы его хорошо помнят. В этот день их Гитлер пошел на нас войной. И вот двадцать второе число каждого месяца и есть их юбилей. А сегодня он у них особый,— ведь сегодня двадцать второе июня, ровно год войны. Вот они и захотели сегодня своему Гитлеру наш Севастополь на золотом блюдечке преподнести. Семь месяцев не могли, а на восьмой решили во что бы то ни стало взять. А что вышло? Ничего не вышло.

— Нам бы только корабли. Только бы снова пришла эскадра черноморская, а мы стоять будем,— бросил через плечо Кулагин.

— Да-а-а! Эскадра! — мечтательно произнес Астахов и замолчал.

— Эскадра — это не в наших силах,— хмуро ответил Бандура.

Все замолчали.

В блиндаж вбежал матрос Бабич. Он тяжело дышал и поддерживал правой рукой раненую, левую, висевшую на перевязи.

— Полковник идет! — и, сняв с шеи повязку, быстро спрятал ее в карман. Раненую руку он медленно выпрямил и опустил вдоль туловища.

Бандура заметил, как сморщился при этом Бабич, и приказал:

— Вперед не выскакивай. Будешь стоять за спиной у ребят. А чтоб рука не болела,— положишь ее на пояс, на пряжку. Понятно?

— Ясно,— ответил матрос.

— Так и держать! — уже ко всем обратился Бандура и выбежал из дзота.

— Есть так держать,— бросил ему вслед Астахов.

Быстро гасло багровое небо, меняло краски, как расплавленное железо, которое вытащили из горна и прижали к сырой земле. На поле боя опускался вечер и гнал густые сумерки по долине. Охрим Бандура набрал полные легкие терпкого воздуха, пахнущего пожарищем, но не ощутил от этого никакой прохлады. Окрашенное вечерним багрянцем море казалось ему горячим и мутным. Но на его далеком горизонте уже вставал туман, и Охрим с радостью подумал, что от тумана море скорее остынет и опять зашумит ночью соленый ветер.

Охрим осмотрел себя. Он любил порядок во всем и требовал его от своих подчиненных не только во время боя, но и в часы отдыха.

Зеленцов появился из бокового хода сообщения и остановился перед Охримом. В нескольких шагах от командира стоял адъютант. Бандура отдал честь, коротко доложил о положении в своем дзоте. Зеленцов пожал ему руку, спросил:

— Как сейчас ведет себя противник?

— Собирает силы для нового штурма. В долине за высотой сосредоточивает танки, самоходные орудия, бронетранспортеры. Направление удара — район Максимовой дачи или Зеленая гора. Трудно сейчас угадать,— ответил Бандура.

— Правильно, моряк, верно говорите, — полковник положил руку на плечо Охрима:

— Вы находитесь в центре этого удара. Будет он на Максимову дачу или на Зеленую гору — вас все равно

не минует. Как чувствуют себя матросы? Знают они, что немцы будут рваться на Севастополь через ваш дзот? Именно в направлении этих двух пунктов?

— Знают, товарищ командир. Знают и ждут. Жалоб у нас нет,— ответил Бандура и, помолчав, прибавил: — Одно только нас волнует. Не знаю, говорить ли вам?..

— Что именно?

— Корабли. Эскадра черноморская. Весь наш флот,— тихо проговорил Охрим.

— Говорите яснее,— ласково предложил Зеленцов. Он взял Охрима за локоть и, отведя в сторону, сказал:— Присядем на минуту.

Охрим посмотрел на холмик возле дзота, куда звал его командир, и пояснил:

— Туда нельзя. Их снайперы и минометчики пристреляли это место. Давайте вот тут присядем,— и повел Зеленцова к высокой гранитной глыбе по другую сторону дзота; глыба надежно защищала от вражеского глаза; оттуда же открывался прекрасный обзор Севастопольского фронта от мыса Фиолент до Инкерманских высот. Хорошо была видна извилистая линия наших окопов, ее дзоты, доты, железобетонные колпаки, гранитные надолбы. К ним тянулись глубокие лабиринты ходов сообщения, по которым только что прошел командир, пробираясь к дзоту Охрима. Этот оборонительный район еще осенью прошлого года был возведен руками севастопольских рабочих, женщин, подростков, его все время укрепляли, совершенствовали.

Зеленцов присел на край патронного ящика, потянул к себе Охрима. Они сели рядом, как давние знакомые, как старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки.

— Я слушаю тебя, моряк. Не таись, говори все, что есть на сердце,— командир неожиданно перешел на «ты», и от этого на Охрима сразу повеяло чем-то родным. Он невольно вспомнил свою Полтавщину. Когда-то в Качановке, во время весеннего сева или жатвы, когда Охриму бывало тяжеленько, к нему всегда также подсаживался секретарь райкома партии, разговаривал с ним, как равный с равным, и они вместе всегда находили выход из самого трудного положения. Охрим вспомнил эти беседы и посмотрел в лицо полковника. Оно было сосредоточено и задумчиво. Зеленцов сбросил маскировочный халат. На его флотских ботинках лежала бе-

лая пыль, на колене присох кусочек глины, и он принялся старательно соскребать его ногтем.

— И о флоте говори, не таись. Когда человек выложит все на чистоту, ему сразу становится легче на сердце, яснее.

— Что же говорить? Вы и сами знаете... Как нам было хорошо и весело, когда корабли к нам приходили... Помните, когда я еще в «Полтаве» сидел и мичман Шагайда рядом со мной корректировал огонь эсминца «Стремительный»? Душа у матросов радовалась. Такой шквал подняла корабельная артиллерия, что, верно, на самого Гитлера и Манштейна икота напала. Ох, и хорошо же тогда было... Словно мы всем фронтом рванулись на Перекоп, а потом на Украину... Но корабли постреляли, постреляли, да и снялись с якорей. Тогда мне на сердце так горько стало, словно я осиротел. Неужели корабли совсем ушли из Севастополя? — спросил Охрим и схватил за руку командира.

На дворе совсем стемнело, с моря потянуло прохладой.

— Пойдем в дзот, к матросам,— вместо ответа сказал Зеленцов.

— Пойдемте, они ждут вас, — и Охрим пропустил командира вперед.— Политрук нам все объяснил, но матросам и вас хочется послушать.

Когда они вошли в дзот, все стали смирно, но полковник пригласил сесть, поздоровался с матросами. Бандура приказал раненому Бабичу и Кулагину идти на свои наблюдательные посты в окопах, и бойцы тут же вышли.

Остальные расселись на полу. Зеленцов примостился среди них на ящике, протянул матросам пачку папирос.

— Курите. Завтра у нас снова горячий денек будет. Может, и закурить не придется.

Матросы потянулись к папиросам.

— Ваш командир, а значит, и вы,— начал Зеленцов, — интересуетесь, что произошло с нашим флотом. Почему эскадра так быстро покинула Севастополь, когда немцы прорвались на Ялтинское шоссе? Эскадра оставила Севастополь и не возвращается? Так я понимаю ваше недоумение, матросы?

— Так, товарищ полковник,— сказал Астахов, и все подвинулись к Зеленцову.

— Не найдется ли у вас карты? — спросил он.

— Какой карты? — удивился Бандура.

— Обычной географической карты нашей страны.

— Была карта у нашего политрука. Но политрук убит утром, карта сгорела... Хотя стойте!.. Кажется, есть карта,— сказал Охрим и начал копаться в своем солдатском мешке, не понимая, зачем нужна эта карта, если речь идет о Севастополе и Черноморском флоте. Он долго копался в мешке и, наконец, подал Зеленцову неизвестно где раздобытую школьную карту полушарий.

— Нате. Тут сразу весь мир,— удовлетворенно сказал он.

Матросы тихо засмеялись. Ну, какой же он чудак, их командир! У него просят карту Советского Союза, а он подает карту полушарий. Что на ней найдешь? Тут и Севастополя не видно. И зачем он ее носит с собой? Может, дорогу к своей Полтаве по ней измеряет?

— Нет, это нам не подходит, Охрим,— ласково сказал Зеленцов.— На ней и Полтавы твоей не видно. Давайте без карты, раз так...

Охрим недовольно пожал плечами и спрятал свои «полушария» назад, в солдатский мешок. В блиндаже чадила коптилка, поблескивали огоньки папирос. Где-то далеко по горам разносилось эхо от грохота немецких танков.

— Памятный день у нас сегодня, матросы. Годовщина Великой Отечественной войны. Памятный тем, что «молниеносная» фашистская война провалилась. Враг проиграл во времени и темпах. И в этой великой битве есть заслуга и нашего Севастополя. Ведь что такое для фашистов Севастополь? Он им — хорошо и крепко забитый в спину гвоздь, который не дает наступать дальше. Они рвутся вперед, а он все глубже вонзается им в спину, наш нержавеющий севастопольский гвоздь. И вот скоро уже восемь месяцев, как он сидит у них в спине. Сколько добротных вышколенных дивизий мы приковали к Севастополю и разгромили за эти месяцы! Приковали, перемололи, не дали им возможности идти на Кавказ, к Волге, на Москву. Вот что такое наш Севастополь.

— Здорово выходит,— не выдержал Астахов.— У нас под Севастополем дают фашисту по шее, а где-то на Центральном фронте у него зубы летят!

— Сейчас Гитлер начал летнее наступление на южном направлении,— продолжал Зеленцов.— Наши вой-

ска, как вы знаете, отошли от Керчи к Тамани. Вот почему эскадра так спешно покинула Севастополь. Она помогла нашим частям отойти на Тамань, теперь стоит на страже Кавказа, ведет успешную борьбу с вражеским флотом в Черном море. Обстановка сложная. Наступление немцев на Кавказ не снято с повестки дня. Вот почему эскадра ушла из Севастополя. Но чтоб начать наступление на Кавказ, врагу необходимо собрать новые силы. Значит, снова потеря времени. Простой подсчет времени показывает, что гитлеровцы дойдут до Кавказских гор не раньше, чем там выпадет снег.

— А на Кавказе зимой скользко. Падать им придется на каждом шагу, да еще с высоких гор,— тихо засмеялся Астахов, но Охрим кашлянул, и матрос умолк.

— Скажите, товарищ полковник,— спросил Охрим,— что сейчас происходит в Севастополе? Вчера вечером в соседний с нами блиндаж приходила женская делегация. К нам они не могли пройти, начался обстрел.

Зеленцов чиркнул зажигалку, и матросы увидели его усталое лицо.

— Трудно в двух словах описать Севастополь... Скажу только одно: там каждый человек — герой. Севастопольцы ничего не жалеют для фронта. Старики и женщины с малыми детьми долго не хотели эвакуироваться, но теперь, когда с хлебом стало туго,— уезжают. А все остальные работают для фронта день и ночь. Могу привести в пример двух шоферов. Один случай произошел у меня на глазах. Павлик Жуляев вез хлеб и попал под бомбежку на улице Ленина. Шесть бомб разорвались возле машины. Машина, собственно мотор и ходовая часть, осталась целой, но Павлика ранило в бедро. В соседнем бомбоубежище ему сделали перевязку и хотели отправить в госпиталь, но он вырвался, прыгнул в кабину, только его и видели. А вчера, рассказали мне, комсомолка-шофер Маруся Зеленина попала со своей машиной под обстрел. Тяжело раненная в лицо, она почти вслепую, по памяти, довела груженную доверху машину к продбазе, произнесла два слова: «Там хлеб» — и упала без чувств. Вот какие люди живут в Севастополе. Они все время повторяют: «Мы берем пример с фронтовиков». Что вы на это скажете, товарищи матросы? Это высокая оценка для вас, — сказал Зеленцов и начал прощаться.

— А теперь всем спать! Непременно спать! Завтра снова будет трудно.

Бандура пошел проводить командира.

— А зачем ты носишь при себе эти полушария? — спросил Зеленцов.

Охрим почесал в затылке, глухо сказал:

— Я по ним дорогу к Берлину измерять буду. А может, еще и дальше, за Берлин.

Зеленцов пожал ему руку.

— Молодец, матрос! Ну, иди уж, иди, да укладывай своих орлов. Спокойной ночи.

Перепрыгнув выступ окопа, он исчез в ходах сообщения, которые вели к другим дзотам и блиндажам. Адъютант едва поспевал за ним.

XXXVIII

«Я пишу эти строки в каюте Платона Богучара, на палубе эскадренного миноносца «Стремительный». В Севастополе дописать не успел. Пишу, хотя все еще не могу собраться с мыслями. Перед глазами все еще стоит горящий город, охваченный пламенем порт, почерневший, как уголь, Малахов курган. На нем даже трава выгорела. На другой горе мне видится проваленный снарядами и бомбами купол Панорамы. Они не пощадили и этот памятник. Но самую картину моряки спасли. Они вместе с местными художниками разрезали ее по швам, скатали полотна и погрузили на корабль. Картина благополучно прибыла на Кавказ.

В каюте тихо. За ширмой тяжело дышит Петр Шагайда, рядом с ним сидит сонная Мария Богучар. Она ждет, когда он проснется, чтобы подать ему воды или лекарство. После тяжелого ранения мичмана уложили в морской госпиталь. Там он провел самые тяжелые дни боев. Но какое уж там было лечение... Госпиталь враги разбомбили, много раненых погибло. Шагайда лежит сейчас весь забинтованный, потеряв много крови, с высокой температурой. Иногда он просыпается, горько стонет, и я слышу, как Мария звенит стаканом, поит его, что-то ласково шепчет. Он засыпает, а она, без сна, сидит рядом с ним.

В море тихо. Линкор «Севастополь», эсминец «Стремительный», а за ними и другие корабли нашей эскадры

возвращаются из Севастополя. Над морем — теплая ночь. В углу, возле умывальника, стоит на одной ноге серая цапля и смотрит на меня круглым глазом. Клюв она спрятала под крыло, но глаз открыт и блестит во тьме, словно стеклянная пуговка. Она опустилась к нам на палубу далеко в море, и ее подобрали матросы. Цапля была так утомлена перелетом через море, что даже крыльями не шевельнула, когда ее брали, даже не клюнула никого в руку. К матросам подошел Охрим Бандура с коробкой дальневосточных крабов в руке. Открыв консервы, он начал кормить цаплю. Расстелив на палубе чистую газету, клал на нее кусочки крабов и стучал по ним большим пальцем, словно клювом. Цапля боязливо озиралась, дрожала, но скоро привыкла к Охриму и начала глотать сладковатые белые кусочки. При этом она всякий раз стучала о палубу клювом, так же как Охрим пальцем. Матросы хохотали, а Бандура приговаривал: «Ешь, птаха, не стесняйся... Наберут крылья твои сил, и может, ты еще полетишь ко мне в Полтаву. Вот если бы в Полтаву... Да еще в наш колхоз... Там луг какой, озера какие с рыбой... На тех озерах цапли ходят, аисты прилетают за поживой... Богатый край...»

Платон Богучар увидел эту сцену с ходового мостика и приказал отнести цаплю к нему в каюту. «Там ей будет спокойнее,— сказал он,— а то матросы, играя, задергают ее. Цапля не любит, когда ее трогают». Вот она и стоит теперь возле умывальника, напоенная, накормленная, дремлет на одной ноге.

«Стремительный», должно быть, уже недалеко от Туапсе. Хоть бы скорее рассвело — перед нами зазеленели бы кавказские берега. Как хочется увидеть их! В голове до сих пор гул стоит от артиллерийской канонады, воют бомбы и мины. Кажется, этот звон останется у меня в памяти на всю жизнь. Боюсь, что из-за него я не всегда давал нужную выдержку, когда снимал последние часы Севастополя, и некоторые пленки могут оказаться испорченными. Очень хочется поскорее проявить их, чтобы все могли узнать, как герои-матросы прикрывали отход основных сил из Севастополя. Что стало с этими матросами? Пробились ли они к партизанам в горы или полегли смертью героев? Думаю, что пробились, ибо таков был приказ контр-адмирала Багрова и генерала Ковалева.

За ширмой что-то шелестит, и ко мне выходит Мария Богучар. Она бледна, устала, глаза покраснели от бессонницы. Она ступает тихо, осторожно, словно крадется в свою снайперскую засаду, но я знаю — она боится разбудить Шагайду. Девушка опускается в глубокое кожаное кресло, кладет на стол потрескавшиеся от ветра руки. Они все в синяках и ссадинах.

— Пишете, товарищ Колосок?

— Да. Привожу в порядок подтекстовки и фотографии,— отвечаю и закрываю дневник.

— Ну, как вы думаете, Колосок, что с ним могло случиться? Может, вы что-нибудь слышали, но скрываете от меня? — уж в который раз спрашивает она.

Я знаю, она говорит о Самойле Вихоре. А что мне ей ответить? Вихорь ушел в тыл и не вернулся до нашего отплытия из Севастополя. Было только известно, что приказ командования он выполнил, железнодорожный мост взорвал. Но куда делся потом, что случилось с ним и Зубовым после операции,— этого не знали даже партизаны. Не вернулись и два минера, бывшие с ним. Не могло же быть, чтоб они не пробились к нам, если остались живы и здоровы. На фронте линия нашей обороны в последние дни была так изорвана и изрезана, что трудно было угадать, где она проходила. Наши могли свободно проникать во вражеский тыл и возвращаться к себе. А вот разведчики не вернулись, и я вижу в глазах Марии невыразимую печаль. Она ведь любит Вихоря. Что ж ей сказать?

— Я думаю, они остались у партизан,— спокойно отвечаю я.

— А почему партизаны передали по радио, что их там нет?

— Один отряд передал, что их нет, а в горах много отрядов, и не у всех есть рации,— категорически заявляю я. Это, кажется, немного успокоило ее. Она отошла к иллюминатору и прислушалась к шуму ночного моря. Она долго стояла у иллюминатора, и я не мог из-за этого писать. Наконец она обернулась, внимательно посмотрела на меня:

— Скажите, Колосок, может, вы хоть Варвару Громову видели перед отплытием?

— Видел, — ответил я. — Варвара возле вокзала искала среди раненых Артема, Игоря и Любу. Я даже

помню, что на ней был накинут мокрый мешок, чтоб не загорелись волосы и одежда. Она громко звала своих, но никто не отзывался. Тогда у вокзала было тихо, заслон морской пехоты, прикрывавший наш отход, уже рванулся в атаку и завязал бой с автоматчиками на Зеленой горе.

— Почему же вы не взяли ее с собой на эсминец? — с укором спросила Мария. — Она ведь так много сделала для всех нас...

— Я уговаривал ее, настаивал, но она не согласилась. Сдала санитарам всех раненых, бывших у нее в доме, и побежала в горком партии, к Елене Михайловне Кулик. Я видел уже с корабля, как она бежала среди пламени, накрыв голову мокрым мешком. «Это моя земля,— бросила она мне на прощание,— и я не дам фашисту жить на ней! Не дам!» — крикнула и убежала...

За ширмой застонал Шагайда, и Мария на цыпочках бросилась к нему, зазвенела стаканом. Я снова остался в каюте один и раскрыл свой дневник. Я не хотел говорить Марии, что перед самым уходом видел старого Артема Громова с двумя юнгами, Колей и Игорем. Артем с мальчиками шел взрывать ход в Инкерманские штольни. «Мы с тобой, Колосок, еще встретимся, не грусти»,— сказал он мне. Потом я услышал взрыв страшной силы. Интендант Гаркуша сказал мне, что в штольнях уже немцы. Вот почему я не хотел говорить Варваре об Артеме и мальчиках.

Эвакуация Севастопольского гарнизона морем шла планомерно. До конца мы держали в своих руках Южную и Карантинную бухты, мыс Херсонес и мыс Фиолент. Наш отход из Севастополя совершался по приказу Ставки Главного Командования, отход прикрывали заградительные отряды морской пехоты и артиллерия, которые завязали с фашистами тяжкие оборонительные бои в самом городе. Эвакуация продолжалась несколько дней, в это время на окраинах Севастополя еще шли бои. Совинформбюро коротко сообщало об этих боях в утренних и вечерних сводках.

Но все это произошло потом. Перед этим были еще успешные наступательные бои, дни и ночи героической обороны Севастополя. Рабочие одного завода, который я посетил, даже во время перебоев с электроэнергией давали по три и четыре нормы. Они не спали подряд по

двое, трое суток. Каменотесы укрепляли бомбоубежища в скалах, водопроводчики боролись за бесперебойную подачу воды в госпитали, бомбоубежища, жилые кварталы города. Связисты охраняли свои линии, налаживая их под непрерывным обстрелом и бомбежкой.

На шоссе, которое тянулось из Ялты через Сапун-гору на юг, ни ночью ни днем не прекращались жестокие, кровопролитные бои. Все поле вокруг шоссе стало черным, словно по нему прокатился страшный степной пожар. Кроме свежих резервных частей, прибывших в Севастополь, на Ялтинском шоссе отважно сражался и полк морской пехоты полковника Зеленцова, артиллеристы Андреева, севастопольские ополченцы. Но силы были неравны, враг хоть и с трудом, но продвигался к Севастополю, покрывая трупами и сожженными танками все подступы к городу.

Когда ночью был получен приказ об отходе из Севастополя, я был в полку морской пехоты. Зеленцову было приказано прикрывать эвакуацию войск и раненых. Командир полка прибыл в первый батальон, стоявший на запасных рубежах, и, выстроив матросов, сообщил о приказе командования. Матросы стояли молча, ждали, что скажет командир дальше, какую команду подаст. Я в это время находился в штабном блиндаже, смотрел, как укладывали в ящики штабные документы. Мне стало тоскливо, я вышел из блиндажа и услышал, как Зеленцов говорил с матросами. Он сказал: «Товарищи! Друзья мои! Нам выпала тяжелая, но достойная черноморцев обязанность. Мы прикрываем эвакуацию войск из Севастополя, погрузку их на корабли и выход в море. Мы остаемся здесь, на корабли не сядем. За нами корабли не придут, будет уже поздно. Но мы задержим врага и сможем пробиться в горы к партизанам. Кто хочет остаться, чтобы прикрыть своей грудью корабли, пусть выйдет на правый фланг. Добровольно. Остальные, кто не может, пусть едут в порт, на корабли. Я жду вашего слова, матросы!»

Матросы молчали. Первым выскочил из рядов Яков Майборода и встал на правый фланг. Он пробежал перед строем, высоко подняв голову.

За ним выбежал второй матрос, третий, и тотчас нарастающий шум прокатился по рядам: весь батальон качнулся и в один миг подался на правый фланг, к Май-

бороде, тесно смыкая ряды. Никто не остался на левом фланге.

В глазах Зеленцова промелькнула искра, а может и слеза. Он тихо, словно про себя проговорил: «Я так и знал...» Потом, уже на корабле, Охрим Бандура рассказывал мне, что точно такая же история произошла и в других батальонах морской пехоты, где приказ командования зачитывали заместители Зеленцова. Там тоже никто не остался на левом фланге, все стали на правый. Пришлось срочно выбирать самых сильных, выдержанных, стойких, только тех, кто не имел ранений, не был в госпиталях. При этом отборе было много споров, ругани, даже Охрим Бандура, на что уж дисциплинированный боец, и тот долго еще ворчал, бормотал и злился на то, что под конец с ним так несправедливо обошлись и отправили на корабль.

Я даже не успел проститься с Майбородой. Ударный батальон морской пехоты рванулся к Лабораторному шоссе, чтоб остановить вражеских мотоциклистов и автоматчиков. Издали я узнал Зеленцова. Он взмахнул рукой и громко крикнул:

— Вперед! За Родину!

За ним бросились в ночной бой матросы, и в пламени пожара отчетливо были видны легкие фигуры, бегущие по горам; они стреляли из автоматов, пулеметов, обходили с флангов немецкие авангардные части, уже ворвавшиеся в Севастополь и мчавшиеся к причалам, где стояли наши корабли. Матросы остановили фашистов, послав нам на прощанье зеленую и красную ракеты, что означало «счастливого плавания».

Дальше я уже ничего не видел. Эскадренный миноносец, а за ним и остальные корабли вышли в море. Во всех кубриках и проходах лежали и сидели раненые. На палубе негде было яблоку упасть. Там стояли и сидели пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, которых приказ Верховного Главнокомандования звал на другие фронты.

Севастополь горел. Далеко в море было видно высокое зарево. Бои на улицах не стихали. Мы хорошо слышали пулеметные и автоматные очереди, разрывы мин и гранат. Долго еще доносились до нас орудийные залпы. Матросы Зеленцова, ведя бой, прорывались через Сапун-гору в густые партизанские леса.

Все, кто стоял на палубе, сняли пилотки, бескозырки, фуражки. Это было трудное, безмолвное прощанье. Охрим Бандура прислонился к орудийной башне, не выдержал и заплакал. Чтоб никто не услыхал его плача, он впился зубами в рукав гимнастерки, прижался головой к холодной броне. Долго ещё был виден пожар над морем, и мы хмуро смотрели на него. Тут-то к нам и прилетела серая цапля, упала, обессилевшая, на палубу.

За ширмой спит Шагайда, задремала, верно, и Мария. Над морем светлеет. Я развернул карту Севастополя с окрестностями и измерил ее масштаб. Интересные получаются цифры. Шестнадцать километров отделяли первый рубеж нашей обороны от Севастополя. Это расстояние фашисты проходили с тяжелыми боями целых двести пятьдесят дней. На шестьдесят четыре метра в день продвигались они вместе со своими танками, самоходными орудиями, бронетранспортерами и со всей своей хваленой техникой.

Я выключаю настольную лампу, открываю иллюминатор. В каюту врывается свежий морской ветер и ослепительный свет солнца. Вдали зеленеют далекие кавказские берега. На палубе громкоговоритель. Бьют куранты, слышен голос Москвы. Я бужу Марию. Сейчас будет передана сводка Советского Информбюро. Всю палубу запрудили матросы и солдаты. Что произошло там, на палубе, когда мы услышали о нашем Севастополе! Перед нами снова встали все наши боевые дни...

Верно, на этом я закончу свои записи, но я мечтаю об одном. Если останусь жив, то хочу обязательно попасть в ту армию, которая будет освобождать Севастополь. Я должен прийти вместе с ней в город и узнать о судьбе Громовых, Самойло Вихоря, Якова Майбороды, полковника Зеленцова. Не может быть, чтоб все они исчезли бесследно. Мы обязательно услышим о них, и я допишу все то, что не смог дописать сегодня.

На траверсе показалось Туапсе. Навстречу нам уже идут торпедные катера, в небе барражируют наши истребители. Матросы вынесли на палубу носилки, на которых лежит Шагайда. Мария что-то тихо рассказывает ему. Охрим Бандура притащил из каюты цаплю и опять начал кормить ее крабами. Цапля раз-другой ударила клювом по газете, потом взмахнула крыльями, громко крик-

нула и полетела к берегу. Бандура с облегчением вздохнул и помахал ей вслед рукой.

Меня позвала Мария и попросила снять ее вместе с Шагайдой. Ему, видно, стало лучше. Я фотографировал их и думал о том, кто из них первый захотел иметь такой снимок? Он или она? Я этого не знаю, а спрашивать неудобно. Это их личное дело».

XXXIX

Тяжелый сон и усталость валили солдат и матросов с ног, но спать они не могли. Сойдя на берег в Туапсе, севастопольцы недоуменно озирались вокруг, стояли хмурые, задумчивые, оглушенные непривычной тишиной. У них перед глазами до сих пор горел Севастополь, дрожала каменистая почва, в ушах стоял неимоверный гром и грохот. А тут было тихо и спокойно. Над самой головой высились высокие зеленые горы, покрытые густыми лесами, заманчиво шумели на легком ветерке лапчатые пальмы и массивные кипарисы, весело поблескивали свежие лужицы на тротуарах: ночью прошел теплый летний дождь. Где-то в районе вокзала включили радио, и из громкоговорителя полилась песня. Народный хор имени Пятницкого протяжно и задумчиво исполнял «Ой, туманы мои, растуманы». Песня навеяла на матросов и солдат мысли о родных городах и селах, о далеком отчем доме.

Но тут к воротам порта бросилась веселая и говорливая толпа пионеров в красных галстуках и белоснежных блузках, с букетами ярких цветов в руках. Девочки торжественно подносили севастопольским воинам цветы, мальчики протягивали ранние яблоки, груши, сливы. Шум детских голосов заполнил порт, причалы. Но это не развеяло тягостного настроения воинов. Они молча брали цветы, старались при этом улыбнуться детям, но улыбка выходила горькая, вымученная. К фруктам они не прикасались совсем, и пионеры, загрустив, стояли среди матросов, не зная, что им делать дальше.

Мария, оказавшаяся рядом с Охримом, тронула его за локоть, шепнула на ухо:

— Ну, скажите им что-нибудь. Так же нельзя...

— А верно, нельзя,— спохватился Бандура и, разгладив седые усы, прокашлялся. Потом вышел вперед,

держа в руках букет цветов. На голове старая каска, исцарапанная пулями и колючими ветвями. Моряк поднял кверху руку, обращаясь к пионерам:

— Дорогие наши дети! Большое вам спасибо от всех нас, севастопольцев. Спасибо за то, что вы шли нас встретить, за то, что хорошо учитесь в школе, слушаете своих родителей, готовитесь стать героями. Передайте от нас, севастопольцев, сердечную благодарность и привет вашим родителям, братьям и сестрам. Мы в Севастополе и вас защищали. Вот как было, дети...

Пионеры звонко захлопали в ладоши. Они протягивали к Охриму руки, трогали пальцами холодный ствол автомата, рассматривали боевую медаль на груди. Им хотелось на всю жизнь запомнить этого бывалого воина с усами, выстоявшего под Севастополем и вернувшегося оттуда живым.

Среди матросов уже слышался смех, шутки. Меж выцветших гимнастерок и фланелевок весело трепетали белые рубашки пионеров, огоньками вспыхивали красные галстуки. В это время пропела боцманская дудка, и матросы пошли строиться. Дети отошли в сторону и издали с восторгом смотрели на севастопольцев. По трапу сносили раненых и укладывали в санитарные машины с красными крестами на дверцах.

Во время встречи матросов с детьми в толпе неутомимо бегал Колосок и щелкал своим аппаратом. Он не расставлял людей в специальные позы, а всякий раз подкрадывался к ним незаметно и весело кричал:

— Есть! Готово!

Он снова попал в родную стихию и уже забыл об усталости и сне.

Охрим Бандура сказал Марии:

— Дочка, кажется, нашего мичмана несут.

Они побежали к санитарной машине. Рядом с носилками шла пожилая женщина в белом халате.

— Нате вот вам яблок, слив,— сказал Бандура, развязывая мешок.— Детишки принесли.

— Не надо. В госпитале для них все приготовлено,— строго проговорила санитарка, распахивая дверцы машины с красным крестом.

Шагайда ласково взглянул на Марию, провел ладонью по лбу.

— Приходи ко мне, Мария. Мне веселее будет,— и, подумав, добавил: — Вместе с Охримом приходите, и Колоска с собой возьмите. Я тут близко буду, на горе.

— В первом санатории,— прибавила санитарка.— Прием у нас с двенадцати — на большой террасе. Мы вашего мичмана скоро на ноги поставим, не волнуйтесь. До свиданья.

Дверца с треском захлопнулась, и машина тронулась.

В портовые ворота один за другим въезжали грузовики, забирали прибывших севастопольцев и мчались через весь город к сборному пункту. Там в казармах дымили походные кухни, топилась баня, в саду под деревьями уже орудовали парикмахеры, щедро прыская одеколоном на стриженые и бритые головы. В казармах ровными рядами выстроились железные кровати, накрытые чистыми одеялами. На тумбочках цветы. Матросов поразила такая заботливость интендантов. Вспомнились довоенные флотские экипажи, повеяло тишиной и покоем. Но воинам было непривычно здесь, неудобно. В памяти все еще стояли задымленные севастопольские блиндажи, глубокие каменные окопы на Сапун-горе и Мекензиевых высотах, в лицо веяло палящим ветром боя, в груди першило от порохового дыма.

После короткого отдыха севастопольцы стали на переформирование, довооружение, но части у них остались прежние, каждая под своим боевым знаменем. В штабах было тесно. Заполняли наградные листы. В интендантских складах готовили новое обмундирование для матросов и пехотинцев. Полевая почта ежедневно отправляла по всей стране тысячи писем.

Через несколько дней Мария, Охрим Бандура и Колосок пошли навестить Шагайду. Госпиталь был расположен на горе, и к нему надо было идти через весь город. Проходя мимо железнодорожной станции, они услышали на перроне громкие удары вокзального колокола и удивленно остановились.

— Смотри! Вот здорово! — обрадовался Охрим.— А я уже и позабыл, что на свете поезда ходят.

— Давайте зайдем на станцию, — предложил Колосок.

— Давайте, — согласилась Мария.

Седая женщина с красной повязкой на рукаве пропустила их в зал. Она, верно, догадалась, что они оттуда, из Севастополя, и даже слегка поклонилась им.

В зале ожидания все было на своем месте. Киоск с газетами и книжками, буфетная стойка, за которой продавали газированную воду и чай, окошечко кассы. В нем виднелась хорошенькая девушка в синем берете. К окошечку подошел человек с седой бородой, спокойно произнес:

— Один до Москвы.

— Ваша командировка? — спросила девушка.

— Пожалуйста, — человек подал бумагу и деньги.

Охрим с завистью посмотрел на него, вздохнул:

— Вот здорово! Колокол бьет, билеты на Москву продают, поезда пассажирские ходят. Словно и войны нет... Вы не смотрите на меня так косо, — бросил он Марии и Колоску,— я ведь в Севастополе уже и не думал, что поезда ходят... Даже забыл, как паровоз свистит...

— Мы ничего плохого не думали, что вы, Охрим Панасович! — успокоила его Мария.

— То-то и оно. Молодые вы еще, зеленые, — строго произнес Бандура и подошел к кассе. Наклонившись к окошечку, спросил:

— А к нам, на Украину, можно билет?

— Какая станция нужна? — ласково откликнулась девушка.

— Мне в Полтаву, — серьезно сказал Бандура.

Девушка посмотрела на него округлившимися глазами, покачала головой:

— Нет, отец, в Полтаву пока нельзя. А вот на Донбасс, в Ворошиловград — можно.

Мария удивленно посмотрела на Колоска, пожала плечами.

Колосок подмигнул ей, чтоб молчала и не мешала Охриму. Тот постоял еще у кассы в глубокой задумчивости, потом наклонился ближе к девушке, тихо сказал:

— Не надо мне, дочка, билета. Это я просто так спросил. Вот скоро я со своими ребятами приду в Полтаву и в Севастополь вернусь, тогда ты будешь смело продавать билеты.

Девушка улыбнулась ему:

— Счастливо вам. Идите и не останавливайтесь. Я до

вашей Полтавы и Севастополя без очереди буду билеты выдавать. Только идите туда, освобождайте.

Они шли к высокой горе по густой тополевой аллее, а вокруг пылало море душистых цветов. Охрим молчал всю дорогу, верно, думал о чем-то, понятном ему одному. Заговорил он только возле госпиталя, когда санитарка сказала, что свидания с больными сегодня не будет, потому что из штаба флота приехала какая-то комиссия и обходит палаты. В этой комиссии одни генералы, адмиралы, полковники. Да все заслуженные, в орденах. Охрим не выдержал, тронул медаль на груди и сказал санитарке:

— А мы, тетка, из Севастополя. Нам к мичману Шагайде надо. Так и передай дежурному врачу, только не копайся, а то нам некогда. Сама знаешь.

— Ой, горюшко! Что же вы сразу не сказали, что из Севастополя? — санитарка исчезла за высокой стеклянной дверью. Вернувшись, она накинула на них белые халаты и повела по длинному коридору, потом по мраморной лестнице на второй этаж. Навстречу им спускалась комиссия, и санитарка остолбенела от неожиданности, не зная, что ей делать. Она же не спросила разрешения у врача, сопровождавшего комиссию, пустила севастопольцев в госпиталь на свою ответственность. Охрим рукой отвел ее за спину и стал смирно рядом с Марией и Колоском.

К ним подошли контр-адмирал Багров, генерал Ковалев и сопровождавшие их офицеры. Матросы отдали честь. Оба командующих поздоровались с каждым из них за руку, спросили, как они поживают, где устроились. На прощанье Багров сказал:

— Зайдите к мичману Шагайде.

— А мы к нему и пришли. Как он там поживает? — спросил Охрим.

— Хорошо. Скоро будет танцевать, — ответил военврач.

Санитарка сразу повеселела, вышла вперед и провела севастопольцев на широкую веранду. У самых перил, лицом к морю, лежал Шагайда. Рука его была в гипсе, на груди белела повязка. При взгляде на Марию яркий румянец вспыхнул на его пожелтевшем лице. Он протянул к ней здоровую руку, усадил рядом с собой в мягкий шезлонг. Напротив сели Охрим и Колосок.

— Грустный ты, Петр, какой-то стал, — сказала Мария.

— Как тут не загрустить, — с досадой вздохнул Шагайда.

— Почему? — заглянула ему в глаза Мария.

— А так. Веранда эта, как видите, выходит на море, окна из палаты — тоже. До самого горизонта все вижу. Сегодня на рассвете «Стремительный» с торпедными катерами ушел в море, только буруны заклокотали, а я тут лежу... Разве от этого не загрустишь? Тут скоро волком завоешь. И вы тоже хороши! Сколько дней прошло, как меня сюда привезли, а до сих пор никто не навестил... Все один да один, только море перед тобой и корабли на рейде.

— Это верно, мичман, — сказал Охрим. — То же и я испытал только что на вокзале. Идут поезда в Москву, на Краснодар, во Владивосток... А в Севастополь и мою Полтаву не идут... Грустно мне так стало, сердце заныло. А что поделаешь? Надо подождать, сказала мне девушка, которая билеты на поезд продает... Так что, со всяким бывает такое, но все скоро пройдет...

— Но навещать старых знакомых все-таки надо, — Шагайда с укором посмотрел на Марию.

— А кто говорит, что не надо? — нетерпеливо ответила она.

Мария не сказала Шагайде, что все эти дни бегала по госпиталям, по всем воинским частям — разыскивала Вихоря. Ездила высоко в горы, туда, где расположен санаторий крымских партизан. Но все поиски оказались напрасными. О судьбе Вихоря никто ничего не знал. В партизанских радиограммах из Крыма о нем тоже не упоминалось.

— А у меня Вихорь из головы не выходит, — медленно проговорила она. — Где он теперь, бедняжка?

Шагайда рывком повернулся к ней:

— Успокойся, Мария, он найдется... Может быть, он у партизан?

— Нет его там... Я уже знаю.

— Откуда ты можешь знать? — удивился Шагайда.

— Искала его всюду... Не нашла.

Оба замолчали. Перед ними играло ослепительное море. Зеленоватое у берега, подальше синее до черноты и, как первый снег, блестящее на горизонте, оно оплетало

берега пенным кружевом. Недалеко от берега в воде играла стая дельфинов. Их гладкие коричневые тела то и дело показывались из воды, дельфины прыгали друг за другом, оставляя за собой потемневшую волну.

— А красивое тут море, — сказал Охрим. — Там, в Севастополе, тоже красивое, а смотрели мы на него — и по временам злость брала, что оно такое бескрайнее и глубокое, что так далеко от кавказских берегов...

— Да, это верно, мне тоже так казалось в Севастополе, — отозвался Колосок, но взглянув на молчаливую Марию и нахмурившегося Шагайду, понял, что надо оставить их вдвоем. — Товарищ Шагайда, не найдется ли у вас морского бинокля?

— Есть, — Шагайда позвонил в маленький звонок, стоявший перед ним на тумбочке. Санитарка принесла бинокль, и Охрим с Колоском отошли в дальний угол террасы, оставив мичмана с Марией.

— Может, он в другом порту высадился... Например, в Поти... Он жив, Мария, поверь мне, — зашептал Шагайда.

— Если бы это было так... Ты не знаешь, Петр, как мне тяжко без него... Особенно теперь, когда мы оставили Севастополь, — она закрыла глаза, и по щекам покатились крупные слезы.

— Не плачь, Мария. Мне ведь тоже очень трудно. Вот ты пришла меня проведать, и я ожил сразу... Раны не так болят... И песня, что пел на концерте в вашем университете, мне вспомнилась. Помнишь? «Повий, витре, на Вкраину, де покинув я дівчину», — тихо говорил Шагайда.— А ведь ты не моя, ты не любишь меня,— отвернувшись, он ласково гладил ее руку.

На веранде стало тихо.

Шумели на ветру серебристые тополя, пело под горою море, на железной дороге весело перекликались маневровые паровозы.

На веранду вбежал адъютант Багрова. Подозвав всех троих, он сказал:

— Следуйте за мной!

— Куда? — запротестовал Шагайда.

— Вызывает контр-адмирал, — бойко ответил адъютант и строевым шагом направился к двери.

Комиссия, закончив осмотр всех палат, собиралась

уезжать. Посредине двора, у крайней машины, стоял Багров, нервно пощипывая седеющие усы. Он явно торопился.

Когда Мария, Колосок и Бандура подошли, контр-адмирал указал на машину:

— Прошу садиться...

Машина рванулась с места.

Багров сидел возле шофера, остальные на заднем сиденье. Обернувшись, Багров обратился к Бандуре:

— А ты, Охрим, говорил, что чудес на войне не бывает. Вот тебе и чудо. Наш мичман Вихорь жив! Жив! Сейчас мы его будем встречать в порту. Вот радиограмма.

Он выхватил из кармана бланк радиограммы и потряс им над головой. Мария схватила руку контр-адмирала и припала к ней горячим поцелуем.

— Отставить! — дернул ее за плечо Бандура.

Девушка вспыхнула и закрыла лицо руками.

В машине на миг воцарилось молчание. Только потрескивал под скатами песок да неистово свистел ветер от быстрой езды.

— Да, жив! — повторил Багров. — Он и разведчик Иван Зубов пробивались из Севастополя к нам на рыбацком баркасе. Безумие! Хорошо, что в море их заметила наша подводная лодка и подобрала. Вот, кажется, она и подходит...

И все увидели подводную лодку.

Она развернулась и стала у высокого каменного причала. На берег сошел командир, его помощник и три матроса. Потом в люке показался Самойло Вихорь, сгорбленный и усталый. Щеки на бледном лице ввалились, голова перевязана почерневшей марлей с запекшимися кровавыми пятнами. Пошатываясь, словно пьяный, он сошел на землю.

Контр-адмирал сжал его в объятьях.

— Спасибо за службу, мичман. Тебя не забыли, опять орденом наградили. Думали посмертно, а раз так— верно, быть тебе бессмертным.

— Служу Советскому Союзу! — медленно произнес Вихорь и пошатнулся.

Ему дали воды, но он отстранил флягу и, показывая на лодку, прошептал:

— Там Ваня Зубов. Ранен... Вынесите...

Потом жадно припал к горлышку фляги.

Ивана Зубова, раненного и обессилевшего, моряки осторожно вынесли из лодки и уложили в санитарную машину, примчавшуюся в порт. Потом из лодки вынесли три автомата (два наших, один немецкий) и немецкую каску с орлом — все имущество Вихоря. Он объяснил контр-адмиралу:

— Воду ею в баркасе вычерпывал...

Он оглянулся и, увидав Марию, хотел броситься к ней, но рядом стоял Багров, и Вихорь только развел руками, радостно улыбаясь ей.

— Здравствуй, Мария, — только и произнес.

— Здравствуй, — чуть слышно прошептала она.

Контр-адмирал усадил Вихоря на подножку своей машины, сам сел рядом, и они закурили. Остальные расположились на теплой морской гальке. Не ожидая вопросов, Вихорь заговорил сам. Медленно, подбирая каждое слово, будто все произошло с ним очень давно, и он с трудом вспоминает о прошлом.

— Мост мы взорвали. Вся станция оказалась забитой составами. Поездам ни вперед податься, ни назад. Капут. Но обоих минеров убили, а Ваню Зубова ранили. Не мог я его там оставить, потому и не пришел к вам. Вдвоем невозможно было, а партизаны перебазировались. Я лечил его, как мог, в лесу, ждал, пока он придет в себя. Он немного окреп, и мы пошли, но к Севастополю пробираться было уже поздно. Мы добрались до Балаклавы, к знакомым рыбакам. И так горько на сердце. А тут еще эта песня, которую мы ночью услышали в горах... — Вихорь наклонил голову.

— Какая песня, мичман? — тихо спросил Багров.

— Простая песня. И кто сложил ее так быстро, кто пел ее у немцев под носом — этого я не знаю. Пел ее чей-то молодой голос. Мотив был наш, морской, а слова такие, что сердце нам с Иваном обожгли. Крепко запомнили мы их...

Вихорь затянулся папиросой и медленно начал повторять слова песни, словно читал их в букваре, по складам:

— Раскинулось Черное море, и волны бушуют вдали, большое народное горе — враги в Севастополь вошли... Вот какая песня! Рыбаки провели нас под Балаклаву на берег, где была спрятана парусная лодка. Там уже ходил часовой. Я устроил ему тихую смерть, он даже не пик-

нул. Его каску и автомат я взял с собой. И вспомнил в эту минуту запорожцев. Когда-то в седой древности они не раз пересекали Черное море на простых лодках. Лодки их чайками назывались. Курс у запорожцев был дальний: Феодосия — Стамбул — Херсон — Дарданеллы. А чем мы с Ваней Зубовым хуже? — подумал я. — У нас ведь и парус есть. Плыли мы к вам под парусом, по звездам. Ветер был попутный. Потом нас подводная лодка подобрала. Вот как оно было, товарищ контр-адмирал... А они у меня на подводной лодке документы спрашивают. Чудные какие-то матросы, да и только. Верно, пороху не нюхали... Ну, что это я говорю, ведь правы они... нас не знают, люди незнакомые...

Вихорь приложил ладонь к глазам и долго всматривался в море, туда, где лежал его Севастополь.

ЭПИЛОГ

Прошло два долгих и тревожных года.

Два года без двух месяцев.

Варвара Громова за это время еще больше поседела и сгорбилась. На худом, почерневшем лице пролегли глубокие морщины. По ночам она незаметно выходила на улицу и, притаившись в темноте, слушала, как приглушенно говорят Крымские горы, таинственно шумит морской прибой. Наши войска были близко. Они ворвались в Крым со стороны Перекопа, высадились десантом на Керченский полуостров, а наши корабли не раз показывались в море. Все чаще над Севастополем появлялись сереброкрылые самолеты с красными звездами. Измученные двумя годами тяжкой оккупации, севастопольцы не прятались от них в скалы, а тайком выползали из своих развалин, радостно приветствуя самолеты.

Час освобождения приближался.

Этой весной Варвара уже не могла ходить в лес за ягодами и хворостом — там снова был фронт. Она не знала, что происходит в партизанском отряде Зеленцова, где были ее Артем, Люба и Игорь с Колей. Артем с мальчиками, устроив взрыв в штольнях, как только фашисты вошли в Севастополь, ушел в горы, даже домой не забежал. Люба ушла через несколько дней. Мужчин в Севастополе почти не осталось. Варвару, как и многих женщин, вызывали в гестапо — допрашивали, где муж, сын,

дочь. «Не знаю. Я весь фронт обошла, искала их среди убитых,— и не нашла. Может, их завалило в штольне под Инкерманом. Они там рядом окопы рыли и прятались в штольнях,— плакала Варвара.— Как их теперь откопаешь?» Спрашивали и о белье, которое стирала матросам. «Стирала рубахи, надо же было на хлеб заработать. А на что мне было жить?» — смело отвечала Варвара. Ее изо дня в день, так же как и других женщин, гоняли на трудовую повинность — расчищать завалы, засыпать воронки, ровнять дороги. Варвара все посматривала на лес, на горы, где чуть ли не каждую ночь гремели партизанские бои. Из этого леса она не раз приносила в Севастополь листовки, когда ходила за ягодами и хворостом. Если партизаны забирались далеко в горы, Варвара шла в Балаклаву, где Елена Михайловна Кулик, еще задолго до прихода немцев, организовала швейную мастерскую. Из этой мастерской Варвара приносила листовки в двойном дне бидончика для молока. Ходила вместе с соседкой — Анной Рябовой — как будто на рынок менять одежду на продукты. В Балаклаве никто не знал, что мастерской из подполья руководит Елена Михайловна. Сама она там не бывала, ведь ее хорошо знали в городе и пригородах. В мастерской работали надежные люди, под полом была типография, радиоприемник. Охраняли мастерскую рыбаки.

Где-то Елена Михайловна сейчас, что с ней? Что с Артемом, Игорем, Колей, Любой? Муж Любы погиб на батарее. Варвара нашла его тело, когда искала своих. Нашла и тайком похоронила. А сейчас фронт подошел к самому Севастополю, и все связи с окружающим миром прерваны. Только и счастья что выползти из подвала, послушать грохот в горах, гром на море. Слушает Варвара — и не верит, что долгожданный день освобождения уже близок. Дом ее на Лабораторном шоссе стоит пустой, облупившийся, осиротелый. Окна и двери забиты досками, двор зарос бурьяном, между ступеньками крыльца выросла лебеда. На воротах известью нарисованы три креста — тиф. Варвара за деньги достала у врача справку, что больна тифом, и нарисовала кресты, а сама поселилась в развалинах разрушенного каменного дома. Тут живет много народу. Вдовы, дети, старухи. Варвара среди них за старшую. Они называют ее комендантом. Женщины варят похлебку из лебеды,

этим и живут, высматривая своих черноморцев. Голод наступает на них, но они не жалуются.

Уже и праздник Первого мая прошел, а бои вокруг Севастополя не утихают, на фронте без перемен. Трудно выбить врага с таких позиций.

Послушала Варвара, как гремят горы этой ночью, спустилась обратно в подвал.

— Ну, как там, Варвара? Скоро? — спросила Анна Рябова.

— Скоро, — твердо говорит Варвара. — Мекензиевы горы в огне. Балаклава пылает. Уже скоро!

Женщины вздыхают, укрывают сонных детей. В подвале темно, но Варвара слышит тревожное дыхание женщин, чувствует, что они не верят ей. Наконец это недоверие прорывается.

— Ой, боюсь я, Варвара... — говорит Анна Рябова.

— Чего ж ты боишься?

— Боюсь, что это надолго затянется. Фашисты брали Севастополь восемь месяцев, с тех самых позиций, на которых сейчас наши стоят. Восемь месяцев! А позиции эти теперь не те, что были. Я видала, как немцы их укрепляли, — траншеи в горах два метра глубиной, стальные колпаки в камень вмурованы, а сколько железобетонных дотов понастроено? Разве их так скоро возьмешь?

— Скоро не возьмешь, — откликается какая-то женщина.

Варвара приподымается, твердо говорит:

— Возьмут! Ты, Анна, забыла одно. Тогда немцы брали, а теперь наши. Вот вспомнишь мои слова. Злость у наших на фашистов большая. Нам бы только эти дни пережить.

Женщины затихают, а на дворе, над их головами, все сильнее гремит война. Все громче становится свист снарядов, разрывы мин, пулеметные очереди, летящие с той, с нашей стороны, и всем от этого становится легче. Варвара несколько раз пытается выглянуть из подвала, но женщины не пускают ее. Могут заметить фашисты, и тогда их всех забросают гранатами. Лучше уж сидеть всем вместе, будь что будет.

Грозный, стремительный штурм Севастополя разгорается по всему фронту, и остановить его уже не может никакая сила. Он начался седьмого мая с Северной сто-

роны и с подступов к Сапун-горе. В тот же день советские войска овладели Сапун-горой, восьмого мая немцы были отброшены на последний рубеж перед Севастополем, а девятого наши воины с двух сторон ворвались в город.

Женщины услыхали у себя над головой грохот моторов, орудийные залпы, громкое «ура». Варвара схватила за руку Анну Рябову и потащила ее к выходу.

Ослепительное солнце ударило им в глаза, свежий морской ветер дул в лица, женщины шатались, но продолжали бежать по улице туда, откуда доносилось раскатистое русское «ура». У подножья Зеленой горы они остановились: на самой ее вершине урчал огромный танк, а на его башне во весь рост стоял моряк, прикрепляя красный флаг. Зеленая гора — самая высокая в Севастополе, она господствует над городом. Теперь на ней стоял советский танк, первый танк, ворвавшийся в Севастополь. С брони танка спрыгивали автоматчики. Танк стрелял из орудия по Южной бухте. Бой перекинулся в центр города, разгорелся на окраинах, подступил к мысу Херсонес, куда отходили основные силы фашистских армий. Танк, стоявший на Зеленой горе, дальше не двигался, и автоматчики остались около него.

Задыхаясь, плача от радости, женщины взобрались на гору. Варвара подбежала к танку и протянула к моряку, стоявшему на башне, свои растрескавшиеся, в мозолях руки.

— Сыночек мой! Дитятко! — воскликнула она.

— Мамаша! Привет! — крикнул моряк и, схватив Варвару за руки, начал целовать. — Смотрите, мамаша, на Севастополь, и не плачьте. Смотрите, как реют над ним флаги. А мой — первый на этой горе...

Сквозь слезы, застилавшие глаза, Варвара узнала, наконец, в моряке Вихоря.

Анна Рябова подбежала к Охриму Бандуре и упала ему на грудь, рыдая от радости. Охрим смущенно оглядывался, гладил ее поседевшую голову, шептал:

— Не надо, хозяйка, успокойся. Лучше воды свежей ребятам дай...

— Воды? — Анна мигом оторвалась от его груди и закричала в сторону танка: — Варвара, воды! Бежим!

Они прибежали на свое Лабораторное шоссе. Варвара в растерянности остановилась посреди опустевшего

двора, краем платка утирала слезы, кого-то звала и не могла оторвать глаз от шумной улицы, по которой мчались в Севастополь грузовики с пехотой, танки, бежали матросы, гремели походные кухни. Потом распахнула настежь ворота и калитку, раскрыла дверь дома, посрывала доски с окон, начала подметать двор, срывать лебеду, выросшую у крыльца. Женщины выносили за ворота ведра с холодной водой, угощали ею солдат и матросов. Два ведра отнесли на Зеленую гору, туда, где стоял первый танк.

Варвара убрала в доме, затопила печь и ждала своих партизан, но они не приходили.

Под вечер во дворе неожиданно появился увешанный фотоаппаратами Колосок. Он поклонился Варваре, весело крикнул:

— Привет из Сталинграда!

— Спасибо! — радостно откликнулась Варвара. — А вы и там были?

— Были. И Мария Богучар, и Вихорь, и Охрим Бандура. Многие севастопольцы воевали за Сталинград.

— А где же Мария?

— Они на Херсонес пошли, а как ваши?

— Мои в партизанах. Вот жду, никак не дождусь.

— Придут. У меня к вам просьба. Устройте мне в вашем доме спокойный уголок для работы. Я скоро вернусь к вам. Надо все разобрать, свести концы с концами... Устроите?

— Пожалуйста, занимайте хоть сейчас, — предложила Варвара, но Колосок помахал на прощанье рукой и убежал.

А войска все шли, мчались на танках, самоходных орудиях, грузовиках, пловучих машинах-амфибиях. Наши части ворвались в Севастополь не только со стороны Зеленой горы и Лабораторного шоссе. Бой гремел и на Северной стороне, плыл над всеми бухтами, на Малаховом кургане. Наши оттеснили гитлеровцев к Херсонесскому маяку.

Варвара с соседками стояла у ворот, и в глазах у нее рябило от такого количества невиданных до сих пор машин, орудий, грозной техники. Варваре казалось, что все это ей снится, она даже не заметила, как к домику подкатили две кованые брички.

Серые жеребцы в яблоках испуганно храпели, от них

валил пар, они встряхивали вплетенными в гривы красными ленточками. Кто-то весело закричал «ура», кто-то громко заиграл на баяне марш. Из первой брички выскочила Люба и бросилась к матери.

— Мамочка, родная! — вскрикнула она.

— Доченька! Как же это... Откуда? — шептала Варвара, лаская дочь.

— Мы все тут, разве не видите? — смеялась Люба. На ней были высокие солдатские сапоги, зеленая плащ-палатка, на голове красный платок.

— Посмотрите, мамочка, как они выросли.

Варвара подняла голову.

Перед ней, переминаясь с ноги на ногу, стояли два коренастых паренька в старых матросских фланелевках. Медные бляхи с якорями ярко горели на их поясах.

Варвара старалась не плакать, но слезы катились из глаз, обжигали мальчикам щеки.

— Ну, хватит, мама... Не надо... Вон партизаны наши смотрят, — смущенно говорил Игорь. Он нарочно поправил на плече трофейный автомат, потрогал две гранаты, висевшие на поясе, но мать не заметила, как он вооружен. Для нее он был не воин-партизан, а вихрастый, непослушный сынишка.

Кто-то за спиной Варвары глухо кашлянул, и она сразу узнала этот кашель. Узнала и оглянулась. Перед ней стоял Артем, по уши заросший густой бородой. Широко раскинув руки, он схватил жену в объятья. Они трижды поцеловались под общие выкрики партизан, окруживших их плотным кольцом.

— Теперь не кричи на меня, Варвара, я тебе всех детей в целости привел. И своих, и чужих. Принимай всех да устраивай на отдых... Подходите, ребята, не стесняйтесь, она у меня добрая, — важно говорил Артем, весело подмигивая партизанам.

Первым подошел к Варваре Яков Майборода.

— Привет, мамаша! С праздничком вас, — сказал он, глядя на улыбающуюся Любу.

— Спасибо, сынок. Только почему ты так запоздал?

— Как это запоздал?

— Да так. Твой дружок, Самойло Вихорь, уже давно на Херсонес подался фашистов добивать. Он к нам первым ворвался и красный флаг над Севастополем поднял. Вон на горе его танк и знамя. Видишь?..

Майборода покраснел и, отойдя к Любе, зашептал ей что-то на ухо. Варвара искоса посмотрела на обоих. Перед ней уже остановился высокий широкоплечий парень в крылатой зюйдвестке, залихватски сбитой на глаза.

— Пятница, — тихо сказал он и поклонился Варваре, потом подумал и добавил: — А я знаю вашего Вихоря, познакомился с ним в Бахчисарае! Хороший парень.

— У нас все такие черноморцы, — ответила Варвара и сразу спохватилась. — А где ж наш Колосок? Снял бы сейчас всех. Только что был здесь и уже куда-то исчез. Вот буйная голова. Ну, что же вы стали? Прошу в дом. Коней заводите, вносите пожитки, идите в комнаты, — засуетилась она, пропуская гостей в ворота.

Когда бричка въезжала во двор, Варвара сказала Артему:

— Хорошие лошадки. Где это вы их?

— Эти вот из Ялты, а те из Алушты. На этих вот городской голова в Ялте ездил, а на тех — раскулаченный татарин, староста алуштинский. Эти кони у нас еще с весны, — объяснил Артем и, ласково взяв Варвару под руку, по-хозяйски повел в заросший бурьяном двор.

Все Громовы снова собрались дома. Навестил их и Зеленцов, а Колосок, Мария и Вихорь все не приходили. В районе Херсонеса добивали врага, в городе день и ночь убирали трупы.

Варвара беспокоилась о веселом и беззаботном, как ребенок, парне и чуть не расцеловала его, когда Колосок поздно, ночью, на четвертые сутки, постучал в дверь.

— Вот и все, — тихо сказал он. — Капут фашистам на Херсонесе, буль-буль в море. После Сталинграда я еще такого не видел...

— Ужинать будете? — спросила Варвара.

— Нет, буду работать. Газета не может ждать. Она должна выйти завтра.

Варвара зажгла коптилку и поставила ее в боковой комнате, приготовленной для Колоска. Когда она вышла, Колосок достал из полевой сумки старый севастопольский дневник в зеленой обложке и сел его дописывать. О газете он сказал нарочно, он уже все подготовил для номера, а теперь хотел записать «по горячим следам» хотя бы главное из увиденного им в Севастополе.

Вот что записал он в свой дневник:

«Я вновь в Севастополе, и мне не верится, что все

произошло так быстро. Жаль только, что путь нашей Приморской армии лежал через Керчь, а не через Перекоп. А то я заехал бы к себе под Геническ. Мама и сестра пишут, чтоб обязательно приехал. Редактор обещал, что пустит меня в отпуск из Севастополя. Вот тогда я им обо всем расскажу: и о Сталинграде, и о Севастополе. Правда, о Сталинграде они уже знают, а вот о Севастополе интересно будет послушать, ведь о нем еще мало кто знает.

Должен сказать, что, когда наши войска подошли к Севастополю, мы его не узнали. Старые наши позиции немцы еще больше укрепили, сменили их профиль, понатыкали всюду стальные колпаки. У них несколько оборонительных поясов. Преследуя противника в Крыму, наши войска 18 апреля вышли к Севастопольскому укрепленному району и тут встретили ожесточенный отпор.

Наши штурмовые отряды действовали беспрерывно, днем и ночью, на разных участках фронта. Немцы не знали, откуда им следует ожидать главного удара наших войск. За несколько дней до 1 Мая мы овладели высотами на запад от Балаклавы, безымянной высотой под Сапун-горой и другими. Пока шли эти бои, которые Совинформбюро называло в сводках боями местного значения, в штабах напряженно готовились к операции по прорыву всей вражеской обороны. Идея этой операции, как объяснили мне потом, заключалась в том, чтобы последовательными ударами с севера и северо-востока оттянуть как можно больше войск противника от направления главного удара, а потом решительным броском с юго-востока прорвать оборону немцев, выйти к бухтам на юго-западе от Севастополя и, отрезав врага от моря, уничтожить.

Этот план был выполнен у меня на глазах. Два дня наши войска атаковали противника с севера. Фашисты решили, что это и есть направление главного удара, и подтянули сюда свои резервы, ослабив свой фронт на востоке и юго-востоке. Этим воспользовались наши войска и 7 мая утром перешли в наступление по всему фронту. Полтора часа наша артиллерия и авиация громили вражескую оборону, а потом пошла в наступление пехота. К концу дня (я засек это по часам), ровно в 17 часов 30 минут, была взята Сапун-гора, и на ней за-

реял красный флаг. Наши войска очистили Сапун-гору и отбросили противника на последний рубеж перед Севастополем. Утром 9 мая наступление возобновилось. Войска, вышедшие к Северной бухте, форсировали ее с севера, а в 13 часов ворвались в Севастополь войска, наступавшие с востока и юга. Уличные бои в городе продолжались до вечера, пока Севастополь не был очищен от фашистов. Улицы были завалены вражескими трупами, пришлось специальным командам расчищать дорогу. Севастополь снова был свободен, но на этом дело не кончилось. Остатки немецких войск закрепились на последнем рубеже — на мысе Херсонес. Немецкое командование решило удержать этот рубеж, чтобы эвакуировать свои войска из Крыма. Здесь они организовали сильную оборону. Нам надо было снова готовить операцию по прорыву. На это ушло два дня — 10 и 11 мая. Атака была назначена на 12 мая. Все было готово для последнего удара. Авиация блокировала врага с воздуха, Черноморский флот вышел на морские пути между Крымом и Румынией и топил вражеские корабли, пытавшиеся проскользнуть к крымским берегам. Вечером наши наблюдатели заметили подозрительную суету во вражеских окопах, и тогда Самойло Вихорь был послан за «языком». Мичман приволок немецкого сержанта. Это произошло в первом часу ночи на 12 мая. Пленный рассказал, что им приказано обороняться до четырех часов утра 12 мая, а потом они должны пустить в дело тяжелые огнеметы и бежать в бухту, где их будут ждать корабли и баржи для эвакуации в Румынию. Погрузку на корабли немцы должны были начать в 3 часа ночи 12 мая. А наш штурм мы подготовили и назначили на 13 часов 30 минут 12 мая. Вот какого ценного «языка» приволок Вихорь!

И тогда наше командование решило опередить врага, и атака была назначена на 2 часа ночи. Наша артиллерия открыла ураганный огонь, прочесывая вражеский плацдарм от переднего края до самого моря. Ровно в 2 часа ночи наша пехота пошла в атаку. Немцы бросились в бухту, но обещанных транспортов там не было. Черноморский флот и наша авиация потопили их еще по дороге в Крым.

Среди фашистов началась паника. Они связывали плоты из бочек, пустых канистр, досок и пытались уплыть

в море, но огонь автоматов настигал плоты, и морская волна прибивала трупы к берегу. Ни один немецкий самолет, ожидавший рассвета, чтобы подняться в воздух, не улетел. В 9 часов 45 минут на мысе Херсонес прозвучал последний выстрел.

Вот и все. Корабли в Севастополь еще не пришли. Все фарватеры завалены немецкими минами. Но флот скоро вернется в Севастополь. Вчера уже начал работать городской комитет партии. Я видел, как Елена Михайловна Кулик прибивала над одним из блиндажей фанерную вывеску: «Горком партии». Слова были написаны синими чернилами.

На этом я и закончу свои записки. За окном медленно светает, гулко шумит море, и в садах поют соловьи. Сегодня будет теплый, солнечный день. Солдаты пойдут купаться в море. За стеной крепко спит вся семья Громовых и много солдат и матросов. Пусть отдыхают, они ведь все так устали. Я хочу, чтоб каждому из них приснился хороший, счастливый сон. Мне тоже пора ложиться. «Спокойной тебе ночи в Севастополе, фотокорреспондент армейской газеты товарищ Колосок», — говорю я сам себе...»

* * *

И снова Севастополь расцветился тысячами морских флажков. Они гирляндами свисают на Приморском бульваре, возле Памятника погибшим кораблям, вьются над домиками Лабораторного шоссе, Корабельной стороны, вплоть до самого Малахова кургана, играют на солнце всеми цветами радуги, весело плещут на свежем морском ветру, словно перешептываются.

А море на солнце, как живое. Катит свои волны, разбивает о каменистые берега, обволакивает их шелковой пеной. Шумит море, поет свои вечные песни, катит их далеко в горы. В Севастополь пришла весна, и на развалинах зазеленела молодая трава, потянулись к солнцу цветы и буйная зелень деревьев. Тропинки в срубленных войной парках и садах вновь посыпаны белым морским песком, из кранов на клумбы струится вода. Все улицы запружены народом. Люди все идут и идут неудержимым потоком к Южной бухте, на Графскую пристань, где стоят мраморные львы, взбираются на гору к разби-

той Панораме, растекаются по Приморскому бульвару.

Девушки в ярких платьях с пышными бантами в косах, уже побронзовевшие от весеннего солнца. Пожилые женщины в давно неношенных, может быть даже в свадебных, платьях.

Севастопольцы идут под гром оркестров, доносящийся со всех сторон. Духовые оркестры расположились на горных склонах, и их звонкая, бравурная мелодия летит над городом, уносится далеко в море.

Спешит на Приморский бульвар и вся семья Громовых. Впереди Артем в белом кителе, с орденом Ленина на груди. Варвара держит мужа под руку. Она в светлом платье, на голове темный газовый шарф. За ними выступает стройная, загоревшая Люба; она все время оглядывается через плечо. Рядом с нею вышагивают Коля и Игорь. На белых рубашках поблескивают медали «За отвагу». Недалеко от них идет Вихорь, в полной форме, при всех боевых орденах. Он держит за руку Марию Богучар и все наклоняется к ней:

— И что ж они пишут из Одессы?

— Пишут, что мама согласна переехать в Севастополь. В тот дом, окнами на море, что будет стоять под высокой горой. Будет этот дом или не будет? — смеется Мария.

— Будет. Теперь у нас все будет, — горячо шепчет Вихорь. — Раз мы живы и здоровы остались.

— Вот мама соглашается, а отец никак не хочет. Он свое повторяет — неужели я напрасно всю оккупацию воевал с фашистами, партизанил в катакомбах? А вы хотите, чтоб я бросил свою Одессу? Ни за что на свете! Тут мне каждый камешек и комочек земли еще дороже стал. Не поеду! Он ведь у меня крутой старик.

— А ты больше не пиши ему об этом. Вот построим дом и пригласим его в гости. Пусть посмотрит, как живут в Севастополе. Где больше кораблей? Его матросское сердце не выдержит и перетянет его к нам, — весело говорит Вихорь.

Они останавливаются на высокой горе, господствующей над морем, присоединяются к кружку, в котором стоят Громовы. Тут же и Колосок со своими аппаратами. К ним подходит Майборода с партизанской красной

ленточкой на фуражке. Он вежливо кланяется Любе Громовой, подает ей руку. Мария замечает, как Люба краснеет и опускает глаза в землю. Мария наклоняется к Вихорю и что-то шепчет ему на ухо. Мимо них к высокой трибуне, разукрашенной государственными и морскими флагами, проходят Елена Кулик и Зеленцов.

Торжественная минута приближается. Смолкают духовые оркестры, прекращаются танцы; севастопольцы потоком устремляются на высокую гору, к трибуне, и останавливаются перед ней, образуя сплошную пеструю стену. На деревьях, уцелевших от бомб и снарядов, уже полно детей. Они, как воробушки, усеяли каждую ветку и смотрят в море.

Артем Громов вынимает из кармана часы на ремешке.

— Кажется, уже пора.

— Пора, — откликается Вихорь.

И вдруг со всех деревьев раздаются звонкие детские голоса:

— Идут! Идут!

Вихорь прижимает морской бинокль к глазам. Мария тонкой загорелой рукой держится за его плечо. Взгляды всех обращены к морю, ослепительно сверкающему до самого горизонта. Вихорю оно хорошо видно в бинокль, и люди невольно поворачивают головы к мичману. Он ждет несколько минут, затаив дыхание, потом над толпой раздается его громкий возглас:

— Линкор «Севастополь»!

Гром аплодисментов покрывает его слова.

Когда аплодисменты стихают, Вихорь продолжает:

— Крейсер «Молотов»!

По толпе прокатывается громкое «ура», сотрясая тихие севастопольские улицы.

— Эскадренный миноносец «Стремительный»!

Снова гром аплодисментов, неистовое «ура».

Но вдруг Вихорь подается вперед, крепче прижимает к глазам бинокль и тихо говорит:

— Мария! На ходовом мостике наш Шагайда. Посмотри...

Мария хватает бинокль и долго всматривается в палубу эсминца. Корабль попрежнему ведет ее брат, Платон Богучар, а рядом с ним на мостике стоит Шагайда.

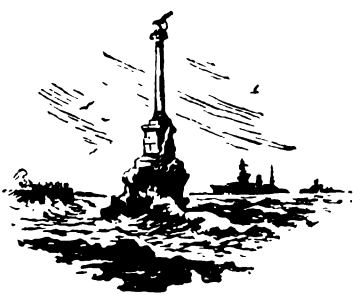
— Ой, как хорошо, что он жив, — взволнованно говорит Мария. — А мы позовем его в гости?.. Правда, Самойло?

— Правда, Мария, — Вихорь смеется, сжимая локоть жены.

А корабли все идут и идут.

Духовой оркестр громко заиграл приветственный марш. Два катера уже развели боновое заграждение, и в бухту, гордо и величаво, первым вошел линкор «Севастополь». Он заново выкрашен, поблескивает на солнце, грозно подняв к небу стволы своих орудий. За линкором в кильватер шли другие корабли. Они шли, разукрашенные морскими флажками, которые играли и переливались всеми цветами в голубом небе.

Черноморский флот возвращался в Севастополь.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	187
ЭПИЛОГ	457

Василь Кучер — „Черноморцы"

Редактор *Богина А. В.*
Художественный редактор *Гречихо Г. В.*
Художник *Старосельский И. И.*
Технический редактор *Сорокин В. В.* Корректор *Карташева А. А.*

Сдано в набор 30.11.54 г. Подписано к печати 3.05.55 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂—14³/₄ печ. л.=24,19 усл. печ. л. 24,918 уч.-изд. л.
Г-12114
Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР.
Москва, Тверской бульвар, 18. Изд. № 1/806. Зак. № 2701

2-я типография имени К. Е. Ворошилова Управления Военного Издательства Министерства Обороны Союза ССР

Цена 9 руб.

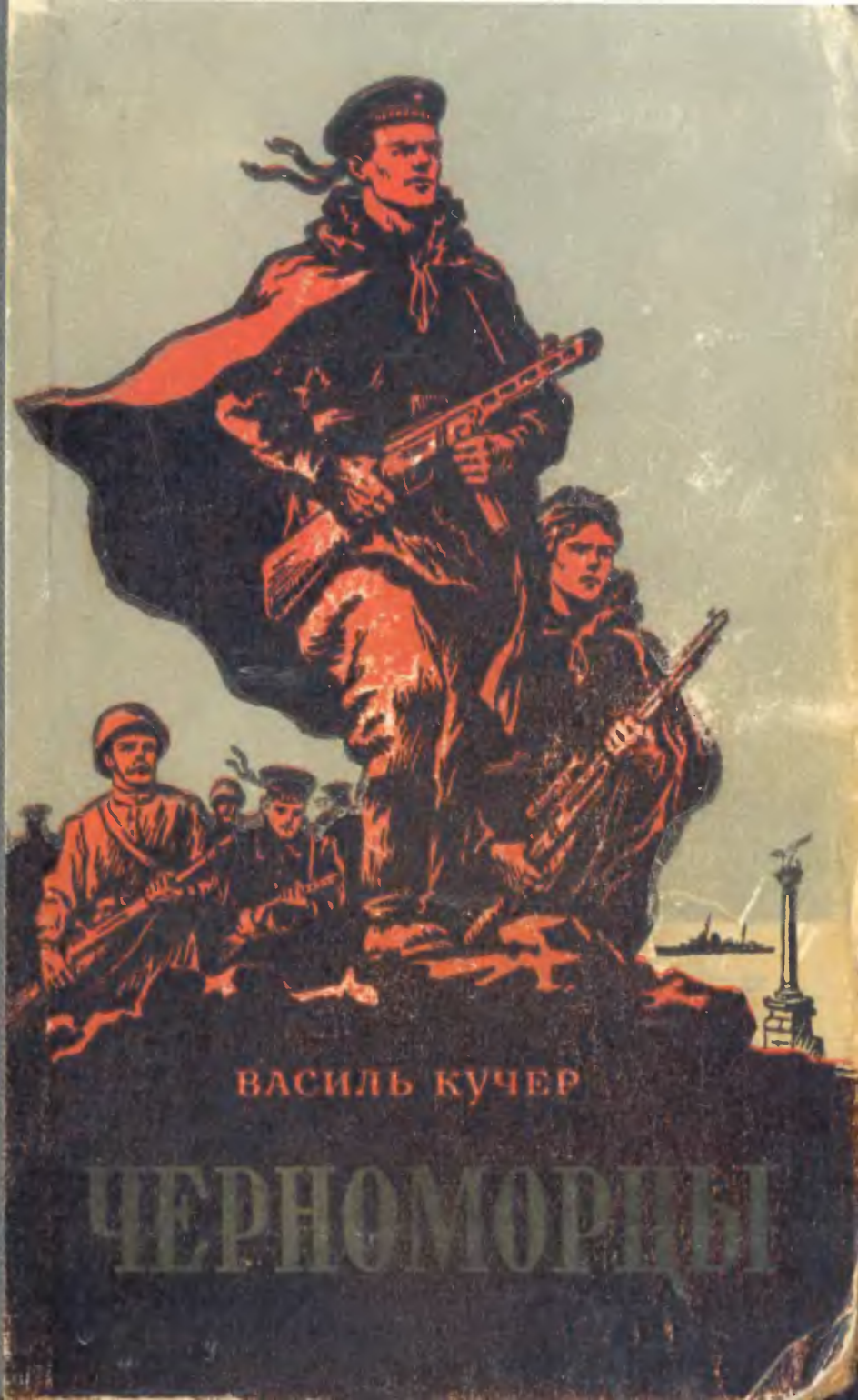
К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное Издательство просит присылать свои отзывы об этой книге по адресу: Москва, К 104, Тверской бульвар, 18, Управление Военного Издательства.



Цена 9 руб

ВАСИЛЬ КУЧЕР • ЧЕРНОМОРЦИ



ВАСИЛЬ КУЧЕР

ЧЕРНОМОРЦЫ